К. Д. БАЛЬМОНТ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор),
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,
Б. И. Бурсов, Б. Ф. Егоров, В. М. Жирмунский,
К. Ш. Кулиев, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов,
А. А. Прокофьев, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский,
Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-Заде,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

К. Д. БАЛЬМОНТ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная статья, составление,
подготовка текста и примечания
Вл. Орлова

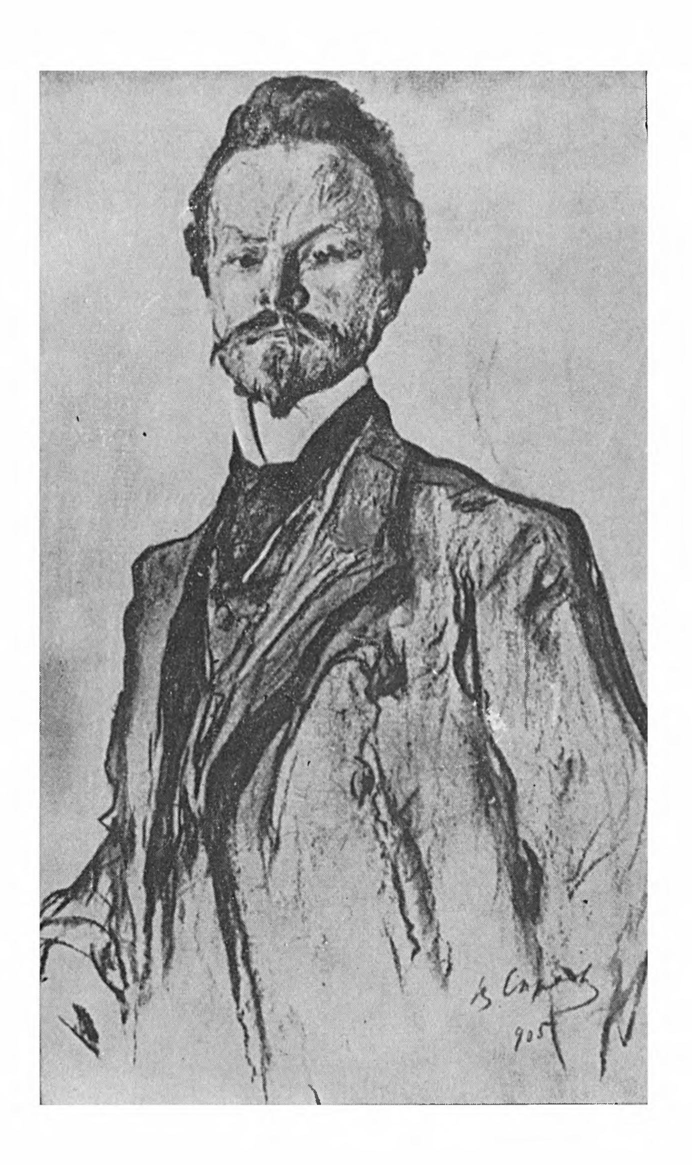
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1969

Р 2
Б 2

К. Д. Бальмо́нт (1867—1942) — талантливый поэт-лирик, сыгравший видную роль в развитии русской поэтической культуры начала XX века. Стихи Бальмонта в свое время пользовались большой популярностью, но современному читателю мало известны.

Из громадного стихотворного наследия К. Д. Бальмонта для настоящего сборника отобрано все лучшее, наиболее совершенное в художественном отношении.

7-4-2
333-69



БАЛЬМОНТ
ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ

Непредвзятость — первое условие исторического подхода к любому явлению прошлого. В данном случае условие это приобретает значение особое, ибо мало кто так пострадал от предвзятости, как Бальмо́нт. Если в широком читательском кругу сейчас изредка и вспоминают о нем, то лишь как о самовлюбленном позере и неудержимом графомане.

Что, собственно, запомнилось из Бальмонта? «Чуждый чарам черный челн. . .» Да еще то, что когда-то упоенно твердил каждый полупросвещенный писарь: «Хочу я зноя атласной груди, хочу одежды с тебя сорвать! . .» Глупость и пошлость? — Безусловно. Исчерпывается ли этим Бальмонт? — Никоим образом.

По существу, таких стихов, без которых невозможно было бы обойтись в строго отобранном собрании лучшего, что есть в русской поэзии, у Бальмонта не много — наберется десятка два-три, не больше. Но их одних недостаточно, чтобы по-настоящему узнать поэта. Для этого нужно погрузиться в атмосферу эпохи, уловить дыхание жизни, в условиях которой возникла эта поэзия.

Попробуем прочитать Бальмонта заново. Без предубеждения. И в контексте его времени — историческом и художественном.

Эта книга стихов забытого поэта обнимает полвека его работы, — точнее говоря, сорок семь лет: с 1885 по 1932 год (последнее десятилетие жизни Бальмонта в творческом отношении было совершенно бесплодным). В истории русской поэзии это период громадный. За это время изменился весь ее ландшафт. Достаточно сказать, что в 1885 году еще находились на взлете Фет, Майков и Полонский,

а в 1932-м — уже не было Маяковского, уже писали Смеляков и Твардовский

В широкой и пестрой панораме нашей поэзии конца прошлого и начала нынешнего века Бальмонту принадлежит свое — неотъемлемое и достаточно заметное — место.

1

Великий русский художник Валентин Серов создал великолепную портретную галерею, запечатлевшую облик элиты старой России в эпоху, предшествовавшую ее историческому крушению. Здесь и родовитая знать, и финансовые тузы, и прославленные писатели, артисты, художники, профессора, адвокаты. Среди них — представители «всей Москвы» девяностых и девятисотых годов, вчерашние заскорузлые «миллионщики», сегодняшние меценаты, утонченные ценители Сезанна и Гогена, ревнители новейшей идеалистической философии, опекуны русского театра, — все эти «задушенные фраками» Морозовы, Мамонтовы, Гиршманы, в обрамлении «пернатых, страстных дам, прекрасных дам в ротондах модных» *(А. Белый)*.

Не обошел Серов своим вниманием и Константина Дмитриевича Бальмонта, как всегда, ухватив самую суть его человеческого и поэтического характера. Поглядишь на рисунок Серова — и сразу видно, что изображен не кто-нибудь, а знаменитый поэт, русский Бодлер или русский Верлен: эффектная поза, вдохновенно закинутая голова, орхидея в петлице...

Появление Бальмонта в серовской галерее совершенно закономерно: Бальмонт неотделим от обстановки и атмосферы тогдашней Москвы. В состав этой обстановки и атмосферы входило и раннее русское декадентство, зародившееся в середине девяностых годов именно в матушке Москве.

Бальмонт, фигура резко характерная и во многих отношениях неповторимая, с головы до пят был человеком декаданса. Для него декадентство служило формой не только эстетического отношения к жизни, но — самой жизни, личной жизни поэта. Он существовал как бы в другом, нематериальном, выдуманном им самим мире, — в мире музыкальных звуков, шаманского бормотанья, экзотических красок, первобытной космогонии, бесконечных, набегающих одно на другое художественных отражений.

Усвоенная Бальмонтом поза «стихийного гения», которому «все дозволено», нарочитый эгоцентризм и маскарадный «демонизм», открытое пренебрежение условностями общежития, узаконенными буржуазно-мещанской моралью, — все это стало для него как бы нор-

мой быта и поведения. Всеми доступными ему средствами он утверждал свое право на «свободу» и «безумие» («Красота и безумие — сестры», — твердил он вслед за Тирсо де Молиной), все и вся оправдывая «ветроподобной душой поэта». Такого рода наигранный эпатаж, наивный и смешной, был в моде и в ходу среди молодых московских декадентов. Из дневника разумного и уравновешенного Брюсова середины девяностых годов мы знаем, что он и его товарищи самозабвенно играли в «сверхчеловеков» и «демонистов», причем игры («безумные вечера»), как правило, вульгарно заканчивались «трактиром и вертепом». В тогдашних записях Брюсова неизменно фигурирует Бальмонт — «ликующий, безумный, эдгаровский», — впрочем, Брюсов тут же оговаривается: «Многое, конечно, в его настроении делано». [1]

Не удивительно, что вокруг Бальмонта плодилось множество россказней, сплетен и анекдотов. В частности, на все лады обсуждался его исключительный успех у женщин, его бесконечные романы, из которых он не делал секрета. Все вместе это слагалось в некую легенду о Бальмонте, о распространении которой более всех старался сам Бальмонт, беспрерывно пополняя ее все новыми и новыми подробностями.

«Стихийному гению» приличествовало иметь не ординарную, а из ряда вон выходящую, романтическую биографию и генеалогию. Семья Бальмонтов, несмотря на иностранную фамилию, была вполне русская. По семейному преданию, далекими предками их были какие-то шотландцы (или скандинавы), неисповедимыми судьбами занесенные в Россию. Этого было достаточно, чтобы Бальмонт придумал себе пращура — некоего викинга Балмута, отважного пенителя морей, который через столетия вдунул свою вольную, скитальческую душу в русского поэта. Или стоило Бальмонту поверить, что мать его (Лебедева) происходила от татарского князя Белый Лебедь Золотой Орды — и он уже не мог пройти мимо столь заманчивого обстоятельства и сочинил поэму «Белый лебедь» — в доказательство того, что именно от золотоордынского предка унаследовал он «необузданность и страстность», отличающие его душевный строй.

Репутация «стихийного гения» обязывала. Отсюда — все «странные поступки» и «безумия» Бальмонта, подсказанные примерами Эдгара По, Бодлера, Верлена и долженствующие имитировать «сверхчеловеческий образ жизни». Бывало, что, благодаря душевной неуравновешенности Бальмонта, такого рода выходки оборачивались

---

[1] Валерий Брюсов, Дневники. 1891—1910, М., 1927, сс. 20, 23.

трагически, — так однажды, в состоянии нервного припадка, он выбросился из окна и сильно изувечился. Но по большей части «странные поступки» приобретали характер определенно комический.

Был такой случай, когда молодой Бальмонт в Париже, находясь под винными парами, лежал на мостовой — и через него переехал фиакр. Сам пострадавший был в восторге: такого не случалось даже с Верленом. В другом случае он взбирается на дерево, чтобы прочитать оттуда свои стихи, и беспомощно повисает на ветке. В третьем — очарованный лунными отблесками на воде, забирается по горло в пруд — в пальто, в шляпе и с тростью в руке.

Андрей Белый, набросавший превосходный гротескный портрет Бальмонта во втором томе своих мемуаров, вообще утверждал, что «вне комической, трагикомической ноты» он «и не описуем».[1] Вот главные черты этого словесного портрета, отчасти корректирующие парадный рисунок Серова: тщедушный человек «очень невзрачного вида», с исхудалым бледносерым лицом, с каре-красными глазками и рыжекрасной бородкой, с прихрамывающей походкой; «движения стянуты в позу: надуто-нестрашным надменством»; пьянел от двух рюмок, впадал в болтливость и заносчивость, трезвел так же мгновенно.

Закидывая свою рыжекудрую голову, Бальмонт ошарашивал окружающих неслыханным самохвальством. Не только в салонной беседе или литературном споре, но и в печати без тени смущения утверждал, например, такое: «Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели в России писать звучные стихи».[2]

Личность Бальмонта, бесспорно, впечатляла. Недаром образовалась целая антология посвященных ему стихотворений (М. Лохвицкой, В. Брюсова, А. Белого, Вяч. Иванова, М. Волошина, С. Городецкого и др.). Все они закрепляли за Бальмонтом и образ и репутацию «стихийного гения», «вечно вольного, вечно юного» Ариона, избранного богами на одно песнетворчество, чуждого бурям и страстям здешнего мира, обреченного одиноко стоять «где-то там на высоте» и целиком погруженного в соблазны и откровения собственной бездонной души.

О, кто из нас в лирические бури
Бросался, наг, как нежный Лионель? ..

Из подобного представления символисты делали выводы обобщающие. Брюсов находил объяснение и оправдание житейскому по-

---

[1] Андрей Белый, Начало века, М.—Л., 1933, с. 217.
[2] Автобиография в «Книге о русских поэтах последнего десятилетия», СПб. — М., (1909), с. 35.

ведению Бальмонта в самой природе поэзии: «Он переживает жизнь, как поэт, и как только поэты могут ее переживать, как дано это им одним: находя в каждой минуте всю полноту жизни. Поэтому его нельзя мерить общим аршином».[1] С другой стороны, символистская критика в личности поэта, в его «странной, загадочной жизни» искала ключ к его творчеству: «Бальмонт своей личной жизнью доказал глубокую, трагическую искренность своих лирических движений и своих лозунгов».[2]

При всем том представление о Бальмонте как о визионере, погруженном в заоблачные дивинации, остается неполным. В нем удивительным образом уживалось два человека.

Одного он *сделал* по образу и подобию «страшного Эдгара» и «трагического Бодлера» — как некую модель *поэта*, «стихийного гения». Другой — натуральный, каким создала его природа: любознательный, нервный, добродушный и слабовольный. У себя, в четырех стенах, в кругу самых близких людей — он как бы перерождался: самоуверенность и заносчивость как ветром сдувало, — напротив: «трудно было встретить такого приятного, предупредительно-приветливого человека» *(П. Перцов)*; тут он представал в совершенно новом облике: «робкий, с пленительно-грустной, детской улыбкой» *(А. Белый)*. До седых волос сохранял он простодушие и какую-то неистребимую детскость души и характера. Ему уже за пятьдесят, а он признается в письме к близкому человеку: «Я все еще чувствую себя пламенным гимназистом, застенчивым и дерзким» *(ЦГАЛИ)*.

Натуральный Бальмонт был неутомимым тружеником. Больше всего в жизни он любил и ценил ученые занятия. Уверял, что с тринадцати лет, когда узнал английское слово self-help (самопомощь) и вник в его смысл, «всей душой полюбил исследование и умственную работу, и с тех пор неустанно работает, не щадя своих сил, упиваясь работой, как упиваются вином, и будет работать до конца своих дней».[3] Всю жизнь, всегда и везде, его сопровождали книги, груды книг — греческих, латинских, французских, испанских, португальских, итальянских, английских, немецких, шведских, норвежских, польских... Он «ежегодно прочитывал целые библиотеки», писал регулярно, каждый день, с необыкновенной быстротой, легко изучал языки — один за другим, вплоть до санскрита и каких-то мало кому

---

[1] П. Перцов, Литературные воспоминания, М.—Л., 1933, с. 260.

[2] Эллис, Русские символисты, М, 1910, с. 334.

[3] К. Бальмонт, Революционер я или нет, М., 1918, с. 8.

ведомых наречий. В одном из писем уже зрелой поры он сообщает, что «услаждается» двумя книгами: «О корневом составе китайского языка» и «Анализ иероглифической письменности китайцев». Спорить с ним было опасно — он подавлял своей эрудицией: Халдея, Атлантида, Египет, Мексика, Индия... Круг его интересов не ограничивался литературой, искусством и историей, — он запойно читал на всех языках книги по естественным наукам — по ботанике, химии, минералогии, геологии, палеонтологии.

Но все прочитанное по большей части проходило сквозь Бальмонта, как сквозь сито. Конечно, в его поэзии присутствуют, и в немалом числе, образы истории, культуры, искусства, даже — иногда — науки, но они тонут в бурно разлившемся потоке отвлеченной лирики. А. Белый ядовито заметил, что из всей массы прочитанного по естественно-научной части для своей поэзии Бальмонт извлек одну-единственную невнятную строчку: «Яйцевидные атомы мчатся».

В неутолимой жажде все новых и новых впечатлений Бальмонт объездил чуть ли не весь свет. Ни один русский поэт не ездил так много и так далеко. Известны случаи, когда русские писатели, по обстоятельствам своей судьбы, подолгу живали за границей, иногда оставались там навсегда (Герцен, Тургенев, Тютчев). Но они более или менее прочно сидели на месте, — Бальмонт же был человеком на редкость непоседливым. Уследить за его перемещениями нелегко: сегодня он в Москве, а завтра, глядишь, в Оксфорде или Севилье, а то и в совсем далеких экзотических странах — в Мексике, на Яве.

И все края, где ему довелось побывать, он многословно описывал. Экзотика в стихах и прозе Бальмонта в свое время бесспорно производила сильный эффект. Подавляющее большинство тогдашних русских людей смутно представляло себе, что делается где-то там, за морями и океанами. Доктор Астров в «Дяде Ване», подойдя к географической карте, мог сказать только: «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища — страшное дело!» А Бальмонт всякие «Африки» видел, осмотрел, описал.

«Но, переплыв все моря и пройдя все дороги, он ничего в мире не заметил, кроме своей души».[1] Действительно, извлечь из дорожных впечатлений Бальмонта что-либо конкретное почти невозможно: всюду (за малыми исключениями) — та же лирика, вольные пересказы мифов и фольклора, сам Бальмонт. Казалось, что, изучив

---

[1] Илья Эренбург, Портреты современных поэтов, М., 1923, с. 17.

шестнадцать (кажется) языков, говорил и писал он на особом семнадцатом языке — «на бальмонтовском» *(М. Цветаева).*

В том, что Бальмонт по-человечески горячо и нежно любил Россию, сомневаться не приходится. И все же, несмотря на биографические владимирские корни и русские мотивы в творчестве, он производит впечатление «заморского гостя» в нашей поэзии. Та же Цветаева заметила, что «его любовь к России — влюбленность чужестранца».[1] Суть дела — во впечатлительности и податливости Бальмонта, в его необыкновенной способности воспринимать без разбора и перемешивать самые разные впечатления из всех «миров» (природы, культуры, искусства). Он поистине «все принимал» («Всё приму, всё возьму, у других отнимая...»). В том числе — и Россию, «усталую нежность русской природы». Поэтому столь неорганична русская тема в поэзии Бальмонта: она не более как одна из тех многообразных личин, которые примеряет «принимающий все» лирический герой. И только под конец жизни, роковым и непоправимым образом потеряв родину, Бальмонт пережил настоящий, искренний «роман с Россией»: лучшие из его стихов эмигрантской поры подкупают острым ностальгическим чувством.

В годы же своего творческого становления и подъема Бальмонт целиком отдавался, говоря его же словами, «могучему и сладостному» ощущению победы над «веками и пространствами», превыше всего ценил свою «многогранность», свою способность быть душой «везде» — и в индийской мистике, и в испанской поэзии, и в мифологии майя, и... в русских былинах. Это вовсе не то окрыляющее поэта чувство всеобщности и целостности мира и своего единства с миром, которое питало, к примеру говоря, великую поэзию Тютчева и Блока, но безразборчивая *всеядность* — типическая черта декадентской эстетики и декадентского искусства. В стихах Бальмонта она проступает с отчетливостью демонстративной.

В свое время Бальмонт был очень знаменит. Он первый из гонимых и осмеянных декадентов девяностых годов достиг всероссийской известности. Сейчас этому не так легко поверить, но его действительно знала «вся Россия» (читающая Россия, разумеется). По словам Брюсова, Бальмонт в течение целого десятилетия «нераздельно царил над русской поэзией»,[2] — и в этом нет ни грана преувеличения. Подразумевались годы 1895—1904. В это время расплодилось обильное племя бальмонтистов и бальмонтисток — его восторженных почита-

---

[1] Марина Цветаева, Проза, Нью-Йорк, 1953, с. 260.
[2] «Весы», 1907, № 1, с. 69.

телей и беззастенчивых подражателей и в жизни и в поэзии.[1] Причем под обаяние стихов Бальмонта подпадали подчас и люди, по существу от него страшно далекие. Недолгое, но сильное увлечение лирикой Бальмонта пережил Горький. Поэт-демократ Г. Мачтет, автор знаменитой песни «Замученный тяжкой неволей...», восхищался Бальмонтом и открыто подражал ему.[2]

К 1905 году Бальмонт потерял первое место на поэтической сцене. Но слава его держалась еще долго. Репутация поэта, как правило, всегда отстает от действительного развития поэзии. Так случилось и с Бальмонтом: на сцене подвизались уже новые герои — сперва Брюсов, потом Блок, но Бальмонт, к тому времени исчерпавший свои возможности, во мнении «широкой публики» все еще пользовался титлом и авторитетом первого из новомодных поэтов. Раньше других символистов получил он признание и в высоком академическом кругу: здесь произвели впечатление его отличное знание мировой литературы, целая библиотека выполненных им переводов, личные связи его с учеными людьми Запада. В 1912 году, по случаю 25-летия литературной деятельности Бальмонта, Неофилологическое общество при Петербургском университете посвятило ему торжественное собрание и отдельный выпуск своих «Записок». И только в 1918 году, когда в Москве устроили выборы «короля поэтов», Бальмонт оказался на третьем месте (первое занял Игорь-Северянин, второе — Маяковский). А потом, вскоре, наступило забвение.

Когда-то, в литературном фельетоне, Андрей Белый охарактеризовал Бальмонта как инопланетное существо, ненароком залетевшее на Землю — чтобы «бледным нежитем пройтись по Арбату», а потом снова чертить круги по орбите Земля—Луна—Солнце—Земля.[3] Это, конечно, символистская стилизация, отчасти в духе самого Бальмонта. Однако так, а не иначе воспринимали поэта его современники. Аспект восприятия знаменателен, но внеисторичен. За эволюциями и фиоритурами инопланетного существа стояло реальное, «арбатское» бытие. Бальмонта знают мало, судят о нем понаслышке, — так что есть очевидный смысл воспроизвести, хотя бы в сжатом виде, пеструю канву его длинной жизни.

---

[1] В 1896 г. Брюсов уже пишет о «школе Бальмонта», зачисляя в нее М. Лохвицкую и еще нескольких мелких поэтов (Е. Варженевскую, А. Курсинского, Голикова). «Все они перенимают у Бальмонта и внешность: блистательную отделку стиха, щеголяние рифмами, ритмом, созвучиями, — и самую сущность его поэзии» («Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову», М., 1927, с. 78).

[2] См.: «Поэты-демократы 1870—1880-х годов», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1968, сс. 259 и 741.

[3] См.: Андрей Белый, Луг зеленый, М., 1910, сс. 212—221.

2

Константин Дмитриевич Бальмонт родился 4 июня 1867 года в Гумнищах Шуйского уезда Владимирской губернии. Это была маленькая деревушка — с десяток изб, не более, а при ней скромная усадьба — старый дом, окруженный тенистым садом, «красивое малое царство уюта и тишины».[1]

Отец поэта, Дмитрий Константинович, небогатый помещик, сын морского офицера, полвека прослужил в шуйском земстве — мировым посредником, мировым судьей, председателем съезда мировых судей и, наконец, председателем уездной земской управы. В 1906 году он вышел в отставку, год спустя — умер. Это был честный служака-земец, много хлопотавший о распространении грамотности, человек голубиной кротости. Единственной владевшей им страстью была охота.

Тон в семье задавала мать — Вера Николаевна (1843—1909), генеральская дочка, получившая институтское воспитание, женщина эмансипированная в духе своего времени, натура в высшей степени деятельная. Она и учила и лечила крестьян, устраивала любительские спектакли и концерты, подчас печатала кое-что свое в провинциальных газетах. В Шуе она пользовалась большой известностью и уважением. Бальмонт утверждал: «Из всех людей моя мать, высокообразованная, умная и редкостная женщина, оказала на меня в моей поэтической жизни наиболее глубокое влияние. Она ввела меня в мир музыки, словесности, истории, языкознания. Она первая научила меня постигать красоту женской души...» («На заре»).

Достатки в семье были очень скромны, обстановка — демократическая, без дворянских замашек и предрассудков. Впрочем, в семье еще жила память о бабушке — жестокой и строптивой крепостнице, и дотягивала век ветхая ключница Устинья — живая летопись стародавних времен. «Жуткие призраки» прошлого, — говорит Бальмонт, — навевали «глубокую думу» на его детскую душу.

Рос он как все дети в тогдашних интеллигентских семьях. Слушал и запоминал народные песни и сказки, стихи Никитина и Коль-

---

[1] К. Бальмонт, Революционер я или нет, с. 9. Обстановка усадебного и провинциального быта, окружавшая Бальмонта в детстве, отрочестве и ранней юности, воссоздана в его автобиографическом романе «Под новым серпом» (Берлин, 1923). В герое романа Георгии Гирееве без труда можно узнать Бальмонта. См. также автобиографию, датированную 17 мая 1903 г. (С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. 6, СПб., 1904, сс. 375—377), и автобиографический очерк «На заре» (газета «Сегодня» (Рига), 1929, 29 сентября).

цова. Пяти лет самостоятельно научился читать (подсматривая за старшим братом, которого учила мать), и растроганный отец подарил ему первую книжку, нечто о дикарях-океанийцах. Потом пошло запойное чтение: Пушкин и Жуковский, Лермонтов и Некрасов, Андерсен и неизбежные Жюль Верн, Майн Рид, Эмар, несколько позже — Аксаков, Гоголь, Тургенев, Глеб Успенский, Решетников, «первые водители отроческих и юношеских размышлений о русском народе и неправде мира».[1] Чтение пустило глубокие корни: стойкую любовь к таким писателям, как Некрасов и Аксаков, Бальмонт пронес через всю жизнь, что было несколько неожиданно для одного из столпов русского декадентства.[2]

В духовном развитии юного Бальмонта известную роль бесспорно сыграло то обстоятельство, что вырос он не где-нибудь, а именно в Шуе. Этот уездный городок порядком отличался от кондовой русской провинции семидесятых — восьмидесятых годов с ее застойным патриархальным бытом. Шуя уже в XVIII веке стала одним из центров бурно развивавшейся отечественной текстильной промышленности, «русским Манчестером». Внеземледельческим трудом в Шуйском уезде занималось свыше девяноста процентов взрослого мужского населения; и в самом городке и в окрестных селах были расположены десятки фабрик — бумагопрядильных, ткацких, красильных, ситценабивных. Львиную долю населения Шуи составляли мещане-ремесленники и крестьяне, работавшие на местных фабриках, — складывающийся пролетариат. Весь облик Шуи поднимал ее над уровнем обычного уездного захолустья: здесь было больше благоустройства, имелись две гимназии — мужская и женская, земская публичная библиотека, даже театр.

Все это, естественно, накладывало отпечаток на местный быт, расшатывало сословные перегородки, повышало температуру жизни. Общественное брожение семидесятых годов находило здесь благодарную почву, захватывало широкий круг молодежи — фабричный люд, тянувшихся к просвещению купчиков и мещан, разную мелкую сошку. Может быть, в Шуе еще помнили местного жителя

[1] К. Бальмонт, Революционер я или нет, с. 10.

[2] Бальмонт чрезвычайно высоко оценил поэзию Некрасова в статье, посвященной его памяти («Новый путь», 1903, № 3; под заглавием «Сквозь строй» перепечатано в книге Бальмонта «Горные вершины», М., 1904). И позже он восторженно писал о «несравненном, единственном Некрасове», создавшем «новую поэтику вне так называемого поэтического» («Революционер я или нет», сс. 6 и 33). Апология С. Т. Аксакова как мастера «истинной, исконной, чистой, превосходнейшей русской речи» содержится в статье Бальмонта «Русский язык» («Современные записки», кн. 19, Париж, 1921).

Сергея Нечаева (служившего в конторе будущего тестя Бальмонта) и связанное с его именем громкое политическое дело 1873 года.

Гимназист Бальмонт (его отдали в приготовительный класс в 1876 году) учился лениво и небрежно, много читал, в десять лет сочинил свои первые стихи, но они были так строго разобраны просветительницей-матерью, что молодой автор растерялся и прикусил язык на целых шесть лет. Наступила юность — и тут уже пошли стихи всерьез, а также жадное ознакомление с иностранной литературой, увлечение немецкими поэтами (Ленау, Гейне, Гёте), самостоятельное изучение языков, попытки углубления в области истории, философии, филологии.

Впоследствии Бальмонт уверял, что «в юности более всего увлекался общественными вопросами», — выражаясь фигурально, прислушивался, «как гудят на фабриках свистки». Его интересовали социальные движения, русский раскол и сектантство, артель и община, законы политической экономии. Большое впечатление произвела на него книга бельгийского экономиста Лавелэ «Современный социализм» (русское издание, под редакцией М. А. Антоновича, 1882 года). Правда, сам социализм «показался скучным», зато помещенный в приложении к книге очерк о Кропоткине и других русских революционерах — воспламенил воображение.

Глубокое влияние на юного Бальмонта оказал его старший брат Николай (умерший в молодых летах в помешательстве на почве религиозной мании). Тем не менее Бальмонт вступал с братом в запальчивые споры. Сохранилось любопытное письмо семнадцатилетнего Бальмонта (от 3 марта 1885 года) к Николаю, который вознамерился уйти в монахи. Младший брат видит в этом намерении измену истинной «цели нашей жизни», которая заключается в стремлении улучшить «тот свет, в котором мы живем». Забота о «спасении своей души» — это чистый эгоизм: «Ты хочешь забыть о тех, которые нуждаются в пòмощи, закрыть глаза на их нужды... Ты будешь жить на счет народа, не давая ему взамен ничего». Попутно народолюбивый гимназист высказывает кощунственные сомнения насчет троичности божества и других церковных догматов: «Не верю, не хочу верить и никогда не поверю...» *(ЦГАЛИ)*. При всей наивности тона, письмо это внятно говорит об убеждениях юноши.

Гимназию с ее казенщиной и муштрой Бальмонт ненавидел. Он даже хотел бросить ее (родители не позволили), строил различные и одинаково беспочвенные планы — пойти в народ пропагандистом, уйти к сектантам, стать писателем. Судьба распорядилась иначе. Летом 1884 года Бальмонт был исключен из VII класса по обвине-

нию в «государственном преступлении», а именно — в принадлежности к революционному кружку.

Кружок образовался в Шуе в 1883 году и просуществовал около года.[1] В него входили местные гимназисты-старшеклассники (вожаком у них был Ф. В. Ильин), заезжие студенты, несколько молодых учителей сельских школ, какая-то «артистка» М. В. Ильина (очевидно, сестра гимназиста) — всё разночинцы, из поповичей, купчиков, мещан и даже «рабочего сословия» (из дворян был один Бальмонт). Во главе кружка стоял находившийся под надзором полиции смотритель местной земской больницы Иван Предтеченский — человек нищий и чахоточный, сын дьячка, кончивший Шуйское духовное училище.[2] Сблизилась с кружком и местная знаменитость — некий Яков Рассадин (по матери — Смёткин), самоучка из мещан, проживавший в бочке, ходивший босиком, в веригах и в простыне с надписью: «Друг народа Смёткин-демократ, циник-эпикуреец, раб непринужденности и братской откровенности». Бывали в кружке и приезжие — из губернского Владимира и даже из Москвы и Петербурга.[3] Кружок находился в сношениях с известным писателем-народником Н. Н. Златовратским.

В кружке читали и хранили нелегальную литературу, толковали об устной пропаганде. Так, из документов выясняется, что 29 декабря 1883 года в квартире Предтеченского состоялось «большое собрание, на котором присутствовавшие рассуждали о притеснении рабочих и эксплоатации труда, о степени необходимости организации для пропаганды социалистических идей и революционной деятельности вообще, а также относительно положения партии Народной Воли и Черного Передела». В апреле 1884 года члены

---

[1] См.: Н. Д. Агриков, Шуйский противоправительственный кружок 80-х годов прошлого столетия. — «Историко-революционный сборник», Труды Иваново-Вознесенского губернского научного общества краеведения, вып. 4, Иваново-Вознесенск, 1926, сс. 23—68. Там же, сс. 69—70: А. Н. Овсянников, Из школьных лет К. Д. Бальмонта — история увольнения его из Шуйской гимназии (1884 год). По документам секретного архива гимназии.

[2] Предтеченский бывал в доме Бальмонтов, суфлировал на любительских спектаклях, которые устраивала хозяйка дома. Как поднадзорного, его отовсюду «гнали», и именно В. Н. Бальмонт пристроила гонимого в больницу, находившуюся в ведении ее мужа, председателя земской управы.

[3] Сам Бальмонт указал, что его вовлек в кружок какой-то Д. — «литератор», приезжавший в Шую (впоследствии он был арестован и «повел себя как предатель»); именно он привез «литературу», которую Бальмонт взялся хранить у себя («Революционер я или нет», сс. 11—12). Но в документах следствия Д. не упоминается.

кружка распространили по Шуе (размножили на гектографе и расклеили по городу) прокламацию Исполнительного комитета партии «Народная Воля» по поводу известного убийства в Петербурге жандармского полковника Судейкина.

Вероятно вследствие доноса, кружок был раскрыт. Пошли аресты, обыски и допросы. Первым, в июле 1884 года, взяли Якова Рассадина. У него нашли «возмутительные стихи», в том числе и собственной фабрикации. На допросах он бойко ссылался не только на издания народовольцев, на Лаврова и Льва Толстого, но и на Лассаля, Либкнехта и Маркса. Затем был арестован Иван Предтеченский. В августе был привлечен к дознанию и удален из гимназии Ф. В. Ильин. В сентябре очередь дошла до Бальмонта. Очевидно из уважения к общественному положению его отца, арестован он не был, обыска у него не производили — и «литературу» не обнаружили. Юношу подвергли допросу. Он от всего отперся.

Членов кружка — гимназистов было приказано раскассировать по другим, иногородним, гимназиям с установлением над ними «особого надзора гимназического начальства». Судьба остальных оказалась не в пример тяжелее: Предтеченский в начале 1886 года умер в тюрьме от злокачественной чахотки, а Рассадин окончательно впал в безумие. Один из участников кружка (Круковский), узнав о смерти Предтеченского, устроил общественную демонстрацию: явившись к местному жандармскому подполковнику Завьялову (инициатору и вершителю «дела»), публично дал ему пощечину.

В конце 1884 года Бальмонт, благодаря энергичным хлопотам матери, был зачислен в гимназию в ближайшем губернском городе Владимире. Здесь он с грехом пополам закончил курс, «прожив, как в тюрьме, полтора года под надзором классного наставника, в квартире которого ему было приказано жить» (это был чех Седлак, учитель греческого языка). Далее в автобиографии сказано: «Гимназию проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему».

Вырвавшись на волю, летом 1886 года Бальмонт в земской таратайке исколесил всю Владимирскую губернию (пристроился к технологу В. Ф. Свирскому, ездившему с ревизией по заводам и фабрикам). «Это было первое мое настоящее прикосновение к разным ликам чарующей природы России», — вспоминал Бальмонт много лет спустя.[1]

---

[1] К. Бальмонт, Волга. — «Перезвоны» (Рига), 1927, № 34, с. 1091.

Осенью Бальмонт поступил на юридический факультет Московского университета. Правовыми науками он не интересовался, но усидчиво изучал немецкую литературу и историю Великой французской революции. Пребывание в кружке Ивана Предтеченского не прошло для него бесследно: он принадлежал к числу «мыслящих студентов», в общественном отношении наиболее активных, и в ноябре 1887 года был задержан полицией как один из организаторов студенческих беспорядков (вспыхнувших в связи с введением в действие нового, крайне жесткого, университетского устава).[1] Хотя и недолго (всего три дня), он все же посидел в Бутырской тюрьме (чем, к слову сказать, впоследствии очень гордился и козырял), был исключен из университета и в административном порядке выслан в Шую.

Здесь он тоже не смирился духом, сблизился с полуобразованным рабочим (гравером) А. Бердниковым, который распространял в Шуе революционные листовки (вскоре был схвачен и умер в тюрьме), а будучи наездом во Владимире, вошел в сношение с кружком «политических», вернувшихся из сибирской ссылки. Один из них уверил Бальмонта в том, что сохранил связь с какой-то боевой народовольческой организацией, — и Бальмонт через него «предложил себя для террористического акта». Из всего этого «ничего не вышло, кроме разговоров», и пережитое разочарование якобы навсегда оттолкнуло Бальмонта от «каких-либо партий».[2]

Осенью 1888 года Бальмонт снова определился в Московский университет, но и на сей раз не удержался в нем: через несколько месяцев вышел — «по причине нервного расстройства».

Вскоре (10 февраля 1889 года) он женился на Ларисе Михайловне Гарелиной, красивой девушке «боттичеллиевского типа», дочери шуйского фабриканта. Ему было неполных 22 года, ей — и того меньше. Родители Бальмонта были против брака, — он пошел на разрыв с семьей, с обожаемой матерью. Ранней весной молодожены отправились путешествовать (Кабарда, Военно-Грузинская дорога, Тифлис, Закавказье, Каспий, Волга — от Астрахани до Костромы). Осенью Бальмонт сделал еще одну, опять неудачную и на сей раз последнюю, попытку приобрести высшее образование: поступил в ярославский Демидовский лицей юридических наук, продержался

---

[1] О крупных студенческих волнениях, разгоревшихся в Москве в ноябре 1887 г., см.: В. И. Орлов, Студенческое движение Московского университета в XIX столетии, М., 1934, сс. 192—199.

[2] К. Бальмонт, Революционер я или нет, сс. 13—14.

там недолгое время, снова «нервно захворал» и уже окончательно решил заняться самообразованием.[1]

Молодая чета Бальмонтов поселилась в Москве, в убогих студенческих «номерах». Семейная жизнь сложилась неудачно; говоря словами Бальмонта, она показала ему любовь «в демоническом лике, даже в дьявольском». Жена оказалась натурой неврастенической, изводила Бальмонта ревностью, и, кажется, именно она приохотила его к вину (намек на это есть в исповедальном стихотворении «Лесной пожар»).

Нервная система Бальмонта в самом деле была изуродована. Семейные неурядицы с их «мучительными сценами», неустроенность в жизни и неуверенность в будущем привели к тому, что утром 13 марта 1890 года, только что, ночью, прочитав «Крейцерову сонату» Толстого (последняя новинка, ходившая по рукам в списках), он решил покончить расчеты с жизнью: выбросился из окна третьего этажа на мощенный булыжником двор и изувечился столь основательно, что на целый год оказался прикованным к постели. Происшествию этому Бальмонт придавал значение провиденциальное: дыхание смерти, дескать, пробудило в нем «творческую мечту».[2]

К этому времени Бальмонт окончательно осознал себя поэтом и литератором. У него только что вышла первая книжка — тощий и бедняцки изданный «Сборник стихотворений», выпущенный авторским иждивением в Ярославле. «Начало литературной деятельности, — писал Бальмонт в автобиографии, — было сопряжено со множеством мучений и неудач. В течение четырех или пяти лет ни один журнал не хотел меня печатать.[3] Первый сборник моих стихов... не имел, конечно, никакого успеха. Первый мой перевод-

---

[1] В ЦГАЛИ имеется свидетельство Демидовского лицея, выданное Бальмонту 13 сентября 1890 г., об отчислении его из состава студентов.

[2] Во всех подробностях эта история изложена Бальмонтом в автобиографическом рассказе «Воздушный путь» («Русская мысль», 1908, № 11; вошло в кн.: К. Бальмонт, Воздушный путь, Берлин, 1923). См. также рассказы «Крик в ночи» и «Белая невеста» (в той же книге) и стихотворение «Воскресший» (№ 54 наст. издания).

[3] Литературный дебют Бальмонта состоялся в самом конце 1885 года, когда он был еще в последнем классе гимназии. Это три стихотворения, появившиеся в популярном, расходившемся по всей России петербургском журнале «Живописное обозрение» (24 ноября — 7 декабря). Событие это не было замечено никем, кроме классного наставника, попечению которого был вверен Бальмонт и который запретил ему печататься впредь до окончания гимназического курса.

ный труд (книга норвежского писателя Генрика Иегера о Генрике Ибсене) была сожжена цензурой. Близкие люди своим отрицательным отношением значительно усилили тяжесть первых неудач». [1]

«Близкие люди» — это, во-первых, жена Лариса, во-вторых — товарищи и друзья из числа «мыслящих студентов». Книжку Бальмонта они встретили враждебно, оценили ее как измену общему делу, как трусливое бегство от общественной борьбы в тихую заводь чистого искусства. Бальмонт остро переживал и этот конфликт и неуспех своей книжки, сам уничтожил почти весь ее мизерный тираж (потому она столь редка), однако в конечном счете лишь укрепился на своих новых позициях: отказавшись от активного участия в решении «общественных вопросов», всецело и бесповоротно обратился к «вопросам искусства и религии», хотя (как подчеркнул он в той же автобиографии) «мысль о воплощении человеческого счастья на земле» осталась ему навсегда дорога. Вообще до конца жизни он считал себя человеком левых убеждений.

Гражданственная нота в жалостно-надсоновской аранжировке, с горькими упреками, обращенными к самому себе, продолжала звучать в тогдашней лирике Бальмонта. Вот несколько строф из, очевидно, не попавшего в печать стихотворения «Черный год», — это отклик на страшный голод, посетивший Россию в 1891 году:

Мой край родной, мой край многострадальный!
Ужели ты изведал мало бед?
В слезах, в крови всегда твой лик печальный,
В твоей душе веселью места нет.

. . . .

Народ родной, ты истекаешь кровью!
О, если б у тебя нашелся друг,
Который, наклонясь к тебе с любовью,
С тебя бы сбросил бремя страшных мук!

Но нет его... Веселою толпою
Пируем мы... Кто ты? Незваный гость!

---

[1] С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь..., т. 6, с. 376.

Лишь, как собаке, мы тебе порою
Швырнем в окно обглоданную кость...[1]

Порвав с прежним приятельским кругом, пережив тяжелую личную драму и литературную неудачу, поссорившись с семьей, Бальмонт очутился в трудном положении: не встречая ниоткуда ни ободрения, ни поддержки, он буквально голодал. К счастью, на пути его все же встретились добрые люди.

Здесь прежде всего нужно назвать В. Г. Короленко. В сентябре 1891 года в письме к М. Н. Альбову (одному из тогдашних редакторов «Северного вестника») Короленко рекомендовал Бальмонта как способного поэта, давно ему известного: «Теперь он явился ко мне, сильно примятый разными невзгодами, но, по-видимому, не упавший духом... Он, бедняга, очень робок, и простое, внимательное отношение к его работе уже ободрит его и будет иметь значение».[2] Участие, которое принял Короленко в судьбе Бальмонта, имеет свою предисторию.

Почти за шесть лет до того, в декабре 1885 года, гимназист-восьмиклассник Бальмонт, только что впервые напечатавшийся в «Живописном обозрении», лично познакомился с Короленко, уже знаменитым писателем, приехавшим во Владимир в гости к людям, которых знал Бальмонт и которые ему протежировали. Они показали его стихи приезжему писателю, тот заинтересовался ими и увез их с собой, а через некоторое время прислал автору письмо (от 23 февраля 1886 года) с подробным отзывом.[3] Отзыв был строгий, но в общем сочувственный и обнадеживающий. Короленко советовал юному поэту не торопиться с печатаньем, но предрекал, что в случае, если он сумеет сосредоточиться и по-настоящему полюбит работу, есть шансы со временем услышать от него «нечто незаурядное». Ободряющие слова Короленко воодушевили Бальмонта и в

---

[1] Автограф в архиве А. Н. Пыпина *(ГПБ)*.

[2] В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, М., 1936, сс. 68—69. Тогда же Короленко рекомендовал Бальмонта известному издателю Ф. Ф. Павленкову (там же, сс. 69—70). Вероятно, он обращался и к другим лицам: в единственном дошедшем до нас письме Бальмонта к В. Г. Короленко (от 31 декабря 1891 г.) выражена благодарность за установленные при его помощи знакомства с «интересными людьми» в Петербурге (там же, с. 70).

[3] Письмо В. Г. Короленко опубликовано в «Молодой гвардии», 1957, № 6, сс. 207—209. Между прочим, это первое из дошедших до нас писем Короленко литературно-педагогического характера. Из письма выясняется, что Короленко хотел показать стихи Бальмонта поэту А. Н. Плещееву. Увезенная из Владимира тетрадка стихов Бальмонта сохранилась в архиве Короленко *(ЛБ)*.

дальнейшем не раз служили ему «талисманом для трудных минут».[1]

Двумя другими литературными деятелями, существенно поддержавшими молодого Бальмонта, были П. Ф. Николаев и Н. И. Стороженко. Первого из них Бальмонт не без оснований назвал «особенным человеком». Это был известный публицист и переводчик, тесно связанный с революционным подпольем шестидесятых годов (с кругом Ишутина — Каракозова). Обвиненный в умышлении на цареубийство, он прошел через заключение в Петропавловской крепости, каторгу и ссылку. По возвращении из Сибири он был поселен во Владимире, но потаенно бывал в Москве, где и познакомился с ним Бальмонт в 1887 году, в самый разгар студенческих беспорядков (П. Ф. Николаев тоже участвовал в них как советчик). Любопытно, что именно этот старый революционер ненароком натолкнул Бальмонта на занятия поэзией Шелли (поручил ему перевести очерк Г. Брандеса об английском поэте).

Н. И. Стороженко, профессор Московского университета, глубокий знаток и авторитетный исследователь европейских литератур, человек добрейшей души, в свою очередь поддержал Бальмонта в самое трудное для него время, когда он «месяцами и месяцами не знал, что такое быть сытым, и подходил к булочным, чтобы через стекло полюбоваться на калачи и хлебы». Бальмонт отнес Стороженко свою статью о Шелли («из рук вон плохую»), и тот принял в его судьбе живое участие: руководил его занятиями, снабжал книгами, а главное — доставил средства к существованию. Бальмонт на всю жизнь сохранил к нему «сыновнюю любовь и признательность».

П. Ф. Николаев и Н. И. Стороженко уговорили знаменитого московского издателя-мецената К. Т. Солдатенкова поручить Бальмонту перевод двух фундаментальных сочинений — «Истории скандинавской литературы» Горна — Швейцера и двухтомной «Истории итальянской литературы» Гаспари (оба перевода вышли в свет в

---

[1] «Видящие глаза». Страницы воспоминаний К. Д. Бальмонта. Памяти В. Г. Короленко, П. Ф. Николаева и проф. Н. И. Стороженко. — «Последние известия» (Ревель), 1922, 17 марта. Также: К. Бальмонт, На заре. — «Сегодня» (Рига), 1929, 29 сентября (перепечатка: «Простор», 1967, № 6). В 1894—1895 гг. Короленко привлек Бальмонта к сотрудничеству в «Русском богатстве». В дальнейшем Бальмонт виделся с В. Г. Короленко еще дважды: в середине 90-х годов ездил к нему в Нижний Новгород, а в феврале 1916 г. навестил его в Полтаве (см.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, с. 70; дата визита, указанная самим Бальмонтом: весна 1917 г. («Последние известия», 1922, 19 марта) — неверна).

1894—1895 гг.). «Эти работы были моим насущным хлебом целых три года и дали мне возможности желанные осуществить свои поэтические мечты», — говорит Бальмонт в очерке «Видящие глаза».

Годы 1892—1894 явились для Бальмонта временем профессионального самоопределения. Он встает на ноги, приступает к осуществлению обширных замыслов (полный перевод Шелли и др.), получает доступ в журнально-газетную прессу, расширяет круг своих литературных знакомств, вступает в Общество любителей российской словесности, начинает выступать с публичными лекциями. Крупную роль в жизни и в творческой работе Бальмонта сыграла его встреча с известным адвокатом кн. А. И. Урусовым — знатоком новейшей европейской литературы, театра и искусства.[1]

В сентябре 1894 года в студенческом Обществе любителей западной литературы Бальмонт познакомился с Брюсовым. Знакомство вскоре перешло в литературную (а на некоторое время и личную) дружбу. Впоследствии Брюсов так вспоминал о тогдашнем Бальмонте, «жизнерадостном и полном самых разнообразных литературных замыслов»: «Его исступленная любовь к поэзии, его тонкое чутье к красоте стиха, вся его своеобразная личность произвели на меня впечатление исключительное. Многое, очень многое мне стало понятно, мне открылось только через Бальмонта. Он научил меня понимать других поэтов, научил по-настоящему любить жизнь... Вечера и ночи, проведенные мною с Бальмонтом, когда мы без конца читали друг другу свои стихи и стихи своих любимых поэтов: он мне — Шелли и Эдгара По, я ему — Верлена, Тютчева (которого он тогда не знал), Каролину Павлову, — эти вечера и ночи, когда мы говорили с ним de omni re scibili,[2] останутся навсегда в числе самых значительных событий моей жизни. Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним».[3] В дальнейшем дружеские отношения поэтов расстроились.[4]

В начале 1894 года вышел в свет первый настоящий сборник лирики Бальмонта — «Под северным небом». Незадолго перед тем, в декабре 1893 года, Бальмонт сообщил Н. М. Минскому: «Написал я целую серию стихов (своих) и в январе приступлю к печатанию их отдельной книжкой. Предчувствую, что мои либеральные друзья будут очень меня ругать, ибо либерализма в них нет, а «растлева-

---

[1] См. с. 613 наст. издания, примеч. 20-е.

[2] Обо всем, что можно знать (в смысле: о всякой всячине).

[3] В. Брюсов, Автобиография. — «Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова, т. I, М., 1914, с. 111.

[4] См. с. 615 наст. издания, примеч. 33-е.

ющих» настроений достаточно» *(ИРЛИ)*. Предчувствия эти оправдались лишь частично. Книжка вызвала довольно много (не менее семи) критических откликов, и в большинстве из них, наряду с упреками в склонности к «декадентским фокусам», к «мелочам и побрякушкам в духе Фета» и т. п., все же отмечались и одаренность поэта, и его «собственная физиономия», и «изящество формы», которой он владеет. Наиболее резко отозвался о книжке А. Волынский в «Северном вестнике» (1894, № 4): «совершенная пустота поэтического настроения», «поэтическое бессилие», «литературный комизм, граничащий с поэтической галиматьей».

Первая книжка Бальмонта появилась в то самое время, когда зарождалось русское декадентство, уже присваивавшее себе имя символизма. Накануне, в 1893 году, увидела свет книга Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», естественным дополнением к которой послужила статья Мережковского «Мистическое движение нашего времени» («Труд», 1893, № 4). Тогда же начинается систематическое и активное сотрудничество декадентов в «Северном вестнике». В январе 1894 года в «Наблюдателе» печатается статья (К. Медведского) под знаменательным заглавием: «Символизм на русской почве». Далее — одно за другим — появляются крохотные и отпечатанные мизерным тиражом (по двести, по четыреста экземпляров) издания декадентов, несмотря на свое малое распространение создавшие, тем не менее, обстановку шумного литературного скандала: сборники «Русские символисты» (первый выпуск — март 1894 г., второй — октябрь 1894 г., третий — май 1895 г.), «Natura naturans. Natura naturata» А. Добролюбова (январь 1895 г.), «Chefs d'œuvre» В. Брюсова (май 1895 г.), далее — «Стихотворения» Н. Минского, «Новые люди» З. Гиппиус, «Тяжелые сны» и «Стихи» Ф. Сологуба.

Возникновение декадентского течения в русской литературе объясняется особенностями того исторического времени, когда оно возникло. Резкие социальные сдвиги, ознаменованные выходом на арену истории широких народных масс, подъем классового самосознания и освободительных усилий трудящихся, открывший эру пролетарских революций, привели к крайнему обострению идейной борьбы в девяностые и девятисотые годы. Действенным и важным орудием борьбы стали философия, литература, искусство. Идеологи капитализма были озабочены мобилизацией всех сил и средств ради защиты и укрепления своего зашатавшегося строя.

Декадентское искусство объективно, независимо от желаний и

стремлений отдельных художников, служило этой задаче. В условиях разгоревшейся классовой борьбы оно отвлекало от выдвинутых самой жизнью требований построения общества на новых началах, тянуло в сторону изжившего себя индивидуализма, искало опору в различных филиациях идеалистической мысли.

Неправомерно рассматривать декадентство только как одно из направлений в искусстве или — еще менее того — как некую категорию художественного стиля. Декадентское искусство (поэзия, в частности) явилось следствием и отражением более общего процесса, возникшего, в общеевропейском масштабе, в исторических условиях позднебуржуазной эпохи, а именно — духовного кризиса буржуазного общества, глубокого упадка всей его культуры. Декадентство — это определенный тип сознания, определенное отношение к миру, определенный взгляд на человека. Это целое мировоззрение, в основе которого лежат агностицизм и релятивизм, идеалистическое представление о непознаваемости объективного мира.

Считая единственно верным критерием познания внутренний душевный опыт, неуловимые ощущения и мистические прозрения, декаденты положили в основу своего художественного метода иррациональную интуицию, «вдохновенное угадывание» всякого рода намеков, «недосказанностей» и тайных смыслов, доступных лишь посвященному. Игнорирование объективной реальности, релятивистское неверие в объективность познания, уклонение от прямого определения понятий суть типические и характерные черты декадентства как художественного мировоззрения и литературного стиля.

Ранние русские декаденты открыто и в крайне демонстративной форме заявили о своем нежелании поддерживать связи искусства с действительностью. Вот, к примеру, декларация В. Брюсова: «Нам стало тесно, душно, невыносимо. Нас томят условные формы общежития, томят условные формы нравственности, самые условия познания, все, что наложено извне. Нашей душе потребно иное, иначе она умрет. Все ясней сознается, что если в мире есть только то, что видимо есть, — жить незачем, не стоит. Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности».[1] И чем больше отвращались декаденты от окружавшей их реальной действительности, тем охотнее вовлекались они в эстетическое «преображение» жизни, претворяя ее в «сладостные легенды», исполненные самой отъявленной лжи. Процесс этот сопровождался обожествлением своего, якобы свободного, «я». Вот типичные формулы-лозунги, уснащающие стихи ранних русских декадентов:

[1] «Ко всем, кто ищет». Как предисловие. — В кн.: А. Миропольский, Лествица, М., 1903, сс. 10—11.

«Я действительности нашей не вижу», «Я от мира отрекаюсь», «Быть с людьми — какое бремя!», «Мое единое отечество — моя пустынная душа», «Я — бог таинственного мира. Весь мир — в одних моих мечтах», «Сам лишь себя обожай беспредельно» и т. п.

Ранняя декадентско-символистская поэзия в России претендовала на полную отмену «старого искусства». В статье 1896 года «Апология символизма» В. Брюсов провозгласил, что символизм — это «революция в поэзии, пересоздающая самые основы искусства». Смысл революции заключался, по Брюсову, в том, что наконец-то была понята «истинная цель поэзии»: отпали «все безумные заблуждения вроде искания тенденций в искусстве», и «поэзия нашла прямой путь к своей цели без всяких посредствующих звеньев».[1]

Так складывалась и обосновывалась идея «чистого искусства», «искусства ради самого искусства», не заинтересованного ни в какой практической жизнедеятельности, освобождающего художника от участия в идейной борьбе, от обязанностей общественного служения и якобы обеспечивающего «свободу творчества». Сами декаденты охотно предъявляли эту призрачную «свободу» как патент на свою антибуржуазность и родственную связь с политической доктриной анархизма. Но, как было доказано в свое время Лениным, речи буржуазных индивидуалистов об «абсолютной свободе», якобы доступной им, — «одно лицемерие»: «Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».[2]

В литературе девяностых годов уже не только намечаются, но и проходят резкие линии разграничения — и Бальмонт бескомпромиссно определяет свою позицию в качестве участника нового, декадентско-символистского движения и навсегда связывает с ним свою писательскую судьбу.

Второй сборник лирики Бальмонта — «В безбрежности», увидевший свет в декабре 1895 года, был уже единодушно встречен в критике как типическое явление болезненной литературы «конца века», знаменующее «смутность мысли, отсутствие принципов, эгоизм, доведенный до крайних пределов, и дрябло-пессимистическое отношение к жизни».[3]

---

[1] Статья В. Брюсова в свое время не увидела света. Она опубликована в «Ученых записках» Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского, 1940, т. 4, вып. 2.

[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 12, с. 104.

[3] Н. Коробка, Поэма конца века. — «Русское богатство», 1897, № 6, сс. 1—19 (второй пагинации).

Перемены произошли и в личной жизни Бальмонта. В сентябре 1896 года он женился на Екатерине Алексеевне Андреевой, образованной девице купеческого происхождения (развод с Л. М. Гарелиной был оформлен за два года перед тем), и сразу же уехал с женой за границу.

Длительное пребывание в Европе (Франция, Испания, Голландия, Англия, Италия) очень много дало Бальмонту. Он с жаром погрузился в изучение европейских языков и литератур, истории искусства. Особенно увлекся он (и на всю жизнь) поэзией и живописью Испании. Под вихрем нахлынувших впечатлений он писал матери из Парижа в декабре 1896 года: «Теперь передо мною целый мир, новые люди, новые нравы, философия, наука, искусство, религия, новая личная жизнь... Я читаю с утра до вечера, я ищу в книгах того, чего нет в жизни» *(ЦГАЛИ)*. И далее идет длинный и пестрый перечень прочитанного: труды Ренана по истории еврейского народа, «книги разных авторов о демонизме», современные романы и стихи, «Потерянный и возвращенный Рай», «Божественная Комедия» и «Дон-Кихот», труды Куно-Фишера и Брандеса, «статьи Гельмгольца по естественным наукам» — и всё на языке оригинала. Немного позже (в январе 1897 года) он исповедуется своему зоилу Акиму Волынскому (черта свойственного Бальмонту простодушия): «В первый раз в жизни я живу всецело и безраздельно эстетическими и умственными интересами, и никак не могу насытиться сокровищами живописи, поэзии и философии» *(ИРЛИ)*.

Весной 1897 года Бальмонт был приглашен в Оксфорд — прочесть цикл лекций о русской поэзии в тамошнем «Тэйлоровском институте», возглавлявшемся знаменитым антропологом Э.-Б. Тэйлором. Здесь он завязал знакомства с видными английскими учеными — с самим Тэйлором, филологом и историком религий Д. Рисом, филологом-славистом В.-Р. Морфилем и др. В Оксфорд Бальмонт несколько раз приезжал и впоследствии.

При всей остроте своих зарубежных впечатлений, Бальмонт испытывал щемящее чувство разлуки с родиной. Вот что писал он матери из Рима: «Боже, до чего я соскучился по России! Все-таки нет ничего лучше тех мест, где вырос, думал, страдал, жил. Весь этот год за границей я себя чувствую на подмостках, среди декораций. А там — вдали — моя родная печальная красота, за которую десяти Италий не возьму» *(ЦГАЛИ)*.

В конце 1897 года Бальмонт ненадолго приезжал в Россию — устроить издание нового стихотворного сборника. В январе он опять в Париже, летом — снова на родине (Москва, Крым, с осени —

Петербург). Так начинаются его бесконечные скитания. Вот самое главное в ближайшие годы: Петербург (октябрь 1898 — апрель 1899), Москва и подмосковные (май — сентябрь 1899), Берлин—Париж—Испания—Биарриц—Оксфорд (октябрь 1899 — август 1900), Петербург (сентябрь 1900 — май 1901).

Новый стихотворный сборник «Тишина» вышел в свет лишь в августе 1898 года. Он был встречен несколькими по-прежнему неодобрительными (а точнее сказать — издевательскими) отзывами. Впрочем, даже А. Волынский, особенно изощрявшийся по части обличения Бальмонта, вынужден был на сей раз признать (в «Северном вестнике» 1898, № 8/9), что поэт «владеет певучим музыкальным стихом, в котором есть своя красота», и даже отдавал ему в этом отношении пальму первенства перед такими близкими «Северному вестнику» поэтами, как Мережковский и Минский.

К тому времени вокруг Бальмонта образовался кружок верных друзей и почитателей. Среди них — С. А. Поляков, обеспеченный человек из эмансипированных московских купцов, математик и полиглот, знаток новейшей европейской литературы, вскоре (в 1900 году) учредивший главное издательство символистов «Скорпион». Летом 1899 года в подмосковной усадьбе Полякова, в тесном душевном общении с хозяином и общим их другом молодым поэтом-символистом литовского происхождения Юргисом Балтрушайтисом, Бальмонт написал лучшую свою книгу — «Горящие здания». В числе близких ему людей были также поэтесса Мирра Лохвицкая, художник и стихотворец ультрадекадентского пошиба Модест Дурнов, датский поэт Теодор Ланге (занимавший пост консула Дании в Москве), немецкий поэт и «истинный москвич» Георг («Егор Егорыч») Бахман, служивший учителем немецкого языка в одной из московских гимназий. Брюсов был только отчасти связан с этим кружком.

Бальмонту, нужно думать, было тесновато в этом узком дружеском кругу, в литературном отношении мелководном. Во всяком случае, его сильно тянуло к большим писателям, обращавшимся со своим словом не к «избранным», а ко всей России, — к Чехову, Бунину, Горькому, к самому Льву Толстому.

С Чеховым у Бальмонта установились приятельские отношения. Поначалу по-доброму складывались они и с капризным Буниным.[1] К Толстому Бальмонт питал чувства благоговейные — как к «Великому Учителю». На посланной ему книге «Горящие здания» он сделал такую надпись: «Величайшему гению, какой теперь есть на

[1] См. сс. 650 и 615 наст. издания, примеч. 509-е и 32-е.

земле, Льву Толстому, от безымянного».[1] Осенью 1901 года, в Крыму, Бальмонт дважды побывал у Толстого (первый раз вместе с Чеховым и Горьким), а в ноябре посетил его в Ясной Поляне и читал ему свои стихи (между прочим, «Аромат солнца» и «Я в стране, что вечно в белое одета...»), которые Толстой, как и следовало ожидать, оценил как «декадентский вздор».[2]

После выхода в свет книги «Горящие здания» (май 1900 года) Бальмонт — уже известный (пусть скандально известный), модный поэт. За новый сборник его еще поносят в общей прессе, но он уже пробуждает живейший интерес у молодых писателей самых разных направлений. В ноябре 1900 года из Нижнего Новгорода раздается сочувственный голос Горького: «К Бальмонту относятся односторонне... глумятся над ним грубо, иногда скверно, всегда несправедливо». Конечно, Горькому было чуждо и по большей части враждебно то, о чем думал и что писал Бальмонт, но вместе с тем ему было совершенно ясно, что «этот поэт несомненно обладает талантом». Далее Горький говорит: «Размеры и общественное значение его трудно понять ввиду крайней туманности мышления г. Бальмонта и странного, быть может, искусственного, стремления к символизации... Но у г. Бальмонта есть простые и сильные стихи, позволяющие до некоторой степени уловить и угадать его настроения... От всей души следует пожелать Бальмонту более частых ощущений этой бодрой радости ясного творчества».[3] Из стихотворений, помещенных в сборнике, Горький особо выделил «Кузнеца», «Альбатроса», «Воспоминание о вечере в Амстердаме». Сочувственное выступление Горького сильно ободрило Бальмонта. Он пытался установить с Горьким дружественные отношения — и не по его вине они не наладились.[4]

1900-м годом, «Горящими зданиями» открывается новый и главный период жизни и литературной работы Бальмонта. Остается досказать, по необходимости коротко, его биографию.

В марте 1901 года Бальмонт стал настоящим героем дня в Петербурге: он публично огласил свое резко антиправительственное стихотворение «Маленький султан», и этот эпизод приобрел харак-

---

[1] «Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», часть первая, М., 1958, сс. 37—38. На посланной Толстому книге есть еще стихотворное обращение («То, что ты мне сказал, не забуду...»), датированное 5 декабря 1901 г.

[2] О своих посещениях Л. Н. Толстого Бальмонт рассказал в «Весах», 1908, № 3, с. 82. Ср. «Литературное наследство», т. 69, кн. 1 (1961), сс. 134—136.

[3] «Нижегородский листок», 1900, 14 ноября.

[4] См. с. 627 наст. издания, примеч. 211-е.

тер и значение серьезной общественной демонстрации.[1] Вслед за тем последовали административные репрессии, зима в курском поместье Сабынино, где была закончена работа над книгой «Будем как солнце», и отъезд за границу.

С марта 1902 года Бальмонт в Париже, затем в Лондоне и Оксфорде, опять в Париже и Оксфорде, далее — в Бельгии, в Нюрнберге и Байрейте, еще раз в Оксфорде и Париже. В январе 1903 года он возвращается в Москву, летом на побережье Балтийского моря пишет новую книгу стихов «Только любовь», осень, зима и весна проходят в Москве, в мае — июле 1904 года он путешествует по Испании и Швейцарии, потом возвращается в Москву и в самом конце января 1905 года уезжает в Париж, а оттуда (23 марта) отправляется за океан — в Мексику и Соединенные Штаты Америки. Результатом этой поездки явились, кроме стихов, путевые очерки и переводы космогонических мифов ацтеков и майя, составившие книгу «Змеиные цветы» (1910). Бальмонт посетил и описал почти все наиболее выдающиеся памятники древнемексиканских культур, и стоит отметить, что современная наука отдает должное его некоторым «любопытным наблюдениям».[2]

В июле 1905 года Бальмонт вернулся в Москву. Развернувшиеся в России революционные события захватили его. Он пишет обличающие самодержавие и прославляющие рабочих стихи, составившие сборники «Стихотворения» (1906) и «Песни мстителя» (1907),[3] сотрудничает в большевистской газете «Новая жизнь» и в «вольной» сатирической прессе, в декабре — в раскаленные дни Московского вооруженного восстания — все время проводит на улицах, пытается произнести речь перед студентами во дворе университета (попытка была пресечена полицией), общается с Горьким, чувствует себя заодно с повстанцами, даже носит в кармане заряженный револьвер, и в новогоднюю ночь, рассматривая себя как уже намеченную жертву наступившей царевой расправы, уезжает в Париж — на этот раз надолго, на семь с лишним лет.

Бесспорно, Бальмонт слабо разбирался в подлинных целях и задачах революции, в ее реальных движущих силах и, в конечном счете, оставался в границах либерально-буржуазной идеологии. Однако сотрудничество его в большевистской газете «Новая жизнь» и появление сборника его революционных стихотворений в горьков-

---

[1] См. с. 650 наст. издания, примеч. 513-е.

[2] В. И. Гуляев, Америка и Старый свет в доколумбову эпоху, М., 1968, с. 96.

[3] Из них первый был конфискован, а второй, изданный в Париже, запрещен к обращению в России.

ском издательстве «Знание» смутили все его литературное окружение и вызвали замешательство в буржуазной прессе. И в самом деле, было чему удивиться. Вчерашний эстет и индивидуалист стал на все лады поносить самодержавие, воспевать «победу сознательных смелых рабочих» и даже пытался разоблачать классовое своекорыстие буржуазных политиков — лицемерных краснобаев, «играющих в бесчестно-двойную игру»:

Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих
Я зову: «Старый сор». И во имя восставших рабочих
Вас сметут. В этом вам я, как голос прилива, клянусь.

Брюсов отнесся к политическим стихам Бальмонта с крайним высокомерием: «В какой же несчастный час пришло Бальмонту в голову, что он может быть певцом социальных и политических отношений, «гражданским певцом» современной России!.. Трехкопеечная книжка, изданная товариществом «Знание», производит впечатление тягостное. Поэзии здесь нет и на грош».[1] В эстетском журнале «Золотое руно» писали: «Трехкопеечный Бальмонт... Бальмонт для многих, для всех... Трудно поверить. Но факт налицо».[2] В сатирическом журнале «Яд» (1905, № 1) просто подсмеивались: «Бедный Ба́льмонт уж не молод — И тяжел рабочий молот Для его бессильных рук...» В символистском литературном кругу, пожалуй, один только Блок сочувственно обмолвился о «новом Бальмонте с его плохо оцененными рабочими песнями».[3]

Политические стихи Бальмонта, за двумя-тремя исключениями, действительно очень слабы и отличаются разве азартом брани, особенно когда речь заходит о Николае II («убожество слепое», «царь-висельник», «губошлеп», «ублюдок», «грязный негодяй с кровавыми руками», «последыш мерзостный» и т. д.). Но они по крайней мере искренни. Сам Бальмонт чутко реагировал на упреки и насмешки, раздававшиеся по его адресу. По поводу «злобствующей» (как он выразился) критики Брюсова он писал Г. Бахману в марте 1907 года: «...определенный исторический момент не мог меня не взволновать,

---

[1] «Весы», 1906, № 9, с. 53.

[2] «Золотое руно», 1906, № 10, с. 91.

[3] Александр Блок, Сочинения в восьми томах, т. 5, М.—Л., 1962, с. 138. Кроме М. Горького, энергично выступившего в защиту Бальмонта от глумлений буржуазной прессы (см. примеч. 211-е, с. 627 наст. издания), его восторженно приветствовал как «революционного поэта» А. Амфитеатров в книге «Современники», М., (1908), сс. 201—203.

и я не мог так или иначе не отозваться на него. Может, невыразительно отозвался, но только, знаю, вполне чистосердечно» *(ИРЛИ)*. Самому Брюсову он послал открытку с изображением «Слепых» Брейгеля (*ЛБ*), написав на ней свое стихотворение «Слепцы» (оно вошло в сборник «Песни мстителя»), явно метившее и в самого Брюсова и в других, кто не оценил искренности революционного порыва поэта.[1]

Увлечение Бальмонта романтикой освободительной борьбы было искренним и сильным, но, как показало дальнейшее, неглубоким и преходящим. Революционные настроения его улетучились столь же быстро, как и возникли. В годы реакции общественная позиция его определялась близостью к кадетским кругам. Однако на этот раз свое длительное пребывание за границей он не без оснований считал политической эмиграцией. Ему действительно угрожало в России административное преследование, даже, может быть, тюрьма, за антиправительственные стихи (с мотивами «оскорбления высочайшего имени») и — дополнительно — за «кощунство», допущенное в сборнике стихов «Злые чары» (1906).

Все эти семь с лишним лет Бальмонт оседло живет в Париже, в тихом (тогда) квартале Пасси, но совершает оттуда частые и длительные поездки в разных направлениях (Бретань, Норвегия, Балеарские острова, Испания, Бельгия, Лондон, Египет и т. д.). Везде, в любой стране, в любом городе, Бальмонт чувствует себя как рыба в воде, любознательность его с годами нисколько не остывает. И все же он сильно тосковал по России. «Жизнь заставила меня надолго оторваться от России, и временами мне кажется, что я уже не живу, что это только струны мои еще звучат», — пишет он в 1907 году Ф. Д. Батюшкову (*ИРЛИ*). На несколько лет он целиком погружается в русскую «народную стихию», перелагая в декадентские стихи народные сказанья и поверья — былины, заговоры и заклинания, хлыстовские песнопения (сборники «Жар-птица», «Птицы в воздухе», «Зеленый вертоград»). Он жадно ловит известия с родины и тяжело переживает наступившее после поражения первой рево-

---

[1] Год спустя Бальмонт через газету «Русь» (1908, № 58) обратился с призывом жертвовать в пользу безработных питерских пролетариев (и сам послал 100 франков). В своем обращении он писал: «Мысль моя говорит мне еще, что в новой эре русской жизни, начавшейся явно 9-го января 1905 года, никто не сыграл такой благородной, красивой, самоотверженной роли, как петербургский рабочий люд. Имя петербургского пролетариата тяжким свинцом и красным золотом записано в страшной летописи русской истории». Газеты «Голос Юга» и «Херсонский вестник» были оштрафованы за перепечатку этого письма.

люции черное время реакции. В 1911 году он пишет тому же Ф. Д. Батюшкову: «Я тоскую о России. Но есть ли сейчас Россия — или она замерла — на неопределенное время?.. Я воспринимаю ее лишь в мучительном лике» (*ГПБ*).

Первого февраля 1912 года Бальмонт отправился (из Англии) в грандиозное кругосветное путешествие. Маршрут его был такой: Лондон — Плимут — Канарские острова — Южная Африка — Мадагаскар — Тасмания — Южная Австралия — Новая Зеландия — Полинезия (острова Тонга, Самоа, Фиджи) — Новая Гвинея — Целебес, Ява, Суматра — Цейлон — Индия (Бенарес, Агра, Бомбей). В тропиках, на британском корабле, он познакомился в английском переводе с поэмой Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — и зажегся мыслью перевести ее на русский язык. В Париж Бальмонт вернулся в декабре, к Новому году. По возвращении он писал все тому же Ф. Д. Батюшкову: «Я видел моря и океаны... и снова, сидя у окна в моем парижском домике, среди своих книг и цветов, я говорю: «Я рад, что я родился русским, и никем иным быть бы я не хотел. Люблю Россию. Ничего для меня нет прекраснее и священнее ее. Верю в нее — и жду. Напряженно жду» (*ГПБ*).

Ожиданию вскоре пришел конец. В феврале 1913 года, в связи с «трехсотлетием дома Романовых», была объявлена политическая амнистия, и Бальмонт получил возможность беспрепятственно вернуться на родину. Он приехал в Москву 5 мая. На Брестском вокзале его встречали родные, друзья, московские литераторы во главе с Брюсовым, газетные репортеры и фотографы и просто любители поэзии (среди них был юный Маяковский). Из газетной хроники узнаем, что жандармский ротмистр не допустил произнесения приветственных речей и что «К. Д. Бальмонт бросал в толпу ландыши».

Все московские газеты широко откликнулись на возвращение маститого поэта. В честь Бальмонта были устроены торжественные приемы в Обществе свободной эстетики (7 мая) и в Литературно-художественном кружке (9 мая). В общий хор славословий резким диссонансом ворвалось запальчивое выступление никому тогда еще не ведомого Маяковского, отмеченное в газетах. В чинной и даже чопорной обстановке Общества свободной эстетики он выступил «от имени врагов Бальмонта» и в заключение бархатным басом прочитал известное бальмонтовское стихотворение «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды...», обратив его против автора. Тот с высоты своего величия и благодушия ответил дерзкому юнцу своими же стихами на тему о том, что у поэта не может быть врагов,

ибо он по духу и по природе выше вражды и «не знает, что такое презрение».[1]

В начале 1914 года Бальмонт снова ненадолго уезжает в Париж, в марте возвращается на родину, в апреле отправляется в Грузию, где выступает с лекциями («Поэзия как волшебство», «Океания») и стихами. Грузинская общественность устроила русскому поэту пышный прием, — с приветствием к нему обратился патриарх грузинской литературы, седоголовый Акакий Церетели. После Грузии Бальмонт уехал во Францию, где на побережье Атлантического океана застала его первая мировая война.

Лишь в конце мая 1915 года Бальмонту удалось вернуться в Россию — кружным путем, через Англию, Норвегию и Швецию. Лето он провел под Москвой, энергично занявшись переводом поэмы Руставели. В конце сентября он отправился в длительное, растянувшееся на два месяца, лекционное турне по городам России (Дербент, Тифлис, Кутаис, Ярославль, Самара, Саратов, Уфа, Пермь, Тюмень, Омск, Екатеринбург, Вологда), — он читал «Поэзию как волшебство», о Руставели и стихи.[2] К декабрю он приехал в Петроград, где и поселился.

Второе, еще более длительное, турне состоялось в 1916 году и заняло три с лишним месяца (с 20 февраля по 5 июня). На этот раз Бальмонт посетил Полтаву, Харьков, Сумы, Новониколаевск, Томск, Иркутск, Читу, Благовещенск, Харбин, Владивосток, Никольск-Уссурийский и Хабаровск. В конце апреля он совершил из Владивостока небольшое путешествие в Японию.

Эти две поездки поэта по большим и малым городам страны приумножили его всероссийскую известность. В дальнейшем он делил время между Петроградом и Москвой.

---

[1] О возвращении Бальмонта в Москву и обо всем, что произошло в эти дни, см. газеты «Русское слово», «Утро России», «Голос Москвы» и «Раннее утро» от 7 и 8 мая 1913 г. (информация, интервью с Бальмонтом, стихи Бальмонта и стихотворные обращения к нему); также: В. Катанян, Рассказы о Маяковском, М., 1940, сс. 45—59; В. Катанян, Маяковский. Литературная хроника, изд. 4, М., 1961, сс. 45—46; Р. Ивнев, Встречи, которых не забыть. — «Огонек», 1968, № 29, с. 20. В «Русском слове» 12 мая появилась статья Бальмонта «Привет Москве».

[2] Одна из лекций Бальмонта (именно в Омске) ярко и сатирически броско описана поэтом Л. Мартыновым (очевидно, по личным впечатлениям) в поэме «Поэзия как волшебство» (в кн.: Леонид Мартынов, Поэмы, М., 1940).

Свержение самодержавия Бальмонт встретил восторженно, всюду рекомендуясь «старым революционером». Выступая 9 апреля 1917 года на «первом утре музыки и поэзии для народа», он сказал: «Это утро Свободы, полное внутренней стройной музыки, эту алую зарю, несущую всем людям страны нашей освобождение, всем народам Земного Шара — благовестие — пасхальное утро вселенской правды, — создал бывший в рабстве неживым... и ныне воскресший русский народ. Да укрепим же мы все чудо его восстанья из мертвых. Каждый из нас лишь малая капля. Но тысячи капель и светлые их миллионы, слившись в один могучий поток, сорвут всякую плотину».[1] Состоявшееся 14 мая в Петрограде, во «дворце Кшесинской», совещание Общества пролетарских искусств (на деле отношения к пролетариату не имевшее) поручило Бальмонту «оформить свою программу».[2]

Однако дальнейшее развитие событий, нарастание революционной волны испугало Бальмонта. В июле он круто поворотил вправо. Активно сотрудничая в буржуазных газетах («Утро России», «Русская воля», «Республика»), он вслед за лидерами буржуазных партий горой стоит за продолжение империалистической войны «до победного конца», «во имя спасения свободы и родины». Стремление народа и армии покончить с преступной войной он клеймит как «позор», «бесчестие» и «предательство». Он взывает к «твердой власти» и в октябре на страницах «Утра России» славит в стихах кандидата в диктаторы генерала Корнилова, отбывающего заключение в Быховской тюрьме.

Октябрьский переворот Бальмонт встретил враждебно. Вынужденную суровость пролетарской диктатуры он по-обывательски оценил как «насилие» и «узду на свободном слове». Политические представления его были крайне наивны, — он в самом деле был «совершенно чужд политике», как постоянно утверждал (что, разумеется, не лишало его высказывания определенного политического смысла). В 1918 году Бальмонт выпустил книжку под претенциозным заглавием: «Революционер я или нет» (проза и стихи). В книжке была сделана попытка, во-первых, утвердить за собой репутацию «истинного революционера», во-вторых — опротестовать Октябрьскую революцию. Истинная революционность, доказывал Бальмонт, не сво-

---

[1] К. Бальмонт, Слово о музыке, М., 1917, с. 7.

[2] См.: В. Катанян, Маяковский. Литературная хроника, с. 87. «Бальмонт прислал свой текст этого «кредо», но он был организационной группой возвращен Бальмонту для введения поправок в духе большей радикальности» (там же).

дима к политическим убеждениям, всякий гений и настоящий талант — по самой природе своей революционны, поскольку всегда «ломают старое и создают новое». А что касается большевиков, то это не настоящие революционеры: они принесли с собой подавление личности и слепое разрушение вместо стройного преобразования. Как видим, Бальмонт просто повторял азы самой вульгарной контрреволюционной пропаганды.

К сказанному можно, однако, добавить, что Бальмонт находил объяснение происшедшему в исторических грехах и преступлениях прежних хозяев жизни. На своем языке он говорил об этом так: «Я верю в преобразующую силу времени и в творческие способности русского народа. Три четверти безобразий — лишь горькая запоздавшая расплата за ужасы крепостного права... Зажиточные люди все еще не могут и не хотят понять, что это не только Пугачевщина, но и Революция кроме того, которая еще идет — и придет во всех грозовых светах и страхах. Лик Земли должен быть пересоздан. Нельзя больше делить людей на светлых и темных. Всем должен быть обеспечен путь к Светлому. За диким упоением вещественностью и явностью придет новая эра совершенной духовной ясности и всеобъемной ценности для всех сынов человеческих» (письмо к Е. А. Андреевой от 5 февраля 1918 года — *ЦГАЛИ*).

Внешним образом Бальмонт вел себя лояльно. Он, как всегда, много работал, — даже больше, чем обычно: писал стихи, переводил — главным образом своих любимых старых испанцев (Кальдерона, Лопе де Вегу, Тирсо де Молину и др.), увлекся шведским языком и творчеством Стриндберга, установил деловые связи с московскими театрами, готовил новые сборники стихов и прозы (в большинстве они остались неизданными). Он даже принимал некоторое участие в советской общественно-литературной жизни, правда, как правило, не попадая в лад с духом времени. Так, например, когда в декабре 1918 года нарком просвещения А. В. Луначарский созвал совещание писателей по вопросу об организации Литературного отдела Наркомпроса (ЛИТО), в числе других выступил Бальмонт, говоривший на тему «независимости литературы от политики».[1]

В марте 1920 года московская литературная среда отметила своеобразный юбилей Бальмонта — тридцатилетие со дня выхода в свет его первого («ярославского») стихотворного сборника. В первомайский праздник 1920 года на торжественном заседании в Колон-

---

[1] «Из литературного наследия Н. К. Крупской». — «Новый мир», 1962, № 10, с. 270.

ном зале Дома Союзов Бальмонт прочитал свою «Песнь рабочего молота», а на следующий день выступил со стихотворным приветствием М. Н. Ермоловой на ее юбилейном вечере в Малом театре.

Еще в марте 1920 года Бальмонт обратился к А. В. Луначарскому с ходатайством о получении заграничной командировки с целью выполнения некоторых литературных работ, заказанных ему Государственным издательством. В апреле командировка была разрешена — сроком на год; 25 июня Бальмонт с женой (Е. К. Цветковской), дочерью Миррой и близким другом его семьи А. Н. Ивановой выехал из Москвы, не подозревая, что расстается с родиной навсегда.

Бальмонты уехали через Петроград и Нарву в Ревель, где провели месяц в ожидании виз в Берлин и Париж. Первые же «западные» впечатления были безотрадны: «...жизнь здесь пустая и ничтожная. А вид толстых обжор и пьяных грубиянов столь противно необычный, что хочется проклинать буржуазию... Русские, которых встречаю, беспомощно слепы. Они ничего не понимают в современной России» (письмо к Е. А. Андреевой из Ревеля от 19 июля 1920 года — *ЦГАЛИ*).

В письмах к близким Бальмонт настойчиво твердил, что уехал только ради того, чтобы восстановить пошатнувшееся здоровье жены и дочери, и что он собирается вернуться в Москву «раньше срока». Этому можно поверить, но Бальмонту не хватило стойкости: он подпал под влияние белоэмигрантской пропаганды и обманул доверие советской власти.

Советская власть поначалу не поверила слухам о политическом ренегатстве поэта. В «Известиях ВЦИК» 5 октября 1920 года появилось заявление А. В. Луначарского, в котором говорилось, что и сам Бальмонт категорически опровергает такого рода слухи и что справки, которые нарком навел через советских представителей за границей, «ясно свидетельствуют о совершенно корректном поведении К. Д. Бальмонта». Увы, дурные слухи вскоре подтвердились: в марте 1921 года Бальмонт открыто перешел на положение белоэмигранта.[1]

Однако старый поэт не пришелся к белоэмигрантскому двору. Слава его померкла, и как литературная фигура (а тем более политическая) он не представлял интереса для заправил русского зарубежья. Очень скоро он очутился за бортом волчьей и суетной белоэмигрантской жизни, в положении человека глубоко обиженного, отторгнутого от всего родного и — фактически — без средств существования. Уже в декабре 1920 года он признается в письме

---

[1] См.: А. Луначарский, Ответ Ромену Роллану. — «Вестник иностранной литературы», 1928, № 3, сс. 141—142.

к Е. А. Андреевой: «Я знал, уезжая, что я еду на душевную пытку. Так оно и продлится... Я хочу России... Пусто, пусто. Духа нет в Европе. Он только в мученической России» *(ЦГАЛИ)*. Его полностью охватило «ощущение пустоты и бесполезности изгнаннической жизни», в эмигрантской среде он видел лишь «бессилие, бесплодие, бесполезное увядание» («русские людишки в Париже — дрянь на подбор»), ему «душно от воздуха Парижа, где он никому не нужен и где ничто для него не нужно». И как итог запоздалых жалоб и сожалений: «Я не бежал, а уехал. Я уехал на полгода — и не вернулся... Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться». [1]

Первое время Бальмонта еще печатали в белоэмигрантских газетах, журналах и альманахах, издавали его книги. Но с каждым годом он все более устранялся от «русского Парижа». Ему удалось установить некоторые связи с французскими писателями (Эдмондом Жалю, Жаном Жироду и др.), при их посредстве он устроил перевод нескольких своих книг на французский язык, получил приглашение прочесть несколько лекций в Сорбонне, кое-что сумел напечатать в американских и итальянских газетах.

Но все это оказалось случайным и эфемерным. Из-за материальной необеспеченности Бальмонт вынужден был подолгу жить вне Парижа — в глухой провинции (Бретань, Вандея), с трудом сводя концы с концами. Он и там по-прежнему окружен грудами книг: Библия, летопись Нестора, сочинения Забелина, Лао-цзы, труды по ботанике и астрономии, по Египту, Вавилону, Индии, Блейк и Уитмен, Пушкин и «все новые книги о Пушкине», старые русские поэты, русские народные песни, Гейне и Гёте, «Зенд-Авеста» и многое другое... Стихи пишутся в прежнем изобилии, но печатать их уже негде.

В 1927 году Бальмонт поселяется в забытом богом и людьми местечке Капбретон, на берегу Атлантического океана, в маленьком домике, стоящем на краю рыбацкой деревни. Своей припадающей походкой он подолгу бродит по пустынному берегу, слушает гул океана (о котором столько писал) и шум сосен, ловит в них «ритм миротворческого ткацкого станка».

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,
Меж рыбаков, что скудны, как и я.
Но им дается рыба в океане, —
Лишь горечь брызг — морская часть моя.
Отъединен пространствами чужими

[1] К. Бальмонт, Где мой дом?, Прага, 1924, сс. 20, 127, 131—132.

Ото всего, что дорого мечте,
Я провожу все дни — как в сером дыме.
Один. Один. В бесчасьи. На черте...
Мой траур не на месяцы означен,
Он будет длиться много странных лет.
Последний пламень будет мной растрачен,
И вовсе буду пеплом я одет...

Не этих звезд мне ворожили звенья,
Я потерял в путях свою страну.
Прилив ушел — и я, как привиденье,
Средь раковин морских иду ко дну...

В конце двадцатых годов Бальмонт со свойственным ему страстным воодушевлением погрузился в поэзию славянских народов и Литвы. В 1927 году он посетил Польшу, в 1928 — Литву, в 1929 — Югославию и Болгарию. Встречали его радушно и торжественно, — случалось даже, что с военной музыкой. В этих вояжах он в последний раз уловил веяние своей былой славы. Как и всегда, он переводил чудовищно много — из литовской, чешской, польской, югославской, болгарской поэзии — народной и книжной. В печать из переведенного попало далеко не все.

Не временем долги годы, — долги разлукой с родиной. Отвечая на вопрос одного из своих корреспондентов, Бальмонт писал: «Вы спрашиваете, как я живу... Однако, живу ли я точно или это лишь призрак — остается для меня самого не совсем определенным. Мое сердце в России, а я здесь у океана. Бытие неполное». [1]

И все же и эта одинокая тень иногда подавала голос из мрака забвения. Так, в январе 1928 года Бальмонт сообща с Буниным обратились к Ромену Роллану с открытым письмом, исполненным злобных и лживых нападок на Советский Союз (газета «Avenir» от 12 января 1928 года). Роллан достойно ответил им (в журнале «Europe», февраль 1928 года). Ответ Роллана вызвал второе открытое письмо Бальмонта, в котором он пытался защититься ссылками на свои «революционные заслуги» в прошлом. На это письмо гневно откликнулся М. Горький. [2] Не встретив ни у кого сочувствия, поэт разразился антисоветскими стихами.

---

[1] Андрей Седых, Далекие, близкие, Нью-Йорк, 1962, с. 70.
[2] См. его письма к Р. Роллану от 22 и 23 марта 1928 г. — М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 30, М., 1955, сс. 83—88.

Бальмонт деградировал медленно, но неуклонно. Внешне он изменился мало. «Какой я сейчас? — пишет он в последнем дошедшем до нас письме к Е. А. Андреевой (декабрь 1933 года). — Да все тот же. Новые мои знакомые, и даже прежние, смеются, когда я говорю, сколько мне лет, и не верят... Бородка моя, правда, беловата, и на висках инея довольно, но все еще волосы вьются и русые они, а не седые. Мой внешний лик все тот же, но в сердце много грусти. Недавнее мое увлечение славянскими странами и Литвой, увы, исчерпалось, для меня это — мелководье. Египет и Индия много богаче и крепче. Кто меня сейчас особенно волнует и увлекает, это Гераклит Ефесский» (*ЦГАЛИ*).

Но в письме Бальмонт бодрился. На деле все было неизмеримо хуже. В 1932 году его постигла последняя и непоправимая беда — первые признаки душевной болезни. Началась «десятилетняя агония»: безотрадные скитания по больницам и убежищам, обиды и притеснения, настоящая нищета, полное забвение. «Здесь все кругом так низко, бездушно, так подло. Остались только собственные мечты и мысли и усилие не погибнуть», — писал Бальмонт в середине 1934 года.[1]

Из писем жены поэта (Е. К. Цветковской) с убийственной обнаженностью проступает весь драматизм невыносимо трудной жизни: холод в комнате, неоплатные долги, вечное ожидание какой-то грошовой «сербской пенсии», случайные подачки — по 50, по 25 франков, *один доллар*, присланный каким-то доброхотом из Америки, какие-то почти уголовные происшествия в семье дочери, вышедшей замуж за ничтожного человека и народившей кучу детей. В убежище «Русский Дом», устроенном для бедствующих белоэмигрантов известной матерью Марией (Е. Ю. Кузьминой-Караваевой) в местечке Нуази ле-Гран (под Парижем), Бальмонты терпят вечные лишения и вдобавок унижения от коменданта, некоего «господина Пьянова». Все связи потеряны. Случайный визит композитора Гречанинова — событие. Сам поэт — развалина, «кожа да кости», страдает «психоистерией», постепенно переходящей в прямое затмение рассудка.

И вдруг в этой густой тьме — тонкий, очень тонкий, едва пробивающийся луч света: Бальмонта везут в такси в Париж — к врачу. Шофер оказывается из русских белоэмигрантов, он узнает, что везет Бальмонта, которого когда-то читал и любил. В дряхлом старике вдруг просыпается прежний Бальмонт: «Все-таки меня *все* знают! Значит, недаром жил...» Сам он уже ничего не писал, изредка «во

---

[1] Письмо к А. П. Дехтереву от 20 июня 1934 г. из Парижа (Библиотека Академии наук Литовской ССР).

сне» возникали обрывки стихов. Иногда он «перечитывал Бальмонта».

Осенью 1938 года бытовые условия несколько улучшились. Удалось перебраться из общежития в отдельную квартирку (в том же Noisi le-Grand). Бальмонт чаще всего «безучастен ко всему», но в редкие минуты просветления оживает: перечитывает «Войну и мир», декламирует Есенина, Ахматову, Цветаеву. Грозные политические события, потрясшие Европу, доходят и до полубезумного поэта: в марте 1939 года он с громадным возмущением переживает вторжение гитлеровцев в Чехословакию.

В 1896 году молодой, цветущий, полный сил и надежд Бальмонт сделал шуточную запись для своих друзей: «Завещаю похоронить меня в Москве в Новодевичьем монастыре». И приписал строфу Пушкина:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать. [1]

Судьба решила по-своему. Бальмонт умер (от воспаления в легких) в ночь на 24 декабря 1942 года. Париж был под фашистской оккупацией. Проводить поэта в последний путь пришло всего несколько человек. Похоронили его на французском кладбище, и на его надгробии написано по-французски: «*Constantin Balmont, poète russe*».

3

Среди написанного Бальмонтом есть художественная и автобиографическая проза, воспоминания, путевые очерки, историко-литературные и критические эссе, филологические трактаты, даже публицистика. Но все это не имеет самостоятельного значения, воспринимается лишь в соотношении с поэзией Бальмонта, отчасти дополняет и комментирует ее. Подобно Фету, Бальмонт был не литератором, но только поэтом, притом — поэтом только лирическим. Крайне немногочисленные опыты его в балладно-повествовательном роде кажутся случайными и несвойственными природе его дарования. То, что он называл «поэмами» («Мертвые корабли», «Художник-Дьявол», «С морского дна» и т. п.), — все та же лирика, вольное соединение разрозненных лирических фрагментов. Сам Бальмонт говорил: «Судьба велела мне быть поэтом лирическим.

---

[1] Запись в альбоме Станюковичей *(ГПБ)*.

Вечно полон вдохновенья,
Я как тучка, я как сон:
Чуть возникну на мгновенье, —
Вот уж ветром унесен!»[1]

Творческий путь поэта отчетливо делится на три неравномерных и неравноценных отрезка. Ранний Бальмонт, автор трех стихотворных сборников: «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895) и «Тишина» (1898) — в истории русской поэзии явление, еще тесно связанное с предшествующим периодом ее развития. Второй этап, обозначенный тоже тремя сборниками — «Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903) и «Только любовь» (1903), — время творческого взлета Бальмонта, — характеризует его как центральную фигуру нового, декадентско-символистского течения. Наконец, третий, заключительный этап поэтического пути Бальмонта, открывающийся сборником «Литургия красоты» (1905), развертывался под знаком вырождения и распада той художественной системы, которую в своем лице представлял поэт. Этот общий процесс сопровождался катастрофическим (иначе не скажешь!) упадком творческой потенции самого Бальмонта, падением его мастерства, — хотя в отдельных, сначала очень редких, случаях, а позже (начиная примерно с 1912—1913 годов) несколько чаще ему удавалось создавать хорошие и даже отличные стихи.

Юношеская лирика Бальмонта носит характер эклектический. В ней совмещаются ученически воспринятые традиции «чистой поэзии» семидесятых — восьмидесятых годов (прежде всего и больше всего Фет, отчасти Полонский и Случевский) с мотивами «гражданской скорби» в духе Плещеева и Надсона.

По довольно точному выражению одного критика (А. Измайлова), лирический герой раннего Бальмонта — «кроткий и смирный юноша, проникнутый самыми благонамеренными и умеренными чувствами». В сборнике «Под северным небом» звучит голос усталого и безвольного поколения, вступавшего в жизнь в эпоху «безвременья» восьмидесятых годов, в обстановке общественного застоя, глухой политической реакции, торжествующей обывательской рутины. Здесь мы встречаем самые ходовые темы тогдашней лирической поэзии — жалобы на суровую, неприютную жизнь, признания в собственном бессилии, слабые, неотчетливые порывания «куда-то».

О, нищенская жизнь, без бурь, без ощущений,
Холодный полумрак, без звуков и огня! —

[1] Письмо к матери от 1 января 1900 г. *(ЛБ)*.

таково минорное настроение, господствующее на страницах первой книги Бальмонта. Соответственно подобранный эпиграф из Ленау придавал скорбным переживаниям поэта традиционно-романтический оттенок.

Молодой Бальмонт, как мы видели, испытал известное воздействие народнических идей, — правда, к тому времени уже ослабленных, вырождавшихся в идеологию осторожно-аккуратного либерализма. Следы этого воздействия еще можно обнаружить в сборнике «Под северным небом». Поэт заявляет, что хотел бы «покорно и честно служить» будущему; ему не чуждо сочувствие к страданиям обездоленного человека: «Хочу я усладить хоть чье-нибудь страданье, хочу я отереть хотя одну слезу!» Но протест против окружающей поэта «нищенской жизни» звучит крайне слабо, невнятно. Он перекрывается гораздо более сильным звучанием другой темы — томлением «неземной души», роковым образом «прикованной к земле» и пытающейся укрыться от «мрачной земной юдоли» в запредельных мирах мечты и фантазии.

В достаточно сгущенном виде скорбно-романтическое мировоззрение молодого Бальмонта выражено в сонете «Лунный свет», который в свое время был воспринят как один из манифестов нарождавшегося русского декадентства. Концовка сонета уже заключала в себе мотивы, которые вскоре станут в лирике Бальмонта главенствующими:

Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся Земля с борьбой своей,
Я — облачко, я — ветерка дыханье.

Настроение, как видим, вполне декадентское, но высказано оно еще на «старом», традиционном поэтическом языке, свободном от тех вольностей и странностей, которыми уже щеголяли ранние русские декаденты.

Сам Бальмонт в ту пору не только не был заодно с декадентами, но относился к ним со строгим осуждением. В том же 1893 году, когда был написан «Лунный свет», он сообщал Н. М. Минскому: «...изучаю декадентов, которых собираюсь «разделать под орех» в «Русских ведомостях». Метерлинк возмущает меня до глубины души, и я не вижу в нем ничего, кроме бессмыслицы и шарлатанства» (*ИРЛИ*).

Во втором сборнике — «В безбрежности» — тенденции, определившие основной тон и колорит бальмонтовской лирики, приобрели бо́льшую последовательность и устойчивость. «Я жить не могу настоящим... Я в неясном грядущем живу», «В этой жизни смутной

нас повсюду ждет — за восторг минутный — долгой скорби гнет», «Помогите! помогите! Я один в ночной тиши. Целый мир ношу я в сердце, но со мною ни души», «За пределы предельного, к безднам светлой Безбрежности!» — вот главные мотивы, характеризующие облик этой книги. Вместе с тем в ней заметно окрепло мастерство поэта, о чем свидетельствуют хотя бы такие стихотворения, как «Подводные растенья», «Океан», «Лебедь», «Мы шли в золотистом тумане...».

При всем том ранние сборники Бальмонта — это лишь преддверие поэзии русского символизма. Творческий метод и поэтическую манеру Бальмонта гораздо ближе и точнее характеризует другое слово, а именно — *импрессионизм*.

Ко времени появления Бальмонта импрессионизм уже накопил богатый опыт (особенно в области живописи) как форма субъективистского искусства, непосредственно закрепляющего мгновенные, разрозненные и переменчивые впечатления (impressions) художника. Философской почвой импрессионистического искусства служит субъективный идеализм, допускающий воссоздание образа мира из сознания, ощущений и непосредственных впечатлений самого субъекта.

Наиболее точное теоретическое обоснование такого типа искусства содержится в эстетике Анри Бергсона, который учил, что познание жизни невозможно при помощи логических понятий, выработанных разумом, но достигается лишь благодаря личному, индивидуальному, отдельному переживанию, путем интуиции и «жизненного порыва» (élan vital), то есть внутренне присущего человеку стремления к жизни. Источником художественного изображения, по Бергсону, может служить единственно душевное состояние художника, которое в каждом отдельном случае совершенно самобытно и неповторимо, то есть в тот или иной данный момент было личным и только личным состоянием данного субъекта и больше уже никогда не повторится. Переходя непосредственно к поэзии, Бергсон обнаруживал ее гипнотическую силу в стихотворном ритме, посредством которого душа человека, воспринимающего то или иное поэтическое произведение, «убаюкиваемая и усыпляемая, забывается словно во сне, мыслит и видит, как и сам поэт» (в том же смысле Бергсон придавал большое значение и рифме).

Не выяснено, знаком ли был Бальмонт с эстетикой Бергсона, но это и не суть важно. Существенно другое, а именно то, что представление об интуиции как единственном источнике художественного творчества вполне и безусловно отвечало существу творческой работы нашего поэта, его пониманию самого творческого процесса как явления стихийного и внерационального, как некоего наития, не кон-

тролируемого разумом. «Рождается внезапная строка...» — только так представлял себе Бальмонт творчество, и в представлении этом не оставалось места для творческой мысли: «...я не размышляю над стихом».

Философия мига, внезапно возникшего и безвозвратно промелькнувшего мгновения, лежащая в основе импрессионистического искусства, сформировала творческую манеру Бальмонта.[1] В том поэтическом мире, который он создавал, все подвижно, бегло и зыбко, все соткано из летучих мимолетных впечатлений, безотчетных восприятий, неотчетливых ощущений. В. Брюсов, по справедливости назвавший Бальмонта «самым субъективным поэтом, какого только знала история нашей поэзии», удачно охарактеризовал его лирику как поэзию «запечатленных мгновений»: «Истинно то, что сказалось сейчас. Что было перед этим, уже не существует. Будущего, быть может, не будет вовсе... Вольно подчиняться смене всех желаний — вот завет. Вместить в каждый миг всю полноту бытия — вот цель... Он всегда говорит лишь о том, что есть, а не о том, что было... Заглянуть в глаза женщины — это уже стихотворение, закрыть свои глаза — другое... Придорожные травы, смятые «невидевшим, тяжелым колесом», могут стать многозначительным символом всей мировой жизни».[2]

Поэта-импрессиониста привлекает не столько самый предмет изображения, сколько его, поэта, ощущение данного предмета. Поэтому столь характерен для импрессионистической поэзии дух импровизации. Достаточно мгновенного толчка сознания, вызванного мимолетным впечатлением, — и непосредственно, стихийно рождается образ. Жена Бальмонта (Е. А. Андреева) в своих воспоминаниях о нем рассказывает, что стихотворение «В столице» сложилось под впечатлением от проехавшего по городской улице воза с сеном, а стихотворение «Чет и нечет» — от шума падающих с крыши дождевых капель.

Мимолетное впечатление, вмещенное в личное переживание, становится единственно доступной формой отношения к миру — для

---

[1] Отсюда, конечно, не следует, что на примере Бальмонта можно решать проблему импрессионистического искусства в целом. Импрессионизм в своем возникновении, развитии и судьбе — явление широкое, сложное, многосоставное. Из импрессионизма вышли большие художники, не только выдающиеся живописцы, но и замечательные поэты, которые жили не одними беглыми «впечатлениями», но также глубокими чувствами и мыслями. В данном случае речь идет лишь о типических чертах художественного стиля, отчетливо проступающих в лирике Бальмонта.

[2] В. Брюсов, Далекие и близкие, М., 1912, сс. 74—75.

художника, демонстративно расторгнувшего свои общественные связи и открывшего (как говорил Бальмонт) «великий принцип личности» — в «отъединении, уединенности, отделеньи от общего».[1] В этом — смысл знаменитой поэтической декларации Бальмонта:

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.

Любая мимолетность могла послужить лирической темой, воплощавшейся в зыбких и разрозненных образах, призванных передать эффект индивидуального, необязательного «для других» впечатления. Закономерности общего и целого при этом игнорируются: *мое* впечатление таково, *я* переживаю его так, а не иначе, а общей «мудрости» для меня не существует. Таков высший закон художника-индивидуалиста.

Тот же Брюсов определил суть импрессионизма в поэзии как присвоенное поэтом право «все изображать не таким, каким он это знает, но таким, каким это ему кажется, притом кажется именно сейчас, в данный миг».[2] Такой подход к задаче изображения сопровождался, как правило, утратой вещественности, предметности изображения, пластичности художественного образа. Как в живописи импрессионистов предмет часто растворяется в световоздушной среде, так и у поэта-импрессиониста видимый мир тонет «в дымке нежно-золотой» (так озаглавлен один из разделов в сборнике Бальмонта «Тишина»). Поэт-импрессионист как бы переносил на почву словесного искусства правило, которого придерживались импрессионисты-живописцы: «Колорит — это все, рисунок — ничто».

Свет и воздух, колорит, атмосфера, «пленер» играют в стихах Бальмонта неизмеримо бóльшую роль, нежели «рисунок» — четкость очертаний, пластика языка и образов. В его поэтической речи господствуют туманные, «размытые» образы; в ней бросается в глаза гипертрофия метафорических определений предмета за счет непосредственно присущих ему качеств и свойств. В высокой степени характерны для Бальмонта случаи, когда эпитеты нагнетаются во множестве, но конкретное представление о самом предмете, о его фактуре — ускользает и теряется.

Громадную роль в импрессионистической поэзии вообще, в лирике Бальмонта в частности, играет музыкальное, мелодическое на-

[1] К. Бальмонт, Горные вершины, М., 1904, с. III.
[2] В. Брюсов, Далекие и близкие, с. 159.

чало. Общая структура стихотворной речи, в которой главными оказываются не краски, а полутона, не прямые значения слов, а оттенки значений, игра на намеках и недоговоренностях, передача неуловимых ощущений, превращала стихи Бальмонта в музыкально-словесный поток, завораживающий самим своим течением, одной мелодией. Нет смысла приводить примеры, — такова, в сущности, вся лирика Бальмонта. Про такого рода поэзию теоретик импрессионизма Р. Гаман говорит (ссылаясь на Верлена и Стефана Георге): «Стихи приобретают определенный мелодический характер, гармонизируются в определенном тоне, который своей глубиной и высотой, приглушенностью или резкостью должен вызвать определенное настроение. Ликование и печаль, гладкость и твердость, ночь и свет мы ощущаем помимо понятий».[1] Чтобы убедиться в правоте такого толкования импрессионистической лирики, достаточно прочесть хотя бы такие стихотворения молодого Бальмонта, как «Мы шли в золотистом тумане...» или «Лунный луч» — бесспорно одни из лучших и характернейших его созданий того времени.

Черты импрессионизма как художественного мировоззрения и поэтического стиля распространяются на все творчество Бальмонта. Но во второй половине девяностых годов он подпадает под воздействие декадентских идей, перенимает темы и краски новейшей западноевропейской поэзии. Усвоенная с самого начала и сохранившая свое влияние до конца традиция импрессионистической лирики была приспособлена к новым художественным заданиям. Это с достаточной ясностью проявилось в третьем сборнике Бальмонта — «Тишина». Образ лирического героя, объединяющий стихи Бальмонта, приобретает все более типические декадентские черты. Это уже не робкий и вялый юноша, отвращающийся от «земной юдоли», но дерзкий «стихийный гений», «непохожий на человека», порывающийся не только «за пределы предельного», но «за пределы — и правды и лжи», как и положено «сверхчеловеку» — исповеднику ницшеанской веры. Вместе с тем в сборнике «Тишина» дарование поэта еще более выросло и окрепло. Это сразу почувствовали современники. А. И. Урусов, тонкий критик, писал Бальмонту в ноябре 1898 года: «Мне показалось, что сборник носит на себе отпечаток все более и более окрепшего *стиля*, Вашего собственного, бальмонтовского, стиля и колорита».[2]

[1] Рихард Гаман, Импрессионизм в искусстве и жизни, М., 1935, с. 119.
[2] «А. И. Урусов», т. 2/3, М., 1907, с. 325.

Из обширной и пестрой теоретической программы русского декадентства Бальмонт взял себе на вооружение далеко не все. Но он воспринял главное — субъективистское отношение к жизни и искусству, отказ от объективных критериев и ценностей и воинствующий эгоцентризм. «Принцип личности» заключается, по Бальмонту, не в соотношении личного с общим, но в «отделеньи от общего». Суть и назначение искусства — в «наслаждении созерцания», благодаря которому за «очевидной внешностью» раскрывается «незримая жизнь» — и мир становится «фантасмагорией, созданной вами».

В статье 1900 года «Элементарные слова о символической поэзии» Бальмонт решал проблему искусства и в самом деле элементарно, зато вполне категорически: «Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты — всегда мыслители. Реалисты схвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь — из окна... Один еще в рабстве у материи, другой ушел в сферу идеальности». Новой (символической) поэзии, которую Бальмонт определяет как «психологическую лирику», преемственно связанную с импрессионизмом, совершенно чужды «дидактические задачи». Она «говорит исполненным намеков и недомолвок нежным голосом сирены или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствие». Однако, при всем том, в поэзии должны свободно и органически сливаться «два содержания. скрытая отвлеченность и очевидная красота». Несмотря на присутствие в нем утаенного смысла, который надлежит разгадать, символическое произведение заключает в себе еще и «непосредственное конкретное содержание», «богатое оттенками» и «всегда законченное само по себе», существующее самостоятельно. [1]

В этом признании за произведением искусства непосредственного и конкретного содержания — черта, отделяющая импрессиониста Бальмонта от символистов теургического толка, вроде Вяч. Иванова, для которого поэзия служила только «тайнописью неизреченного» — и ничем больше. Бальмонт навсегда остался чужд собственно философским, религиозно-мистическим, теургическим интересам, объединявшим символистов «второй волны» (Вяч. Иванов, Андрей Белый, молодой Блок); их эсхатологические чаяния и защищавшееся ими понимание искусства как «творчества новой жизни» не имели для него никакой притягательной силы. Также и «богоискательство» Мережковского, З. Гиппиус и их присных не только оставляло Бальмонта совершенно равнодушным, но и вызывало с его стороны самый

[1] К. Бальмонт, Горные вершины, сс. 75—77.

резкий протест. Знаменательно, что не кто иной, как именно Вяч. Иванов отказывал Бальмонту в праве называться символистом: «...у него нет ничего общего с модернизмом, он совсем не символист, он вообще не характерен для нового направления нашей поэзии».[1]

В известном смысле отделяла Бальмонта от остальных символистов также и его англо-испанско-скандинавская ориентация в мировой литературе при малом интересе к французской поэзии и полном невнимании к античности, которые для других имели значение первостепенное (французы — для Брюсова, античность — для Вяч. Иванова). Не разграничивая понятий символизм, декадентство и импрессионизм, Бальмонт видел истоки новейшей «символической поэзии» прежде всего в творчестве таких поэтов, как Уильям Блейк, Шелли, Теннисон, Суинберн, Уайльд, Эдгар По («величайший из символистов»), Уолт Уитмен («гениальный певец личности»), затем — Ибсен, Гамсун и Стриндберг, Ницше и Гауптман, а из русских — Тютчев, Фет и Случевский. (В поэзии Тютчева он особо выделял пантеистическое начало; Фета хвалил за то, что тот установил «точное соответствие между мимолетным ощущением и прихотливыми ритмами»; у Случевского находил мятежный «современный демонизм», восстающий против «банальных форм мысли и чувства».) Бальмонт, правда, называет и некоторых поэтов романского мира — Бодлера, Рембо, Метерлинка, Верхарна, но окончательный вывод его таков: «Все, что создано было гениального в области символической поэзии 19-го века, за немногими исключениями, принадлежит англичанам, американцам, скандинавам, немцам, не французам».[2]

Излагая свое понимание «символической поэзии», Бальмонт видел в ней прежде всего поиски «новых сочетаний мыслей, красок и звуков», а в самой характеристике ее оставался, в общем, в пределах поэтики импрессионизма: символическая поэзия «говорит своим особым языком, и этот язык богат интонациями; подобно музыке и живописи, она возбуждает в душе сложное настроение, — более, чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и зрительные впечатления».

Эти общие установки были реализованы в трех центральных и лучших книгах Бальмонта — «Горящие здания», «Будем как солнце» и «Только любовь», вобравших стихи, написанные в 1899—1903 годах.

---

[1] «Ученые записки» Тартуского гос. университета, вып. 209, Тарту, 1968, с. 312.
[2] К. Бальмонт, Горные вершины, сс. 94—95.

В 1899 году Бальмонт переживает бурный творческий подъем. В октябре он пишет поэтессе Л. Н. Вилькиной в таком мажорном тоне: «У меня много новостей. И всё хорошие. Мне «везет». Мне пишется. Мне жить, жить, вечно жить хочется. Если бы Вы знали, сколько я написал стихов новых! Больше ста. Это было сумасшествие, сказка, новое. Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих». И далее: «Я изменил свое понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие годы, быть может навсегда» *(ИРЛИ)*. В таком состоянии душевного восторга и творческого упоения Бальмонт находился долго. Год с лишним спустя после письма к Вилькиной, в декабре 1900 года, он поверяет И. И. Ясинскому: «Ко мне пришло что-то более сложное, чем я мог ждать, и я пишу теперь страницу за страницей, торопясь и следя за собой, чтобы не ошибиться в радостной торопливости. Как неожиданна собственная душа! Стоит заглянуть в нее, чтобы увидеть новые дали. Не помню, я, кажется, говорил очень уж горделивые слова о том, что я сделаю. Но я не отказываюсь от обещаний. Я чувствую, что я напал на руду... и если я не уйду с этой земли, я напишу книгу, которая не умрет» *(ГПБ)*.

Новая книга, о которой Бальмонт писал Вилькиной, это «Горящие здания», на мой взгляд, наиболее зрелый и цельный сборник Бальмонта. Другая книга, которую он обещал Ясинскому, это «Будем как солнце» — самый популярный и знаменитый сборник Бальмонта, закрепивший за ним репутацию первого поэта среди модернистов (он разошелся в полгода в количестве 1800 экземпляров, что по тем временам было успехом неслыханным для поэтической книги, тем более — «декадентской»). Блок назвал «Будем как солнце» — «книгой, единственной в своем роде по безмерному богатству».[1]

Эти две книги, действительно, отразили резкий перелом в настроениях и мироощущении поэта, — перелом, выразившийся в изменении всей тональности его творчества. Блеклые краски, нюансы, теневые полутона первых сборников сменяются яркими красками, слепящими вспышками, зловещими багровыми отсветами, лирический шепот — громкими, кричащими «кинжальными словами»:

Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.

---

[1] Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, с. 137.

Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний,
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!

В предисловии, предпосланном второму изданию сборника «Горящие здания», Бальмонт заявил: «В предшествующих своих книгах... я показал, что может сделать с русским языком поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые. Но этого недостаточно. Это только часть творчества. Пусть же возникает новое».[1] Что же он понимал под новым? Прежде всего — обостренное чувство жизни, радостную готовность приятия ее. В том же предисловии он истолковал пройденный им в поэзии отрезок пути как движение от «печали, угнетения и сумерек», через «жажду безгранного, безбрежного», к «свету, к огню, к победительному солнцу», как движение от угнетенности и покорности — к приятию всей жизни во всех ее стихийных силах. Новое, жизнерадостное и жизнеутверждающее настроение, охватившее Бальмонта, было отчетливо выражено в эпиграфе (из стихов Бальмонта же), предпосланном сборнику «Горящие здания»:

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.

В том, что декаденты, в том числе и сам Бальмонт, на первых порах пели «песни сумерек и ночи», исполненные «самой больной тоски», была, как доказывал Бальмонт, своя закономерность. Выступив в промежуточное время, когда «вечерняя заря догорела, но рассвет еще спит», они хотя и предчувствовали новое, но не могли еще его «увидеть воочию».[2] Прошли годы — и все изменилось: «новое» властно вступает в свои права, и задача по-настоящему нового поэта состоит в том, чтобы быть лирическим истолкователем «современной души», которая, в отличие от души «старой», якобы уже в полной мере обладает чувством «бытия» и «внутренней свободы». Так Бальмонт перекладывал на свой язык субъективистские и индивидуалистические заповеди декаданса, ставившего перед собой задачу «преображения» реального мира в мир идеальный. «Я отдаюсь мировому, и мир входит в меня... Мне близки все, мне понятно и дорого все... Мне понятны вершины — я на них всходил, мне понятно низкое — я

---

[1] К. Бальмонт, Собрание стихов, т. 2, М., 1904, с. 2.
[2] К. Бальмонт, Горные вершины, с. 78.

низко падал, мне понятно и то, что вне пределов высокого и низкого. Я знаю полную свободу».[1] На деле это была именно та призрачная анархо-индивидуалистическая свобода, которую Ленин охарактеризовал как «одно лицемерие».

Книга «Горящие здания» имеет знаменательный подзаголовок: «Лирика современной души». В представлении поэта, это душа, открытая всей благодати и всем соблазнам мира. Дыша «полной свободой», в своем приятии сущего она не знает никаких запретов и ограничений. При всем том ни о какой цельности этой души говорить не приходится. Напротив, она расколота противоречиями, потому что мир, который она хочет полюбить, во многом все же ее отвращает. Но единственный выход из данного противоречия, который видит эгоцентрическая декадентская душа, поставившая себя вне целого и над целым, это «оправдать» мир — принять его не только в правде, но и во лжи, не только в светлом и добром, но и в темном и злом, не только в красоте, но и в уродстве. «О, я люблю жизнь и благословляю ее со всеми ее мучениями!» — восклицал Бальмонт в уже цитированном письме 1900 года к И. Ясинскому. Год спустя, посылая «Горящие здания» Л. Н. Толстому, Бальмонт писал ему: «Эта книга — сплошной крик души разорванной, и если хотите, убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной ее страницы и — пока — люблю уродство не меньше, чем гармонию».[2]

Декадентская всеядность, можно сказать, с редкой наглядностью отразилась в стихах Бальмонта. Мир его поэзии не столько широк (что не исключает выбора и оценки, производимых художником), сколько расплывчат (что всегда объясняется безразборчивостью художника). В состав его входят Запад и Восток, Бодлер и Ницше, индийская метафизика и китайское богословие, испанские видения и русское предание («В глухие дни», «Смерть Димитрия Красного») и еще многое другое. За всем многообразием тем, мотивов, веяний и влияний стоит, как и полагается в лирике, литературная личность поэта — на сей раз беспримерно своевольная, капризная, страшно изменчивая и податливая.

Я вольный сон, я всюду и нигде...
Я вижу всё, везде встает мой лик,
Со всеми я сливаюсь каждый миг...

---

[1] К. Бальмонт, Из записной книжки. — Собрание стихов, т. 2, с. 5.
[2] «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, сс. 135—136.

Я — внезапный излом...
Всё пойму, всё возьму, у других отнимая...

Я вечно другой.
Я каждой минутой сожжен.
Я в каждой измене — живу.

Я с каждым могу говорить на его языке.

Отсюда — раздробленность того лирического «я», которое стоит за стихами Бальмонта, множественность ликов лирического героя или, вернее сказать, масок, которые он — одну за другой — примеривает. Сейчас он один, через мгновение — другой: чуткий часовой, что сторожит сон товарищей; пламенный испанец, опьяняющийся и своей и чужой кровью и желающий быть «первым в мире»; свободно кочующий скиф; зловещий скорпион, погибающий во имя собственной гордыни; двойник извращенно-беззаконного Нерона; «избранный, мудрый и посвященный» поэт и царь, «сын солнца» и «брат ветра»; сумрачный и гордый паладин-крестоносец... И так далее.

Эти бесконечные метаморфозы и трансформации лирического героя сопровождаются переменами окружающих его декораций, которые создают приличествующий в каждом случае исторический либо географический колорит. Декоративной пышности лирики Бальмонта способствовала сама структура его книг — со множеством разделов, подразделов, циклов, снабженных эпиграфами, мобилизующими образы древних и редких культур и изысканные изречения, почерпнутые из самых разнообразных источников. Это черта, характерная не для одного Бальмонта, а для большинства символистов: они не мыслили своего существования без пышной орнаментики, воссоздающей иные века и страны и как бы бросающей оттуда отраженный свет на их собственное творчество.

Но в конечном счете маски остаются масками, декорации — декорациями, и за всем этим разноцветным реквизитом оказывается сам Бальмонт со своей декадентской (не цельной, расколотой) душой. При всей мажорности тона его «новой» поэзии, громко, подчас крикливо декларируемая радость приятия жизни нет-нет да перемежается нотами грусти, а нередко и отчаянья.

Мир «принимался» и «оправдывался» декадентом в его первозданной сущности, в контрастах его стихийного бытия, во всем, что

угодно, кроме как в действительной жизни с ее реальными противоречиями, с ее реальным социально-историческим содержанием. Анархо-индивидуалистическая воля к оправданию «всего мира» оборачивалась самоутверждением личности, якобы вместившей в себя этот «весь мир», а на деле пребывавшей в состоянии полной изоляции от него Участие в социальной жизни подменялось погружением в «бездонные глубины» собственной души. Такова была общая судьба эгоцентриков и эстетов, оторвавшихся от народной почвы и пытавшихся плыть против течения жизни, против потока истории. Иллюзорная связь между своей обожествленной душой и мифологизированным «всем миром» представлялась декаденту единственным выходом из ущербного одиночества и смутно ощущавшегося им чувства исторической обреченности. Именно поэтому безотчетная тоска и вялое безразличие к жизни, как правило, сменяются у декадентов ощущением «полноты бытия» якобы «внутренне освобожденной» личности, желанием открыть в косном мире стихийные силы страсти и мятежной воли. Апостол сверхиндивидуализма Ф. Ницше недаром признавался в свое время: «Инстинкт самосохранения воспретил мне философию нищеты и уныния».

Идеи Ницше, безусловно, оказали на Бальмонта сильное воздействие. Именно ницшеанский призыв к переоценке всех ценностей лежал в основе той трансформации, которую пережил Бальмонт на рубеже нового века, отказавшись от минорных, «болотных» настроений, окрасивших его первые книги, в пользу нового мироощущения, приобретавшего в значительной мере характер волюнтаристский и гедонистический. На все лады варьирует Бальмонт найденную им тему «стихийного гения», придавая ему черты ницшеанского «сверхчеловека», которому «все позволено», который стоит по ту сторону добра и зла, правды и лжи. Даже если бог встает преградой на пути «сверхчеловека», накладывая на него узду рабского послушания, значит, нужно восстать и на бога.

Отсюда — все дерзания и все дерзости Бальмонта, все его неумеренные выкрики, отдающие дешевым эпатажем, вроде «Я ненавижу всех святых!» [1] или многократно цитированного:

Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.

---

[1] В. Брюсов еще в 1897 году записал в дневнике: «Мы говорили о Христе. Бальмонт назвал его лакеем, философом для нищих» (В. Брюсов, Дневники. 1891—1910, с. 30).

Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.

Или же — не менее затрепанного:

Всё равно мне, человек плох или хорош,
Всё равно мне, говорит правду или ложь.
Только б вольно он всегда *да* сказал на *да*,
Только б он, как вольный свет, *нет* сказал на *нет*.

Само собой, нельзя понимать эти выкрики в прямом, буквальном смысле, как признание поэта в человеконенавистничестве и полном презрении к азам морали. Если бы Бальмонту предъявили такого рода обвинения, он, конечно, ответил бы, что под «человечеством» понимает в данном случае всесветное мещанство, скопление безликих множеств, лишенное истинно человеческих свойств и качеств, воплощение всего серого, пошлого, слабого, рабского, что противоречит истинной природе человека. Также и безразличие к тому, хорош человек или плох, трактовалось Бальмонтом как признание относительности понятий добра и зла, правды и лжи, чести и бесчестия в буржуазно-мещанском мире. Разумеется, подобные толкования не снимают объективно реакционного, антидемократического смысла ницшеанской идеи «сверхчеловека», стоящего над убогой толпой. Обличение мещанства служило для декадентов по большей части маской, которой они прикрывали свое равнодушие к человеку.

Тем не менее, довольно энергичная нота обличения духовного мещанства, беспросветной пошлости обывательского существования звучит в поэзии Бальмонта — в таких, к примеру, стихотворениях, как «В домах» (в сборнике «Будем как солнце») или более поздних «Человечках». Именно эта сторона декадентских дерзаний Бальмонта на известное время привлекла к нему внимание таких людей, как Чехов и Горький. Стихотворение «В домах» не случайно было посвящено М. Горькому, автору «Мещан» (тот же 1902 год). Здесь просвечивает, хотя и слабо, сочувствие и сострадание к людям:

О люди, я вслушался в сердце свое,
И знаю, что ваше — несчастно!

Но Бальмонту, по самой природе и качеству его душевных переживаний, была недоступна горьковская концепция человека-героя, человека-творца, обретающего свою силу в единении с другими, с массой, — равно как бальмонтовское представление о людях («гномы», «мошки») оказалось совершенно неприемлемым для Горького.[1]

---

[1] См. примеч. 211-е (с. 628).

В порядке переоценки всех ценностей Бальмонт вслед за своими новыми кумирами — Эдгаром По, Бодлером, тем же Ницше — творит поэзию «кошмаров», «безумий» и «ужасов», упивается всяческими «сатурналиями» и «инфернальностями», обращается к инкубиальным мотивам (отчасти в духе «загробных песен» К. Случевского). Целые разделы в сборнике «Будем как солнце» посвящены всяческой дьяволиаде («Danses macabres», «Сознание», «Художник-Дьявол»).

Я знаю только прихоти мечты,
Я всё предам для счастья созиданья
Роскошных измышлений красоты.

Мне нравится, что в мире есть страданья,
Я их сплетаю в сказочный узор,
Влагаю в сны чужие трепетанья.

Обманы, сумасшествие, позор,
Безумный ужас — всё мне видеть сладко,
Я в пышный смерч свиваю пыльный сор...

С этим кругом тем связана так же достаточно широко представленная в поэзии Бальмонта эстетизация уродства («В гармонии мне дорог произвол», «Чтоб видеть высоту, я падаю на дно», «Я горько вас люблю, о бедные уроды» и т. п.), идущая прежде всего от Бодлера, а отчасти — все от того же Ницше, который охотно смещал понятия красоты и безобразия. Смысл, который придавался в декадентском искусстве эстетике чудовищного и преступного, сводился к желанию передать болезненно-острое ощущение резкой дисгармонии, господствующей в мире. На языке Бальмонта это звучало так:

Что в мире я ценю, — различность сочетаний:
Люблю Звезду морей, люблю змеиный грех.
И в дикой музыке отчаянных рыданий
Я слышу дьявольский неумолимый смех.[1]

Болезненное тяготение художника ко всякого рода «пропастям» и ко всяческой «дисгармонии» Бальмонт, в полном согласии с другими декадентами, объяснял как попытку «разгадать вечное явление мирового зла» — во имя истинной любви к добру (Бодлер, к при-

[1] Еще в 1897 г. Бальмонт писал другу своему Г. Бахману: «Что мне красота Красоты, когда все во мне и вокруг меня искажено, извращено, изуродовано?» *(ИРЛИ)*.

меру, «жил во зле, добро любя»), однако такие благонамеренные толкования, конечно, ничего не меняли по существу: именно в стихах с инфернальной окраской поэт наиболее погружался в обесчеловеченную стихию декаданса.

Но есть в поэзии Бальмонта времени его творческого подъема и другая сторона, которая объективно вступала в известное противоречие с увлекавшими его собственно декадентскими началами, темами и мотивами. Блок, любивший Бальмонта и умевший отделять в его стихах руду от шлака, проницательно заметил, что этот поэт «полюбил явления помимо их идей».[1] Действительно, живое чувство художника, в конечном счете служившее источником поэтической силы Бальмонта, в иных случаях позволяло ему увидеть мир непосредственно, а не в том освещении, которое придавала ему эстетика декаданса. Какие бы маски ни надевал на себя Бальмонт, какими бы декорациями ни отгораживался от действительности, он еще и просто *любил жизнь*, инстинктивно тянулся к свету, к солнцу, к радостному переживанию бытия, к живому ощущению мощной и многоцветной красоты мира в его могущественных стихиях.

На этой почве сложился пантеизм Бальмонта, преемственно связанный отчасти с английской поэзией (Шелли, Теннисон).[2] Он довольно примитивен (ограничивается несколькими излюбленными мотивами — солнца, луны, ветра, к которым поэт обращается беспрестанно) и однозначен (то или иное явление природы призвано символически обозначить душевное состояние поэта), но так или иначе стихийные силы природы неизменно присутствуют в поэзии Бальмонта как образы той полноты ощущения и переживания жизни, которой он не находит в человеческом обществе. Поэт чувствует свое родство со стихиями: солнце, луна, тучи, ветер, вода, огонь, воздух — вот та среда, в которой по-настоящему живет вольная и мятежная душа поэта. Ветер ему — «вечный брат», океан — его «древний прародитель»; обращаясь к огню, он восклицает: «Вездесущий огонь, я такой же, как ты!»

В книге «Будем как солнце» сделана попытка очертить космологическую картину мира, в центре которой поставлено солнце — вечный и животворный источник всего сущего. В русской поэзии это была тема не новая (вспомним «солнце мира» у Фета), но ни у кого она не заняла столь большого и важного места, как у Бальмонта.

---

[1] Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, с. 529.

[2] В. Жирмунский, Валерий Брюсов и наследие Пушкина, П., 1922, с. 96.

Эпиграф из Анаксагора, дающий, как камертон, главную ноту звучания всей книги, развернут в великолепное вступительное стихотворение:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И выси гор.

. . . .

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о солнце
В предсмертный час!

Попытка воссоздать космологическую картину мира в самом существе своем противоречила духу декаданса, утратившего представление о целостности. Бальмонту до известной степени оказалось близким тютчевское чувство космоса — как причастности человека к «мировой жизни», как сознания того, что твое частное бытие растворено в общем (намеки на это содержатся в статье Бальмонта о Тютчеве [1]). Здесь перед Бальмонтом, казалось бы, приоткрывались новые возможности, но он не сумел воспользоваться ими в должной мере.

Пантеистические и космические мотивы растворены в лирике Бальмонта — и в этих случаях ему часто сопутствовали значительные творческие удачи. Когда же он разрабатывал подобные темы специально, то, как правило, впадал в громкую, но сухую декламацию. Его многочисленные «стихийные гимны» абстрактны и риторичны; в них ему изменяло главное его оружие — «певучая сила».

Из всего сказанного видно, что Бальмонт, будучи по духу человеком декаданса, как поэт усвоил только часть пестрой декадентско-символистской программы и что творчество его выявляет лишь один лик поэзии русского символизма (явления сложного и многосоставного), а именно — импрессионистическую лирику. Подтверждение этому находим в особенностях стиля и поэтики Бальмонта.

Вслед за Шопенгауэром, который выдвигал музыку как высшую, алогическую форму искусства, способную с наибольшей полнотой выразить сущность «мировой воли», декаденты и символисты проявляли преувеличенное внимание к музыкальному началу в поэзии, к «музыкальной потенции слова» (по определению Ин. Анненского). Они подхватили лозунг Верлена: «Музыка — прежде всего...

---

[1] К. Бальмонт, Горные вершины, с. 89.

Все остальное — литература». На этой почве сложнлось весьма распространенное среди декадентов и символистов представление о стихотворной речи как о завораживающем потоке музыкальных созвучий. На практике такое представление зачастую принимало характер гипертрофированный, когда сама поэзия тонула и растворялась в «безóбразной» музыке, — и в первую очередь это относится к лирике Бальмонта.

Валерий Брюсов, вспоминая литературное брожение начала девяностых годов, писал: «То было время, когда над русской поэзией всходило солнце поэзии Бальмонта. В ярких лучах этого восхода затерялись едва ли не все другие светила. Душами всех, кто действительно любил поэзию, овладел Бальмонт и всех влюбил в свой звонко-певучий стих».[1]

Для того чтобы вполне уяснить эффект появления Бальмонта на сцене русской поэзии начала девяностых годов, нужно вспомнить, что, если не говорить об отдельных немногих исключениях, сцену эту заполняла толпа безликих виршеписцев, открыто пренебрегавших стихотворной техникой и вообще донельзя уронивших культуру русского стиха. Среди бесчисленных Ратгаузов, Мазуркевичей, Афанасьевых, Коринфских, Фругов и tutti quanti даже такой неровный и растрепанный поэт, как Фофанов, выглядел звездой первой величины. В массовой, журнальной поэзии тех лет господствовали эпигонство, банальщина, вялое и сухое рифмачество. И вдруг на этом тусклом фоне появился поэт, виртуозно владевший удивительно звонким стихом, полным музыкальных созвучий. Вероятно, М. Горький имел в виду прежде всего Бальмонта, когда говорил о «формальном возрождении стиха в самом конце XIX века и в начале XX века».[2]

«Звонко-певучий» стих Бальмонта произвел на современников впечатление поистине оглушительное. Тот же Брюсов, судья строгий и взыскательный, писал: «Равных Бальмонту в искусстве стиха в русской литературе не было. Прежде могло казаться, что в напевах Фета русский стих достиг крайней бесплотности, воздушности. Но там, где другим виделся предел, Бальмонт открыл беспредельность. Даже такой, казалось бы, недосягаемый по певучести образец, как лермонтовское «На воздушном океане», значительно померк после лучших песен Бальмонта».[3]

---

[1] В. Брюсов, Далекие и близкие, с. 107.
[2] М. Горький, О «Библиотеке поэта». — В кн.: Г. Р. Державин, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1933, с. 16.
[3] В. Брюсов, Далекие и близкие, с. 79.

Завышенность, преувеличенность такой оценки совершенно очевидна и не требует доказательств. А в наше время, в свете опыта, накопленного новейшей русской поэзией, померк и сам Бальмонт. Но в свое время он, действительно и по справедливости, снискал репутацию «дивного мастера стиха». Тогдашних читателей пленяли и казались им неслыханным новшеством такие, с нынешней точки зрения банальные, давно уже затрепанные приемы, как знаменитые бальмонтовские «повторы» (вроде: «Я мечтою ловил уходящие тени, уходящие тени погасавшего дня») или звонкое бряцанье внутренними рифмами, начиная с простейшего их применения в «Фантазии» (открывавшей первый сборник Бальмонта) и многих других стихотворениях такой же структуры и кончая более сложными композициями вроде: «Шумели, сверкали, И в дали влекли, И гнали печали, И пели вдали» или: «На вершине скалы, где потоком лучей Солнце жжет горячей, где гнездятся орлы, Из туманов и мглы зародился ручей, Всё звончей и звончей, по уступам скалы...» и т. д. Эта гипертрофия рифмы, многократность концевых или различные комбинации внутренних созвучий в лирике Бальмонта безусловно восходят к поэзии возлюбленного им Эдгара По, к таким его произведениям, как «Ворон», «Улялюм», «Колокола».

При этом в поэзии Бальмонта не обнаруживается никакого «новаторства» по существу. Он оставался в рамках узаконенной метрики, рифмы у него всегда точные, большей частью морфологически однородные, ритмы — обычные и довольно однообразные, — короче говоря, вся структура его стиха вполне традиционна. Столь же характерна для Бальмонта рано проявившаяся и оказавшаяся устойчивой до конца привязанность к старым, каноническим стиховым формам (сонет, терцины, триолет, позже — секстины). По замечанию Брюсова, «стих Бальмонта — это стих нашего прошлого, усовершенствованный, утонченный, но по существу все тот же; «другие поэты» не только «предтечи» Бальмонта в искусстве стиха, но и несомненные его учители».[1]

Метрические и ритмические новации Бальмонта случайны и единичны. Они не меняют облика его поэзии. Несколько примеров свободного стиха, сбивающегося на «стихотворения в прозе» («Эльзи»), несколько опытов чисто тонических, разностопных стихов («дольников»), которые Бальмонт простецки называл «прерывистыми строками». Из них наиболее интересны «Болото» и «Старый дом» (в сборнике «Только любовь»), в которых есть ритмические находки, позволяющие говорить об изобразительных возможностях ритма. Во

[1] В. Брюсов, Далекие и близкие, с. 79.

всяком случае, Ин. Анненский нашел, что стих «Болота» ритмически передает зыбкость трясины и трудность передвижения по ней, а тяжелое, замедленное течение стиха в «Старом доме» способствует созданию впечатления безысходной тоски. Не вдаваясь в такие тонкости, подсказанные субъективным воображением, следует заметить, что в этих стихотворениях Бальмонту действительно удалось впечатляюще, на слух, передать «прерывистость» и «запинания», составляющие самую суть тонического «паузного стиха».

Вся специфика поэтического стиля Бальмонта состоит в том, что в его лирике безраздельно господствует музыкальное начало. В нем источник одновременно и очарования некоторых его стихотворений, и той назойливой трескучести, которая по справедливости называется «бальмонтовщиной». К Бальмонту в полной мере применимо понятие «музыкант слова», введенное в обиход ранними французскими символистами (T. de Wyzewa). Но лирика Бальмонта в целом (если не говорить о немногих, в общем, исключениях) представляет собою первоначальную, элементарную форму музыкальной поэзии. Вся она держится на простейших звуковых эффектах, и в этом смысле ей бесконечно далеко до сложнейших словесно-музыкальных композиций и тончайших мелодических находок таких поэтов, как Блок, Анненский, Сологуб.

Излюбленный прием Бальмонта, которым он пользовался (наряду с нагнетанием внутренних рифм) неумеренно, это аллитерация, причем преимущественно в простейшей форме «инструментовки на согласных».[1] Знаменитые, навязшие в зубах примеры: «Вечер. Взморье. Вздохи ветра. Величавый возглас волн...», «Чуждый чистым чарам счастья, Челн томленья, челн тревог...», «Ландыши, лютики. Ласки любовные...», «Камыши», «Влага» и многое другое. Здесь господствует барабанно-механическое повторение одного и того же звука — зачастую в ущерб смыслу и зрительной представимости образа (в самом деле, почему, спрашивается, «челн», оказывается, «чужд чарам счастья»?).

Подобного рода откровенно звукоподражательные стихи в свое время принесли Бальмонту славу (впрочем, довольно скандальную), а впоследствии они же наиболее способствовали падению его репутации. Именно такие стихи дали повод Блоку утверждать, что «Бальмонт и вслед за ним многие современники *вульгаризировали* аллите-

---

[1] О. Мандельштам писал об «особом фонетическом свойстве Бальмонта — экзотическом восприятии согласных звуков» — и утверждал, вряд ли справедливо, что «именно здесь, а не в вульгарной музыкальности, источник его поэтической силы» («Русское искусство», 1923, № 1, с. 77).

рацию».[1] Между тем справедливость требует оговорить, что у Бальмонта можно найти, и пожалуй не меньше числом, стихи, инструментованные гораздо более изощренно. Но почему-то все до сих пор помнят злополучный «черный челн» и проходят мимо таких, к примеру, стихотворений, как «Белладонна», «Твой смех прозвучал серебристый...», «Исландия», «Двойная жизнь», «С морского дна», «Дождь», «Она отдалась без упрека...», «Золотая рыбка» с их по-настоящему богатой и тонкой музыкой.

Музыкальность стихотворного языка, бесспорно, украшает поэзию, но, понятая слишком буквально и применяемая в неумеренных дозах, таит в себе грозную опасность обессмысливания поэзии, и лирика Бальмонта служит в этом отношении впечатляющим примером. Ин. Анненский, сам тонко-музыкальный поэт, утверждал: «На минуту пожертвуйте звуку, внешнему моменту — внутренним смыслом, и поэзия обратится в бред сумасшедшего».[2] Бальмонт же зачастую именно приносил в жертву звуку и смысл и ритмико-синтаксический строй стиха.

Ритмика Бальмонта, при всей звуковой оснащенности его стихов, бедна и однообразна. Она, как правило, не варьируется в пределах одной пьесы и тем самым не создает движения стиха. В подавляющем большинстве случаев она оставляет впечатление плавного скольжения и мерного, убаюкивающего качания. Молодой Маяковский в полемическом выступлении ощутимо точно назвал стихи Бальмонта «плавными и мерными, как качалки и турецкие диваны».[3]

«Музыкальный поток», вбиравший в себя бесконечные звуковые переклички, приводил к расплывчатости, размытости стихотворной речи, к развоплощению образа, к выветриванию его предметно-вещественного смысла. Семантика, вообще бедная у Бальмонта, при этом отступала на второй план или вовсе утрачивала свои права, подменялась произволом далековатых и зыбких ассоциаций. Ценность слова заключалась уже не в смысловом его содержании, а в звуковой форме, создающей определенный эмоциональный эффект. Отсюда — полная свобода в выборе и расстановке слов. Поскольку слово существует уже не как смысловой знак, а как своего рода звуковая эмблема, его можно заменить другим либо переставить (в критике, в порядке шутки, некоторые стихи Бальмонта

---

[1] Александр Блок, Записные книжки, М.—Л., 1965, с. 179.

[2] Цит. по статье Е. Малкиной «Иннокентий Анненский». — «Литературный современник», 1940, № 5/6, с. 213.

[3] Цит. по репортерскому отчету в газете «Русское слово», 1913, 8 мая.

публиковались «задом наперед», начиная с последней строки и кончая первой, — и при этом они не теряли своего музыкально-эмоционального заряда). Точную и исчерпывающую характеристику бальмонтовского эмблематического слова дал В. М. Жирмунский: «Слово существенно для Бальмонта только как звуковой комплекс, окрашенный известным эмоциональным тоном, который одинаково присутствует в очень различных по своему вещественно-логическому значению словах... Создается впечатление, что поэт воздействует на слушателя не столько смыслом слов, нередко неясным и неточным, сколько эмоционально окрашенными звуками, как бы «музыкой» стиха».[1]

Отсюда главная беда Бальмонта — бедность поэтического языка. Она сказалась как в ограниченности словаря (бесконечное мелькание одних и тех же любимых слов: луна, солнце, ветер, волна, мгла, кольцо, море и т. д.), так и в его отвлеченности и, наконец, в элементарности синтаксиса, в котором почти не обнаруживается сложных форм предложения, зато с избытком присутствуют однолинейные повторения, перечисления, параллелизмы. Характерная черта бальмонтовского языка — пренебрежение глаголом, а это приводит к однообразию и неподвижности стихотворной речи. Зато непомерно большое место заняло в этом языке прилагательное. Во множестве случаев, отрываясь от предмета определения, оно принимало на себя значение существительного-эпитета. Так возникли и расплодились типично бальмонтовские искусственные образования на «ость», в лучшем случае передающие впечатление от предмета, вместо того чтобы раскрыть его качество, — все эти назойливо мелькающие: далекость, запредельность, алость, лилейность, опрокинутость, стозвонность, самосожженность и т. п. Они изрядно портят даже многие хорошие стихи Бальмонта.

Все это придавало стихотворному языку Бальмонта характер абстрактный, отвлеченный. Этот поэт (вспомним определение Брюсова) в самом деле изображал мир не таким, каким его *знал*, но таким, каким он ему *казался*.

Нужно признать, что Бальмонт был наделен острой наблюдательностью. Как человек, выросший в сельско-поместной обстановке, он был посвящен в тайны природы, знал, к примеру говоря, *как именно* трубят в полете журавли, надсадно кричит коростель, токует глухарь, гогочет дикий гусь, воркует лесной голубь-вяхирь (все это явствует из его позднейшей статьи «Русский язык»), достоверно и

[1] В. Жирмунский, Вопросы теории литературы, Л., 1928, сс. 97—98.

точно знал, конечно, и многое другое о том, что окружало его в мире, и у него были веские основания упрекать горожанина Брюсова в полном незнакомстве с живой природой. Но в поэзии самого Бальмонта следы этого знания, этой наблюдательности — случайны и единичны. В стихах он предпочитал обходиться условно-«поэтическими», в сущности ничего не говорящими, стершимися в стихотворном обиходе словами. Цветы у него «молчаливые» и «ароматные», лучи «золотистые», небо «глубокое», даль «безграничная», темнота «угрюмая», вода «зеркальная», улыбка «стыдливая», море «безбрежное» и т. д., и т. п. Отлично зная, как именно кричит коростель, он ни разу не рассказал об этом в стихах.

То, в чем для Бальмонта с самого начала таилась угроза, в дальнейшем обернулось для него катастрофой. Живя, по собственному признанию, «как птица» — «сердцем, вне рассудка», он с течением времени окончательно утратил сколько-нибудь твердый критерий в оценке своей творческой работы.[1] По свидетельству близких людей, он писал беспрерывно, «стихи возникали у него мгновенно» и «он еле успевал их записывать», «просыпался ночью с готовым стихотворением», писал прямо набело и никогда не возвращался к написанному, ничего не менял и не исправлял. В этом непрерывном стихописании было что-то судорожное, маниакальное, — и потому, пожалуй, ни у кого из значительных русских поэтов нет такого множества плохих стихов, как у Бальмонта. Чем дальше, тем все больше «бессознательное» творчество его приобретало шаманский характер. Стихи превращались в сплошной поток «звуковых соответствий», в котором очень нелегко, а иногда и невозможно уловить малейший проблеск мысли.

Свое понимание «магии звуков» Бальмонт довел до абсурда, попытавшись (уже в 1915 году) теоретически обосновать его в книжке «Поэзия как волшебство». Привлекая в помощь себе древнеиндийскую натурфилософию, мексиканскую космогонию, Эдгара По (как автора философской сказки «Могущество слов») и Фета («провозвестника звуковых гаданий и угаданий стиха»), Бальмонт впал в чистую мистификацию, приписывая «напевному слову» уже не только эмоциональную, но «заклинательно-магическую силу» и даже «физическое могущество», присваивая фонетическим элемен-

---

[1] Характерно в этом смысле письмо от 29 января 1916 г. к Е. А. Андреевой *(ЦГАЛИ)*, где воедино смешаны и настоящие удачи и тяжкие провалы: «Я перечитывал вчера свою книгу «Зеленый вертоград» и снова был в ее очарованиях... и снова вижу, что в ней, так же как в «Литургии красоты» и в «Только любовь» и в «Будем как солнце», я создал великие книги».

там речи якобы органически присущее им понятийно-смысловое содержание. Так, например, звук *М*, по Бальмонту, это «стон сдержанной, скомканной муки», *У* — «музыка шумов» и «всклик ужаса», *И* — «звуковой лик изумления, испуга», а также «крик, свист, визг», *Е* — одновременно (в различных словах) — «светлое благовестие» и «задержанное зловестие».

Пример Бальмонта глубоко поучителен: он говорит о том, что даже высокоодаренный поэт, самонадеянно полагающийся только на свою «певучую силу», обречен на творческое вырождение. У Бальмонта были и талант, и знания, и мастерство, но, впав в бессмысленное шаманское бормотанье, он странным образом пренебрег самой культурой стихотворной речи.

Неуклонное и быстрое падение Бальмонта обозначилось в сборниках «Литургия красоты» (1905) и «Злые чары» (1906), где он обратился к менее всего доступной ему области рассудочной поэзии, к теософским размышлениям и материалу народных поверий — и потерпел очевидное и тяжелое поражение.

Отступлением на прежние позиции и потому счастливым исключением явился небольшой сборник «Фейные сказки» (1905) — книжка изящных стилизаций в манере наивных детских песенок. Брюсов назвал ее «одной из самых цельных книг Бальмонта», в которой нет «напряженного тона вымученных стихийных гимнов», в которой автор «позволил себе снова быть самим собой».[1] А. Белый также оценил эту книжку как «неожиданный подарок».[2]

В следующих книгах, выходивших одна за другой, Бальмонту окончательно изменили художественный вкус и чувство меры. Начиная с 1906 года он с головой погрузился в стихию, чуждую ему по самой природе его дарования, — занялся рифмованными переложениями русского фольклора (отдавая предпочтение различным проявлениям народной фантазии и мистики, религиозному сектантству и всяческому волхвованию[3]), пересказом древних космогоний и разноязычных памятников ритуально-жреческой поэзии (им посвящен целый сборник — «Зовы древности», 1908 года).

Катастрофическим провалом Бальмонта явилась книга «Жар-птица» (1907), где он попытался воссоздать мир славянской мифологии и былинного эпоса путем стилизаторского приспособления

---

[1] «Весы», 1905, № 12, сс. 76—77.

[2] «Золотое руно», 1906, № 1, с. 140.

[3] Он зачитывался известной книгой С. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила».

к требованиям «современного» (декадентского) вкуса.[1] Получилась сусально-аляповатая подделка в оперном «русском стиле», из которой начисто улетучился дух подлинной народной поэзии. Мужественная и суровая красота русской былины превратилась в дешевую декадентскую красивость. Бальмонт перелагал былины, церковно-апокрифические предания, заговоры и заклинания рифмованным стихом собственной выделки, и В. Брюсов совершенно справедливо заметил по этому поводу: «Как Ахилл и Гектор были смешны в кафтане XVIII века, так смешны и жалки Илья Муромец и Садко Новгородский в сюртуке декадента».[2] Такой же эстетской фальсификацией явился сборник Бальмонта «Зеленый вертоград» (1909), целиком заполненный переработками сектантских (хлыстовских) песен.

После «Литургии красоты» Бальмонт окончательно захлебнулся в безостановочном потоке почти всегда ничего не значащих слов. В 1909 году Александр Блок, высоко ценивший «настоящего» Бальмонта, вынес убийственный приговор его очередным книгам: «Это почти исключительно нелепый вздор, просто — галиматья, другого слова не подберешь. В лучшем случае это похоже на какой-то бред, в котором, при большом усилии, можно уловить (или придумать) зыбкий лирический смысл; но в большинстве случаев — это нагромождение слов, то уродливое, то смехотворное... И так не страницами, а печатными листами... И писал это не поэт Бальмонт, а какой-то нахальный декадентский писарь... С именем Бальмонта далеко еще не все отвыкли связывать представление о прекрасном поэте. Однако пора отвыкать: есть замечательный русский поэт Бальмонт, а нового поэта Бальмонта больше нет».[3] Заметим, что сказано это было открыто, в печати (в газете «Речь»).

Правда, под конец, уже потеряв свое место в поэзии, сыграв свою роль, Бальмонт, по-видимому, в какой-то мере все же осознал гибельность пути, по которому пошел, и в сборнике 1912 года «Зарево зорь» вернулся к привычной и доступной ему импрессионистической лирике. И в «Зареве зорь», и в последующих книгах — «Белый зодчий» (1914), «Ясень» (1916), «Сонеты солнца, меда и луны»

---

[1] Свое обращение к древнеславянскому миру и «богатой народной фантазии» Бальмонт мотивировал в статье «Символизм народных поверий» («Весы», 1904, № 3; также в книге Бальмонта «Белые зарницы», СПб., 1908). См. также статью «Рубиновые крылья» в книге «Морское свечение», СПб., 1910.

[2] «Весы», 1907, № 10, с. 46. См. также статью С. Городецкого «Тень прочтенной книги» («Весы», 1907, № 8), в которой «Жар-птица» сравнивается с памятниками народного творчества.

[3] Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, сс. 374—375.

(1917) — значительно больше отдельных удач, нежели в сборниках «провального» периода (1905—1909), но их приходится буквально «вымывать» — как крупицы золота из бесполезной породы. (Даже в очень плохих стихах Бальмонт мог порой обмолвиться отличной строчкой, вроде такой, например: «Грозовые замыслы искусства».)

На заре юности Бальмонта, в 1886 году, В. Г. Короленко дал ему прекрасный совет: учиться «художественному воздержанию», уметь «сосредоточиться», не «расплываться» и не «тратиться» по пустякам. И хотя Бальмонт многократно утверждал, что запомнил советы Короленко на всю жизнь, как раз из этого замечания он не извлек никаких уроков. И только пройдя длинный, обрывистый путь, перемежавшийся подъемами и падениями, он пришел к — увы, позднему — пониманию того вреда, который нанесла его поэзии неэкономная трата стихов. В письме к литовскому поэту Людасу Гире от 4 декабря 1929 года он писал: «Вы поддаетесь искушению многословия, красивого, но многословия... Я говорю это жесткое слово потому, что и сам раньше страдал тем же недостатком — легкостью говорить слова, петь стихи. За последние годы внутренней пытки, и еще ранее, с 1916-го года, со времени «Сонетов солнца, меда и луны», я исцелился от этого недостатка, мне кажется».[1]

Действительно, книга «Сонеты солнца, меда и луны» в этом отношении показательна. Бальмонт издавна любил писать сонеты, но никогда не писал их в таком изобилии, как в позднюю пору, начиная с 1915 года. Не приходится сомневаться, что он рассматривал эту строжайшую стихотворную форму как средство самодисциплины, позволяющее преодолеть растекающийся поток музыкальной речи и вместить ее в строгие, тесные рамки четырнадцати строк, подчиненных особым законам композиции. Но и в этом случае, как всегда, Бальмонт не знал меры. В его книге более двухсот пятидесяти сонетов, среди них есть написанные мастерски, но удельный вес книги намного бы увеличился, если бы она была вчетверо короче.

В лирике эмигрантской поры Бальмонт не сказал ничего нового. Он писал по-прежнему неудержимо, но из громадной массы написанного (почти всегда рыхлой и сырой) можно выделить некоторое количество драматически звучащих стихотворений, проникнутых острейшей тоской по родине. Еще в 1905 году, путешествуя по Мексике, Бальмонт сказал: «Нужно отойти от России, и тогда поймешь, как бездонно ее любишь».[2] Лучшее, что создал Бальмонт

---

[1] Письмо сообщено мне Н. К. Бальмонт-Бруни.
[2] К. Бальмонт, Змеиные цветы, М., 1910, с. 13.

в эмиграции, посвящено России, ее природе, культуре, языку и горькой судьбе человека, навсегда потерявшего родину. К концу жизни он смирился духом. От былой заносчивости, которою он эпатировал публику, не осталось и следа. Если в свое время он горделиво заявлял, что перед ним «другие поэты — предтечи», то теперь писал умиротворенно:

Быть может, дадутся другому удачи
Полней и светлей, чем моя...

Особая и чрезвычайно обширная область творческой работы Бальмонта — его переводы. Им владела настоящая страсть к переложению на родной язык чужеземных писателей и поэтов. Она проснулась в нем рано. В предисловии к книге своих переводов из чешского поэта Ярослава Врхлицкого (1928) он рассказал, как еще мальчиком четырнадцати лет, «тайком от старших», овладел немецким языком — и первым переведенным им поэтом был романтик Ленау.

Хорошее знание многих языков, большие лингвистические способности и основательная филологическая эрудиция позволили Бальмонту широко развернуть переводческую деятельность. Репертуар ее громаден, охватывает и Запад и Восток, и глубокую древность и новое время. Если говорить только о стихотворных переводах, это будут обрядовые гимны и любовные песни древнего Египта, космогонические сказания майя и ацтеков, памятники древнейшей поэзии Халдеи, Ассирии и Индии (ведийские гимны, «Упанишады»), Асвагоша («Жизнь Будды») и Калидаса (три драмы), гимны и притчи из «Зенд-Авесты», Лао-цзы и поэты древнего Китая, песни и заговоры народов Океании, Орфей и Сафо, «Эда» (в отрывках), друидические гимны, песнопения и легенды Бретани, японские «танки», Омар Хайям и песни суффитов, Руставели («Витязь в тигровой шкуре»), армянские поэты, англо-американцы — Марло («Трагическая история доктора Фауста»), Блейк, Бернс, Кольридж, Вордсворт, Байрон, Шелли (полное собрание стихотворений, поэм и драм), Эдгар По (полное собрание сочинений), Гуд, Лонгфелло, Уитмен («Листья травы»), Россетти, Теннисон, Стивенсон, Уайльд («Баллада Рэдингской тюрьмы», «Саломея»); испанцы — Кальдерон (шесть драм), Лопе де Вега («Овечий ключ»), Тирсо де Молина, Хосе де Эспронседа, Гильен де Кастро, Люис Бельмонте и другие, испанские народные песни; немцы — Гёте (отрывки из «Фауста», стихи), Ленау, Гейне; французы — Бодлер, Фор, Эредиа; бельгийцы — Ван-Лерберг («Ищейки»), Ф. Кроммелинк («Ваятель масок»); Леопарди; А. Мицкевич, Ю. Словацкий (драмы и стихи),

Я. Каспрович («Книга смиренных»), Б. Лесьмян, польские народные легенды; народная и письменная поэзия славянских народов (чехов, сербов, хорватов, словаков, болгар) и Литвы; «Слово о полку Игореве». Перечень этот не претендует на полноту.

Поначалу, в девяностые годы, переводные работы Бальмонта имели значительный успех и доставили ему репутацию талантливого переводчика. При общем крайне низком уровне тогдашних переводов (особенно стихотворных) то, что публиковал Бальмонт, производило выгодное впечатление. Даже в тех случаях, когда его костили за собственные стихи, о переводах его отзывались благосклонно. Критика даже делила поэта надвое: лицо Бальмонта-переводчика «озарено светом ума, таланта, трудолюбивых и почтенных вдохновений», тогда как «другое лицо — маска плутоватого дурачка, полу-шарлатана, полу-юродивого». [1]

Зато в дальнейшем переводы Бальмонта подвергались жестокой (не всегда и не во всем справедливой) критике, как слишком вольные, в ряде случаев искажающие самый дух подлинника. Начал кампанию против Бальмонта-переводчика М. Волошин, подвергший строгому разбору его перевод драмы Г. Гауптмана «Потонувший колокол». [2] В начале девятисотых годов в литературных кругах уже сложилось мнение, будто Бальмонт «из плохих переводчиков — худший», будто он «губит» всех, кого берется переводить. [3] Много и всегда в крайне резком тоне писал о переводах Бальмонта К. Чуковский: «Бальмонт как переводчик — это оскорбление для всех, кого он переводит; для По, для Шелли, для Уайльда». Чуковский справедливо указывал на ошибки Бальмонта, но в целом его критика (с уязвимой позиции «буквализма») носила внешний, фельетонно-резвый характер. [4]

Сейчас, когда русская советская школа стихотворного перевода приобрела большой теоретический и практический опыт, гораздо весомее звучат слова такого мастера этого дела, как Б. Пастернак: «Русский Шелли был и остается трехтомный бальмонтовский. В свое время этот труд был находкой, подобной открытиям Жуковского. Пренебрежение, высказываемое к этому собранию, зиждется на недо-

---

[1] А. В. Амфитеатров, Собрание сочинений, т. 37. П., б. о. г., с. 174.

[2] М. Волошин, В защиту Гауптмана. — «Русская мысль», 1900, № 5.

[3] Письмо П. Перцова к В. Брюсову от 17 мая 1904 г. — «Литературное наследство», т. 27/28 (1937), с. 297.

[4] См. статьи К. Чуковского: «Русская Whitmaniana» («Весы», 1906, № 10), «О пользе брома» («Весы», 1906, № 12), «В защиту Шелли» («Весы», 1907, № 3).

разумении. Обработка Шелли совпала с молодыми и творческими годами Бальмонта, когда его свежее своеобразие еще не было опорочено будущей водянистой искусственностью».[1] Вообще в наше время точка зрения на Бальмонта как на переводчика «худшего из плохих» в значительной мере пересмотрена специалистами. Так, например, советский исследователь древнеиндийской литературы в предисловии к новому изданию драмы Калидасы «Сакунтала» в переводе Бальмонта (1955) отмечает, что перевод «обладает несомненными художественными достоинствами», что Бальмонт «неизменно следует подлиннику, хотя его перевод не является текстуально точным». Современные армянские литературоведы высоко оценивают переводы Бальмонта из армянских поэтов.[2] Также и крупные грузинские поэты и филологи отдали должное не только почину Бальмонта, открывшего для русского читателя поэму Руставели, но и самому направлению его работы. Хотя перевод Бальмонта изрядно подпорчен «бальмонтовщиной» — чрезмерной навязчивостью напева и многократными повторениями созвучий, переводчик чутко уловил характер памятника, понял его не как героический эпос, а как лирическое сказание о великой любви.

Как и в собственном своем творчестве, Бальмонт был переводчиком крайне неровным. И в этой области им безраздельно владел субъективизм. Самый перевод он понимал как способ расширения *своего* творческого мира: «Не счастье ли — найти клад, и не высокая ли радость — прочесть неожиданно, в подлиннике, на чужом и на близко-родном языке то, о чем когда-то думал сам, думал и забыл или не умел выразить».[3] Поэтому переводы удавались ему в тех лишь случаях, когда он переводил поэта, близкого ему по духу. Это можно сказать и о Шелли, и об Эдгаре По. В свое время Блок отметил: «Эдгар По требует переводчика, близкого его душе, непременно поэта, очень чуткого к музыке слов и к стилю. Перевод Бальмонта удовлетворяет этим требованиям, кажется, впервые».[4] И действительно, выполненные Бальмонтом переложения таких тонко-музыкальных вещей Эдгара По, как «Ворон», «Улялюм», «Аннабель Ли», «Колокола», имеют высокую художественную ценность и, как кажется, остаются до сих пор непревзойденными.

---

[1] Б. Пастернак, Заметки переводчика. — «Литературная Россия», 1965, № 13, с. 18.

[2] См.: «Брюсовские чтения 1966 года», Ереван, 1968, сс. 212—217.

[3] Ярослав Врхлицкий, Избранные стихи, Прага, 1928, с. XIX.

[4] Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, с. 618.

Другое дело, когда Бальмонт брался за поэтов, внутренне ему совершенно чуждых. Тогда, бесспорно, он терпел жестокие неудачи. Так получилось, например, с Уитменом. Он первым из русских переводчиков обратился к американскому поэту (в 1904—1905 годах), но, заменив его мужественный свободный стих «перепевными» амфибрахиями и дактилями, грубо исказил не только форму, но и самый дух оригинала.

Однако Бальмонт вовсе не был так самонадеян, как изображали это его критики. Не будучи «буквалистом», он во многих случаях старался как можно точнее воспроизводить и содержание подлинника и его ритмическую структуру. В предисловии ко второму выпуску «Сочинений» Кальдерона (1902) он писал: «В рифмованных стихах я связываю рифмой лишь вторую и четвертую строку, дабы иметь возможность не уклоняться от текста и передавать его с наивозможной близостью. Тем не менее, я передаю все или почти все перемены испанского ритма. При передаче таких стильных вещей, как драмы Кальдерона, главной задачей переводчика должно быть стремление передать все личные, национальные и временные особенности». При всем том Бальмонт охотно признавал свои ошибки, — так, например, сам забраковал свой перевод стихотворения Шелли «Облако», как несоответствующий размеру и ритму подлинника, и перевел его вторично (см. примечание 547-е). В другом случае он вообще отказался от мысли воспроизвести поэмы Шелли «Адонаис» и «Волшебница Атласа» русскими стихами и скромно перевел их прозой, поскольку сознавал, что, благодаря глубокому несходству русского и английского стихосложений, не может дать адекватный стихотворный перевод.[1]

Так или иначе, при всех обстоятельствах, за Бальмонтом-переводчиком остается неоспоримая и крупная культурно-просветительная заслуга: он первым, по собственной инициативе, познакомил русского читателя со множеством прославленных произведений мировой поэзии.

4

Так что же такое Бальмонт? И что осталось от него для нас?

Прежде всего, для того чтобы увидеть в нем настоящего, большого поэта, необходимо проделать предварительную работу по отделению зерен от плевел. «Для будущей оценки Бальмонта, — писал Блок, — придется просто выкинуть многое, что не создано, а выму-

---

[1] Шелли, Сочинения, вып. 5, М., 1898, с. X.

чено и придумано, то есть сам читатель должен произвести работу автора».[1] Такая операция предпринята в этой книге.

Сам Бальмонт в конце концов, кажется, догадался, что завалил свою руду шлаком. Не приходится сомневаться, что он имел в виду и самого себя, когда сказал по поводу одного поэта, которого упрекали в том, что он «написал слишком много»: «Но разве было когда-нибудь в человеческой жизни, чтоб не набросал около себя много окалины и праха тот, кто добывал и добыл много золота? Возьмем его золото».[2]

Последуем призыву поэта.

Но и в этом случае нужно признать, что *в целом*, как явление поэтической культуры, лирика Бальмонта, столь далекая от жизни, борьбы и надежд народа, от больших исторических, социальных проблем, волновавших Россию, принадлежит прошлому. Бальмонт довел до предела импрессионистическую поэзию «настроений», рожденных беглыми впечатлениями личности, расторгнувшей свои общественные связи, погрузившейся в свои субъективные переживания, — в творчестве Бальмонта эта поэзия оказалась исчерпанной. Дальнейшее развитие русской лирики пошло по совершенно другому пути, ознаменованному поисками связи с жизнью, с исторической действительностью, установлением диалектически сложного соотношения частного и целого, личного и общего, внесением в лирику драматических начал и особого рода сюжетности, сообщавших ей некое структурное единство.

Сила эстетической заразительности лирики Бальмонта сейчас, конечно, невелика — именно потому, что она прошла мимо главных душевных, идейных и художественных открытий нашего века, сделанных в поэзии Блоком и Анненским, Цветаевой и Пастернаком, Маяковским и Есениным.

Марина Цветаева привела Бальмонта в качестве примера «непреодоленного дара»: Бальмонт вызвал демона поэзии, но «с ним не совладал».[3] Когда поэт даже крупного дарования скажет все живое и творческое, что он имел сказать, ему нужно либо замолчать, либо искать новые пути. У Бальмонта не хватило воли для первого и возможностей для второго. Он обрек себя на топтанье на месте, и это, в общем и целом, определило его литературную судьбу.

Правда, многие выдающиеся современники отдавали должное

---

[1] Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, с. 550.

[2] Ярослав Врхлицкий, Избранные стихи, Прага, 1928, с. XXVI.

[3] Марина Цветаева, Проза, с. 264.

Бальмонту, несмотря на все лишнее, случайное, внешнее, претенциозное, иногда и пошлое, чем засорено его творчество. Вот несколько оценок: «поэт бесценный» *(Блок)*, «блестящий поэт» *(Маяковский)*, «огромный талант» *(Луначарский)*, «поэт подлинный, первоклассный» *(Вяч. Иванов)*, «от Бальмонта уцелело немного... но то, что уцелело, воистину превосходно» *(Мандельштам)*, «большой, конечно, поэт, но раб слов, опьяняющих его» *(Горький)*. Однако, вопреки подобным оценкам, в широких литературных, а тем более читательских кругах постепенно установилось отношение к Бальмонту как к явлению в русской поэзии случайному и серьезного художественного значения не имеющему. Часто приходится сталкиваться с утверждениями, будто от Бальмонта вообще ничего не осталось Вот совсем недавний пример: Бальмонт — это «метеор, мерцавший обманчивым и неверным светом и исчезнувший, надо полагать, бесследно».[1] Это, конечно, чистый снобизм.

У Бальмонта было множество недостатков, — о них сказано выше. Но было у него и одно драгоценное достоинство — *непосредственность* и изначальная *свежесть* лирического чувства. В нем было *моцартианское* начало, которое в конечном счете (в лучших вещах) брало верх над всеми декадентскими замашками, над банальщиной, манерностью и дешевыми красивостями.

Сколь это ни покажется парадоксальным, достоинства Бальмонта были продолжением его недостатков. Именно его неспособность рассуждать, синтезировать и анализировать оборачивалась силой лирической непосредственности. Это прекрасно понял и объяснил Блок: «...всем, знающим Бальмонта, известно, что он занят исключительно самим собою... что требовать от Бальмонта каких-либо связных рассуждений, обобщений и сравнительности — смешно... Рано или поздно про Бальмонта скажут и запишут: этот поэт обладал совершенно необыкновенным, из ряда вон выходящим *отсутствием критической и аналитической способности* и *потому* оставил нам такие-то и такие-то самоценные, ни на кого не похожие напевы и стихи».[2]

Все, что в поэзии Бальмонта шло от декадентской моды, давно потеряло силу художественного воздействия, воспринимается сейчас только как материал для литературной истории, как типическое явление уже далекой от нас эпохи, безвозвратно канувшей в прошлое.

Но остались крупицы чистого золота поэзии. Остались большой

---

[1] Г. Адамович, Комментарии, Вашингтон, 1967, с. 147.
[2] Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 5, сс. 372—373.

песенный талант, искреннее лирическое волнение и проникновенная лирическая грусть — все, чем пленяют лучшие стихи Бальмонта, говорящие чаще всего о любви к женщине и к природе. Среди них есть вещи высокого совершенства, замечательные свободой поэтического дыханья.

Брюсов правильно сказал, что бальмонтовские преувеличенные прославления жизни и всяческого «веселья бытия» носят в большинстве несколько нарочитый и натянутый характер, что в них ощущается «какое-то усилие, какая-то принужденность языка и чувства».[1] По природе своей талант Бальмонта — тихий и нежный, даже, можно сказать, женственный. Поэт неизмеримо более органичен в тех случаях, когда не поддается кузьма-прутковскому «желанию быть испанцем», а говорит тихо и просто. Когда он кричит, голос его нет-нет да сорвется. Лучшее у него — песни, спетые вполголоса, — те, в которых раскрывается «утренняя душа» поэта. И читая эти песни, в самом деле испытываешь то «весеннее чувство», о котором говорил Блок: «Когда слушаешь Бальмонта — всегда слушаешь весну».

Когда-то, в 1910 году, Бальмонт, как всегда кокетничая и красуясь, со свойственным ему манерным легкомыслием заявил, что через полвека, то есть в 1960 году, будет издано собрание его сочинений «в 93-х томах, или свыше». Срок, назначенный поэтом, прошел — и сейчас из его громадного наследия мы отобрали материала всего на один том. Но это книга настояших стихов.

Вл. Орлов

---

[1] Валерий Брюсов, Далекие и близкие, с. 84.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ
1890

1. СТРУЯ

Наклонись над колодцем, — увидишь ты там:
Словно грязная яма чернеется,
Пахнет гнилью, и плесень растет по краям,
И прозрачной струи не виднеется.

Но внизу, в глубине, среди гнили и тьмы,
Там, где пропасть чернеется мглистая,
Как в суровых объятьях угрюмой тюрьмы,
Робко бьется струя серебристая.

1885

ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ

Элегии, стансы, сонеты

> *OHNE DAS GEFOLGE DER TRAUER IST MIR DAS GÖTTLICHE IM LEBEN NIE ERSCHIENEN.*
>
> *Lenau*[1]

1894

---

2. ФАНТАЗИЯ

Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья,
Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез;
Вещий лес спокойно дремлет, яркий блеск луны приемлет
И роптанью ветра внемлет, весь исполнен тайных грез.
Слыша тихий стон мятели, шепчут сосны, шепчут ели,
В мягкой бархатной постели им отрадно почивать,
Ни о чем не вспоминая, ничего не проклиная,
Ветви стройные склоняя, звукам полночи внимать.

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,
И тоска, и упоенье, — точно искрится звезда,
Точно светлый дождь струится, — и деревьям что-то мнится,
То, что людям не приснится, никому и никогда.
Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,
В час глубокой полуночи мчатся духи через лес.
Чтó их мучит, чтó тревожит? Чтó, как червь, их тайно гложет?
Отчего их рой не может петь отрадный гимн небес?

---

[1] Божественное в жизни всегда являлось мне в сопровождении печали. *Ленау* (нем.). — *Ред.*

Всё сильней звучит их пенье, всё слышнее в нем
томленье,
Неустанного стремленья неизменная печаль, —
Точно их томит тревога, жажда веры, жажда бога,
Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль.
А луна всё льет сиянье, и без муки, без страданья
Чуть трепещут очертанья вещих сказочных стволов;
Все они так сладко дремлют, безучастно стонам внемлют
И с спокойствием приемлют чары ясных, светлых снов.

⟨1893⟩

3. ЗАРНИЦА

Как в небесах, объятых тяжким сном,
Порой сверкает беглая зарница,
Но ей не отвечает дальний гром, —

Так точно иногда в уме моем
Мелькают сны, и образы, и лица,
Погибшие во тьме далеких лет, —

Но мимолетен их непрочный свет,
Моя душа безмолвна, как гробница,
В ней отзыва на их призывы нет.

4. ЛУННЫЙ СВЕТ

Сонет

Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным.

К лесам, к горам, к вершинам белоснежным
Я мчусь в мечтах, как будто дух больной,
Я бодрствую над миром безмятежным,
И сладко плачу, и дышу — луной.

Впиваю это бледное сиянье,
Как эльф, качаюсь в сетке из лучей,
Я слушаю, как говорит молчанье.

Людей родных мне далеко страданье,
Чужда мне вся Земля с борьбой своей,
Я — облачко, я — ветерка дыханье.

5. НИТЬ АРИАДНЫ

Меж прошлым и будущим нить
Я тку неустанной, проворной рукою:
Хочу для грядущих столетий покорно и честно служить
Борьбой, и трудом, и тоскою, —

Тоскою о том, чего нет,
Что дремлет пока, как цветок под водою,
О том, что когда-то проснется чрез многие тысячи лет,
Чтоб вспыхнуть падучей звездою.

Есть много не сказанных слов
И много созданий, не созданных ныне, —
Их столько же, сколько песчинок среди бесконечных песков
В немой аравийской пустыне.

6

Уходит светлый май. Мой небосклон темнеет.
Пять быстрых лет пройдет — мне минет тридцать лет.
Замолкнут соловьи, и холодом повеет,
И ясных вешних дней навек угаснет свет.

И в свой черед придут дни, полные скитаний,
Дни, полные тоски, сомнений и борьбы,

Когда заноет грудь под тяжестью страданий,
Когда познаю гнет властительной судьбы.

И что́ мне жизнь сулит? К какой отраде манит?
Быть может, даст любовь и счастие? О, нет!
Она во всем солжет, она во всем обманет
И поведет меня путем тернистым бед.

И тем путем идя, быть может, падать стану,
Утрачу всех друзей, моей душе родных,
И — что всего страшней — быть может, перестану
Я верить в честь свою и в правду слов своих.

Пусть так. Но я пойду вперед без колебанья —
И в знойный день, и в ночь, и в холод, и в грозу:
Хочу я усладить хоть чье-нибудь страданье,
Хочу я отереть хотя одну слезу!

1892

7

Одна есть в мире красота.
Не красота богов Эллады,
И не влюбленная мечта,
Не гор тяжелые громады,
И не моря, не водопады,
Не взоров женских чистота.
Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

⟨1893⟩

8. БОЛОТО

О, нищенская жизнь, без бурь, без ощущений,
Холодный полумрак, без звуков и огня.
Ни воплей горестных, ни гордых песнопений,
Ни тьмы ночной, ни света дня.

Туманы, сумерки. Средь тусклого мерцанья
Смешались контуры, и краски, и черты,
И в царстве мертвого бессильного молчанья
Лишь дышат ядовитые цветы.

Да жабы черные, исчадия трясины,
Порою вынырнут из грязных спящих вод
И, словно радуясь обилью скользкой тины,
Ведут зловещий хоровод.

9. БЕЗ УЛЫБКИ, БЕЗ СЛОВ

На алмазном покрове снегов,
Под холодным сияньем луны,
Хорошо нам с тобой! Без улыбки, без слов,
Обитатели призрачной светлой страны,
Погрузились мы в море загадочных снов
В царстве бледной луны.

Как отрадно в глубокий полу́ночный час
На мгновенье все скорби по-детски забыть
И, забыв, что любовь невозможна для нас,
Как отрадно мечтать и любить —
Без улыбки, без слов,
Средь ночной тишины,
В царстве чистых снегов,
В царстве бледной луны.

10. РОДНАЯ КАРТИНА

Стаи птиц. Дороги лента.
Повалившийся плетень.
С отуманенного неба
Грустно смотрит тусклый день.

Ряд берез, и вид унылый
Придорожного столба.
Как под гнетом тяжкой скорби,
Покачнулася изба.

Полусвет и полусумрак, —
И невольно рвешься вдаль.
И невольно давит душу
Бесконечная печаль.

(1892)

11. ЗАЧЕМ?

Господь, господь, внемли, я плачу, я тоскую,
Тебе молюсь в вечерней мгле.
Зачем ты даровал мне душу неземную —
И приковал меня к земле?
Я говорю с тобой сквозь тьму тысячелетий,
Я говорю тебе, творец,
Что мы обмануты, мы плачем, точно дети,
И ищем: где же наш Отец?
Когда б хоть миг один звучал твой голос внятно,
Я был бы рад сиянью дня,
Но жизнь, любовь и смерть — всё страшно, непонятно,
Всё неизбежно для меня.
Велик ты, господи, но мир твой неприветен,
Как всё великое, он нем,
И тысячи веков напрасен, безответен
Мой скорбный крик: «Зачем? Зачем?..»

12

Я знаю, что́ значит — безумно рыдать,
Вокруг себя видеть пустыню бесплодную,
Что́ значит — с отчаяньем в зиму холодную
Напрасно весны ожидать.

Но знаю я также, что гимн соловья
Лишь тем и хорош, что похож на рыдание,
Что гор снеговых вековое молчание
Прекрасней, чем лепет ручья.

13. У ФЬОРДА

Хмуро северное небо,
Скорбны плачущие тучи,
С темных скал на воды фьорда
Мрачно смотрит лес могучий.
　　　　Безутешно здесь мерцанье
　　　　Безглагольной глубины,
　　　　Неприветны вздохи ветра
　　　　Между ветками сосны.

Прочь душа отсюда рвется,
Жаждет воли и простора,
Жаждет луга, трав душистых,
Их зеленого убора.
　　　　И встревоженной мечтою
　　　　Слышишь в ропоте волны
　　　　Колокольчик русской тройки
　　　　В царстве степи и луны.

14. ЗАРОЖДАЮЩАЯСЯ ЖИЗНЬ

Сонет

Еще последний снег в долине мглистой
На светлый лик весны бросает тень,
Но уж цветет душистая сирень,
И барвинок, и ландыш серебристый.

Как кроток и отраден день лучистый,
И как приветна ив прибрежных сень.
Как будто ожил даже мшистый пень,
Склонясь к воде, бестрепетной и чистой.

Кукушки нежный плач в глуши лесной
Звучит мольбой тоскующей и странной.
Как весело, как горестно весной,

Как мир хорош в своей красе нежданной
Контрастов мир, с улыбкой неземной,
Загадочный под дымкою туманной.

15. ЧАЙКА

Чайка, серая чайка с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской.
И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы
Так полны безграничной тоской?

Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.
Закурчавилась пена седая на гребне волны.
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.

16

Катерине Алексеевне Андреевой

Я расстался с печальной луною, —
Удалилась царица небес;
Там, в горах, за их черной стеною,
Ее лик омраченный исчез.

И в предутреннем сумраке ясном
Мне послышался вздох ветерка,
И в лазури, на небе прекрасном,
Отразилась немая тоска.

Силуэты лесных великанов
Молчаливо предстали вдали,
И покровы дрожащих туманов
Над заплаканным лугом легли.

Вся природа казалась больною
И как будто молила меня,
И грустила, прощаясь с луною,
В ожидании знойного дня.

17. АВГУСТ

Сонет

Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.

В нем кажется ошибкой полдень знойный, —
С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.

В последний раз пред острием серпа
Красуются колосья наливные,
Взамен цветов везде плоды земные.

Отраден вид тяжелого снопа,
А в небе — журавлей летит толпа
И криком шлет «прости» в места родные.

18. ПАМЯТИ И. С. ТУРГЕНЕВА

Уходят дни. И вот уж десять лет
Прошло с тех пор, как смерть к тебе склонилась.
Но смерти для твоих созданий нет:
Толпа твоих видений, о поэт,
Бессмертием навеки озарилась.

В немом гробу ты спишь глубоким сном.
Родной страны суровые мятели
Рыдают скорбно в сумраке ночном,
Баюкают тебя в твоей постели
И шепчут о блаженстве неземном.

Ты заслужил его. Во тьме невзгоды,
Когда, под тяжким гнетом, край родной,
Томясь напрасной жаждою свободы,
Переживал мучительные годы,
Ты был исполнен думою одной:

Кумир неволи сбросить с пьедестала,
Живой волной ударить в берега,
Сломить ту силу, что умы сковала, —
И ты поклялся клятвой Ганнибала —
Жить лишь затем, чтоб растоптать врага.

И ты спустился в темные пучины
Народной жизни, горькой и простой,
Пленяющей печальной красотой,
И подсмотрел цветы средь грязной тины,
Средь грубости — любви порыв святой.

И слился ты с той светлою плеядой,
Пред чьим огнем рассеялася тьма,
Пред чьим теплом растаяла зима.
Нахлынули борцы живой громадой —
И пала крепостничества тюрьма.

Но в этот миг, зиждительный и чудный,
Ты не хотел душою отдохнуть,
Святым огнем твоя горела грудь,
И вот опять — далекий, многотрудный,
Перед тобой открылся новый путь.

Дворянских гнезд заветные аллеи.
Забытый сад. Полузаросший пруд.
Как хорошо, как всё знакомо тут!
Сирень, и резеда, и эпомеи,
И георгины гордые цветут.

Затмилась ночь. Чуть слышен листьев ропот.
За рощей чуть горит луны эмаль.
И в сердце молодом встает печаль.
И слышен чей-то странный, грустный шепот.
Кому-то в этот час чего-то жаль.

И там вдали, где роща так туманна,
Где луч едва трепещет над тропой,
Елена, Маша, Лиза, Марианна,
И Ася, и несчастная Сусанна —
Собралися воздушною толпой.

Знакомые причудливые тени,
Создания любви и красоты,
И девственной, и женственной мечты, —
Их вызвал к жизни чистый, нежный гений,
Он дал им форму, краски и черты.

Не будь его, мы долго бы не знали
Страданий женской любящей души,
Ее заветных дум, немой печали;
Лишь с ним для нас впервые прозвучали
Те песни, что таилися в тиши.

Он возмутил стоячих вод молчанье,
Запросам тайным громкий дал ответ,
Из тьмы он вывел женщину на свет —
В широкий мир стремлений и сознанья,
На путь живых восторгов, битв и бед.

Вот почему, с любовью вспоминая
О том, кто удалился в мир иной,
Пред кем зажегся светоч неземной,
Здесь собралась толпа, ему родная,
С ним слившаяся мыслию одной:

Пусть мы с тобой разлучены судьбою
Уж десять невозвратных долгих лет,
Но ты, наш друг, учитель и поэт,
Средь нас живешь! Сверкает над тобою
Бессмертия нетленный, чистый свет!

Октябрь 1893

19. ДУХИ ЧУМЫ

Мы спешим, мы плывем
На могучей волне,
Незнакомы со сном,
Но всегда в полусне.

Слезы жен и детей
Не заметит наш глаз,
И где смерть для людей —
Там отрада для нас.

Нашей властью звучат
Панихиды в церквах,
В двери к людям стучат
Смерть, и гибель, и страх.

Между вешних листов —
Символ сгибнувших сил —
Миллионы крестов,
Миллионы могил.

Любо нежную мать
Умертвить, погубить;
Мы не можем ласкать,
Не умеем любить.

В эти дни, как и встарь,
Каждый миг, каждый час
Лучший дар на алтарь
Жизнь приносит для нас.

И спешим, и плывем
Мы в ночной тишине,
Незнакомы со сном,
Но всегда в полусне.

20. ЧЕЛН ТОМЛЕНЬЯ

Князю А. И. Урусову

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.

Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.

Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти полн.

Умер вечер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод.

21. ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Ландыши, лютики. Ласки любовные.
Ласточки лепет. Лобзанье лучей.
Лес зеленеющий. Луг расцветающий.
Светлый свободный журчащий ручей.

День догорает. Закат загорается.
Шепотом, ропотом рощи полны.
Новый восторг воскресает для жителей
Сказочной светлой свободной страны.

Ветра вечернего вздох замирающий.
Полной луны переменчивый лик.
Радость безумная. Грусть непонятная.
Миг невозможного. Счастия миг.

22. В СТОЛИЦЕ

Свежий запах душистого сена мне напомнил далекие дни,
Невозвратного светлого детства предо мной загорелись огни;
Предо мною воскресло то время, когда мир я безгрешно любил,
Когда не был еще человеком, но когда уже богом я был.

Мне снятся родные луга,
И звонкая песня косца,
Зеленого сена стога,
Веселье и смех без конца.
Июльского дня красота,
Зарница июльских ночей,

И детского сердца мечта
В сияньи нездешних лучей.
Протяжное пенье стрекоз,
Чуть слышные всплески реки,
Роптание лип и берез,
В полу́ночной тьме светляки.
И всё, что в родной стороне
Меня озарило на миг,
Теперь пробудило во мне
Печали певучий родник.

И зачем истомленною грудью я вдыхаю живой аромат,
Вспоминая луга с их раздольем и забытый запущенный сад?
Свежий запах душистого сена только болью терзает меня:
Он мне душною ночью напомнил отлетевшие радости дня.

23. ГРУСТЬ

Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется,
Надо мною раздается мерный стук часов стенных;
Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,
И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;
И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,
Непонятный странный шепот — шепот капель дождевых.

Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно, —
И в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут;
Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною неразлучна,
Равномерно, однозвучно рифмы стройные текут;
В эту пору непогоды, под унылый плач природы,
Дни, мгновенья, точно годы — годы медленно идут.

24

В поле искрилась роса,
В небесах царил покой.
Молодые голоса
Звонко пели за рекой.

Но меж тем как песни звук
Озарял немую даль,
Точно тень, бродила вкруг
Неутешная печаль.

И скорбя о трудном дне,
Где-то дух страдал людской,
Кто-то плакал в тишине
С бесконечною тоской.

25. СМЕРТЬ

Сонет

Суровый призрак, демон, дух всесильный,
Владыка всех пространств и всех времен,
Нет дня, чтоб жатвы ты не снял обильной,
Нет битвы, где бы ты не брал знамен.

Ты шлешь очам бессонным сон могильный;
Несчастному, кто к пыткам присужден,
Как вольный ветер, шепчешь в келье пыльной,
И свет даришь тому, кто тьмой стеснен.

Ты всем несешь свой дар успокоенья,
И даже тем, кто суетной душой
Исполнен дерзновенного сомненья.

К тебе, о царь, владыка, дух забвенья,
Из бездны зол несется возглас мой:
Приди. Я жду. Я жажду примиренья!

В БЕЗБРЕЖНОСТИ

*ЗЕМЛЮ ЦЕЛУЙ, И НЕУСТАННО,
НЕНАСЫТИМО ЛЮБИ, ВСЕХ ЛЮБИ,
ВСЁ ЛЮБИ, ИЩИ ВОСТОРГА И
ИССТУПЛЕНИЯ СЕГО.*

Достоевский

1895

26

*Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.*

*И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вокруг раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.*

*Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.*

*А внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.*

*Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И всё выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.*

⟨1894⟩

ЗА ПРЕДЕЛЫ

Вечность движенья —
Область моя;
Смерть и рожденье,
Ткань бытия.

Гёте, Дух Земли

27. БОЛОТНЫЕ ЛИЛИИ

Побледневшие, нежно-стыдливые,
Распустились в болотной глуши
Белых лилий цветы молчаливые,
И вкруг них шелестят камыши.

Белых лилий цветы серебристые
Вырастают с глубокого дна,
Где не светят лучи золотистые,
Где вода холодна и темна.

И не манят их страсти преступные,
Их волненья к себе не зовут;
Для нескромных очей недоступные,
Для себя они только живут.

Проникаясь решимостью твердою
Жить мечтой и достичь высоты,
Распускаются с пышностью гордою
Белых лилий немые цветы.

Расцветут и поблекнут, бесстрастные,
Далеко от владений людских,
И распустятся снова, прекрасные, —
И никто не узнает о них.

28

Всё мне грезится море да небо глубокое,
Бесконечная грусть, безграничная даль,
Трепетание звезд, их мерцанье стоокое,
Догорающих тучек немая печаль.

Всё мне чудится вздох камыша почернелого,
Глушь родимых лесов, заповедный затон,
И над озером пение лебедя белого,
Точно сердца несмелого жалобный стон.

29. КАМЫШИ

Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши.

О чем они шепчут? О чем говорят?
Зачем огоньки между ними горят?

Мелькают, мигают — и снова их нет.
И снова забрезжил блуждающий свет.

Полночной порой камыши шелестят.
В них жабы гнездятся, в них змеи свистят.

В болоте дрожит умирающий лик.
То месяц багровый печально поник.

И тиной запахло. И сырость ползет.
Трясина заманит, сожмет, засосет.

«Кого? Для чего?» — камыши говорят.
«Зачем огоньки между нами горят?»

Но месяц печальный безмолвно поник.
Не знает. Склоняет всё ниже свой лик.

И вздох повторяя погибшей души,
Тоскливо, бесшумно, шуршат камыши.

⟨Июль 1895⟩

80. ПОДВОДНЫЕ РАСТЕНЬЯ

Сонет

На дне морском подводные растенья
Распространяют бледные листы
И тянутся, растут, как привиденья,
В безмолвии угрюмой темноты.

Их тяготит покой уединенья,
Их манит мир безвестной высоты,
Им хочется любви, лучей, волненья,
Им снятся ароматные цветы.

Но нет пути в страну борьбы и света,
Молчит кругом холодная вода.
Акулы проплывают иногда.

Ни проблеска, ни звука, ни привета,
И сверху посылает зыбь морей
Лишь трупы и обломки кораблей.

26 ноября 1894

81

Е. А. Варженевской

Вечерний свет погас.
Чуть дышит гладь воды.
Настал заветный час
Для искристой звезды.

Она теперь горит,
Окутанная мглой,
И светом говорит
Не с небом, а с землей.

Увидела она,
Как там, внизу, темно,
Как сладко спит волна,
Как спит речное дно.





И вот во мгле, вдали,
Открыв лицо свое,
Кувшинки расцвели
И смотрят на нее.

Они горят в ночи,
Их нежит гладь воды,
Ласкают их лучи
Застенчивой звезды.

И будут над водой
Всю ночь они гореть,
Чтоб с утренней звездой
Стыдливо умереть.

82. КОВЫЛЬ

И. А. Бунину

Точно призрак умирающий,
На степи ковыль качается,
Смотрит месяц догорающий,
Белой тучкой омрачается.

И блуждают тени смутные
По пространству неоглядному,
И непрочные, минутные,
Что-то шепчут ветру жадному.

И мерцание мелькнувшее
Исчезает за туманами;
Утонувшее минувшее
Возникает над курганами.

Месяц меркнет, омрачается,
Догорающий и тающий,
И, дрожа, ковыль качается,
Точно призрак умирающий.

83. ОКЕАН

Сонет

Валерию Брюсову

Вдали от берегов Страны Обетованной,
Храня на дне души надежды бледный свет,
Я волны вопрошал, и океан туманный
Угрюмо рокотал и говорил в ответ:

«Забудь о светлых снах. Забудь. Надежды нет.
Ты вверился мечте обманчивой и странной.
Скитайся дни, года, десятки, сотни лет —
Ты не найдешь нигде Страны Обетованной».

И вдруг поняв душой всех дерзких снов обман,
Охвачен пламенной, но безутешной думой,
Я горько вопросил безбрежный океан,

Зачем он страстных бурь питает ураган,
Зачем волнуется, — но океан угрюмый,
Свой ропот заглушив, окутался в туман.

84. ЛЕБЕДЬ

Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится — печальная,
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит.

Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьется эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть.

Всё, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Всё, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.

Всё, на чем печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил.

И когда блеснули звезды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел всё тише, всё печальнее,
И шептались камыши.

Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью, вечной, примиряющей,
Видел правду в первый раз.

85. БЕСПРИЮТНОСТЬ

Сонет

Меня не манит тихая отрада,
Покой, тепло родного очага,
Не снятся мне цветы родного сада,
Родимые безмолвные луга.

Краса иная сердцу дорога:
Я слышу рев и рокот водопада,
Мне грезятся морские берега
И гор неумолимая громада.

Среди других обманчивых утех
Есть у меня заветная утеха:
Забыть, что́ значит плач, что́ значит смех, —

Будить в горах грохочущее эхо
И в бурю созерцать, под гром и вой,
Величие пустыни мировой.

Сентябрь 1894

86

В этой жизни смутной
Нас повсюду ждет —
За восторг минутный —
Долгой скорби гнет.

Радость совершенства
Смешана с тоской.
Есть одно блаженство —
Мертвенный покой.

Жажду наслажденья
В сердце победи,
Усыпи волненья,
Ничего не жди.

87. В ЧАС РАССВЕТА

Над ущельем осторожным, меж тревожных чутких скал,
Перекличке горных духов в час рассвета я внимал.
Со скалы к скале срывался, точно зов, неясный звук.
Освеженный, улыбался, пробуждался мир вокруг.

Где-то серна пробежала, где-то коршун промелькнул,
Оборвался тяжкий камень, между скал раздался гул.
И гнездится и клубится легкий пар, источник туч,
Зацепляясь, проползает по уступам влажных круч.

И за гранью отдаленной — радость гор, долин, полей —
Открывает лик победный, всё полней и всё светлей,
Ярко-красное светило расцветающего дня,
Как цветок садов гигантских, полный жизни и огня.

⟨*1894*⟩

88. ВЕТЕР

Я жить не могу настоящим,
Я люблю беспокойные сны —
Под солнечным блеском палящим
И под влажным мерцаньем луны.
Я жить не хочу настоящим,
Я внимаю намекам струны,
Цветам и деревьям шумящим
И легендам приморской волны.

Желаньем томясь несказа́нным,
Я в неясном грядущем живу,
Вздыхаю в рассвете туманном
И с вечернею тучкой плыву.
И часто в восторге нежданном
Поцелуем тревожу листву.
Я в бегстве живу неустанном,
В ненасытной тревоге живу.

89. ЧАХЛЫЕ СОСНЫ

Хмурятся скалы — оплоты земной тишины:
Ветер в пролетах свистит от стены до стены.

Таинство жизни трепещет средь мертвых камней,
Что-то забилось, как будто бы тени теней.

Чахлые сосны растут на отвесной стене,
Шепчут под солнцем и зябнут при тусклой луне.

Хочется соснам на горную высь посягнуть:
Цепкие корни въедаются в твердую грудь.

Скупо их кормят бездушные глыбы скалы.
С жадными криками носятся сверху орлы.

Чахлые сосны без влаги растут и растут.
Чахлые сосны к лазури дорогу найдут!

ЛЮБОВЬ И ТЕНИ ЛЮБВИ

Amore e'l cor gentil sono una cosa.
Dante[1]

Воспоминанье граничит с раскаяньем.
Бальмонт

40

В пустыне безбрежного моря
Я остров нашел голубой,
Где, арфе невидимой вторя,
И ропщет и плачет прибой.

Там есть позабытая вилла,
И, точно видение, в ней
Гадает седая Сибилла
В мерцаньи неверных огней.

И тот, кто взойдет на ступени,
Пред Вещей преклонится ниц, —
Увидит поблекшие тени
Знакомых исчезнувших лиц.

И кто, преклоняясь, заметит,
Как тускло змеятся огни,
Тот взглядом сильней их засветит —
И вспомнит погибшие дни.

И жадным впиваяся взором
В черты бестелесных теней,
Внимая беззвучным укорам,
Что бури громóвой слышней, —

Он вскрикнет — и кинется страстно
Туда, где былая стезя. . .
Но тени пройдут безучастно,
И с ними обняться — нельзя.

---

[1] Любовь и доброе сердце — одно и то же. *Данте* (итал.).— *Ред.*

41

День за днем ускользает несмело,
Ночи стелют свой черный покров.
Снова полночь немая приспела,
Слышен бой колокольных часов.

Гулкий звук разрастается, стонет,
Заунывным призывом звучит
И в застывшем безмолвии тонет, —
И пустынная полночь молчит.

Медный говор так долго тянулся,
Что, казалось, не будет конца.
И как будто вдали улыбнулся
Милый очерк родного лица.

И забылся весь ужас изгнанья,
Засветился родимый очаг. . .
Но мгновенно настало молчанье,
Неоглядный раскинулся мрак.

Дверь открылась — и снова замкнулась,
Луч блеснул — и его не видать, —
И бессильно в груди шевельнулось
То, чему не бывать, не бывать.

42

Мы шли в золотистом тумане
И выйти на свет не могли,
Тонули в немом океане,
Как тонут во мгле корабли.

Нам снились видения рая,
Чужие леса и луга,
И прочь от родимого края
Иные влекли берега.

Стремясь ускользающим взглядом
К пределам безвестной земли,

Дышали с тобою мы рядом,
Но был я как будто вдали.

И лгали нам ветры и тучи,
Смеялись извивы волны,
И были так странно певучи
Беззвучные смутные сны.

И мы бесконечно тонули,
Стремяся от влаги к земле, —
И звезды печально шепнули,
Что мы утонули во мгле.

43

Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно-светлая ошибка.

И взоры жадные слились
В мечте, которой нет названья,
И нитью зыбкою сплелись,
Томясь и не страшась признанья.

Среди толпы, среди огней
Любовь росла и возрастала,
И скрипка, точно слившись с ней,
Дрожала, пела и рыдала.

44. ТРУБАДУР

Мадонна, солнце между звезд, мадонн прекрасных
украшенье,
Ты в сладость обращаешь скорбь, даешь и смерть
и возрожденье.
Как саламандра, я горю в огне любви, но не сгораю,
Как лебедь, песню я пою, и после песни умираю.

Мадонна, цвет среди цветов, среди красавиц украшенье,
Тебе — мой вздох, тебе — мой стих, нежней, чем утра
дуновенье.
Как феникс, я хочу сгореть, чтобы восстать
преображенным,
И для мадонны умереть, и для мадонны жить
влюбленным.

45. СЛОВА ЛЮБВИ

Слова любви всегда бессвязны,
Они дрожат, они алмазны,
Как в час предутренний — звезда;
Они журчат, как ключ в пустыне,
С начала мира и доныне,
И будут первыми всегда;
Всегда дробясь, повсюду цельны,
Как свет, как воздух, беспредельны,
Легки, как всплески в тростниках,
Как взмахи птицы опьяненной,
С другою птицею сплетенной
В летучем беге, в облаках.

46. ЛУННЫЙ ЛУЧ

Я лунный луч, я друг влюбленных.
Сменив вечернюю зарю,
Я ночью ласково горю
Для всех, безумьем озаренных,
Полуживых, неутоленных;
Для всех тоскующих, влюбленных
Я светом сказочным горю
И о восторгах полусонных
Невнятной речью говорю.

Мой свет скользит, мой свет змеится,
Но я тебе не изменю,
Когда отдашься ты огню —
Тому огню, что не дымится,

Что в тесной комнате томится
И всё сильней гореть стремится —
    Наперекор немому дню.
Тебе, в чьем сердце страсть томится,
    Я никогда не изменю.

47

Тебя я хочу, мое счастье,
Моя неземная краса!
Ты — солнце во мраке ненастья,
Ты — жгучему сердцу роса!

Любовью к тебе окрыленный,
Я брошусь на битву с судьбой.
Как колос, грозой опаленный,
Склонюсь я во прах пред тобой.

За сладкий восторг упоенья
Я жизнью своей заплачу!
Хотя бы ценой преступленья —
    Тебя я хочу!

28 ноября 1894

МЕЖДУ НОЧЬЮ И ДНЕМ

Immer weiter...
Goethe [1]

48

Свеча горит и меркнет и вновь горит сильней,
Но меркнет безвозвратно сиянье юных дней.
Гори же, разгорайся, пока еще ты юн,
Сильней, полней касайся сердечных звонких струн,

---

[1] Всё дальше... *Гёте* (нем.). — *Ред.*

Чтоб было что припомнить на склоне трудных лет,
Чтоб старости холодной светил нетленный свет —
Мечтаний благородных, порывов молодых,
Безумных, но прекрасных, безумных — и святых.

49. НАДГРОБНЫЕ ЦВЕТЫ

Среди могил неясный шепот,
Неясный шепот ветерка.
Печальный вздох, тоскливый ропот,
Тоскливый ропот ивняка.

Среди могил блуждают тени
Усопших дедов и отцов,
И на церковные ступени
Восходят тени мертвецов.

И в дверь церковную стучатся,
Они стучатся до зари,
Пока вдали не загорятся
На небе бледном янтари.

Тогда, поняв, что жизнь минутна,
Что безуспешна их борьба,
Рыдая горестно и смутно,
Они идут в свои гроба.

Вот почему под утро блещут
Цветы над темною плитой:
В них слезы горькие трепещут
О жизни — жизни прожитой.

⟨1894⟩

50. ИЗ-ПОД СЕВЕРНОГО НЕБА

Из-под северного неба я ушел на светлый Юг,
Где звучнее поцелуи, где пышней цветущий луг.
Я хотел забыть о смерти, я хотел убить печаль,
И умчался беззаботно в неизведанную даль.

Отчего же здесь, на Юге, мне мерещится мятель,
Снятся снежные сугробы, тусклый месяц, сосны, ель?
Отчего же здесь, на Юге, где широк мечты полет,
Мне так хочется увидеть воды, убранные в лед?

Да, не понял я, не понял, что с тоскливою душой
Не должны мы вдаль стремиться, в край волшебный и чужой!
Да, не понял я, не понял, что родимая печаль
Лучше, выше и волшебней, чем чужбины ширь и даль!

Полным слез, туманным взором я вокруг себя гляжу,
С обольстительного Юга вновь на Север ухожу.
И как узник, полюбивший долголетний мрак тюрьмы,
Я от солнца удаляюсь, возвращаясь в царство тьмы.

51. МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ

Бьют часы. Бегут мгновенья.
Вечер вспыхнул и погас.
И настойчивы мученья
В этот поздний горький час.
Луч луны кладет узоры
На морозное стекло.
Сердца трепетные взоры
Ищут правды, видят зло.
Нет отрады, нет привета
Вне земли и на земле,
В царстве солнечного света
И в холодной лунной мгле.
Мир молчит, а сердце внемлет,
Мчатся годы и века,
Не заснет и не задремлет
Неустанная тоска.
В небесах плывут светила
Безутешной чередой,
И бессменно и уныло
Тучи стелются грядой.
Зло с добром, печаль с мечтою —
Нераздельная семья,

И бесцельной красотою
Вспыхнул светоч бытия.
И как будто кто-то тонет
В этой бездне мировой,
Кто-то плачет, кто-то стонет —
Полумертвый, но живой.
И бегут, бегут мгновенья,
Новый вечер вновь погас,
И настойчивы мученья
В этот поздний горький час.
И напрасно ищут взоры
Разгадать добро и зло.
И луна кладет узоры
На морозное стекло.

52. МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Месяца не видно. Светит Млечный Путь.
Голову седую свесивши на грудь,
Спит ямщик усталый. Кони чуть идут.
Звезды меж собою разговор ведут.
Звезды золотые блещут без конца.
Звезды прославляют господа творца.
«Господи», — спросонок прошептал ямщик,
И, крестясь, зевает, и опять поник,
И опять склонил он голову на грудь.
И скрипят полозья. Убегает путь.

53. В БЕЗВОДНОМ КОЛОДЦЕ

Меж стен отсыревших, покрытых грибками,
В безводном колодце, на дне, глубоко,
Мы ждем, притаившись, и дышим легко,
И звезды в лазури сияют над нами, —

Лучистые звезды, горящие днем
Для тех, кто умеет во тьму опускаться,

Чтоб в царстве беззвучья полнее отдаться
Мечтам, озаренным небесным огнем.

Вдали от людского нестройного гула,
Не видя, как скользкая плесень растет,
Мечтой мы бежим всё вперед и вперед.
Вселенная сном безмятежным уснула.

И чище, чем свет суетливого дня,
Воздушней, чем звуки земных песнопений,
Средь звезд пролетает блуждающий гений,
На лютне незримой чуть слышно звеня.

И в небе как будто расторглась завеса,
Дрожит от восторженных мук небосклон,
Трепещут Плеяды, блестит Орион
И брезжит далекий огонь Геркулеса.

Сплетаются звезды — и искрятся днем
Для тех, кто умеет во тьму опускаться,
Для тех, кто умеет во тьме отдаваться
Мечтам, озаренным небесным огнем.

54. ВОСКРЕСШИЙ

Полуизломанный, разбитый,
С окровавлённой головой,
Очнулся я на мостовой,
Лучами яркими облитой.

Зачем я бросился в окно?
Ценою страшного паденья
Хотел купить освобожденье
От уз, наскучивших давно.

Хотел убить змею печали,
Забыть позор погибших дней...
Но пять воздушных саженей
Моих надежд не оправдали.

И вдруг открылось мне тогда,
Что всё, что сделал я, преступно.
И было небо недоступно
И высоко, как никогда.

В себе унизив человека,
Я от своей ушел стези —
И вот лежал теперь в грязи,
Полурастоптанный калека.

И сквозь столичный шум и гул,
Сквозь этот грохот безучастный
Ко мне донесся звук неясный:
Знакомый дух ко мне прильнул.

И смутный шепот, замирая,
Вздыхал чуть слышно надо мной,
И был тот шепот — звук родной
Давно утраченного рая:

«Ты не исполнил свой предел,
Ты захотел успокоенья,
Но нужно заслужить забвенье
Самозабвеньем чистых дел.

Умри, когда отдашь ты жизни
Всё то, что жизнь тебе дала,
Иди сквозь мрак земного зла
К небесной радостной отчизне.

Ты обманулся сам в себе
И в той, что льет теперь рыданья, —
Но это мелкие страданья.
Забудь. Служи иной судьбе.

Душой отзывною страдая,
Страдай за мир, живи с людьми
И после — мой венец прими. . .»
Так говорила тень святая.

То Смерть-владычица была,
Она явилась на мгновенье.

Дала мне жизни откровенье
И прочь — до времени — ушла.

И новый — лучший — день, алея,
Зажегся для меня во мгле.
И прикоснувшися к земле,
Я встал с могуществом Антея.

55

За пределы предельного,
К безднам светлой Безбрежности!

В ненасытной мятежности,
В жажде счастия цельного,

Мы, воздушные, летим
И помедлить не хотим.

И едва качаем крыльями.

Всё захватим, всё возьмем,
Жадным чувством обоймем!

Дерзкими усильями
Устремляясь к высоте,
Дальше, прочь от грани тесной,

Мы домчимся в мир чудесный
К неизвестной
Красоте!

ТИШИНА

Лирические поэмы

ЕСТЬ НЕКИЙ ЧАС ВСЕМИРНОГО МОЛЧАНЬЯ.

Тютчев

1898

---

56. МЕРТВЫЕ КОРАБЛИ

Прежде чем душа найдет возможность постигать и дерзнет припоминать, она должна соединиться с Безмолвным Глаголом, — и тогда для внутреннего слуха будет говорить Голос Молчания.

Из индийской мудрости

1

Между льдов затерты, спят в тиши морей
Остовы немые мертвых кораблей.
Ветер быстролетный, тронув паруса,
Прочь спешит в испуге, мчится в небеса.
Мчится — и не смеет бить дыханьем твердь,
Всюду видя только бледность, холод, смерть.
Точно саркофаги, глыбистые льды
Длинною толпою встали из воды.
Белый снег ложится, вьется над волной,
Воздух заполняя мертвой белизной.
Вьются хлопья, вьются, точно стаи птиц,
Царству белой смерти нет нигде границ.
Что ж вы здесь искали, выброски зыбей,
Остовы немые мертвых кораблей?

2

«На полюс! На полюс! Бежим, поспешим,
И новые тайны откроем!
Там, верно, есть остров — красив, недвижим,
Окован пленительным зноем!

Нам скучны пределы родимых полей,
Изведанных дум и желаний.
Мы жаждем качанья немых кораблей,
Мы жаждем далеких скитаний.

В безвестном — услада тревожной души,
В туманностях манят зарницы.
И сердцу рокочут приливы: «Спеши!»
И дразнят свободные птицы.

Нам ветер бездомный шепнул в полусне,
Что сбудутся наши надежды:
Для нового солнца, в цветущей стране,
Проснувшись, откроем мы вежды.

Мы гордо раздвинем пределы Земли,
Нам светит наш разум стоокий.
Плывите, плывите скорей, корабли,
Плывите на полюс далекий!»

3

Солнце свершает
Скучный свой путь.
Что-то мешает
Сердцу вздохнуть.

В море приливы
Шумно растут.
Мирные нивы
Где-то цветут.

Пенясь, про негу
Шепчет вода.
Где-то к ночлегу
Гонят стада.

4

Грусть утихает:
С другом легко.
Кто-то вздыхает —
Там — далеко.

Счастлив, кто мирной
Долей живет.
Кто-то в обширной
Бездне плывет.

Нежная ива
Спит и молчит.
Где-то тоскливо
Чайка кричит.

5

«Мы плыли — всё дальше — мы плыли,
Мы плыли не день и не два.
От влажной крутящейся пыли
Кружилась не раз голова.

Туманы клубились густые,
Вставал и гудел океан, —
Как будто бы ведьмы седые
Раскинули вражеский стан.

И туча бежала за тучей,
За валом мятежился вал.
Встречали мы остров плавучий,
Но он от очей ускользал.

И там, где из водного плена
На миг восставали цветы,
Крутилась лишь белая пена,
Сверкая среди темноты.

И дерзко смеялись зарницы,
Манившие миром чудес.
Кружились зловещие птицы
Под склепом пустынных небес.

Буруны закрыли со стоном
Сверканье Полярной Звезды.
И вот уж с пророческим звоном
Идут, надвигаются льды.

Так что ж, и для нас развернула
Свой свиток седая печаль?
Так, значит, и нас обманула
Богатая сказками даль?

Мы отданы белым пустыням,
Мы тризну свершаем во льдах,
Мы тонем, мы гаснем, мы стынем
С проклятьем на бледных устах!»

6

Скрипя, бежит среди валов
Гигантский гроб, скелет плавучий.
В телах обманутых пловцов
Иссяк светильник жизни жгучей.

Огромный остов корабля
В пустыне моря быстро мчится,
Как будто где-то есть земля,
К которой жадно он стремится.

За ним, скрипя, среди зыбей
Несутся бешено другие,
И привиденья кораблей
Тревожат области морские.

И шепчут волны меж собой,
Что дальше их пускать не надо,
И встала белою толпой
Снегов и льдистых глыб громада.

И песни им надгробной нет,
Бездушен мир пустыни сонной,
И только солнца красный свет
Горит, как факел похоронный.

7

Да легкие хлопья летают
И беззвучную сказку поют,
И белые ткани сплетают,
Созидают для смерти приют.

И шепчут: «Мы — дети эфира,
Мы — любимцы немой тишины,
Враги беспокойного мира,
Мы — пушистые, чистые сны.

Мы падаем в синее море,
Мы по воздуху молча плывем,
И мчимся в безбрежном просторе,
И к покою друг друга зовем.

И вечно мы, вечно летаем,
И не нужно нам шума земли,
Мы вьемся, бежим, пропадаем,
И летаем, и таем вдали...»

9 декабря 1895

57. ИСКРЫ

И они отпали от Великого Источника, и, падая, зажглись неверным светом.

Из Летописи Мира

Туман ли собирается,
Скрывая небосвод,
Звезда ли загорается
Над лоном синих вод, —
Бессменно-одинокая
Душа грустит всегда,
Душа душе далекая,
Как для звезды звезда.

Повсюду сказка бледная —
Загадкой предо мной,
Горит заря победная,
Сменяется луной, —

Но нет ответа нежности,
И гасну я без слов,
Затерянный в безбрежности
Тоскующих миров.

Как медленно движение
Томительных часов!
Как мало отражения
В обмане наших снов!
Как мало отражения
Негаснущих огней,
Что дремлют без движения
За гранью наших дней!

За гранью отдаленною
Бесчисленных светил,
За этой возмущенною
Толпой живых могил —
Есть ясное Безветрие
Без плачущего *я*,
Есть светлое Безветрие
Без жажды бытия.

Но то не смерть, печальная
Владычица людей,
Не пляска погребальная
Над грудами костей.
За гранями алмазными —
Ни ночи, ни утра,
Ни зла с его соблазнами,
Ни тусклого добра.

Там вечны сны блаженные
В прозрачной мгле мечты,
Там вечны сокровенные
Виденья Красоты.
Нетленным светом нежности
Там всё озарено,
Там счастие Безбрежности,
Где слито всё в одно.

Зачем же, — дух стремления,
В разлуке с Красотой, —

Я жажду отдаления
От родины святой!
Я — искра, отступившая
От солнца своего
И бога позабывшая —
Не знаю для чего!

ВОЗДУШНО-БЕЛЫЕ

I tell thee, when I pass away, it is to tenfold life, to love, to peace and raptures holy. Unseen descending weigh my light wings upon balmy flowers.

Blake

Я говорю тебе: уходя, я ухожу к удесятеренной жизни, к миру, к любви, к святым восхищениям. Незримо восходя, тяготеют мои легкие крылья над бальзамическими цветами.

Блейк

58—64. *СНЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ*

1

В жажде сказочных чудес,
В тихой жажде снов таинственных
Я пришел в полночный лес,
Я раздвинул ткань завес
В храме гениев единственных.

В храме гениев мечты
Слышу возгласы несмелые.
То — обеты чистоты,
То — нездешние цветы,
Всё цветы воздушно-белые.

2

Я тревожный призрак, я стихийный гений,
В мире сновидений жить мне суждено,
Быть среди дыханья сказочных растений,
Видеть, как безмолвно спит морское дно.

Только вспыхнет Веспер, только месяц глянет,
Только ночь настанет раннею весной, —
Сердце жаждет чуда, ночь его обманет,
Сердце умирает с гаснущей луной.

Вновь белеет утро, тает рой видений,
Каждый вздох растений шепчет для меня:
«О мятежный призрак, о стихийный гений,
Будем жаждать чуда, ждать кончины дня!»

3

В глубине души рожденные,
Чутким словом пробужденные,
Мимолетные мечты,
Еле вспыхнув, улыбаются,
Пылью светлой осыпаются,
Точно снежные цветы, —

Безмятежные, свободные,
Миру чуждые, холодные
Звезды призрачных небес,
Те, что светят над пустынями,
Те, что властвуют святынями
В царстве сказок и чудес.

4

Я когда-то был сыном Земли,
Для меня маргаритки цвели,
Я во всем был похож на других,
Был в цепях заблуждений людских.

Но, земную печаль разлюбив,
Разлучен я с колосьями нив,
Я ушел от родимой межи —
За пределы и правды и лжи.

И в душе не возникнет упрек,
Я постиг в мимолетном намек,
Я услышал таинственный зов,
Бесконечность немых голосов.

Мне открылось, что времени нет,
Что недвижны узоры планет,
Что бессмертие к смерти ведет,
Что за смертью бессмертие ждет.

⟨Апрель 1896⟩

5

Ожиданьем утомленный, одинокий, оскорбленный,
Над пустыней полусонной умирающих морей,
Не похож на человека, я блуждаю век от века,
Век от века вижу волны, вижу брызги янтарей.

Ускользающая пена... Поминутная измена...
Жажда вырваться из плена, вновь изведать гнет оков.
И в туманности далекой, оскорбленный, одинокий,
Ищет гений светлоокий неизвестных берегов.

Слышит крики: «Светлый гений!.. Возвратись на стон мучений...
Для прозрачных сновидений... К мирным храмам... К очагу...»
Но за далью небосклона гаснет звук родного звона,
Человеческого стона полюбить я не могу.

6

Мне странно видеть лицо людское,
Я вижу взоры существ иных,
Со мною ветер и всё морское,
Всё то, что чуждо для дум земных.

Со мною тени, за мною тени,
Я слышу сказку морских глубин,
Я царь над царством живых видений,
Всегда свободный, всегда один.

Я слышу бурю, удары грома,
Пожары молний горят вдали,
Я вижу остров, где всё знакомо,
Где я — владыка моей земли.

В душе холодной мечты безмолвны,
Я слышу сердцем полет времен,
Со мною волны, за мною волны,
Я вижу вечный — всё тот же — сон.

(Апрель 1896)

7

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.

Весною светлой, как вестник мая,
Целую ландыш, в мечту влюбленный,
И внемлет ветру лазурь немая, —
Я вею, млею, воздушный, сонный.

В любви неверный, расту циклоном,
Взметаю тучи, взрываю море,
Промчусь в равнинах протяжным стоном —
И гром проснется в немом просторе.

Но, снова легкий, всегда счастливый,
Нежней, чем фея ласкает фею,
Я льну к деревьям, дышу над нивой
И, вечно вольный, забвеньем вею.

65. ЭДЕЛЬВЕЙС

Я на землю смотрю с голубой высоты,
Я люблю эдельвейс — неземные цветы,
Что растут далеко от обычных оков,
Как застенчивый сон заповедных снегов.

С голубой высоты я на землю смотрю,
И безгласной мечтой я с душой говорю,
С той незримой Душой, что мерцает во мне
В те часы, как иду к неземной вышине.

И, помедлив, уйду с высоты голубой,
Не оставив следа на снегах за собой,
Но один лишь намек, белоснежный цветок,
Мне напомнит, что мир бесконечно широк.

‹1896›

66. БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ

Белый лебедь, лебедь чистый,
Сны твои всегда безмолвны,
Безмятежно-серебристый,
Ты скользишь, рождая волны.

Под тобою — глубь немая,
Без привета, без ответа,
Но скользишь ты, утопая
В бездне воздуха и света.

Над тобой — эфир бездонный
С яркой Утренней Звездою,
Ты скользишь, преображенный
Отраженной красотою.

Ласка нежности бесстрастной,
Недосказанной, несмелой,
Призрак женственно-прекрасный,
Лебедь чистый, лебедь белый!

‹1897›

ВЕТЕР С МОРЯ

Marinero soy de amor,
Y en su piélago profundo
Navego sin esperanza
De llegar á puerto
alguno.

Cervantes

Я моряк любви, и в ее глубоком океане плыву без надежды достичь до какой-нибудь гавани.

Сервантес

67. В НЕПОЗНАННЫЙ ЧАС

И новые волны
В непознанный час,
Всё новые волны
Вставали для нас.

Шумели, сверкали
И к дали влекли,
И гнали печали,
И пели вдали:

«Гляди, погляди же,
Как бездна светла!
Всё ближе и ближе
Лазурная мгла!»

Как синие горы,
Упавшие вниз,
Морские узоры
В громаду слились.

Закрыли громадой
Меня и тебя.
Я гибну с отрадой,
Я гасну любя.

В загадочном взоре,
Волнуясь, тону
И слушаю в море
Морскую волну.

68. ОНА КАК РУСАЛКА

Она как русалка, воздушна и странно-бледна,
В глазах у нее, ускользая, играет волна,
В зеленых глазах у нее глубина — холодна.

Приди — и она обоймет, заласкает тебя,
Себя не жалея, терзая, быть может, губя,
Но всё же она поцелует тебя — не любя.

И вмиг отвернется, и будет душою вдали,
И будет молчать под луной в золотистой пыли,
Смотря равнодушно, как тонут вдали — корабли.

69. ПОЛОСА СВЕТА

Море чуть мерцает под луной
Зеркалом глубоким и холодным.
Веет сном и грустью неземной,
Чем-то дальним, сладостным, свободным.

Точно дух навек ушедших дней
Встал в тени немых воспоминаний,
Стал шептать слышней и всё слышней
Сказку счастья с музыкой рыданий.

Светочем болезненным сверкнул,
Ярко вспыхнул дрогнувшей слезою,
Прожил миг — и в бездне утонул,
Бросив свет широкой полосою.

70. БЕЗДОМНЫЕ

Небосклон опрокинутый,
Уходящая даль.
Об отчизне покинутой
Замирает печаль.

Над пустынями водными
Виден пенный узор.
И слезами холодными
Затуманился взор.

И над мачтой мелькающей
Всё темней небеса.
И корабль убегающий
Уронил паруса.

Над свинцовыми тучами
Альбатросы летят,
За волнами кипучими
С поднебесья следят.

Так и ждут, что раздвинутся
Очертанья волны,
Чтоб стремительно кинуться
С неземной вышины.

И почуяв — раскатами
Набегающий — гром,
Вновь рядами крылатыми
Выкликают кругом.

И бездомные, темные,
Посылают в лазурь
Эти крики заемные,
Эти отклики бурь.

⟨1897⟩

В ДЫМКЕ НЕЖНО-ЗОЛОТОЙ

¿Hay mas dicha, mas contento
Que adorar una hermosura,
Brujuleada entre los léjos
De lo imposible?

Calderon

Есть ли бóльшее счастие, бóльшая радость, как обожать красоту, медленно встающую в далях невозможного?

Кальдерон

71. Я ЗНАЛ

М. А. Лохвицкой

Я знал, что, однажды тебя увидав,
Я буду любить тебя вечно.
Из женственных женщин богиню избрав,
Я жду — я люблю — бесконечно.

И если обманна, как всюду, любовь,
Любовью и мы усладимся.
И если с тобою мы встретимся вновь,
Мы снова чужими простимся.

А в час преступленья, улыбок и сна
Я буду — ты будешь — далеко,
В стране, что для нас навсегда создана,
Где нет ни любви, ни порока.

72. НЕМАЯ ТЕНЬ

Немая тень среди чужих теней,
Я знал тебя, но ты не улыбалась, —
И, стройная, едва-едва склонялась
Под бременем навек ушедших дней, —

Как лилия, смущенная волною,
Склоненная над зеркалом реки, —
Как лебедь, ослепленный белизною
И полный удивленья и тоски.

5 марта 1896

73. ОДНОДНЕВКА

Я живу своей мечтой
В дымке нежно-золотой,
Близ уступов мертвых скал,
Там, где ветер задремал.

Весь я соткан из огня,
Я лучистый факел дня,
В дымке утренней рожден,
К светлой смерти присужден.

Однодневкой золотой
Вьюсь и рею над водой,
Вижу солнце, вижу свет,
Всюду чувствую привет.

Только умер — вновь я жив,
Чуть шепчу в колосьях нив,
Чуть звеню волной ручья,
Слышу отклик соловья.

Вижу взоры красоты,
Слышу голос: «Милый! Ты?»
Вновь спешу в любви сгореть,
Смертью сладкой умереть.

74. ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Быть может, когда ты уйдешь от меня,
Ты будешь ко мне холодней.
Но целую жизнь, до последнего дня,
О друг мой, ты будешь моей.



К. БАЛЬМОНТЪ



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СКОРПІОНЪ“

Я знаю, что новые страсти придут,
С другим ты забудешься вновь.
Но в памяти прежние образы ждут,
И старая тлеет любовь.

И будет мучительно-сладостный миг:
В лучах отлетевшего дня,
С другим заглянувши в бессмертный родник,
Ты вздрогнешь — и вспомнишь меня.

МГНОВЕНИЯ ПРАВДЫ

Кто часто бывает среди людей, того не могут посещать ангелы.

Сульпиций Севéр

75. ТИШИНА

Чуть бледнеют янтари
Нежно-палевой зари.
Всюду ласковая тишь,
Спят купавы, спит камыш.

Задремавшая река
Отражает облака,
Тихий, бледный свет небес,
Тихий, темный, сонный лес.

В этом царстве тишины
Веют сладостные сны,
Дышит ночь, сменяя день,
Медлит гаснущая тень.

В эти воды с вышины
Смотрит бледный серп луны,
Звезды тихий свет струят,
Очи ангелов глядят.

⟨1896⟩

76. ПРАВДА

А правда пошла по поднебесью.
Из Голубиной книги

Кривда с Правдою сходилась,
Кривда в споре верх взяла.
Правда в солнце превратилась,
В мире чистый свет зажгла.

Удалилась к поднебесью,
Бросив Кривду на земле,
Светит лугу, перелесью,
Жизнь рождает в мертвой мгле.

С той поры до дней текущих
Только Правдой и жива
Меж цветов и трав цветущих
Жизни грусть — плакун-трава.

С той поры на синем море,
Там, где вал непобедим,
Правды ждет с огнем во взоре
Птица мощная Стратим.

И когда она протянет
Два могучие крыла,
Солнце встанет, море грянет:
«Правда, Правда в мир пришла!»

⟨1896⟩

77. «ПРОСТИ!»

Кто услышал тайный ропот вечности,
Для того беззвучен мир земной, —
Чья душа коснулась бесконечности,
Тот навек проникся тишиной.

Перед ним виденья сокровенные,
Вкруг него безбрежность светлых снов,

Легче тучек, тихие, мгновенные,
Легче грезы, музыка без слов.

Он не будет жаждать избавления,
Он его нашел на дне души, —
Это в море час успокоения,
Это парус, дремлющий в тиши.

Белый парус, в синих далях тающий,
Как «прости» всего, что рок унес,
Как привет, в последний раз блистающий,
Чтоб угаснуть, там — вдали — без слез.

Осень 1897
У развалин Помпеи

АККОРДЫ

Concord in discord...
John Ford

Единство в разногласии...
Джон Форд

78. АККОРДЫ

C'est un phare allumé
sur mille citadelles.
Baudelaire[1]

Мне снился мучительный Гойя, художник чудовищных грез, —
Больная насмешка над жизнью, над царством могилы вопрос.

Мне снился бессмертный Веласкес, Коэльо, Мурильо святой,
Создавший воздушность и холод и пламень мечты золотой.

[1] Это маяк, зажженный над тысячью крепостей. *Бодлер* (франц.). — *Ред.*

И Винчи, спокойный, как Гёте, и светлый, как сон,
Рафаэль,
И нежный, как вздох, Боттичелли, — нежней, чем весною
свирель.

Мне снились волхвы откровений, любимцы грядущих
времен,
Воззванья влекущих на битву, властительно-ярких
знамен.

Намеки на сверхчеловека, обломки нездешних миров,
Аккорды бездонных значеньем, еще не разгаданных слов.

Январь 1897

79—80. *ПРЕД КАРТИНОЙ ГРЕКО*
В МУЗЕЕ ПРАДО, В МАДРИДЕ

1

На картине Греко вытянулись тени.
Длинные, восходят. Неба не достать.
«Где же нам найти воздушные ступени?
Как же нам пути небесные создать?»

Сумрачный художник, ангел возмущенный,
Неба захотел ты, в небо ты вступил, —
И с высот низвергнут, богом побежденный,
Ужасом безумья дерзость искупил.

⟨1897⟩

2

Да, но безумье твое было безумье священное,
Мир для тебя превратился в тюрьму,
Ты разлюбил всё земное, неверное, пленное,
Взор устремлял ты лишь к высшему сну своему.

Да, все монахи твои — это не тени согбённые,
Это не темные сонмы рабов,
Лица их странные, между других — удлиненные,
С жадностью тянутся к высшей разгадке миров.

81. ОТВЕРЖЕННЫЙ

Отчаянье истерзанной души,
В свидетели тебя я призываю,
Что я не спал в изнеженной тиши,
Что я не шел к заманчивому раю.

Я светлого покоя не хотел,
Боясь забыть о тех, на ком проклятье, —
Меня манил мучительный удел,
Меня влекли отверженные братья.

Не ангелы, а демоны со мной
Печальную дорогу совершили,
И дни мои в обители земной
Развеялись, как груда темной пыли.

82. ПЛАМЯ

Нет. Уходи скорей. К восторгам не зови.
Любить? — Любя, убить — вот красота любви.
Я только миг люблю — и удаляюсь прочь.
Со мной был яркий день — за мной клубится ночь.

Я не люблю тебя. Мне жаль тебя губить.
Беги, пока еще ты можешь не любить.
Как жернов буду я для полудетских плеч.
Светить и греть?.. — Уйди! Могу я только жечь.

83. ПОЛУРАЗОРВАННЫЕ ТУЧИ

Полуразорванные тучи
Плывут над жадною землей;
Они, спокойны и могучи,
Поят весь мир холодной мглой.
Своими взмахами живыми
Они дают и дождь и тень,

Они стрелами огневыми
Сжигают избы деревень.

Есть души в мире — те же тучи,
Для них земля — как сон, как твердь;
Они, спокойны и могучи,
Даруют жизнь, даруют смерть.
Рабы мечты и сладострастья,
В себе лелеют дар певца,
Они навек приносят счастье,
И губят, губят без конца.

84. АНГЛИЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ

В отдаленной дымке утопая,
Привиденьями деревья стали в ряд.
Чуть заметна дымка голубая,
Чуть заметные огни за ней горят.

Воздух полон тающей печалью,
Всё предчувствием неясным смущено.
Чтó там тонет? Чтó за этой далью?
Там — как в сердце отуманенном — темно!

Точно шепот ночи раздается,
Точно небо наклонилось над землей
И над ней, беззвучное, смеется,
Всё, как саваном, окутанное мглой.

24 апреля 1897

85. В ОКСФОРДЕ

Словно усыпаны хлопьями снега,
Искрятся яблони, млея в цветах.
Ветер, о ветви ударив с разбега,
Шепчет и прячется в дальних кустах.
В парке мечтательном лунная нега,
Лунные ласки дрожат на листах.

С башен доносится бой колокольный,
Дремлют колледжи в объятьях теней.
Сладостный час для души недовольной,
Стройные мысли сплетаются в ней,
К небу уходят от горести дольной,
Беглость минут выступает ясней.

Дышат деревья, их пышность нетленна,
Грезят колледжи о Средних Веках.
Зимние думы промчатся мгновенно,
Воды проснутся в родных берегах.
Время проходит, мечта неизменна,
Наше грядущее в наших руках.

⟨Весна 1897⟩

86. ВЕЧЕР

Удвоены влагой сквозною,
Живя неземной белизною,
Купавы на небо глядят.
И дремлют прибрежные травы,
И внемлют их вздохам купавы,
Но с ними вздохнуть не хотят.

На озере, тихом и сонном,
Наскучив путем раскаленным,
Качается огненный лик, —
То солнце, зардевшись закатом,
На озере, негой объятом,
Лелеет лучистый двойник.

И тучка — воздушная нега,
Воздушней нагорного снега —
На воды глядит с вышины, —
Охвачена жизнью двойною,
Сквозя неземной белизною,
Чуть дышит в улыбке волны.

Весна 1897
Оксфорд

87. В ОКРЕСТНОСТЯХ МАДРИДА

Ты глядела мне в душу с улыбкой богини.
Ты со мною была, но была на картине.

Ты собой создавала виденье искусства,
Озаренное пламенем яркого чувства.

Мы стремились к горам из испанской столицы.
Мы с тобой улетали, как вольные птицы.

И дома чуть виднелись, в лучах утопая.
И над нами раскинулась ширь голубая.

И пред нами предстала вдали Гвадаррама,
Как преддверье воздушного белого храма

⟨1897⟩

88

От последней улыбки луча
На горах засветилася нега,
И родились, блестя и журча,
Два ключа из нагорного снега.

И сбегая с вершины горы,
Обнимаясь в восторге едином,
Устремились в иные миры —
К отдаленным лугам и долинам.

И в один сочеталися ключ, —
Он бежал, прорезая узоры.
Но от мрака разгневанных туч
Затуманились хмурые горы.

И последняя ласка луча
Потонула в туманной печали.
И холодные капли ключа
На остывшую землю упали.

⟨1896⟩

89. К ШЕЛЛИ

Мой лучший брат, мой светлый гений,
С тобою слился я в одно.
Меж нами цепь одних мучений,
Одних небесных заблуждений
Всегда лучистое звено.

И я, как ты, люблю равнины
Безбрежных стонущих морей,
И я с душою андрогины,
Нежней, чем лилия долины,
Живу, как тень среди людей.

И я, как свет, вскормленный тучей,
Блистаю вспышкой золотой.
И мне открыт аккорд певучий
Неумирающих созвучий,
Рожденных вечной красотой.

⟨Апрель 1896⟩

КОШМАРЫ

For like an eyeless night-mare
grief did sit upon his being...

Shelley

Потому что печаль, как без-
глазый кошмар, нависла над его
существом...

Шелли

90. ПРОЙДУТ ВЕКА ВЕКОВ

Пройдут века веков, толпы́ тысячелетий,
Как тучи саранчи, с собой несущей смерть,
И в быстром ропоте испуганных столетий
До горького конца пребудет та же твердь, —

Немая, мертвая, отвергнутая богом,
Живущим далеко в беззвездных небесах,
В дыханьи вечности, за гранью, за порогом
Всего понятного, горящего в словах.

Всегда холодная, пустыня звезд над нами
Останется чужой до горького конца,
Когда она падет кометными огнями,
Как брызги слез немых с печального лица.

Ноябрь 1896

91. СФИНКС

Среди песков пустыни вековой
Безмолвный Сфинкс царит на фоне ночи.
В лучах луны гигантской головой
Встает, растет, — глядят, не видя, очи.

С отчаяньем живого мертвеца,
Воскресшего в безвременной могиле,
Здесь бился раб, томился без конца, —
Рабы кошмар в граните воплотили.

И замысел чудовищной мечты
Средь вечности, всегда однообразной,
Восстал — как враг обычной красоты,
Как сон, слепой, немой и безобразный.

⟨1897⟩

92. В ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

Зачем в названьи звезд отравленные звуки —
Змея, и Скорпион, и Гидра, и Весы?
— О друг мой, в царстве звезд всё та же боль
разлуки,
Там так же тягостны мгновенья и часы.

О друг мой, плачущий со мною в час вечерний,
И там, как здесь, царит судьбы неправый суд,
Змеей мерцает ложь, и гидра жгучих терний —
Отплата мрачная за радости минут.

И потому теперь в туманности эфира
Рассыпались огни безвременной росы,
И дышат в темноте, дрожат над болью мира
Змея, и Скорпион, и Гидра, и Весы.

93. РАВНИНА

Как угрюмый кошмар исполина,
Поглотивши луга и леса,
Без конца протянулась равнина
И краями ушла в небеса.

И краями пронзила пространство,
И до звезд прикоснулась вдали,
Затенив мировое убранство
Монотонной печалью земли.

И далекие звезды застыли
В беспредельности мертвых небес,
Как огни бриллиантовой пыли
На лазури предвечных завес.

И в просторе пустыни бесплодной,
Где недвижен кошмар мировой,
Только носится ветер холодный,
Шевеля пожелтевшей травой.

Декабрь 1896

91—98. ДОН-ЖУАН

Отрывки из ненаписанной поэмы

But now I am an emperor of a world, this little world of man. My passions are my subjects.

Turner

Но теперь я властитель над целым миром, над этим малым миром человека. Мои страсти — мои подданные.

Тернер

1

La luna llena...[1] Полная луна...
Иньес, бледна, целует, как гитана.
Te amo... amo...[2] Снова тишина...
Но мрачен взор упорный Дон-Жуана.

Слова солгут — для мысли нет обмана, —
Любовь людей — она ему смешна.
Он видел всё, он понял слишком рано
Значение мечтательного сна.

Переходя от женщины продажной
К монахине, безгрешной, как мечта,
Стремясь к тому, в чем дышит красота,

Ища улыбки глаз бездонно-влажной,
Он видел сон земли — не сон небес,
И жар души испытанной исчез.

2

Он будет мстить. С бесстрашием пирата
Он будет плыть среди бесплодных вод.
Ни родины, ни матери, ни брата.
Над ним навис враждебный небосвод.

---

[1] Полная луна, полнолуние (исп.). — *Ред.*
[2] Люблю тебя... люблю... (исп.). — *Ред.*

Земная жизнь — постылый ряд забот,
Любовь — цветок, лишенный аромата.
О, лишь бы плыть — куда-нибудь — вперед, —
К развенчанным святыням нет возврата.

Он будет мстить. И тысячи сердец
Поработит дыханием отравы.
Взамен мечты он хочет мрачной славы.

И женщины сплетут ему венец,
Теряя всё за сладкий миг обмана,
В проклятьях восхваляя Дон-Жуана.

3

Что ж, Дон-Люис? Вопрос — совсем нетрудный.
Один удар его навек решит.
Мы связаны враждою обоюдной.
Ты честный муж, — не так ли? Я бандит?

Где блещет шпага — там язык молчит.
Вперед! Вот так! Прекрасно! Выпад чудный!
А, Дон-Люис! Ты падаешь? Убит.
In pace requiescat.[1] Безрассудный!

Забыл, что Дон-Жуан неуязвим!
Быть может, самым адом я храним,
Чтоб стать для всех примером лютой казни?

Готов служить. Не этим, так другим.
И мне ли быть доступным для боязни,
Когда я жаждой мести одержим!

4

Сгущался вечер. Запад угасал.
Взошла луна за темным океаном.
Опять кругом гремел стозвучный вал,
Как шум грозы, летящей по курганам.

---

[1] Покойся в мире (лат.). — *Ред.*

Я вспомнил степь. Я вижу за туманом
Усадьбу, сад, нарядный бальный зал,
Где тем же сладко-чувственным обманом
Я взоры русских женщин зажигал.

На зов любви к красавице-княгине
Вошел я тихо-тихо, точно вор.
Она ждала. И ждет меня доныне.

Но ночь еще хранила свой убор,
А я летел, как мчится смерч в пустыне,
Сквозь степь я гнал коня во весь опор.

5

Промчались дни желанья светлой славы,
Желанья быть среди полубогов.
Я полюбил жестокие забавы,
Полеты акробатов, бой быков,
Зверинцы, где свиваются удавы,
И девственность, вводимую в альков —
На путь неописуемых видений,
Блаженно-извращенных наслаждений.

Я полюбил пленяющий разврат
С его неутоляющей усладой,
С его пренебреженьем всех преград,
С его — ему лишь свойственной — отрадой.
Со всех цветов сбирая аромат,
Люблю я жгучий зной сменить прохладой
И, взяв свое в любви с чужой женой,
Встречать ее улыбкой ледяной.

И вдруг опять в душе моей проглянет
Какой-то сон, какой-то свет иной,
И образ мой пред женщиной предстанет
Окутанным печалью неземной.
И вновь ее он как-то сладко ранит,
И вновь — раба, она пойдет за мной
И поспешит отдаться наслажденью
Восторженной и гаснущею тенью.

Любовь и смерть, блаженство и печаль
Во мне живут красивым сочетаньем,
Я всех маню, как тонущая даль —
Уклончивым и тонким очертаньем,
Блистательно-убийственным, как сталь
С ее немым змеиным трепетаньем.
Я весь — огонь, и холод, и обман,
Я — радугой пронизанный туман.

99—105. *ЗВЕЗДА ПУСТЫНИ*

> Иногда в пустыне возникают голоса, но никто не знает, откуда они.
>
> *Слова одного бедуина*

1

О господи, молю тебя, приди!
Уж тридцать лет в пустыне я блуждаю,
Уж тридцать лет ношу огонь в груди,
Уж тридцать лет тебя я ожидаю.
О господи, молю тебя, приди!

Мне разум говорит, что нет тебя,
Но слепо я безумным сердцем верю,
И падаю, и мучаюсь, любя.
Ты видишь: я душой не лицемерю,
Хоть разум мне кричит, что нет тебя!

О, смилуйся над гибнущим рабом!
Нет больше сил стонать среди пустыни.
Зажгись во мраке огненным столбом,
Приди, молю тебя, я жду святыни.
О, смилуйся над гибнущим рабом!

1897
Париж

2

Только что сердце молилось тебе,
Только что вверилось темной судьбе, —
Больше не хочет молиться и ждать,
Больше не может страдать.

Точно задвинулись двери тюрьмы, —
Душно мне, страшно от шепчущей тьмы,
Хочется в пропасть взглянуть и упасть,
Хочется бога проклясть.

3

О даятель немых сновидений,
О создатель всемирного света,
Я не знаю твоих откровений,
Я не слышу ответа.

Или трудно тебе отозваться?
Или жаль тебе скудного слова?
Вот уж струны готовы порваться
От страданья земного.

Не хочу славословий заемных, —
Лучше крики пытаемых пленных,
Если ты не блистаешь для темных
И терзаешь смиренных!

4

О, как ты далек! Не найти мне тебя, не найти!
Устали глаза от простора пустыни безлюдной,
Лишь кости верблюдов белеют на тусклом пути
Да чахлые травы змеятся над почвою скудной.

Я жду, я тоскую. Вдали вырастают сады.
О, радость! Я вижу, как пальмы растут, зеленея.
Сверкают кувшины, звеня от блестящей воды.
Всё ближе, всё ярче! — И сердце забилось, робея.

Боится и шепчет: «Оазис!» — Как сладко цвести
В садах, где, как праздник, пленительна жизнь
молодая.
Но что́ это? Кости верблюдов лежат на пути!
Всё скрылось. Лишь носится ветер, пески наметая.

5

Но замер и ветер средь мертвых песков,
И тише, чем шорох увядших листов,
Протяжней, чем шум океана,
Без слов, но слагаясь в созвучия слов,
Из сфер неземного тумана
Послышался голос, как будто бы зов,
Как будто дошедший сквозь бездну веков
Утихший полет урагана.

6

«Я откроюсь тебе в неожиданный миг —
И никто не узнает об этом,
Но в душе у тебя загорится родник,
Озаренный негаснущим светом.
Я откроюсь тебе в неожиданный миг.
Не печалься. Не думай об этом.

Ты воскликнул, что я бесконечно далек, —
Я в тебе, ты во мне безраздельно.
Но пока сохрани только этот намек:
Всё — в одном. Всё глубоко и цельно.
Я незримым лучом над тобою горю,
Я желанием правды в тебе говорю».

7

И там, где пустыня с лазурью слилась,
Звезда ослепительным ликом зажглась.
Испуганно смотрит с немой вышины, —
И вот над пустыней зареяли сны.

Донесся откуда-то гаснущий звон,
И стал вырастать в вышину небосклон.
И взорам открылось при свете зарниц,
Что в небе есть тайны, но нет в нем границ.

И образ пустыни от взоров исчез,
За небом раздвинулось Небо небес.
Что жизнью казалось, то сном пронеслось,
И вечное, вечное счастье зажглось.

Осень 1897
Рим

ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ

Лирика современной души

МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРАВДАН ВЕСЬ,
ЧТОБ МОЖНО БЫЛО ЖИТЬ.

Бальмонт

1900

---

106. КРИК ЧАСОВОГО

Сонет

Mis arreos son las armas,
mi descanso, el pelear,
mi cama, las duras peñas,
mi dormir, siempre velar.

Romance de Moriana

Мой наряд — бранные доспехи.
Мое отдохновенье — где битва и беда.
Мне постель — суровые утесы.
Мне дремать — не спать никогда.

Старинная испанская песня

Пройдя луга, леса, болота, горы,
Завоевав чужие города,
Солдаты спят. Потухнувшие взоры —
В пределах дум. Снует их череда.

Сады, пещеры, замки изо льда,
Забытых слов созвучные узоры,
Невинность чувств, погибших навсегда, —
Солдаты спят, как нищие, как воры.

Назавтра бой. Поспешен бег минут.
Все спят. Всё спит. И пусть. Я — верный — тут.
До завтра сном беспечно усладитесь.

Но чу! Во тьме — чуть слышные шаги.
Их тысячи. Всё ближе. А! Враги!
Товарищи! Товарищи! Проснитесь!

ОТСВЕТЫ ЗАРЕВА

А меж тем огонь безумный,
И глухой, и многошумный,
Всё горит.

Эдгар По

Leaping higher, higher,
higher...

E. A. Poe[1]

107. КИНЖАЛЬНЫЕ СЛОВА

I will speak daggers.

Hamlet[2]

Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!

Упоение покоя —
Усыпление ума.
Пусть же вспыхнет море зноя,
Пусть же в сердце дрогнет тьма.

---

[1] Прыгая выше, выше, выше... *Э. А. По* (англ.). — *Ред.*
[2] Я буду говорить резко. *Гамлет* (англ.). — *Ред.*

Я хочу иных бряцаний
Для моих иных пиров.
Я хочу кинжальных слов
И предсмертных восклицаний!

108. ПОЛНОЧЬ И СВЕТ

Полночь и свет знают свой час.
Полночь и свет радуют нас.
В сердце моем — призрачный свет.
В сердце моем — полночи нет.

Ветер и гром знают свой путь.
К лону земли смеют прильнуть.
В сердце моем буря мертва.
В сердце моем гаснут слова.

Вечно ли я буду рабом?
Мчитесь ко мне, буря и гром!
Сердце мое, гибни в огне!
Полночь и свет, будьте во мне!

⟨1899⟩

109. МОРСКОЙ РАЗБОЙНИК

Есть серая птица морская с позорным названьем: глупыш.
Летит она вяло и низко, как будто бы спит, но — глядишь,
Нависши уродливым телом над быстро сверкнувшей волной,
Она увлекает добычу с блестящей ее чешуей.
Она увлекает добычу, но, дерзок, красив и могуч,
Над ней альбатрос длиннокрылый, покинув возвышенность туч,
Как камень, низринутый с неба, стремительно падает ниц
При громких встревоженных криках окрест пролетающих птиц.
Ударом свирепого клюва он рыбу швырнет в пустоту
И, быстрым комком промелькнувши, изловит ее на лету,

И, глупую птицу ограбив, он крылья расправит свои —
И виден в его уже клюве блестящий отлив чешуи.
Морской и воздушный разбойник, тебе я слагаю
свой стих,
Тебя я люблю за бесстыдство пиратских порывов твоих.
Вы, глупые птицы, спешите, ловите сверкающих рыб,
Чтоб метким захватистым клювом он в воздухе
их перешиб!

⟨1899⟩

110. КАК ИСПАНЕЦ

Как испанец, ослепленный верой в бога и любовью,
И своею опьяненный и чужою красной кровью,
Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде,
Я хочу цветов багряных, мною созданных везде.

Я, родившийся в ущельи, под Сиэррою-Невадой,
Где лишь коршуны кричали за утесистой громадой,
Я хочу, чтоб мне открылись первобытные леса,
Чтобы заревом над Перу засветились небеса.

Меди, золота, бальзама, бриллиантов и рубинов,
Крови, брызнувшей из груди побежденных
властелинов,
Ярких зарослей коралла, протянувшихся к лучу,
Мной отысканных пределов жарким сердцем я хочу.

И, стремясь от счастья к счастью, я пройду по океанам,
И в пустынях раскаленных я исчезну за туманом,
Чтобы с жадной быстротою аравийского коня
Всюду мчаться за врагами под багряной вспышкой дня.

И быть может, через годы, сосчитав свои владенья,
Я их сам же разбросаю, разгоню, как привиденья,
Но и в час передремотный, между скал родимых
вновь,
Я увижу солнце, солнце, солнце — красное, как кровь.

Август 1899

111. Я СБРОСИЛ ЕЕ

Я сбросил ее с высоты,
И чувствовал тяжесть паденья.
Колдунья прекрасная! Ты
Придешь, но придешь — как виденье!

Ты мучить не будешь меня,
А радовать страшной мечтою,
Создание тьмы и огня,
С проклятой твоей красотою!

Я буду лобзать в забытьи,
В безумстве кошмарного пира,
Румяные губы твои,
Кровавые губы вампира!

И если я прежде был твой,
Теперь ты мое привиденье,
Тебя я страшнее — живой,
О тень моего наслажденья!

Лежи искаженным комком,
Обломок погибшего зданья.
Ты больше не будешь врагом...
Так помни, мой друг: *до свиданья!*

112. СКИФЫ

Мы блаженные сонмы свободно кочующих скифов,
Только воля одна нам превыше всего дорога.
Бросив замок Ольвийский с его изваяньями грифов,
От врага укрываясь, мы всюду настигнем врага.

Нет ни капищ у нас, ни богов, только зыбкие тучи
От востока на запад молитвенным светят лучом.
Только богу войны темный хворост слагаем мы в кучи
И вершину тех куч украшаем железным мечом.

Саранчой мы летим, саранчой на чужое нагрянем,
И бесстрашно насытим мы алчные души свои.

И всегда на врага тетиву без ошибки натянем,
Напитавши стрелу смертоносною жёлчью змеи.

Налетим, прошумим — и врага повлечем на аркане,
Без оглядки стремимся к другой непочатой стране.
Наше счастье — война, наша верная сила — в колчане,
Наша гордость — в не знающем отдыха быстром коне.

‹1899›

113. В ГЛУХИЕ ДНИ

Предание

В глухие дни Бориса Годунова,
Во мгле Российской пасмурной страны,
Толпы людей скиталися без крова,
И по ночам всходило две луны.

Два солнца по утрам светило с неба,
С свирепостью на дольный мир смотря.
И вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» —
Из тьмы лесов стремился до царя.

На улицах иссохшие скелеты
Щипали жадно чахлую траву,
Как скот, озверены и неодеты, —
И сны осуществлялись наяву.

Гроба, отяжелевшие от гнили,
Живым давали смрадный адский хлеб,
Во рту у мертвых сено находили,
И каждый дом был сумрачный вертеп.

От бурь и вихрей башни низвергались,
И небеса, таясь меж туч тройных,
Внезапно красным светом озарялись,
Являя битву воинств неземных.

Невиданные птицы прилетали,
Орлы парили с криком над Москвой,
На перекрестках, молча, старцы ждали,
Качая поседевшей головой.

Среди людей блуждали смерть и злоба,
Узрев комету, дрогнула земля,
И в эти дни Димитрий встал из гроба,
В Отрепьева свой дух переселя.

114. СМЕРТЬ ДИМИТРИЯ КРАСНОГО

Предание

Нет, на Руси бывали чудеса
Не меньшие, чем в отдаленных странах.
К нам также благосклонны небеса,
Есть и для нас мерцания в туманах.

Я расскажу о чуде старых дней,
Когда, опустошая нивы, долы,
Врываясь в села шайками теней,
Терзали нас бесчинные моголы.

Жил в Галиче тогда несчастный князь,
За красоту был зван Димитрий Красный.
Незримая меж ним и небом связь
В кончине обозначилась ужасной.

Смерть странная была ему дана.
Он вдруг, без всякой видимой причины,
Лишился вкуса, отдыха и сна,
Но никому не сказывал кручины.

Кровь и́з носу без устали текла.
Быть приобщен хотел святых он таин,
Но страшная на нем печать была:
Вкруг рта — всё кровь, и он глядел — как Каин.

Толпилися бояре, позабыв
Себя — пред ликом горького злосчастья.
И вот ему, молитву сотворив,
Заткнули ноздри, чтобы дать причастье.

Димитрий успокоился, притих,
Вздохнув, заснул, и всем казался мертвым.
И некий сон, но не из снов земных,
Витал над этим трупом распростертым.

Оплакали бояре мертвеца
И, крепкого они испивши меда,
На лавках спать легли. А у крыльца
Росла толпа безмолвного народа.

И вдруг один боярин увидал,
Как, шевельнув чуть зримо волосами,
Мертвец, покров содвинув, тихо встал —
И начал петь с закрытыми глазами.

И в ужасе, среди полночной тьмы,
Бояре во дворец народ впустили.
А мертвый, стоя, белый, пел псалмы
И толковал значенье русской были.

Он пел три дня, не открывая глаз,
И возвестил грядущую свободу,
И умер как святой, в рассветный час,
Внушая ужас бледному народу.

115. СКОРПИОН

Сонет

Я окружен огнем кольцеобразным,
Он близится, я к смерти присужден, —
За то, что я родился безобразным,
За то, что я зловещий скорпион.

Мои враги глядят со всех сторон
Кошмаром роковым и неотвязным, —
Нет выхода, я смертью окружен,
Я пламенем стеснен многообразным.

Но вот, — хоть всё ужасней для меня
Дыханья неотступного огня, —
Одним порывом полон я, безбольным.

Я гибну. Пусть. Я вызов шлю судьбе.
Я смерть свою нашел в самом себе.
Я гибну скорпионом — гордым, вольным.

⟨1899⟩

116

Я люблю далекий след — от весла,
Мне отрадно подойти — вплоть до зла,
И его не свершив — посмотреть,
Как костер, вдали, за мной — будет тлеть.

Если я в мечте поджег — города,
Пламя зарева со мной — навсегда.
О мой брат! Поэт и царь — сжегший Рим!
Мы сжигаем, как и ты, — и горим!

АНГЕЛЫ ОПАЛЬНЫЕ

And seem a saint, when most I play
the devil.
King Richard III

Кажусь святым, роль дьявола играя.
Ричард Третий

117. АНГЕЛЫ ОПАЛЬНЫЕ

Ангелы опальные,
Светлые, печальные,
Блески погребальные
Тающих свечей, —
Грустные, безбольные
Звоны колокольные,
Отзвуки невольные,
Отсветы лучей, —

Взоры полусонные,
Нежные, влюбленные,
Дымкой окаймленные
Тонкие черты, —
То мои несмелые,
То воздушно-белые,
Сладко-онемелые
Легкие цветы.

Чувственно-неясные,
Девственно-прекрасные,
В страстности бесстрастные
Тайны и слова, —
Шорох приближения,
Радость отражения,
Нежный грех внушения,
Дышащий едва, —
Зыбкие и странные,
Вкрадчиво-туманные,
В смелости нежданные
Проблески огня, —
То мечты, что встретятся
С теми, кем отметятся,
И опять засветятся
Эхом для меня!

⟨1899⟩

118. СЛОВА ЛЮБВИ

Слова любви, не сказанные мною,
В моей душе горят и жгут меня.
О, если б ты была речной волною,
О, если б я был первой вспышкой дня!

Чтоб я, скользнув чуть видимым сияньем,
В тебя проник дробящейся мечтой, —
Чтоб ты, моим блеснув очарованьем,
Жила своей подвижной красотой!

119. СРЕДИ КАМНЕЙ

Я шел по выжженному краю
Каких-то сказочных дорог.
Я что-то думал, чтó — не знаю,
Но чтó не думать — я не мог.

И полумертвые руины
Полузабытых городов
Безмолвны были — как картины,
Как голос памятных годов.

Я вспоминал, я уклонялся,
Я изменялся каждый миг,
Но ближе-ближе наклонялся
Ко мне мой собственный двойник.

И утомительно мелькали
С полуослепшей высоты,
Из тьмы руин, из яркой дали,
Неговорящие цветы.

Но на крутом внезапном склоне,
Среди камней, я понял вновь,
Что дышит жизнь в немом затоне,
Что есть бессмертная любовь.

120. БЕЛЛАДОННА

Счастье души утомленной —
Только в одном:
Быть как цветок полусонный
В блеске и шуме дневном,
Внутренним светом светиться,
Всё позабыть и забыться,
Тихо, но жадно упиться
Тающим сном.

Счастье ночной белладонны —
Лаской убить.
Взоры ее полусонны,

Любо ей день позабыть,
Светом луны расцвечаться,
Сердцем с луною встречаться,
Тихо под ветром качаться,
В смерти любить.

Друг мой, мы оба устали.
Радость моя!
Радости нет без печали.
Между цветами — змея.
Кто же с душой утомленной
Вспыхнет мечтой полусонной,
Кто расцветет белладонной —
Ты или я?

⟨1898⟩

121. Я БУДУ ЖДАТЬ

Я буду ждать тебя мучительно,
Я буду ждать тебя года,
Ты манишь сладко-исключительно,
Ты обещаешь навсегда.

Ты вся — безмолвие несчастия,
Случайный свет во мгле земной,
Неизъясненность сладострастия,
Еще не познанного мной.

Своей усмешкой вечно-кроткою,
Лицом, всегда склоненным ниц,
Своей неровною походкою
Крылатых, но не ходких птиц

Ты будишь чувства тайно-спящие, —
И знаю, не затмит слеза
Твои куда-то прочь глядящие,
Твои неверные глаза.

Не знаю, хочешь ли ты радости,
Уста к устам, прильнуть ко мне,
Но я не знаю высшей сладости —
Как быть с тобой наедине.

Не знаю, смерть ли ты нежданная
Иль нерожденная звезда,
Но буду ждать тебя, желанная,
Я буду ждать тебя всегда.

122. НЕЖНЕЕ ВСЕГО

Твой смех прозвучал серебристый,
Нежней, чем серебряный звон, —
Нежнее, чем ландыш душистый,
Когда он в другого влюблен.

Нежней, чем признанье во взгляде,
Где счастье желанья зажглось, —
Нежнее, чем светлые пряди
Внезапно упавших волос.

Нежнее, чем блеск водоема,
Где слитное пение струй, —
Чем песня, что с детства знакома,
Чем первой любви поцелуй.

Нежнее всего, что желанно
Огнем волшебства своего, —
Нежнее, чем польская панна,
И значит — нежнее всего.

123. ЧАРЫ МЕСЯЦА

Медленные строки

1

Между скал, под властью мглы,
Спят усталые орлы.
Ветер в пропасти уснул,
С моря слышен смутный гул.

Чары мѣсяца

1

Между скал, подъ влагою мглой,
Спитъ усталый орелъ.
Вѣтеръ в пропасти уснулъ
Въ морѣ слышенъ смутный гулъ.

Тамъ, надъ бездною водой,
Глянулъ мѣсяцъ молодой,
Волны жемчуга взвевали,
И море ~~[illegible]~~ [illegible] мертвый валъ:

И море вытянулъ свѣтлый мостъ,
Ярко блещутъ брызги звѣздъ.
Мѣсяцъ ночь освободилъ,
Мѣсяцъ море побѣдилъ.

2

Сводъ небесъ похолодѣлъ,
Мѣсяцъ міромъ овладѣлъ,
Жаднымъ свѣтомъ и вездѣ
Тронулъ горные хребты.

Все безмолвно захватилъ,
Вызвалъ ~~тѣни~~ духовъ изъ могилъ:
И старой башни, вдоль стѣны,
Встали тѣни старины.

Встали тѣни и глядятъ,
Страненъ ихъ недвижный взглядъ,
Странно небо надъ водой,
Властенъ мѣсяцъ молодой.

3.

Возлѣ башни, у стѣны,
Гдѣ чуть ~~[illegible]~~ слышенъ шумъ волны,
Очертились въ полумглѣ
[illegible] призраки [illegible]

Там, над бледною водой,
Глянул месяц молодой,
Волны темные воззвал —
В море вспыхнул мертвый вал.

В море вспыхнул светлый мост,
Ярко дышат брызги звезд.
Месяц ночь освободил,
Месяц море победил.

2

Свод небес похолодел,
Месяц миром овладел,
Жадным светом с высоты
Тронул горные хребты.

Всё безмолвно захватил,
Вызвал духов из могил.
В серых башнях, вдоль стены,
Встали тени старины.

Встали тени и глядят,
Странен их недвижный взгляд,
Странно небо над водой,
Властен месяц молодой.

3

Возле башни, у стены,
Где чуть слышен шум волны,
Отделился в полумгле
Белый призрак Джамиле.

Призрак царственной княжны
Вспомнил счастье, вспомнил сны,
Всё, что было так светло,
Что ушло — ушло — ушло.

Тот же воздух был тогда,
Та же бледная вода,
Там, высоко над водой,
Тот же месяц молодой.

4

Всё слилось тогда в одно
Лучезарное звено.
Как-то странно, как-то вдруг
Всё замкнулось в яркий круг.

Над прозрачной мглой земли
Небеса произнесли,
Изменяяся едва,
Незабвенные слова.

Море пело о любви,
Говоря: «Живи! Живи!»
Но, хоть вспыхнул в сердце свет,
Отвечало сердце: «Нет!»

5

Возле башни, в полумгле,
Плачет призрак Джамиле.
Смотрят тени вдоль стены,
Светит месяц с вышины.

Всё сильней идет прибой
От равнины голубой,
От долины быстрых вод,
Вечно мчащихся вперед.

Волны яркие плывут,
Волны к счастию зовут, —
Вспыхнет легкая вода,
Вспыхнув, гаснет навсегда.

6

И еще, еще идут,
И одни других не ждут.
Каждой дан один лишь миг,
С каждой есть волна-двойник.

Можно только раз любить,
Только раз блаженным быть,
Впить в себя восторг и свет, —
Только раз, а больше — нет.

Камень падает на дно,
Дважды жить нам не дано.
Кто ж придет к тебе во мгле,
Белый призрак Джамиле?

7

Вот уж с яркою звездой
Гаснет месяц молодой.
Меркнет жадный свет его,
Исчезает колдовство.

Скучным утром дышит даль,
Старой башне ночи жаль,
Камни серые глядят,
Неподвижен мертвый взгляд.

Ветер в пропасти встает,
Песню скучную поет.
Между скал, под влагой мглы,
Просыпаются орлы.

Сентябрь 1898
Балаклава

121

Можно жить с закрытыми глазами,
Не желая в мире ничего,
И навек проститься с небесами,
И понять, что всё кругом мертво.

Можно жить, безмолвно холодея,
Не считая гаснущих минут,
Как живет осенний лес, редея,
Как мечты поблекшие живут.

Можно всё заветное покинуть,
Можно всё бесследно разлюбить.
Но нельзя к минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть!

СОВЕСТЬ

Je dis: «Que cherchent-ils au Ciel,
tous ces aveugles?»

Baudelaire

Я говорю: «Слепцы! Что нужно
им от неба?»

Бодлер

125. ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Стараясь выбирать тенистые места,
Я ехал пó лесу, и эта красота
Деревьев, дремлющих в полуденном покое,
Как бы недвижимо купающихся в зное,
Меня баюкала, и в душу мне проник
Дремотных помыслов мерцающий родник.
Я вспомнил молодость... Обычные мгновенья
Надежд, наивности, влюбленности, забвенья,
Что светит пламенем воздушно-голубым
И превращается внезапно в черный дым.

Зачем так памятно, немою пеленою,
Виденья юности, вы встали предо мною?
Уйдите. Мне нельзя вернуться к чистоте,
И я уже не тот, и вы уже не те.
Вы только призраки, вы горькие упреки,
Терзанья совести, просроченные сроки.
А я — двойник себя, я всадник на коне,
Бесцельно едущий — куда? Кто скажет мне!
Всё помню... Старый сад... Цветы...
Чуть дышат ветки...
Там счастье плакало в заброшенной беседке,

Там кто-то был с лицом, в котором боли нет,
С лицом моим — увы — моим в шестнадцать лет.
Неподражаемо-стыдливые свиданья,
Любви несознанной огонь и трепетанья,
Слова, поющие в душе лишь в те года:
«Люблю», «Я твой», «Твоя», «Мой милый»,
«Навсегда».
Как сладко вместе быть! Как страшно сесть
с ней рядом!
Как можно выразить всю душу быстрым взглядом!
О, сказкой ставшая поблекнувшая быль!
О, крылья бабочки, с которых стерлась пыль!

Темней ложится тень, сокрыт густым навесом
Родной мой старый сад, смененный диким лесом.
Наивный шепот снов, ты сердцем позабыт,
Я слышу грубый звук, я слышу стук копыт.
То голос города, то гул глухих страданий,
Рожденных сумраком немых и тяжких зданий.
То голос призраков, замученных тобой,
Кошмар, исполненный уродливой борьбой,
Живое кладбище блуждающих скелетов
С гнилым роскошеством заученных ответов,
Очаг, в чью пасть идут хлеба с кровавых нив,
Где слабым места нет, где силен тот, кто лжив.
Но там есть счастие — уйти бесповоротно,
Душой своей души, к тому, что мимолетно,
Что светит радостью иного бытия,
Мечтать, искать и ждать — как сделал это я.
Мне грезились миры, рожденные мечтою,
Я землю осенял своею красотою,
Я всех любил, на всё склонял свой чуткий взор,
Но мрак уж двинулся — и шел ко мне, как вор.

Мне стыдно плоскости печальных приключений.
Вселенной жаждал я, а мой вампирный гений
Был просто женщиной, познавшей лишь одно, —
Красивой женщиной, привыкшей пить вино.
Она так медленно раскидывала сети,
Мы веселились с ней, мы были с ней как дети,
Пронизан солнцем был ласкающий туман,
И я на шее вдруг почувствовал аркан.

И пьянство дикое, чумной порок России,
С непобедимостью властительной стихии
Меня низринуло с лазурной высоты
В провалы низости, тоски и нищеты.

Иди, иди, мой конь. Страшат воспоминанья.
Хочу забыть себя, убить самосознанье.
Что́ пользы вспоминать теперь, перед концом,
Что я случайно был и мужем и отцом,
Что хоронил детей, что иногда, случайно...
О нет, молчи, молчи! Пусть лучше эта тайна
Умрет в тебе самом, как умерло давно,
Что было так светло судьбой тебе дано.
Но где я? Что со мной? Вокруг меня завеса
Непроницаемо-запутанного леса,
Повсюду — острые и цепкие концы
Ветвей, изогнутых и сжатых, как щипцы;
Они назойливо царапают и ранят,
Дорогу застят мне, глаза мои туманят,
Встают преградою смутившемуся дню,
Ложатся под ноги взыгравшему коню.
Я вижу чудища за ветхими стволами,
Они следят за мной, мигают мне глазами,
С кривой улыбкою. Последний луч исчез.
Враждебным ропотом и смехом полон лес.
Вершины шорохом окутались растущим,
Как бы предчувствием пред сумрачным грядущим.
И тучи зыбкие на небе голубом
С змеистой молнией рождают гул и гром.
Удар, еще удар — и вот вблизи, налево,
Исполнен ярости и мстительного гнева,
Взметнулся огненный пылающий язык.
В сухом валежнике как будто чей-то крик,
Глухой и сдавленный, раздался на мгновенье
И замѐр. И кругом, везде — огонь, шипенье,
Деревьев-факелов кипящий дымный ад
И бури бешеной раскатистый набат.
Порвавши повода, средь чадного тумана,
Как бы охваченный прибоем океана,
Мой конь несет меня — и странно-жутко мне
На этом взмыленном испуганном коне.

Лесной пожар гудит. Я понял предвещанье.
Перед душой моей вы встали на прощанье,
О тени прошлого! — Простите же меня
На страшном рубеже, средь дыма и огня!

Июль 1899

126. РАССВЕТ

Медленные строки

Я помню... Ночь кончалась,
Как будто таял дым.
И как она смеялась
Рассветом голубым.

Безмолвно мы расстались,
Чужие навсегда.
И больше не видались.
И канули года.

И память изменяла,
Тебя я забывал.
Из бледного бокала
Блаженство допивал.

И новыми огнями
Себя я ослепил.
И дни ушли за днями,
И жизнь я вновь любил.

Не жизнь, а прозябанье
В позорном полусне:
Я пил без колебанья,
Искал мечты в вине.

И вот хохочут струны,
Бесчинствует порок,
И все душою юны:
Рассвет еще далек.

Смелеет опьяненье,
И сердцу жизнь смешна.
Растаяли сомненья,
Исчезла глубина.

И крепко спят упреки.
И манят вновь и вновь —
Подкрашенные щеки,
Поддельная любовь.

И миг забвенья длится,
И царствует вино...
Но кто это глядится
Сквозь дальнее окно?

Но кто это смущает
Туманностью лица
И молча возвещает,
Что правде нет конца?

То чудится мне снова,
В последний миг утех,
Рассвета голубого
Немой, холодный смех.

И пляшущие тени
Застыли, отошли.
Я вижу вновь ступени,
Забытые вдали.

И всё, чем жил когда-то,
Я снова полюбил.
Но больше нет возврата
К тому, чем прежде был.

Зловещая старуха,
Судьба глядит в окно.
И кто-то шепчет глухо,
Что я погиб давно.

СТРАНА НЕВОЛИ

Verdugo es mi pensamiento.
Calderon

Моя мысль — палач.
Кальдерон

127—129. *В ДУШАХ ЕСТЬ ВСЁ*

1

В ду́шах есть всё, что есть в небе, и много иного.
В этой душе создалось первозданное Слово!
Где, как не в ней,
Замыслы встали безмерною тучей,
Нежность возникла усладой певучей,
Совесть, светильник опасный и жгучий,
Вспышки и блески различных огней, —
Где, как не в ней,
Бури проносятся мысли могучей!
Небо — не там,
В этих кошмарных глубинах пространства,
Где создаю я и снова создам
Звезды, одетые блеском убранства,
Вечно идущих по тем же путям, —
Пламенный знак моего постоянства.
Небо — в душевной моей глубине,
Там, далеко, еле зримо, на дне.
Дивно и жутко — уйти в запредельность,
Страшно мне в пропасть души заглянуть,
Страшно — в своей глубине утонуть.
Всё в ней слилось в бесконечную цельность,
Только душе я молитвы пою,
Только одну я люблю беспредельность —
Душу мою!

30 октября 1898

2

Но дикий ужас преступления,
Но искаженные черты, —
И это всё твои видения,
И это — новый — страшный — ты?

В тебе рождается величие,
Ты можешь бурями греметь,
Из бледной бездны безразличия
Извлечь и золото и медь.

Зачем же ты взметаешь пыльное,
Мутишь свою же глубину?
Зачем ты любишь всё могильное
И всюду сеешь смерть одну?

И в равнодушии надменности,
Свой дух безмерно возлюбя,
Ты создаешь оковы пленности:
Мечту — рабу самой себя?

Ты — блеск, ты — гений бесконечности,
В тебе вся пышность бытия.
Но знак твой — страшный символ вечности —
Кольцеобразная змея!

Зачем чудовище — над бездною,
И зверь в лесу, и дикий вой?
Зачем миры, с их славой звездною,
Несутся в пляске гробовой?

⟨1899⟩

3

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить!
Душою — там, я сердцем — здесь.
А сердце как смирить?

Я узел должен видеть весь.
Но как распутать нить?

Едва в лесу я сделал шаг —
Раздавлен муравей.
Я в мире всем невольный враг,
Всей жизнию своей,
И не могу не быть — никак —
Вплоть до исхода дней.

Мое неделанье для всех
Покажется больным.
Проникновенный тихий смех
Развеется, как дым.
А буду смел, — замучу тех,
Кому я был родным.

Пустынной полночью зимы
Я слышу вой волков,
Среди могильной душной тьмы —
Хрипенье стариков,
Гнилые хохоты чумы,
Кровавый бой врагов.

Забытый раненый солдат,
И стая хищных птиц,
Отца косой на сына взгляд,
Развратный гул столиц,
Толпы́ глупцов, безумный ряд
Животно-мерзких лиц.

И что́ же? Я ли создал их?
Или они меня?
Поэт ли я, сложивший стих,
Или побег от пня?
Кто демон низостей моих
И моего огня?

От этих тигровых страстей,
Змеиных чувств и дум —

Как стук кладбищенских костей,
В душе зловещий шум, —
И я бегу, бегу людей,
Среди людей — самум.

⟨1899⟩

130. В ТЮРЬМЕ

Мы лежим на холодном и грязном полу,
Присужденные к вечной тюрьме.
И упорно и долго глядим в полумглу:
Ничего, ничего в этой тьме!

Только зыбкие отсветы бледных лампад
С потолка устремляются вниз.
Только длинные шаткие тени дрожат,
Протянулись — качнулись — слились.

Позабыты своими друзьями, в стране,
Где лишь варвары, звери да ночь,
Мы забыли о солнце, звездах и луне,
И никто нам не может помочь.

Нас томительно стиснули стены тюрьмы,
Нас железное давит кольцо,
И, как духи чумы, как рождения тьмы,
Мы не видим друг друга в лицо!

⟨1899⟩

131. ИЗБРАННЫЙ

О да, я Избранный, я Мудрый, Посвященный,
Сын солнца, я — поэт, сын разума, я — царь.
Но — предки за спиной, и дух мой искаженный —
Татуированный своим отцом дикарь.

Узоры пестрые прорезаны глубоко.
Хочу их смыть — нельзя. Ум шепчет: перестань.

И с диким бешенством я в омуты порока
Бросаюсь радостно, как хищный зверь на лань.

Но, рынку дань отдав, его божбе и давкам,
Я снова чувствую всю близость к божеству.
Кого-то раздробив тяжелым томагавком,
Я мной убитого с отчаяньем зову.

⟨1899⟩

132. РАНЕНЫЙ

Я насмерть поражен своим сознаньем,
Я ранен в сердце разумом моим.
Я неразрывен с этим мирозданьем,
Я создал мир со всем его страданьем.
Струя огонь, я гибну сам, как дым.

И понимая всю обманность чувства,
Игру теней, рожденных в мире мной,
Я, как поэт, постигнувший искусство,
Не восхищен своею глубиной.

Я сознаю, что грех, и тьма во взоре,
И топь болот, и синий небосклон —
Есть только мысль, есть призрачное море,
Я чувствую, что эта жизнь есть сон.

Но видя в жизни знак безбрежной воли,
Создатель, я созданьем не любим.
И весь дрожа от нестерпимой боли,
Живя у самого себя в неволе,
Я ранен насмерть разумом моим.

⟨1899⟩

133. ПРОКЛЯТИЕ ГЛУПОСТИ

Сонет

Увечье, помешательство, чахотка,
Падучая и бездна всяких зол,
Как части мира, я терплю вас кротко,
И даже в вас я таинство нашел.

Для тех, кто любит чудищ, всё находка, —
Иной среди зверей всю жизнь провел,
И как для закоснелых пьяниц — водка,
В гармонии мне дорог произвол.

Люблю я в мире скрип всемирных о́сей,
Крик коршуна на сумрачном откосе,
Дорог житейских рытвины и гать.

На всем своя — для взора — позолота.
Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу понять!

(1899)

184. УРОДЫ

Сонет

Я горько вас люблю, о бедные уроды,
Слепорожденные, хромые, горбуны,
Убогие рабы, не знавшие свободы,
Ладьи, разбитые веселостью волны.

И вы мне дороги, мучительные сны
Жестокой матери, безжалостной Природы, —
Кривые кактусы, побеги белены
И змей и ящериц отверженные роды.

Чума, проказа, тьма, убийство и беда,
Гоморра и Содом, слепые города,
Надежды хищные с раскрытыми губами, —

О, есть же и для вас в молитве череда!
Во имя господа, блаженного всегда,
Благословляю вас, да будет счастье с вами!

ВОЗЛЕ ДЫМА И ОГНЯ

¿ Quien sois vos que hablias ansi?
— Un compuesto de contrarios.

Tirso de Molina

Кто ты, чтоб так говорить?
— Сложность противоречий.

Тирсо де Молина

135. КУЗНЕЦ

Ты видала кузнеца?
Он мне нравится, мой друг.
Этот темный цвет лица,
Эта меткость жестких рук,
Эта близость от огня,
Этот молот, этот стук, —
Всё в нем радует меня,
Милый друг!

Я хочу быть кузнецом,
Я, работая, пою,
С запылившимся лицом
Я смотрю на жизнь мою,
Возле дыма и огня
Много слов я создаю,
В этом радость для меня, —
Я кую!

(*1899*)

136. ДУХ ВОЛНЫ

Я слушал море много лет,
Свой дух ему предав.
В моих глазах мерцает свет
Морских подводных трав.

Я отдал морю сонмы дней,
    Я отдал их сполна.
И с каждой песней всё слышней
    В моих словах — волна.

Волна стозвучная того,
    Чем полон океан,
Где всё — и юно и мертво,
    Всё правда и обман.

И я, как дух волны морской,
    Среди людей брожу.
Своей певучею тоской
    Я всех заворожу.

Огнем зелено-серых глаз
    Мне чаровать дано.
И много душ в заветный час
    Я увлеку на дно.

И в этой мгле морского дна,
    Нежней, чем воды рек,
Им будет сниться вышина,
    Погибшая навек.

137. БРЕТАНЬ

Сонет

Затянут мглой свинцовый небосвод,
Угрюмы волны призрачной Бретани.
Семь островов Ар-Гентилес-Руссот,
Как звери, притаилися в тумане.

Они как бы подвижны в океане
По прихоти всегда неверных вод.
И, полный изумленья, в виде дани
На них свой свет неясный месяц льет.

Как сонмы лиц, глядят толпы́ утесов,
Седых, застывших в горечи тоски.
Бесплодны бесконечные пески.

Их было много, сумрачных матросов.
Они идут. Гляди! В тиши ночной
Идут туманы бледной пеленой.

1899

138. УТОПЛЕННИКИ

Сонет

Лишь только там, на западе, в тумане,
Утонет свет поблекнувшего дня,
Мои мечты, как мертвые в Бретани,
Неумолимо бродят вкруг меня.

Надежды, осужденные заране,
Признания, умершие стеня, —
Утопленники в темном океане,
Погибшие навек из-за меня.

Они хотят, в забвение обиды,
Молитв заупокойной панихиды.
Моих молитв, о боже, не отринь!

Ушли. Любовь! Лишь ты уйти не хочешь!
Ты медлишь? Угрожаешь мне? Пророчишь?
Будь проклята! Будь проклята! Аминь!

1899

139. ПРОПОВЕДНИКАМ

Сонет

Есть много струй в подлунном этом мире,
Ключи поют в пещерах, где темно,
Звеня, как дух, на семиструнной лире,
О том, что духам пенье суждено.

Нам в звонах — наслаждение одно,
Мы духи струн мирских на шумном пире,

Но вам, врагам, понять нас не дано,
Для рек в разливе надо русла шире.

Жрецы элементарных теорем,
Проповедей вы ждете от поэта?
Я проповедь скажу на благо света —

Не скукой слов, давно известных всем,
А звучной полногласностью сонета,
Не найденной пока еще никем!

140. ХВАЛА СОНЕТУ

Сонет

Люблю тебя, законченность сонета,
С надменною твоею красотой,
Как правильную четкость силуэта
Красавицы изысканно-простой,

Чей стан воздушный с грудью молодой
Хранит сиянье матового света
В волне волос недвижно-золотой,
Чьей пышностью она полуодета.

Да, истинный сонет таков, как ты,
Пластическая радость красоты, —
Но иногда он мстит своим напевом.

И не однажды в сердце поражал
Сонет, несущий смерть, горящий гневом,
Холодный, острый, меткий, как кинжал.

141. ОЖЕСТОЧЕННОМУ

Я знаю ненависть, и, может быть, сильней,
Чем может знать ее твоя душа больная,
Несправедливая и полная огней
Тобою брошенного рая.

Я знаю ненависть к звериному, к страстям
Слепой замкнутости, к судьбе неправосудной
И к этим тлеющим кладбищенским костям,
Нам данным в нашей жизни скудной.

Но, мучимый, как ты, терзаемый года,
Я связан был с тобой безмолвным договором,
И вижу, ты забыл, что брат твой был всегда
Скорей разбойником, чем вором.

С врагами — дерзкий враг, с тобой — я вечно твой,
Я узнаю друзей в одежде запыленной.
А ты, как леопард, укушенный змеей,
Своих терзаешь, исступленный!

142. К ДАЛЬНЕМУ

Замкнуться, как в тюрьму, в одну идею, —
Я знаю этот сон, мой дальний брат,
Я медленно, но верно холодею,
И, раз уйдя, я не приду назад.

Ты отошел в страну без перемены,
Оставивши безвольно мир земной,
А я себе свободно создал стены —
И упоен тюремной тишиной.

Есть в жизни смерть, спокойная, как травы,
Хранимые, на память, за стеклом,
Иссохший знак утраченной забавы,
Пройдённая эпоха, перелом.

Седые, тесно сжатые виденья
До времени с землей разлучены,
Они забыть не могут наслажденье
И тайно дышат запахом весны.

Их кто-то чуждый взял своей рукою,
И всё ж они блаженствуют года.
Так как же счастлив я с моей тоскою,
Полюбленной свободно — навсегда!

143. ОТ УМЕРШЕГО К ЖИВОМУ

Скажи ему, что я его люблю,
Что я его, как прежде, понимаю
И, как корабль к чужому кораблю,
Взываю в час, когда я погибаю, —

К нему, к нему, далекому навек,
Бегущему по водам океана,
Чтоб отдохнуть на устьях мощных рек
Средь стройных мачт родного каравана, —

Меж тем как я, свой образ изменив,
Не соразмерив тяжести влекомой,
Забыв, что был и я, как он, красив,
Склоняюсь к бездне жутко-незнакомой, —

И ветры безучастные молю
Протяжностью своих предсмертных звонов...
Скажи ему, что я его люблю
За то, что он — не слышал этих стонов!

144. ПОСЛЕ БАЛА

Весь полный розовых и голубых мечтаний,
Овеян душностью влюбляющих духов,
Весь в крыльях бабочек, в отливах трепетаний
Полуисторгнутых, но замедлённых слов, —

Окутан звуками заученных мелодий,
Как будто созданных мечтой лишь для того,
Чтоб убаюканным шептаться на свободе
О том, что сладостней и вкрадчивей всего, —

Весь воплощенная полуночная чара,
Как пир среди чумы, манящий с давних пор,
Как странный вымысел безумного Эдгара,
Для нас пропевшего навеки «Nevermore», [1] —

---

[1] «Никогда» (англ.). — *Ред.*

Наш бал, раскинутый по многошумным залам,
Уже закончил лик сокрытой красоты,
И чем-то веяло холодным и усталым
С внезапно дрогнувшей над нами высоты.

Да, полночь отошла с своею пышной свитой
Проникновеннейших мгновений и часов,
От люстры здесь и там упал хрусталь разбитый,
И гул извне вставал враждебных голосов.

Измяты, желтизной подернулися лица́,
Крылом изломанным дрожали веера,
В сердцах у всех была дочитана страница,
И новый в окнах свет шептал: «Пора! Пора!»

И вдруг все замерли, — вот скорбно доцветают,
Стараяся продлить молчаньем забытье:
Так утром демоны колдуний покидают,
Сознавши горькое бессилие свое.

145. РАЗЛУКА

Сонет

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона,
Никто меня не любит,
Как мать-сыра-земля.

Песня бродяги

Есть люди, присужденные к скитаньям.
Где б ни был я, — я всем чужой, всегда.
Я предан переменчивым мечтаньям,
Подвижным, как текучая вода.

Передо мной мелькают города,
Деревни, села с их глухим страданьем.
Но никогда, о сердце, никогда
С своим я не встречался ожиданьем.

Разлука! След чужого корабля!
Порыв волны — к другой волне, несхожей.
Да, я бродяга, топчущий поля.

Уставши повторять одно и то же,
Я падаю на землю. Плачу. Боже!
Никто меня не любит, как земля!

⟨1899⟩

146. МОЛИТВА О ЖЕРТВЕ

Пилой поющею подточен яркий ствол
Еще не выжившей свой полный век березы.
На землю ниспроверг ее не произвол,
Не налетевшие прерывистые грозы.

Она, прекрасная, отмечена была
Рукой сознательной для бытия иного:
Зажечься и гореть, — блестя, сгореть дотла, —
И в помыслах людей теплом зажечься снова.

Но прежде чем она зардеет и сгорит,
Ей нужен долгий путь, ей надо исказиться:
Расчетвертована, она изменит вид,
Блестящая кора, иссохнув, затемнится.

Под дымным пламенем скоробится она,
И соки жил ее проступят, точно слезы,
Победно вспыхнет вдруг, вся свету предана, —
И огненной листвой оделся дух березы!

Я с жадностью смотрю на блеск ее огня:
Как было ей дано, погибшей, осветиться!..
Скорее, господи, скорей войди в меня —
И дай мне почернеть, иссохнуть, исказиться!

МИМОЛЕТНОЕ

From isle to isle...
Shelley

От острова к острову...
Шелли

147. ЛЕСНЫЕ ТРАВЫ

Я люблю лесные травы
Ароматные,
Поцелуи и забавы
Невозвратные.

Колокольные призывы
Отдаленные,
Над ручьем уснувшим ивы
Полусонные.

Очертанья лиц мелькнувших
Неизвестные,
Тени сказок обманувших
Бестелесные.

Всё, что манит и обманет
Нас загадкою
И навеки сердце ранит
Тайной сладкою.

148. АРОМАТ СОЛНЦА

Запах солнца? Что за вздор!
Нет, не вздор.
В солнце звуки и мечты,
Ароматы и цветы
Все слились в согласный хор,
Все сплелись в один узор.

Солнце пахнет травами,
Свежими купавами,

Пробужденною весной
И смолистою сосной.

Нежно-светлоткаными
Ландышами пьяными,
Что победно расцвели
В остром запахе земли.

Солнце светит звонами,
Листьями зелеными,
Дышит вешним пеньем птиц,
Дышит смехом юных лиц.

Так и молви всем слепцам:
Будет вам!
Не узреть вам райских врат.
Есть у солнца аромат,
Сладко внятный только нам,
Зримый птицам и цветам!

149. ЗАТОН

Когда ты заглянешь в прозрачные воды затона
Под бледною ивой, при свете вечерней звезды,
Невнятный намек на призыв колокольного звона
К тебе донесется из замка хрустальной воды.

И ты, наклонившись, увидишь прекрасные лица,
Испуганным взором заметишь меж ними себя,
И в сердце твоем за страницею вспыхнет страница,
Ты будешь читать их, как дух, не скорбя, не любя.

И будут расти ото дна до поверхности влаги
Узоры упрямо и тесно сплетенных ветвей,
И будут расти и меняться, — как призраки саги
Растут, изменяясь в значеньи и в силе своей.

И всё, что в молчании ночи волнует и манит,
Что тайною чарой нисходит с далеких планет,
Тебя в сочетанья свои завлечет — и обманет,
И сердце забудет, что с ними слияния нет.

Ты руку невольно протянешь над сонным затоном —
И вмиг всё бесследно исчезнет, — и только вдали
С чуть слышной мольбою, с каким-то заоблачным звоном
Незримо порвется струна от небес до земли.

(1899)

150. ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

Прорезав тучу, темную, как дым,
Последний луч, в предчувствии заката,
Горит угрюмо, — он, что был живым
Когда-то!

Тесниной смутных гор враждебно сжата,
Одна долина светом золотым
Еще живет, блистательно-богата.

Но блеск упал к вершинам вековым,
Где нет ни трав, ни снов, ни аромата...
— О, да, я помню! Да! Я был живым
Когда-то!

(1899)

151. РАВНИНА

Необозримая равнина,
Неумолимая земля —
Леса, холмы, болота, тина,
Тоскливо-скудные поля.

Полгода — холод беспощадный,
Полгода — дождь и душный зной,
Расцвет природы безотрадной
С ее убогою весной.

Полупогаснувшие взоры
Навек поблекшего лица,
Неизреченные укоры,
Порабощенность без конца.

Невоплощенные зачатья, —
О, трижды скорбная страна,
Твое название — проклятье,
Ты навсегда осуждена.

152. ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕЧЕРЕ В АМСТЕРДАМЕ

Медленные строки

О тихий Амстердам
С певучим перезвоном
Старинных колоколен!
Зачем я здесь — не там,
Зачем уйти не волен,
О тихий Амстердам,
К твоим церковным звонам,
К твоим, как бы усталым,
К твоим, как бы затонам,
Загрезившим каналам
С безжизненным их лоном,
С закатом запоздалым,
И ласковым и алым,
Горящим здесь и там
По этим сонным водам,
По сумрачным мостам,
По окнам и по сводам
Домов и колоколен,
Где, преданный мечтам,
Какой-то призрак болен,
Упрек сдержать не волен,
Тоскует с долгим стоном
И вечным перезвоном
Поет и здесь и там...
О тихий Амстердам!
О тихий Амстердам!

153. ИСЛАНДИЯ

Валуны и равнины, залитые лавой,
Сонмы глетчеров, брызги горячих ключей.
Скалы, полные грусти своей величавой,
Убеленные холодом бледных лучей.

Тени чахлых деревьев и море... О, море!
Волны, пена и чайки, пустыня воды!
Здесь забытые скальды на влажном просторе
Пели песни при свете вечерней звезды.

Эти Снорри, Сигурды, Тормодды, Гуннары
С именами железными, духи морей,
От ветров получили суровые чары
Для угрюмой, томительной песни своей.

И в строках перепевных доныне хранится
Ропот бури, и гром, и ворчанье волны, —
В них кричит альбатрос, длиннокрылая птица,
Из воздушной, из мертвой, из вольной страны.

АНТИФОНЫ

Je porte dans mon âme le reflet des richesses stériles d'un grand nombre de rois oubliés.

Villiers de l'Isle-Adam

Я ношу в своей душе отраженье бесплодных богатств многочисленных забытых царей.

Вилье де Лиль-Адан

154

Нам нравятся поэты,
Похожие на нас,
Священные предметы,
Дабы украсить час —

Волшебный час величья,
Когда, себя сильней,

Мы ценим без различья
Сверканья всех огней, —

Цветы с любым узором,
Расцветы всех начал,
Лишь только б нашим взорам
Их пламень отвечал, —

Лишь только б с нашей бурей
Сливался он в одно,
От неба или фурий —
Не всё ли нам равно!

155. К ГЕРМЕСУ ТРИСМЕГИСТУ

О Гермес Трисмегист, троекратно великий учитель,
Бог наук и искусств и души роковой искуситель!

Ты мне передал власть возрождать то, что сердце забыло,
Как Египет весной возрожден от разлития Нила.

От разлитья реки, чьи истоки окутаны тайной,
И случайно зажглись, но приносят расцвет не случайный.

Недостойный металл в благородный могу превращать я,
От тебя восприняв драгоценные чары заклятья.

От тебя получил я ту влагу целебную жизни,
Что меня навсегда приобщает к небесной отчизне.

И во имя тебя я бессмертие всем обещаю,
И умерших людей я к загробным мирам приобщаю.

Ты со мною везде, и безгласно твердишь о святыне,
Как глубокий покой задремавшей Ливийской пустыни.

Ты в венце из огня предо мною, о бог многоликий,
О Гермес Трисмегист, о мудрец троекратно великий!

156. К БОДЛЕРУ

Как страшно-радостный и близкий мне пример,
Ты всё мне чудишься, о царственный Бодлер,
Любовник ужасов, обрывов и химер!

Ты, павший в пропасти, но жаждавший вершин,
Ты, видевший лазурь сквозь тяжкий желтый сплин,
Ты, между варваров заложник-властелин!

Ты, знавший Женщину, как демона мечты,
Ты, знавший Демона, как духа красоты,
Сам с женскою душой, сам властный демон ты!

Познавший таинства мистических ядов,
Понявший образность гигантских городов,
Поток бурлящийся, рожденный царством льдов!

Ты, в чей богатый дух навек перелита
В одну симфонию трикратная мечта:
Благоухания, и звуки, и цвета!

Ты — дух, блуждающий в разрушенных мирах,
Где привидения друг в друге будят страх,
Ты — черный, призрачный, отверженный монах!

Пребудь же призраком навек в душе моей,
С тобой дай слиться мне, о маг и чародей,
Чтоб я без ужаса мог быть среди людей!

1899

157. К ЛЕРМОНТОВУ

Нет, не за то тебя я полюбил,
Что ты поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем не разделяемых мучений,
За то, что ты нечеловеком был.

О Лермонтов, презрением могучим
К бездушным людям, к мелким их страстям
Ты был подобен молниям и тучам,
Бегущим по нетронутым путям,
Где только гром гремит псалмом певучим.

И вижу я, как ты в последний раз
Беседовал с ничтожными сердцами,
И жестким блеском этих темных глаз
Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!»
Ты говорил: «Как душно мне средь вас!»

158. ГИПЕРБОРЕИ

За горами Рифейскими, где-то на север от Понта,
В странах мирных и ясных, где нет ни ветров,
ни страстей,
От нескромных укрытые светлою мглой горизонта,
Существуют издревле селенья блаженных людей.

Не бессмертны они, эти люди с блистающим взглядом,
Но они непохожи на нас, утомленных грозой,
Эти люди всегда отдаются невинным усладам
И питаются только цветами и свежей росой.

Почему им одним предоставлена яркая слава,
Безмятежность залива, в котором не пенится вал,
Почему неизвестна им наших мучений отрава —
Этой тайны святой самый мудрый из нас не узнал.

Не бессмертны они, эти люди, меж нами — другие,
Но по многу веков предаются они бытию
И, насытившись жизнью, бросаются в воды морские,
Унося в глубину сокровенную тайну свою.

159. СТРАНА ИССЕДОНОВ

Сие приятное баснословие...

Карамзин

На восток от аргипеев,
Там, в Татарии Великой,
Змей живет, краса всех змеев,
Многочудный, многоликий.

Там, без тягостных законов,
В заколдованной долине
Жило племя исседонов,
Говорят — живет доныне.

Судьбы их — гиероглифы,
Край их — золотом богатый,
И таинственные грифы
Стерегут тот край заклятый.

Восемь месяцев — целебный
Холод дышит над страною,
И летает змей волшебный
И мерцает чешуею.

Кто туда неосторожно
Из другой страны заглянет,
Тот, — предание не ложно, —
В изумленьи камнем станет.

Все пути туда закляты,
Возле самого преддверья
Льды восходят, как палаты,
Снег и град — как пух и перья.

Камни, золото и холод,
Закаленная природа,
И никто ни стар, ни молод
Неизменно в год из года.

Только змей в игре извивов,
Золотисто-изумрудный,
Изменяет цвет отливов,
Многоликий, многочудный.

160. ИЗБРАННИКУ

Отчего так бесплодно в душе у тебя
Замолкают созвучья миров?
Отчего, не любя ни других, ни себя,
Ты печален, как песня без слов?

Ты мечтой полусонной уходишь за грань
Отдаленных небесных глубин.
Пробудись — и восстань, и воздушную ткань,
Развернув, созерцай не один.

О, раскрой перед нами узоры мечты,
Загоревшейся в сердце твоем!
Покажи нам черты сверхземной красоты, —
Мы полюбим ее и поймем!

Те же мысли у каждого дремлют в тиши
И мгновенья заветного ждут.
О, приди, поспеши — и для каждой души
От созвучья цветы расцветут.

Мы ответим — как море на ласку луны,
А не вражеским криком врагу:
Мы — как брызги волны из одной глубины,
Мы умрем на одном берегу!

(1898)

161

Мой друг, есть радость и любовь,
Есть всё, что будет вновь и вновь,
Хотя в других сердцах, не в наших.
Но, милый брат, и я и ты —
Мы только грезы Красоты,
Мы только капли в вечных чашах
Неотцветающих цветов
Непогибающих садов.

Сентябрь 1898
Ялта

162. ОТТУДА

Я обещаю вам сады.

Коран

Я обещаю вам сады,
Где поселитесь вы навеки,
Где свежесть утренней звезды,
Где спят нешепчущие реки.

Я призываю вас в страну,
Где нет печали, ни заката,
Я посвящу вас в тишину,
Откуда к бурям нет возврата.

Я покажу вам то, одно,
Что никогда вам не изменит,
Как камень, канувший на дно,
Верховных волн собой не вспенит.

Идите все на зов звезды,
Глядите: я горю пред вами.
Я обещаю вам сады
С неомраченными цветами.

163. ЛУНА

O, sovereign mistress of true melancholy.

Shakespeare [1]

Луна богата силою внушенья,
Вокруг нее всегда витает тайна.
Она нам вторит: «Жизнь есть отраженье,
Но этот призрак дышит не случайно».

Своим лучом, лучом бледно-зеленым,
Она ласкает, странно так волнуя,
И душу пробуждает к долгим стонам
Влияньем рокового поцелуя.

---

[1] О, верховная владычица истинной печали. *Шекспир* (англ.). — *Ред.*

Своим ущербом, смертью двухнедельной
И новым полновластным воссияньем
Она твердит о грусти не бесцельной,
О том, что свет нас ждет за умираньем.

Но, нас маня надеждой незабвенной,
Сама она уснула в бледной дали,
Красавица тоски беспеременной,
Верховная владычица печали!

ПРОГАЛИНЫ

Wyście jak przepaści, a w głebiach waszych tajnie ukryte błekitu.

Zygmunt Krasinsky

Вы — как пропасти, а в глубинах ваших скрыты тайны лазури.

Зигмунт Красинский

164—166. *ИЗ ЦИКЛА «И ДА И НЕТ»*

1

Весенний шум, весенний гул природы
В моей душе звучит не как призыв.
Среди живых — лишь люди не уроды,
Лишь человек хоть частию красив.

Он может мне сказать живое слово,
Он полон бездн мучительных, как я.
И только в нем ежеминутно ново
Видение земного бытия.

Какое счастье думать, что сознаньем
Над смутой гор, морей, лесов и рек,
Над мчащимся в безбрежность мирозданьем
Царит непобедимый человек.

О, верю! Мы повсюду бросим сети
Средь мировых неистощимых вод.
Пред будущим теперь мы только дети.
Он — наш, он — наш, лазурный небосвод!

2

Лишь демоны, да гении, да люди
Со временем заполнят все миры
И выразят в неизреченном чуде
Весь блеск еще не снившейся игры, —

Когда, уразумев себя впервые,
С душой соприкоснутся навсегда
Четыре полновластные стихии:
Земля, огонь, и воздух, и вода.

3

От бледного листка испуганной осины
До сказочных планет, где день длинней, чем век,
Всё — тонкие штрихи законченной картины,
Всё — тайные пути неуловимых рек.

Все помыслы ума — широкие дороги,
Все вспышки страстные — подъемные мосты,
И как бы ни были мы бедны и убоги,
Мы все-таки дойдем до нужной высоты.

То будет лучший миг безбрежных откровений,
Когда, как лунный диск, прорвавшись сквозь туман,
На нас из хаоса бесчисленных явлений
Вдруг глянет снившийся, но скрытый Океан.

И цель пути поняв, счастливые навеки,
Мы все благословим раздавшуюся тьму
И, словно радостно-расширенные реки,
Своими устьями, любя, прильнем к Нему.

(1899)

167. ЧЕТ И НЕЧЕТ

Медленные строки

Утром рано
Из тумана
Солнце выглянет для нас.
И осветит,
И заметит
Всех, кто любит этот час.

Ночью, скучно,
Однозвучно,
Упадает звон минут.
О минувшем,
Обманувшем
Их напевы нам поют.

Точно с крыши,
Тише, тише
Капли падают дождя.
Все прольются,
Не вернутся,
Этот темный путь пройдя.

Звук неясный,
Безучастный
Панихиды нам поет.
«Верьте, верьте
Только смерти!
Чет и нечет! Нечет, чет!

Чет счастливым
И красивым,
Слабым — нечет, недочет!
Но, редея,
Холодея,
Чет и нечет протечет!»

Звук неясный,
Безучастный,
Ты поешь, обман тая.

Нет, не верю,
И в потерю
Смысл иной влагаю я.

Верьте, верьте
Только смерти
Нас понявшего Христа!
Солнце встанет,
Не обманет,
Вечно светит красота!

Цель страданья,
Ожиданья
Всем нам светлый даст отчет.
В мир согласный,
Вечно-ясный,
Чет и нечет нас влечет.

⟨*1899*⟩

ИНДИЙСКИЕ ТРАВЫ

Tat tvam asi. — *То* есть *ты*.

Основоположение индийской мудрости

Познавший сущность стал выше печали.

Шри-Шанкара-Ачария

168. МАЙЯ

Тигры стонали в глубоких долинах.
Ча́мпак, цветущий в столетие раз,
Пряный, дышал между гор, на вершинах.
Месяц за скалы проплыл и погас.

В темной пещере задумчивый иоги,
Маг-заклинатель, бледней мертвеца,

Что-то шептал, и властительно-строги
Были черты сверхземного лица.

Мантру читал он, святое моленье;
Только прочел — и пред ним, как во сне,
Стали качаться, носиться виденья,
Стали кружиться в ночной тишине.

Тени, и люди, и боги, и звери,
Время, пространство, причина, и цель,
Пышность восторга, и сумрак потери,
Смерть на мгновенье, и вновь колыбель.

Ткань без предела, картина без рамы,
Сонмы враждебных бесчисленных «я»,
Мрак отпаденья от вечного Брамы,
Ужас мучительный, сон бытия.

К самому небу возносятся горы,
Рушится с гулом утес на утес,
Топот и ропот, мольбы и укоры,
Тысячи быстрых и звонких колес.

Бешено мчатся и люди и боги...
«Майя! О, Майя! Лучистый обман!
Жизнь — для незнающих, призрак — для иоги,
Майя — бездушный немой океан!»

Скрылись виденья. На горных вершинах
Ветер в узорах ветвей трепетал.
Тигры стонали в глубоких долинах.
Ча́мпак, цветок вековой, отцветал.

(1899)

169. ИНДИЙСКИЙ МОТИВ

Как красный цвет небес, которые не красны,
Как разногласье волн, что меж собой согласны,
Как сны, возникшие в прозрачном свете дня,
Как тени дымные вкруг яркого огня,
Как отсвет раковин, в которых жемчуг дышит,
Как звук, что в слух идет, но сам себя не слышит,
Как на поверхности потока белизна,
Как лотос в воздухе, растущий ото дна, —
Так жизнь с восторгами и блеском заблужденья
Есть сновидение иного сновиденья.

⟨1899⟩

170. ИНДИЙСКИЙ МУДРЕЦ

Как золотистый плод, в осенний день дозревший,
На землю падает среди стеблей травы,
Так я, как бы глухой, слепой и онемевший,
Иду, не поднимая головы.

Одно — в моих зрачках, одно — в замкнутом слухе;
Как бы изваянный, мой дух навек затих.
Ни громкий крик слона, ни блеск жужжащей мухи
Не возмутит недвижных черт моих.

Сперва я, как мудрец, беседовал с веками,
Потом свой дух вернул к первичной простоте,
Потом, молчальником, я приобщился в Браме —
И утонул в бессмертной красоте.

Четыре радуги над бурною вселенной,
Четыре степени возвышенных надежд,
Чтоб воссоздать кристалл из влаги переменной,
Чтоб видеть мир, не подымая вежд.

БЕЗВЕТРИЕ

Entónces huelga el hombre
andando entre las estrellas.

Luis de Granada

Тогда-то наслаждается человек, проходя среди звезд.

Люис де Гранада

В тихом безветрии
Светлых пространств.

Случевский

171. АЛЬБАТРОС

Над пустыней ночною морей альбатрос одинокий,
Разрезая ударами крыльев соленый туман,
Любовался, как царством своим, этой бездной широкой,
И, едва колыхаясь, качался под ним океан.

И порой омрачаясь, далеко, на небе холодном,
Одиноко плыла, одиноко горела луна.
О, блаженство быть сильным и гордым и вечно свободным!
Одиночество! Мир тебе! Море, покой, тишина!

172. СВЕТЛЫЙ ГЕРОЙ

Я слышал о светлом герое,
Свободном от всяких желаний,
О нем, перешедшем поток.
В лучистом застыл он покое,
Покинув наш мир восклицаний
Для славы несозданных строк.

В разрывах глубокой лазури,
В краю отодвинутой дали
С ним тайно колдует судьба.
К нему не притронутся бури,

Его не коснутся печали,
Ему незнакома борьба.

С бессмертной загадкой во взоре
Он высится где-то над нами,
В душе отразив небосвод.
В высоко мятущемся море
Он — остров, забытый ветрами,
Среди успокоенных вод.

⟨1899⟩

173. ВЕРШИНЫ

Медленные строки

Вершины белых гор
Под красным солнцем светят.
Спроси вершины гор —
Они тебе ответят.

Расскажут в тихий час
Багряного заката,
Что нет любви для нас,
Что к счастью нет возврата.

Чем дальше ты идешь,
Тем глубже тайный холод.
Всё — истина, всё — ложь,
Блажен лишь тот, кто молод.

Нам скупо светит день,
А ты так жаждешь света.
Мечтой свой дух одень,
В ином не жди привета.

Чем выше над землей,
Тем легче хлопья снега,
С прозрачной полумглой
Слилась немая нега.

В прозрачной полумгле
Ни мрака нет, ни света.
Ты плакал на земле
Когда-то, с кем-то, где-то.

Пойми — один — теперь:
Нет ярче откровенья,
Как в сумраке потерь
Забвение мгновенья.

Мгновенье красоты
Бездонно по значенью, —
В нем высшее, чем ты.
Служи предназначенью!

Взойди на высоту,
Побудь — как луч заката,
Уйди за ту черту,
Откуда нет возврата!

(1898)

174. МОСТ

Между Временем и Вечностью,
Как над брызнувшей водой,
К нам заброшен бесконечностью
Мост воздушно-золотой, —

Разноцветностью играющий,
Видный только для того,
Кто душою ожидающей
Любит бога своего, —

Кто, забыв свое порочное,
Победил громаду зол
И, как радуга непрочная,
Воссиял — и отошел.

175. БЕЛАЯ СТРАНА

Я — в стране, что вечно в белое одета,
Предо мной — прямая долгая дорога.
Ни души — в просторах призрачного света,
Не с кем говорить здесь, не с кем, кроме бога.

Всё, что было в жизни, снова улыбнется,
Только для другого, — нет, не для меня.
Солнце не вернется, счастье не проснется,
В сердце у меня ни ночи нет, ни дня.

Но еще влачу я этой жизни бремя,
Но еще куда-то тянется дорога.
Я один в просторах, где умолкло время,
Не с кем говорить мне, не с кем, кроме бога.

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Книга символов

Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ,
ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ.
Анаксагор

1903

ЧЕТВЕРОГЛАСИЕ СТИХИЙ

176

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И выси гор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть море
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре,
Я властелин.

Я победил холодное забвенье,
Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою.

Мою мечту страданья пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о солнце
В предсмертный час!

177

Будем как солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,
Будем лишь помнить, что вечно к иному —
К новому, к сильному, к доброму, к злому —
Ярко стремимся мы в сне золотом.
Будем молиться всегда неземному
В нашем хотеньи земном!

Будем, как солнце всегда молодое,
Нежно ласкать огневые цветы,
Воздух прозрачный и всё золотое.
Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое,
Будь воплощеньем внезапной мечты!
Только не медлить в недвижном покое,
Дальше, еще, до заветной черты,
Дальше, нас манит число роковое
В вечность, где новые вспыхнут цветы.
Будем как солнце, оно — молодое.
В этом завет красоты!

(1902)

178. ВОЗДУШНЫЙ ХРАМ

Высоко над землею, вечерней и пленной,
Облака затаили огни.
Сколько образов, скованных жизнью мгновенной,
Пред очами проводят они.

Кто-то светлый там молится, молит кого-то,
Преклоняется, падает ниц.
И горящих небесных икон позолота
Оттеняет видения лиц.

Это храм, из воздушности светом сплетенный,
    В нем кадильницы молча горят.
И стоят богомольцы толпой преклоненной,
    Вырастает их призрачный ряд.

И одни возникают, другие уходят,
    Прошептавши молитву свою.
И ушедшие — в мире, незримые, бродят,
    Созидая покров бытию.

Из воздушного храма уносят далеко
    Золотую возможность дождей,
Безотчетную веру живого потока
    И молитвенность кротких страстей.

А горячее солнце, воззвавши их к жизни,
    Наклонилось к последней черте —
И уходит к своей запредельной отчизне
    В беспредельной своей красоте.

И блаженному сладко отдавшись бессилью,
    Засмотрелось, как вечер красив,
И как будто обрызгало светлою пылью
    Желтизну созревающих нив.

‹1899›

179—180. *ГОЛОС ЗАКАТА*

1

Вот и солнце, удаляясь на покой,
Опускается за сонною рекой.
И последний блеск по воздуху разлит,
Золотой пожар за липами горит.

А развесистые липы, все в цвету,
Затаили многоцветную мечту.
Льют пленительно медвяный аромат,
Этой пряностью приветствуют закат.

Золотой пожар за тканями ветвей
Изменяется в нарядности своей.
Он горит, как пламя новых пышных чар,
Лиловато-желто-розовый пожар.

2

Я — отошедший день, каких не много было
На памяти твоей, мечтающий мой брат.
Я — предвечернее светило,
Победно-огненный закат.

Все краски, сколько их сокрыто в силе света,
Я в мысль одну вложил, которая горит,
В огонь рубиновый одета
И в нежно-дымный хризолит.

Многоразличные созвучия сиянья
По небу разбросав, я все их слил в одно:
В восторг предсмертного сознанья,
Что мне блаженство суждено.

Так пышно я горю, так радостно-тревожно,
В воздушных облаках так пламенно сквозя,
Что быть прекрасней — невозможно,
И быть блаженнее — нельзя.

Гляди же на меня, о дух мечты печальной,
Мечтатели земли, глядите на меня:
Я блеск бездонности зеркальной
Роскошно гаснущего дня.

Любите ваши сны безмерною любовью,
О, дайте вспыхнуть им, а не бессильно тлеть,
Сознав, что теплой алой кровью
Вам нужно их запечатлеть.

⟨1 сентября 1901⟩

181. РАССВЕТ

Зеленая поляна,
Деревья, облака.
Под дымкою тумана
Безгласная река.

Медлительно растущий
Сомнительный рассвет.
Молчанье мысли, ждущей,
Возникнет ли ответ.

Безмолвные вопросы
Влюбленных в солнце трав.
Когда зажгутся росы,
Бессмертье увидав?

Бессмертное светило,
Надежда всех миров,
Изжито всё, что было,
Разбиты ковы снов.

Бессмертное влиянье
Немеркнущего дня!
Яви свое сиянье,
Пересоздай меня!

182. ГИМН ОГНЮ

1

Огонь очистительный,
Огонь роковой,
Красивый, властительный,
Блестящий, живой!

2

Бесшумный в мерцаньи церковной свечи,
Многошумный в пожаре,
Глухой для мольбы, многоликий,
Многоцветный при гибели зданий,
Проворный, веселый и страстный,
Так победно-прекрасный,
Что, когда он сжигает мое,
Не могу я не видеть его красоты, —
О красивый Огонь, я тебе посвятил все мечты!

3

Ты меняешься вечно,
Ты — повсюду другой.
Ты красный и дымный
В клокотаньи костра.
Ты — как страшный цветок с лепестками из пламени,
Ты — как вставшие дыбом блестящие волосы.
Ты трепещешь, как желтое пламя свечи
С его голубым основаньем.
Ты являешься в быстром сияньи зарниц.
Ты, застывши, горишь в грозовых облаках —
Фиолетовых, аспидно-синих.
Ты средь шума громов и напева дождей
Возникаешь неверностью молний,
То изломом сверкнешь,
То сплошной полосой,
То как шар, окруженный сияющим воздухом,
Золотой, огневой,
С переменными красными пятнами.
Ты — в хрустальности звезд и в порыве комет.
Ты от солнца идешь и, как солнечный свет,
Согревательно входишь в растенья
И, будя и меняя в них тайную влагу,
То засветишься алой гвоздикой,
То зашепчешь, как колос пушистый,
То протянешься пьяной лозой.
Ты как искра встаешь
Из глухой темноты,
Долго ждешь, стережешь.

Кто пришел? Это ты!
Через миг ты умрешь,
Но пока ты живешь,
Нет сильней, нет страшней, нет светлей красоты!

4

Не устану тебя восхвалять,
О внезапный, о страшный, о вкрадчивый!
На тебе расплавляют металлы.
Близ тебя создают и куют
Много тяжких подков,
Много кос легкозвонных,
Чтоб косить, чтоб косить,
Много колец для пальцев лилейных,
Много колец, чтоб жизни сковать,
Чтобы в них, как в цепях, годы долгие быть
И устами остывшими слово «любить»
Повторять.
Много можешь ты странных вещей создавать:
Полносложность орудий, чтоб горы дробить,
Чтобы ценное золото в безднах добыть,
И отточенный нож, чтоб убить!

5

Вездесущий Огонь, я тебе посвятил все мечты,
Я такой же, как ты.
О, ты светишь, ты греешь, ты жжешь,
Ты живешь, ты живешь!
В старину ты, как Змей, прилетал без конца
И невест похищал от венца.
И, как огненный гость, много раз, в старину,
Ты утешил чужую жену.
О блестящий, о жгучий, о яростный!
В ярком пламени несколько разных слоев.
Ты горишь, как багряный, как темный, как желтый,
Весь согретый изменчивым золотом, праздник
осенних листов.
Ты блестишь — как двенадцатицветный алмаз,

Как кошачья ласкательность женских влюбляющих глаз,
Как восторг изумрудный волны океана,
В тот миг как она преломляется,
Как весенний листок, на котором росинка дрожит
и качается,
Как дрожанье зеленой мечты светляков,
Как мерцанье бродячих огней,
Как зажженные светом вечерним края облаков,
Распростерших свой траур над ликом сожженных
и гаснущих дней!

6

Я помню, Огонь,
Как сжигал ты меня
Меж колдуний и ведьм, трепетавших от ласки Огня.
Нас терзали за то, что мы видели тайное,
Сожигали за радость полночного шабаша, —
Но увидевшим то, что мы видели,
Был не страшен Огонь.
Я помню еще,
О, я помню другое: горящие здания,
Где сжигали себя добровольно, средь тьмы,
Меж неверных, невидящих, верные — мы.
И при звуках молитв, с исступленными воплями
Мы слагали хваленья Даятелю сил.
Я помню, Огонь, я тебя полюбил!

7

Я знаю, Огонь,
И еще есть иное сиянье для нас,
Что горит перед взором навеки потухнувших глаз.
В нем внезапное знанье, в нем ужас, восторг
Пред безмерностью новых глубоких пространств.
Для чего, из чего, кто их взял, кто исторг,
Кто облек их в лучи многозвездных убранств?
Я уйду за ответом!
О душа восходящей стихии, стремящейся в твердь,
Я хочу, чтобы белым немеркнущим светом
Засветилась мне — смерть!

29 декабря 1900

183. ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ

Я шел безбрежными пустынями
И видел бледную Луну,
Она плыла морями синими
И опускалася ко дну.

И не ко дну, а к безизмерности
За кругозорностью земной,
Где нет измен и нет неверности,
Где всё объято тишиной.

Там нет ветров свиреподышащих,
Там нет ни друга, ни врага,
Там нет морей, себя не слышащих
И звонко бьющих в берега.

Там всё застывшее, бесстрастное,
Хотя внушающее страсть, —
Затем, что это царство ясное
Свою нам передало часть.

В нас от него встают желания, —
Как эхо, грянувшее вдруг,
Встает из сонного молчания,
Когда уж умер самый звук.

И бродим, бродим мы пустынями
Средь лунатического сна,
Когда бездонностями синими
Над нами властвует Луна.

Мы подчиняемся, склоняемся
Перед царицей тишины
И в сны свои светло влюбляемся
По мановению Луны.

184. ВОСХВАЛЕНИЕ ЛУНЫ

Псалом

1

Восхвалим, братья, царствие Луны,
Ее лучом ниспосланные сны,
Владычество великой тишины.

Восславим, сестры, бледную Луну,
Лучистую полюбим глубину,
И тайну снов, ее, ее одну.

2

Мне страшно, страшно: как сумею
Царицу сердца восхвалить?
Как раб влюбленный, я пред нею
Блаженно гасну, цепенею
И мысли лучшие не смею
Соткать в серебряную нить.

Да не сочтет за дерзновенье
Царица пышная, Луна,
Что, веря в яркое мгновенье,
В безумном сне самозабвенья
Поет ей раб свое хваленье, —
И да звенит его струна.

О души бледные, внемлите,
Я стройный гимн пою Луне,
Со мной душой своей сплетите
Непогасающие нити,
Мечты влюбленные храните,
Любовь любите в сладком сне.

3

Наша царица вечно меняется,
Будем слагать переменные строки,
Славя ее.

Дух мой дрожащий любит, склоняется,
В лунном сияньи — мы грезы, намеки,
Счастье мое.

Наша царица, бледная, ясная,
Светит сияньем зеленых очей.
Как же люблю я тебя, о прекрасная,
Вечно-нежданная, стройная, властная,
В самом бесстрастии пламенно-страстная,
Тайну познавшая лунных лучей.

Как это чувство, как называется?
Только тебя я везде замечаю,
Только одну.
Это лишь чувство не забывается,
Взорами взоры твои я встречаю,
Славя Луну.

Наша царица, бледная, снежная,
Гаснет, как ты, озаряется вновь.
Как называется боль безнадежная,
Сладкая пытка, мучительность нежная,
Трепетность зыбкая, радость безбрежная?
Милая! Милая! Это — любовь!

4

Луна велит слагать ей восхваленья,
Быть нежными, когда мы влюблены,
Любить, желать, ласкать до исступленья, —
Итак — восхвалим царствие Луны.

Она глядит из светлой глубины,
Из ласковой прохлады отдаленья,
Она велит любить нам зыбь волны,
И даже смерть, и даже преступленье.

Ее лучи, как змеи, к нам скользят,
Объятием своим завладевают,
В них вкрадчивый, неуловимый яд.

От них безумным делается взгляд,
Они, блестя, все мысли убивают
И нам о бесконечном говорят.

5

Она меняется опять,
И нам так сладко повторять
Созвучно-стройные напевы.
Она возникла над водой,
Как призрак сказки золотой,
Как бледный лик неверной девы.

Она опальная мечта,
Она печальна и чиста,
Она — один намек на нежность.
Но вот сейчас, но вот сейчас
Огнем своих зеленых глаз
Она разрушит безмятежность.

Она холодный свет прольет
И волю чарами убьет,
Она — сибилла и колдунья.
В душе разъялась глубина,
Душе судьба ее видна
В очарованьи новолунья.

6

О, вновь родясь, она пьянит сердца,
Внушая мысль, что жизнь — одна влюбленность;
Когда же мы достигнем до конца,
Погаснув, мы находим обновленность.

Ущербная, устав лучом пленять,
Она наводит ужас на поэта
И, сглазив душу, ей дает понять,
Что можно всё, что нет ни в чем запрета.

Когда же закруглится по краям,
Она горит, как чаша золотая,
В которой боги пить дают богам —
Там, где любовь бессмертно-молодая.

Еще, и вот — она, как рдяный щит,
Как полнота пылающего шара,
К болотам, к топям, вниз, спешит, спешит,
Горит за лесом заревом пожара.

Волнует жаб, меняет вид живых,
Их делает похожими на мертвых,
И в омутах двоится роковых,
В затонах, западнями распростертых.

Пугает беспредельной тишиной,
Вздымает безграничность океанов, —
И вновь горит блистательной Луной
В одежде из серебряных туманов.

7

Итак, попавши в плен земной,
Возлюбим, братья, мир иной,
Следя за царственной — Луной.

Внемлите вкрадчивой струне
И присягните молча мне
В повиновении — Луне.

Восславим, сестры, глубину,
Любовь к любви, любовь-волну,
Восхвалим ласки и — Луну.

Она одна, она одна
Для всех влюбленных нам дана,
Непобедимая — Луна!

(1902)

185. ВЛАГА

С лодки скользнуло весло.
Ласково млеет прохлада.
«Милый! Мой милый!» — Светло,
Сладко от беглого взгляда.

Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея.
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге лилея.

Слухом невольно ловлю
Лепет зеркального лона.
«Милый! Мой милый! Люблю!..»
Полночь глядит с небосклона.

⟨1899⟩

186. ВОЗЗВАНЬЕ К ОКЕАНУ

Океан, мой древний прародитель,
Ты хранишь тысячелетний сон.
Светлый сумрак, жизнедатель, мститель,
Водный, вглубь ушедший, небосклон!

Зеркало предвечных начинаний,
Видевшее первую зарю,
Знающее больше наших знаний,
Я с тобой, с бессмертным, говорю!

Ты никем не скованная цельность.
Мир земли для сердца мертв и пуст, —
Ты же вечно дышишь в беспредельность
Тысячами юно-жадных уст!

Тихий, бурный, нежный, стройно-важный,
Ты — как жизнь: и правда и обман.
Дай мне быть твоей пылинкой влажной,
Каплей в вечном... Вечность! Океан!

187. БЕЛЫЙ ПОЖАР

Hier stehe ich inmitten
des Brandes der Brandung.

Nietzsche [1]

Я стою на прибрежьи, в пожаре прибоя,
И волна, проблистав белизной в вышине,
Точно конь, распаленный от бега и боя,
В напряженьи предсмертном домчалась ко мне.

И за нею другие, как белые кони,
Разметав свои гривы, несутся, бегут,
Замирают от ужаса дикой погони
И себя торопливостью жадною жгут.

Опрокинулись, вспыхнули — вправо и влево, —
И пред смертью вздохнув и блеснувши полней,
На песке умирают в дрожании гнева
Языки обессиленных белых огней.

⟨1900⟩

188. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мы унижаемся и спорим
С своею собственной душой.
Я на год надышался морем,
И на год я для всех чужой.

Своих я бросил в чуждых странах,
Ушел туда, где гул волны,
Тонул в серебряных туманах
И видел царственные сны.

В прозрачном взоре отражая
Всю безграничность бледных вод,
Моя душа, для всех чужая,
Непостижимостью живет.

---

[1] Я здесь стою в пожаре прибоя. *Ницше* (нем.). — *Ред.*

Поняв подвижность легкой пены,
Я создаю дрожащий стих,
И так люблю свои измены,
Как неизменность всех своих.

Недели странствий миновали, —
Я к ним вернусь для тишины,
Для нерассказанной печали
И для сверкания струны.

В тот час, когда погаснет солнце,
Она забьется, запоет —
Светлее звонкого червонца
И полнозвучней синих вод.

⟨*1902*⟩

189. С МОРСКОГО ДНА

1

На темном влажном дне морском,
Где царство бледных дев,
Неясно носится кругом
Безжизненный напев.
В нем нет дрожания страстей,
Ни стона прошлых лет.
Здесь нет цветов, и нет людей,
Воспоминаний нет.
На этом темном влажном дне
Нет волн и нет лучей.
И песня дев звучит во сне —
И тот напев ничей.
Ничей, ничей и вместе — всех,
Они во всем равны,
Один у них беззвучный смех
И безразличны сны.
На тихом дне, среди камней
И влажно-светлых рыб,
Никто, в мельканьи ровных дней,
Из бледных не погиб.

У всех прозрачный взор красив,
Поют они меж трав,
Души страданьем не купив,
Души не потеряв.
Меж трав прозрачных и прямых,
Бескровных, как они,
Тот звук поет о снах немых:
«Усни — усни — усни».
Тот звук поет: «Прекрасно дно
Бесстрастной глубины.
Прекрасно то, что всё равно,
Что здесь мы все равны».

2

Но тихо, так тихо, меж дев, задремавших вокруг,
Послышался новый, дотоле неведомый, звук.
И нежно, так нежно, как вздох неподводной травы,
Шепнул он: «Я с вами, но я не такая, как вы.
О, бледные сестры, простите, что я не молчу,
Что я не такая, и я не такого хочу.
Я так же воздушна, я дева морской глубины.
Но странное чувство мои затуманило сны.
Я между прекрасных прекрасна, стройна и бледна.
Но хочется знать мне, одна ли нам правда дана.
Мы дышим во влаге, среди самоцветных камней.
Но чтó, если в мире и любят и дышат полней,
Но чтó, если, выйдя до волн, где бегут корабли,
Увижу я дали и жгучее солнце вдали!»
И точно понявши, чтó понятым быть не должно,
Все девы умолкли, и стало в их сердце темно.
И вдруг побледневши, исчезли, дрожа и скользя,
Как будто услышав, чтó слышать им было нельзя.

3

А та, которая осталась,
Бледна и холодна?
Ей стало страшно, сердце сжалось,
Она была одна?

Она любила хороводы
Меж искристых камней,
Она любила эти воды
В мельканьи ровных дней.
Она любила этих бледных
Исчезнувших сестер,
Мечту их сказок заповедных
И призрачный их взор.
Куда она идет отсюда?
Быть может, там темно?
Быть может, нет прекрасней чуда,
Как это — это дно?
И как пробиться ей, воздушной,
Сквозь безразличность вод?
Но мысль ее, как друг послушный,
Уже зовет, зовет.

4

Ей вдруг припомнилось так ясно,
Что место есть, где зыбко дно.
Там всё так странно, страшно, красно,
И всем там быть запрещено.
Там есть заветная пещера,
И кто-то чудный там живет.
Колдун? Колдунья? Зверь? Химера?
Владыка жизни? Гений вод?
Она не знала, но хотела
На запрещенье посягнуть.
И вот у тайного предела
Она уж молит: «Где мой путь?»
Из этой мглы, так странно-красной
В безлично-бледной глубине,
Раздался чей-то голос властный:
«Теперь и ты пришла ко мне!
Их было много, пожелавших
Покинуть царство глубины
И в неизвестном мире ставших,
Чем все, кто в мире, стать должны.
Сюда оттуда нет возврата,
Вернуться может только труп,

Чтоб рассказать свое «Когда-то» —
Усмешкой горькой мертвых губ.
И что́ в том мире неизвестном —
Мне рассказать тебе нельзя.
Но чрез меня, путем чудесным,
Тебя ведет твоя стезя».
И вот колдун или колдунья
Вещает деве глубины:
«Сегодня в мире новолунье,
Сегодня царствие луны.
Есть в море скрытые теченья,
И ты войдешь в одно из них,
Твое свершится назначенье,
Ты прочь уйдешь от вод морских.
Ты минешь море голубое,
В моря зеленые войдешь,
И в море алое, живое,
И в вольном воздухе вздохнешь.
Но, прежде чем в безвестность глянешь,
Ты будешь в образе другом.
Не бледной девой ты предстанешь,
А торжествующим цветком.
И нежно-женственной богиней
С душою, полной глубины,
Простишься с водною пустыней,
Достигнув уровня волны.
И после таинств лунной ночи
На этой вкрадчивой волне
Ты широко раскроешь очи,
Увидев солнце в вышине!»

5

Прекрасны воздушные ночи
Для тех, кто любил и погас,
Кто знал, что короче, короче
Единственный сказочный час.
Прекрасно влиянье чуть зримой,
Едва нарожденной луны,

Для женских сердец ощутимой
Сильней, чем пышнейшие сны.
Но то, что всего полновластней
Во мгле торжества своего, —
Цветок нераскрытый — прекрасней,
Он лучше, нежнее всего.
Да будет бессмертно отныне
Безумство души неземной,
Явившейся в водной пустыне
С едва нарожденной луной.
Она выплывала к теченью
Той вкрадчивой зыбкой волны,
Незримому веря влеченью,
В безвестные веруя сны.
И ночи себя предавая,
Расцветший цветок на волне,
Она засветилась, живая,
Она возродилась вдвойне.
И утро на небо вступило,
Ей было так странно-тепло.
И солнце ее ослепило,
И солнце ей очи сожгло.

6

И целый день, бурунами носима
По плоскости стекла,
Она была меж волн, как призрак дыма,
Бездушна и бела.
По плоскости, изломанной волненьем,
Носилась без конца.
И не следил никто за измененьем
Страдавшего лица.
Не видел ни один, что там живая —
Как мертвая была, —
И как она тонула, выплывая,
И как она плыла.
А к вечеру, когда в холодной дали
Сверкнули маяки,
Ее совсем случайно подобрали,
Всю в пене, рыбаки.

Был мертвен свет в глазах ее застывших,
Но сердце билось в ней.
Был долог гул приливов, отступивших
С береговых камней.

7

Весной в новолунье, в прозрачный тот час,
Что двойственно вечен и нов
И сладко волнует и радует нас,
Колеблясь на грани миров, —
Я вздрогнул от взора двух призрачных глаз
В одном из больших городов.
Глаза отражали застывшие сны
Под тенью безжизненных век,
В них не было чар уходящей весны,
Огней убегающих рек, —
Глаза были полны морской глубины,
И были слепыми навек.
У темного дома стояла она —
Виденье тяжелых потерь,
И я из высокого видел окна,
Как замкнута черная дверь
Пред бледною девой с глубокого дна,
Что нищею ходит теперь.
В том сумрачном доме большой вышины
Балладу о море я пел, —
О деве, которую мучили сны,
Что есть неподводный предел,
Что, может быть, в мире две правды даны —
Для душ и для жаждущих тел.
И с болью я медлил и ждал у окна,
И явственно слышал в окно
Два слова, что молвила дева со дна, —
Мне вам передать их дано:
«Я видела солнце, — сказала она, —
Чтó после — не всё ли равно!»

(1902)

190. ДОЖДЬ

В углу шуршали мыши,
Весь дом застыл во сне.
Шел дождь — и капли с крыши
Стекали по стене.

Шел дождь, ленивый, вялый,
И маятник стучал.
И я душой усталой
Себя не различал.

Я слился с этой сонной
Тяжелой тишиной.
Забытый, обделенный,
Я весь был тьмой ночной.

А бодрый, как могильщик,
Во мне тревожа мрак,
В стене жучок-точильщик
Твердил: «Тик-так. Тик-так».

Равняя звуки точкам,
Началу всех начал,
Он тонким молоточком
Стучал, стучал, стучал.

И атомы напева,
Сплетаясь в тишине,
Спокойно и без гнева
«Умри» твердили мне.

И мертвый, бездыханный,
Как труп задутых свеч,
Я слушал в скорби странной
Вещательную речь.

И тише кто-то, тише
Шептался обо мне.
И капли с темной крыши
Стекали по стене.

⟨*Май 1901*⟩

191. ПРЕРЫВИСТЫЙ ШЕЛЕСТ

Есть другие планеты, где ветры певучие тише,
Где небо бледнее, травы тоньше и выше,
Где прерывисто льются
Переменные светы,
Но своей переменою только ласкают, смеются.
Есть иные планеты,
Где мы были когда-то,
Где мы будем потом,
Не теперь, а когда, потеряв —
Себя потеряв без возврата,
Мы будем любить истомленные стебли седых
шелестящих трав,
Без аромата,
Тонких, высоких, как звезды — печальных,
Любящих сонный покой мест погребальных,
Над нашей могилою спящих
И тихо, так тихо, так сумрачно-тихо под луной
шелестящих.

192. БЕЗВЕТРИЕ

Я чувствую какие-то прозрачные пространства
Далёко в беспредельности, свободной от всего;
В них нет ни нашей радуги, ни звездного убранства,
В них всё хрустально-призрачно, воздушно
и мертво.

Безмерными провалами небесного Эфира
Они как бы оплотами от нас ограждены,
И в центре мироздания они всегда вне мира,
Светлей снегов нетающих нагорной вышины.

Нежней, чем ночью лунною дрожанье паутины,
Нежней, чем отражения перистых облаков,
Чем в замысле художника рождение картины,
Чем даль навек утраченных родимых берегов.

И только те, что в сумраке скитания земного
Об этих странах помнили, всегда лишь их любя
Оттуда в мир пришедшие, туда вернутся снова,
Чтоб в царствии безветрия навек забыть себя.

⟨1900⟩

193. ВЕТЕР

Ветер, ветер, ветер, ветер,
Что ты в ветках всё шумишь?
Вольный ветер, ветер, ветер,
Пред тобой дрожит камыш.
Ветер, ветер, ветер, ветер,
Что ты душу мне томишь?

Ты вздыхаешь, полусонный,
И спешишь скорей заснуть.
Чуть уснул — и, пробужденный,
Ты готов опять вспорхнуть.
Стой! Куда, неугомонный?
Вечно — прямо, снова — в путь.

Все места тебе знакомы,
Ты воздушно шелестишь,
Рябью входишь в водоемы,
Шаткой травкою блестишь.
Носишь тучи, манишь громы —
И опять уходишь в тишь.

О, неверный! Ветер, ветер,
Ты не помнишь ничего.
Дай и мне забвенья, ветер,
Дай стремленья твоего.
Ветер, ветер, ветер, ветер,
Ты прекраснее всего!

194. ЗАВЕТ БЫТИЯ

Я спросил у свободного ветра,
Чтó мне сделать, чтоб быть молодым.
Мне ответил играющий ветер:
«Будь воздушным, как ветер, как дым!»

Я спросил у могучего моря,
В чем великий завет бытия.
Мне ответило звучное море:
«Будь всегда полнозвучным, как я!»

Я спросил у высокого солнца,
Как мне вспыхнуть светлее зари.
Ничего не ответило солнце,
Но душа услыхала: «Гори!»

⟨*1901*⟩

195. СЕВЕР

Как пленительна весна
Там, где снег — не сновиденье,
Где полгода — тишина
Перед счастьем возрожденья.

Там душа, волнуясь, ждет:
Что ж, сегодня торжествуем?
Что ж, река разрушит лед
Бурным влажным поцелуем?

Там весна — как смерть врага,
Все вдвойне от солнца пьяны.
Вас приветствую, снега,
Вас, бессмертные туманы!

⟨*1900*⟩

196. ИСПАНСКИЙ ЦВЕТОК

Я вижу Толедо,
Я вижу Мадрид.
О белая Леда! Твой блеск и победа
Различным сияньем горит.

Крылатым и смелым
Был тот, кто влюблен.
И, белый на белом, ликующим телом,
Он бросил в столетья свой сон.

Иные есть птицы,
Иные есть сны;
Я вижу бойницы: в них гордость орлицы,
В них пышность седой старины.

Застыли громады
Оконченных снов.
И сумрачно рады руины Гранады
Губительной силе веков.

Здесь дерзость желанья
Не гаснет ни в чем.
Везде изваянья былого влиянья,
Крещенья огнем и мечом.

О, строгие лики
Умевших любить!
Вы смутно-велики, красивы и дики,
Вы поняли слово: убить.

Я вас не забуду,
Я с вами везде.
Жестокому чуду я верным пребуду,
Я предан испанской звезде!

⟨1901⟩

197. PASEO DE LAS DELICIAS В СЕВИЛЬЕ

Лиловые гроздья роскошных глициний,
И пальмы с их правильной четкостью линий,
И желто-оранжевый дремлющий хмель, —
Как красочно ласков испанский апрель!

А девственно-бледные дикие розы,
А желтые шапочки нежной мимозы,
А тень кипарисов, их темные сны, —
Как сказочны лики испанской весны!

И сад многоцветный, расцветший так пышно,
Гармонией красок поет нам неслышно
О стройном согласьи своей тишины,
О блеске цветочном испанской весны!

Весна 1900
Севилья

198. К ЮНОМУ СХИМНИКУ

Схимник юный, узник бледный,
Почему за мглой страстей
Мир печали заповедной
Ты отторгнул от людей?

По своей ли ты охоте
Иль веленьем вражьих сил
Умерщвленье грешной плоти
Выше счастья полюбил?

Кто, властительный и смелый,
Так жестоко восхотел,
Чтоб, навеки онемелый,
Перешел ты за предел?

За предел миров, где струны
Так узывчиво звенят
И смеются: «Схимник юный!
Ты невольник!» — говорят.

«Ты невольник, и жестоки
Испытания твои.
Мы свободны, мы глубоки,
Как потоки и ручьи.

И в жестокости мы кротки,
И расстались мы с тоской,
И меняемся, как четки, —
Но под смелою рукой!»

Весна 1900
Севилья

199. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ СТРАДАНИЕ

«Не лучше ли страдание,
Глухое, одинокое,
Как бездны мироздания,
Непонято-глубокое?
Не лучше ли мучение,
Чем ясный, звонкий смех?
Полюбим отречение,
Разлюбим сладкий грех».

«О, нет, мой брат единственный,
Душа моя смущается;
В ней вечен клич воинственный,
Ей много обещается.
Весь мир нам обещается,
Когда его хотим,
И всякий грех прощается,
Когда простим другим».

200. СУМЕРКИ

Мерцают сумерки в лимонных
И апельсиновых садах,
И слышен лепет листьев сонных,
И дремлет ветер на цветах.

Тот легкий ветер, что приносит
Благословение небес
И тайно души наши просит
Поверить мудрости чудес.

Чудес, ниспосланных нежданно
Для исцеления души,
Которой всюду, беспрестанно,
Был только слышен крик: «Спеши».

Для исцеленья утомленных,
Нашедших чары новых снов
Под тенью ласковой — лимонных
И апельсиновых садов.

Весна 1900
Севилья

201. УСПОКОЕНИЕ

Вечернее тихое море
Сливалось воздушною дымкой
С грядою слегка лиловатых
Охваченных сном облаков,
И в этом безмерном просторе
Дышали почти невидимкой,
Как дышат мечты в ароматах,
Бесплотные образы снов.

Они возникали, как краски,
Как чувства, зажженные взором,
Как сладкий восторг аромата,
Как блеск и прозрачность воды,
Как светлые вымыслы сказки,
Как тучки, что встали дозором,
Чтоб вспыхнуть на миг без возврата
Пред ликом вечерней звезды.

⟨1900⟩

202. СКАЗАТЬ МГНОВЕНЬЮ: СТОЙ!

Быть может, вся природа — мозаика цветов?
Быть может, вся природа — различность голосов?
Быть может, вся природа — лишь числа и черты?
Быть может, вся природа — желанье красоты?

У мысли нет орудья измерить глубину,
Нет сил, чтобы замедлить бегущую весну.
Лишь есть одна возможность сказать мгновенью
«Стой!»:
Разбив оковы мысли, быть скованным — мечтой.

Тогда нам вдруг понятна стозвучность голосов,
Мы видим всё богатство и музыку цветов,
А если и мечтою не смерить глубину, —
Мечтою в самых безднах мы создаем весну.

⟨1901⟩

ЗМЕИНЫЙ ГЛАЗ

203

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая —
Всё пойму, всё возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.

⟨1901⟩

204. МОИ ПЕСНОПЕНЬЯ

В моих песнопеньях — журчанье ключей,
Что звучат всё звончей и звончей.
В них — женственно-страстные шепоты струй,
И девический в них поцелуй.

В моих песнопеньях — застывшие льды,
Беспредельность хрустальной воды.
В них — белая пышность пушистых снегов,
Золотые края облаков.

Я звучные песни не сам создавал,
Мне забросил их горный обвал.
И ветер влюбленный, дрожа по струне,
Трепетания передал мне.

Воздушные песни с мерцаньем страстей
Я подслушал у звонких дождей.
Узорно-играющий тающий свет
Подглядел в сочетаньях планет.

И я в человеческом — нечеловек,
Я захвачен разливами рек.
И в море стремя полногласность свою,
Я стозвучные песни пою.

⟨1900⟩

205. СЛОВА — ХАМЕЛЕОНЫ

Слова — хамелеоны,
Они живут спеша.
У них свои законы,
Особая душа.

Они спешат меняться,
Являя все цвета;
Поблекнут — обновятся,
И в том их красота.

Все радужные краски,
Всё, что чарует взгляд,
Желая вечной сказки,
Они в себе таят.

И сказка длится, длится
И нарушает плен.
Как сладко измениться, —
Живите для измен!

6 ноября 1901

206

Всё равно мне, человек плох или хорош,
Всё равно мне, говорит правду или ложь.

Только б вольно он всегда *да* сказал на *да*,
Только б он, как вольный свет, *нет* сказал на *нет*.

Если в небе свет погас, значит — поздний час,
Значит — в первый мы с тобой и в последний раз.

Если в небе света нет, значит — умер свет,
Значит — ночь бежит, бежит, заметая след.

Если ключ поет всегда: «Да, — да, да, — да, да», —
Значит, в нем молчанья нет — больше никогда.

Но опять зажжется свет в бездне новых туч,
И, быть может, замолчит на мгновенье ключ.

Красен солнцем вольный мир, черной тьмой хорош.
Я не знаю, день и ночь — правда или ложь.

Будем солнцем, будем тьмой, бурей и судьбой,
Будем счастливы с тобой в бездне голубой.

Если ж в сердце свет погас, значит — поздний час,
Значит — в первый мы с тобой и в последний раз.

207. ВОЛЯ

Валерию Брюсову

Неужели же я буду так зависеть от людей,
Что не весь отдамся чуду мысли пламенной моей?

Неужели же я буду колебаться на пути,
Если сердце мне велело в неизвестное идти?

Нет, не буду, нет, не буду я обманывать звезду,
Чей огонь мне ярко светит и к которой я иду.

Высшим знаком я отмечен и, не помня никого,
Буду слушаться повсюду только сердца своего.

Если море повстречаю, в глубине я утону,
Видя воздух, полный света, и прозрачную волну.

Если горные вершины развернутся предо мной,
В снежном царстве я застыну под серебряной луной.

Если к пропасти приду я, заглядевшись на звезду,
Буду падать, не жалея, что на камни упаду.

Но повсюду вечно чуду буду верить я мечтой,
Буду вольным и красивым, буду сказкой золотой.

Если ж кто-нибудь захочет изменить мою судьбу,
Он в раю со мною будет — или в замкнутом гробу.

Для себя ища свободы, я ее другому дам,
Или вместе будет тесно, слишком тесно будет нам.

Так и знайте, понимайте звонкий голос этих струн:
Влага может быть прозрачной — и возникнуть как бурун.

Солнце ландыши ласкает, их сплетает в хоровод,
А захочет — и зардеет, и пожар в степи зажжет.

Но согрею ль я другого, или я его убью,
Неизменной сохраню я душу вольную мою.

Январь 1902

208. ГЛАЗА

Когда я к другому в упор подхожу,
Я знаю: нам общее нечто дано.
И я напряженно и зорко гляжу —
Туда, на глубокое дно.

И вижу я много задавленных слов,
Убийств, совершенных в зловещей тиши,
Обрывов, провалов, огня, облаков,
Безумства несытой души.

Я вижу, я помню, я тайно дрожу,
Я знаю, откуда приходит гроза.
И если другому в глаза я гляжу,
Он вдруг закрывает глаза.

209. СКВОЗЬ СТРОЙ

Вы меня прогоняли сквозь строй,
Вы кричали: «Удвой и утрой,
В десять раз, во сто раз горячей
Пусть узнает удар палачей».

Вы меня прогоняли сквозь строй,
Вы стояли зловещей горой,
И горячею кровью облит,
Я еще и еще был избит.

Но, идя, как игрушка, меж вас,
Я горел, я сгорал, и не гас.
И сознаньем был каждый смущен,
Что я кровью своей освящен.

И сильней, всё сильней каждый раз
Вы пугались блистающих глаз.
И вы дрогнули все предо мной,
Увидав, что меж вас — я иной.

⟨14 марта 1901⟩

210. В ЗАСТЕНКЕ

Переломаны кости мои.
Я в застенке. Но чу! В забытьи
Слышу, где-то стремятся ручьи.

Так созвучно, созвонно в простор
Убегают с покатостей гор,
Чтоб низлиться в безгласность озер.

Я в застенке. И пытка долга.
Но мечта мне моя дорога.
В палаче я не вижу врага.

Он ужасен, он странен, как сон.
Он упорством моим потрясен.
Я ли мученик? Может быть, он?

Переломаны кости. Хрустят.
Но горит напряженный мой взгляд.
О, ручьи говорят, говорят!

211. В ДОМАХ

М. Горькому

В мучительно-тесных громадах домов
Живут некрасивые бледные люди,
Окованы памятью выцветших слов,
Забывши о творческом чуде.

Всё скучно в их жизни. Полюбят кого,
Сейчас же наложат тяжелые цепи.
«Ну что же, ты счастлив?» — «Да что ж...
Ничего...»
О, да, ничего нет нелепей!

И чахнут, замкнувшись в гробницах своих.
А где-то по воздуху носятся птицы.
Что́ птицы! Мудрей привидений людских
Жуки, пауки и мокрицы.

Всё цельно в просторах безлюдных пустынь,
Желанье свободно уходит к желанью.
Там нет заподозренных чувством святынь,
Там нет пригвождений к преданью.

Свобода! Свобода! Кто понял тебя,
Тот знает, как вольны разливные реки.
И если лавина несется губя,
Лавина прекрасна навеки.

Кто близок был к смерти и видел ее,
Тот знает, что жизнь глубока и прекрасна.
О люди, я вслушался в сердце свое,
И знаю, что ваше — несчастно!

Да, если бы только могли вы понять...
Но вот предо мною захлопнулись двери,
И в клеточках гномы застыли опять,
Лепечут: «Мы люди, не звери».

Я проклял вас, люди. Живите впотьмах.
Тоскуйте в размеренной чинной боязни.
Бледнейте в мучительных ваших домах.
Вы к казни идете от казни!

(1902)

212. МСТИТЕЛЬ

Если б вы молились на меня,
Я стоял бы ангелом пред вами,
О приходе радостного дня
Говорил бы лучшими словами.

Был бы вам — как радостный восход,
Был бы вам — как свежесть аромата,
Сделал бы вам легким переход
К грусти полумертвого заката.

Я бы пел вам, сладостно звеня,
Я б не ненавидел вас, как трупы,
Если б вы молились на меня,
Если бы вы не были так скупы.

А теперь, угрюмый и больной,
А теперь, как темный дух, гонимый,
Буду мстить вам с меткостью стальной,
Буду бич ваш, бич неумолимый.

213. СОПЕРНИКИ

Мы можем идти по широким равнинам,
Идти, не встречаясь в пути никогда.
И каждый пребудет один, властелином, —
Пока не взойдет роковая звезда.

Мы можем бросать беспокойные тени,
Их месяц вытягивать будет в длину.
В одном восхожденьи мы будем ступени,
И равны, — пока не полюбим одну.

Тогда мы солжем, но себе не поможем,
Тогда мы забудем о боге своем.
Мы можем, мы можем, мы многое можем,
Но только, — мой равный! — пока мы вдвоем.

214. ЛОМАНЫЕ ЛИНИИ

Ломаные линии, острые углы.
Да, мы здесь — мы прячемся в дымном
царстве мглы.

Мы еще покажемся из угрюмых нор,
Мы еще нарядимся в праздничный убор.

Глянем — и захватим вас, вбросим в наши сны.
Мы еще покажем вам свежесть новизны.

Подождите, старые, знавшие всегда
Только два качания, только *нет* и *да.*

Будет откровение, вспыхнет царство мглы.
Утро дышит пурпуром... Чу! Кричат орлы!

215. НАШИМ ВРАГАМ

Вы томительные,
Усыпительные,
    Ничего вам не дано,
    Даром канете на дно.

Богом кинутые
И отринутые,
    Не согреты вы ничем,
    И живете низачем.

Не постигнувшие
И не двигнувшие
    Ничего и никогда,
    Вы погибли навсегда.

Вы распавшиеся,
Неудавшиеся,
    У дорожного столба
    Невзошедшие хлеба.

216. ГАРМОНИЯ СЛОВ

Почему в языке отошедших людей
    Были громы певучих страстей?
И намеки на звон всех времен и пиров,
    И гармония красочных слов?

Почему в языке современных людей —
Стук ссыпаемых в яму костей?
Подражательность слов, точно эхо молвы,
Точно ропот болотной травы?

Потому что когда, молода и горда,
Между скал возникала вода,
Не боялась она прорываться вперед, —
Если станешь пред ней, так убьет.

И убьет, и зальет, и прозрачно бежит,
Только волей своей дорожит.
Так рождается звон для грядущих времен,
Для теперешних бледных племен.

‹1900›

217

Ты мне говоришь, что как женщина я,
Что я рассуждать не умею,
Что я ускользаю, что я — как змея, —
Ну что же, я спорить не смею.

Люблю по-мужски я всем телом мужским,
Но женское — сердцу желанно,
И вот отчего, рассуждая с другим,
Я так выражаюсь туманно.

Я женщин, как высшую тайну, люблю,
А женщины любят скрываться, —
И вот почему я не мог, не терплю
В заветных глубинах признаться.

Но весь я прекрасен, дышу и дрожу,
Мне жаль, что тебя я печалю.
Приблизься: тебе я всю правду скажу,
А может быть, только ужалю.

218

Мы брошены в сказочный мир
Какой-то могучей рукой.
На тризну? На битву? На пир?
Не знаю. Я вечно — другой.

Я каждой минутой — сожжен.
Я в каждой измене — живу.
Не праздно я здесь воплощен.
И ярко я сплю — наяву.

И знаю и помню с тоской,
Что вниз я сейчас упаду.
Но брошенный меткой рукой,
Я цель — без ошибки найду.

219. SIN MIEDO[1]

Если ты поэт и хочешь быть могучим,
Хочешь быть бессмертным в памяти людей,
Порази их в сердце вымыслом певучим,
Думу закали на пламени страстей.

Ты видал кинжалы древнего Толедо?
Лучших не увидишь, где бы ни искал.
На клинке узорном надпись: «Sin miedo», —
Будь всегда бесстрашным, — властен их закал.

Раскаленной стали форму придавая,
В сталь кладут по черни золотой узор,
И века сверкает красота живая
Двух металлов слитых, разных с давних пор.

Чтоб твои мечты вовек не отблистали,
Чтоб твоя душа всегда была жива,
Разбросай в напевах золото по стали,
Влей огонь застывший в звонкие слова.

Весна 1900
Севилья

[1] Будь без страха (исп.). — *Ред.*

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

220—222. *ТРИЛИСТНИК*

Дагни Кристенсен

1

ИЗ РОДА КОРОЛЕЙ

Да, тебя я знаю, знаю. Ты из рода королей.
Ты из расы гордых скальдов древней родины твоей.

Ты не чувствуешь, не знаешь многих звуков,
многих слов,
Оттого что в них не слышно дуновения веков.

Ты не видишь и не знаешь многих красок и картин,
Оттого что в них не светит мощь родных
морских глубин.

Но едва перед тобою молвишь беглый вещий звук,
Тотчас мы с тобою вместе, мы в один замкнуты круг.

И когда во взоре можешь силу моря отразить,
Между мною и тобою тотчас ласковая нить.

Нить признанья, ожиданья, бесконечности мечты,
Долгих песен без названья, откровений красоты.

Между мною и тобою веет возглас: «Навсегда».
«Ты забудешь?» — «Невозможно». — «Ты ко мне
вернешься?» — «Да»

Да, тебя я знаю, счастье. Ты — рожденная волной.
Вот я связан царским словом. Помни. Помни!
Будь со мной!

2

В МОЕМ САДУ

В моем саду мерцают розы белые,
Мерцают розы белые и красные,
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные.

Тебя я видел только раз, любимая,
Но только раз мечта с мечтой встречается,
В моей душе любовь непобедимая
Горит и не кончается.

Лицо твое я вижу побледневшее,
Волну волос, как пряди снов согласные,
В глазах твоих — признанье потемневшее,
И губы, губы красные.

С тобой познал я только раз, любимая,
То яркое, что счастьем называется, —
О тень моя, бесплотная, но зримая,
Любовь не забывается.

Моя любовь — пьяна, как гроздья спелые,
В моей душе — звучат призывы страстные,
В моем саду — сверкают розы белые
И ярко, ярко-красные.

3

СОЛНЦЕ УДАЛИЛОСЬ

Солнце удалилось. Я опять один.
Солнце удалилось от земных долин.
Снежные вершины свет его хранят.
Солнце посылает свой последний взгляд.

Воздух цепенеет, властно скован мглой.
Кто-то, наклоняясь, дышит над землей.
Тайно стынут волны меркнущих морей.
— Уходи от ночи, уходи скорей.

— Где ж твой тихий угол? — Нет его нигде.
Он лишь там, где взор твой устремлен к звезде.
Он лишь там, где светит луч твоей мечты.
Только там, где солнце. Только там, где ты.

⟨1900⟩

223. НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Мы говорим на разных языках.
Я свет весны, а ты усталый холод.
Я златоцвет, который вечно молод,
А ты песок на мертвых берегах.

Прекрасна даль вскипающего моря,
Его простор играющий широк.
Но берег мертв. Измыт волной песок.
Свистит, хрустит, с гремучей влагой споря.

А я живу. Как в сказочных веках,
Воздушный сад исполнен аромата.
Поет пчела. Моя душа богата.
Мы говорим на разных языках.

224. ПОЗДНО

Было поздно в наших думах.
Пела полночь с дальних башен.
Темный сон домов угрюмых
Был таинственен и страшен.

Было тягостно-обидно.
Даль небес была беззвёздна.
Было слишком очевидно,
Что любить, любить нам — поздно.

Мы не поняли начала
Наших снов и песнопений.

И созвучье отзвучало
Без блаженных исступлений.

И на улицах угрюмых
Было скучно и морозно.
Било полночь в наших думах.
Было поздно, поздно, поздно.

225. ПРИДОРОЖНЫЕ ТРАВЫ

Спите, полумертвые увядшие цветы,
Так и не узнавшие расцвета красоты,
Близ путей заезженных взращенные творцом,
Смятые невидевшим тяжелым колесом.

В час, когда все празднуют рождение весны,
В час, когда сбываются несбыточные сны,
Всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя,
Возле вас раскинулась заклятая стезя.

Вот, полуизломаны, лежите вы в пыли,
Вы, что в небо дальнее светло глядеть могли,
Вы, что встретить счастие могли бы, как и все,
В женственной, в нетронутой, в девической красе.

Спите же, взглянувшие на страшный пыльный путь,
Вашим равным — царствовать, а вам — навек уснуть,
Богом обделенные на празднике мечты,
Спите, не видавшие расцвета красоты.

⟨Май⟩ 1900
Биарриц

226. ВОЛНЫ

Волна бежит. Волна с волною слита.
Волна с волною слита в одной мечте.
Прильнув к скалам, они гремят сердито.
Они гремят сердито: «Не те! Не те!»

И в горьком сне волна волне шепнула.
Волна волне шепнула: «В тебе — мечта».
И плещут вновь: «Меня ты обманула!»
— «Меня ты обманула. И ты — не та!»

15 сентября 1896

227. ТЫ ЗДЕСЬ

Ты здесь, со мною, так близко-близко.
Я полон счастья. В душе гроза.
Ты цепенеешь — как одалиска,
Полузакрывши свои глаза.

Кого ты любишь? Чего ты хочешь?
Теперь томишься? Иль с давних пор?
О чем поешь ты, о чем пророчишь,
О затененный, но яркий взор?

Мое блаженство, побудь со мною, —
Я весь желанье, я весь гроза.
Я весь исполнен тобой одною.
Открой мне счастье! Закрой глаза!

⟨1901⟩

228. ЗАМАРАШКА

Уличной испанке

Бедная ты замарашка,
Серенький робкий зверок,
Ты полевая ромашка,
Никем не любимый цветок.

Ты и не знаешь, как манит
Прелесть незнатных полей,
Вид твой души не обманет,
Ты всех мне красавиц милей.

⟨1900⟩

229. МОРСКАЯ ДУША

У нее глаза морского цвета,
И живет она как бы во сне.
От весны до окончанья лета
Дух ее в нездешней стороне.

Ждет она чего-то молчаливо,
Где сильней всего шумит прибой,
И в глазах глубоких в миг отлива
Холодеет сумрак голубой.

А когда высоко встанет буря,
Вся она застынет, внемля плеск,
И глядит как зверь, глаза прищуря,
И в глазах ее — зеленый блеск.

А когда настанет новолунье,
Вся изнемогая от тоски,
Бледная влюбленная колдунья
Расширяет черные зрачки.

И слова какого-то обета
Всё твердит, взволнованно дыша.
У нее глаза морского цвета,
У нее неверная душа.

ЗАЧАРОВАННЫЙ ГРОТ

230

Жизнь проходит, — вечен сон.
Хорошо мне, — я влюблен.

Жизнь проходит, — сказка — нет.
Хорошо мне, — я поэт.

Душен мир, — в душе свежо.
Хорошо мне, хорошо.

⟨17 ноября 1900⟩

231. ОТПАДЕНИЯ

Отпадения в мир сладострастия
Нам самою судьбой суждены.
Нам неведомо высшее счастие.
И любить и желать — мы должны.

И не любит ли жизнь настоящее?
И не светят ли звезды за мглой?
И не хочет ли солнце горящее
Сочетаться любовью с землей?

И не дышит ли влага прозрачная,
В глубину принимая лучи?
И не ждет ли земля новобрачная?
Так люби. И целуй. И молчи.

Весна 1900

232. ВЕСЬ – ВЕСНА

«Мой милый! — ты сказала мне. —
Зачем в душевной глубине
Ты будишь бурные желанья?
Всё, что в тебе, влечет меня.
И вот в душе моей, звеня,
Растет, растет очарованье!»

Тебя люблю я столько лет,
И нежен я, и я поэт.
Так как же это, совершенство,
Что я тебя своей не звал,
Что я тебя не целовал,
Не задыхался от блаженства?

Скажи мне, счастье, почему?
Пойми: никак я не пойму,
Зачем мы стали у предела?
Зачем не хочешь ты любить,
Себя в восторге позабыть,
Отдать и душу мне и тело?

Пойми, о нежная мечта:
Я жизнь, я солнце, красота,
Я время сказкой зачарую,
Я в страсти звезды создаю,
Я весь — весна, когда пою,
Я — светлый бог, когда целую!

233. АНИТА

Я был желанен ей. Она меня влекла,
Испанка стройная с горящими глазами.
Далеким заревом жила ночная мгла,
Любовь невнятными шептала голосами.
Созвучьем слов своих она меня зажгла,
Испанка смуглая с глубокими глазами.

Альков раздвинулся воздушно-кружевной.
Она не стала мне шептать: «Пусти... Не надо...»
Не деве Севера, не нимфе ледяной
Твердил я вкрадчиво: «Anita! Adorada!» [1]
Тигрица жадная дрожала предо мной, —
И кроме глаз ее мне ничего не надо.

234. РУСАЛКА

Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми.
Ты один мне понравился между людьми.
До тебя я была холодна и бледна.
Я — с глубокого, тихого, темного дна.

Нет, помедли. Сейчас загорится для нас
Молодая луна. Вот — ты видишь? Зажглась!
Дышит мрак голубой. Ну, целуй же! Ты мой?
Здесь. И здесь. Так. И здесь... Ах, как сладко с тобой!

[1] Обожаемая (исп.). — *Ред.*

Я ласкал ее долго, ласкал до утра,
Целовал ее губы и плечи.
И она наконец прошептала: «Пора!
Мой желанный, прощай же — до встречи».

И часы пронеслись. Я стоял у волны.
В ней качалась русалка нагая.
Но не бледная дева вчерашней луны,
Но не та, но не та, а другая.

И ее оттолкнув, я упал на песок,
А русалка, со смехом во взоре,
Вдруг запела: «Простор полноводный глубок.
Много дев, много раковин в море.

Тот, кто слышал напев первозданной волны,
Вечно полон мечтаний безбрежных.
Мы — с глубокого дна, и у той глубины
Много дев, много раковин нежных».

236. ИГРАЮЩЕЙ В ИГРЫ ЛЮБОВНЫЕ

Есть поцелуи — как сны свободные,
Блаженно-яркие, до исступления.
Есть поцелуи — как снег холодные.
Есть поцелуи — как оскорбление.

О, поцелуи — насильно данные,
О, поцелуи — во имя мщения!
Какие жгучие, какие странные,
С их вспышкой счастия и отвращения!

Беги же с трепетом от исступленности,
Нет меры снам моим, и нет названия.
Я силен — волею моей влюбленности,
Я силен дерзостью — негодования!

⟨1901⟩

237

Я больше ее не люблю,
А сердце умрет без любви.
Я больше ее не люблю, —
И жизнь мою смертью зови.

Я — буря, я — пропасть, я — ночь,
Кого обнимаю — гублю.
О, счастие вольности! .. Прочь!
Я больше тебя не люблю!

238

За то, что нет благословения
Для нашей сказки — от людей, —
За то, что ищем мы забвения
Не в блеске принятых страстей, —

За то, что в сладостной бесцельности
Мы тайной связаны с тобой, —
За то, что тонем в беспредельности,
Не побежденные судьбой, —

За то, что наше упоение
Непостижимо нам самим, —
За то, что силою стремления
Себя мы пыткам предадим, —

За новый облик сладострастия, —
Душой безумной и слепой
Я проклял всё — во имя счастия,
Во имя гибели с тобой.

239

Она отдалась без упрека,
Она целовала без слов.
— Как темное море глубоко,
Как дышат края облаков!

Она не твердила: «Не надо»,
Обетов она не ждала.
— Как сладостно дышит прохлада,
Как тает вечерняя мгла!

Она не страшилась возмездья,
Она не боялась утрат.
— Как сказочно светят созвездья,
Как звезды бессмертно горят!

DANSES MACABRES[1]

240. ПОЭТЫ

Ю. Балтрушайтису

Тебе известны, как и мне,
Непобедимые влечения,
И мы — в небесной вышине,
И мы — подводные течения.

Пред нами дышит череда
Явлений Силы и Недужности,
И в центре круга мы всегда,
И мы мелькаем по окружности.

Мы смотрим в зеркало Судьбы
И как на праздник наряжаемся,
Полувладыки и рабы,
Вкруг темных склепов собираемся.

И услыхав полночный бой,
Упившись музыкой железною,
Мы мчимся в пляске круговой
Над раскрывающейся бездною.

Игра кладбищенских огней
Нас манит сказочными чарами,

[1] Пляски смерти (франц.). — *Ред.*

Везде, где смерть, мы тут же с ней,
Как тени дымные — с пожарами.

И мы, незримые, горим,
И сон чужой тревожим ласками,
И меж неопытных царим
Безумьем, ужасом и сказками.

(1900)

241. КОСТРЫ

Да, и жгучие костры
Это только сон игры.
Мы играем в палачей.
Чей же проигрыш? Ничей.

Мы меняемся всегда.
Нынче «нет», а завтра «да».
Нынче я, а завтра ты.
Всё во имя красоты.

Каждый звук — условный крик.
Есть у каждого двойник.
Каждый там глядит как дух,
Здесь — телесно грезит вслух.

И пока мы здесь дрожим,
Мир всемирный нерушим.
Но в желаньи глянуть вниз
Все верховные сошлись.

Каждый любит, тень любя,
Видеть в зеркале себя.
И сплетенье всех в одно
Глубиной повторено.

Но, во имя глубины,
Мы страдаем, видя сны.
Все мы здесь, наоборот,
Повторяем небосвод.

Свет оттуда — здесь как тень,
День — как ночь, и ночь — как день.
Вечный творческий восторг
Этот мир, как крик, исторг.

Мир страданьем освящен.
Жги меня — и будь сожжен.
Нынче я, а завтра ты,
Всё во имя красоты.

⟨1901⟩

242. ГОЛОС ДЬЯВОЛА

Я ненавижу всех святых, —
Они заботятся мучительно
О жалких помыслах своих,
Себя спасают исключительно.

За душу страшно им свою,
Им страшны пропасти мечтания,
И ядовитую Змею
Они казнят без сострадания.

Мне ненавистен был бы Рай
Среди теней с улыбкой кроткою,
Где вечный праздник, вечный май
Идет размеренной походкою.

Я не хотел бы жить в Раю,
Казня находчивость змеиную.
От детских лет люблю Змею
И ей любуюсь, как картиною.

Я не хотел бы жить в Раю
Меж тупоумцев экстатических.
Я гибну, гибну — и пою,
Безумный демон снов лирических.

243. INCUBUS

Как стих сказителя народного
Из поседевшей старины,
Из отдаления холодного
Несет к нам стынущие сны, —

Так, темной полночью рожденные
Воззванья башенных часов,
Моей душою повторенные,
Встают, как говор голосов.

И льнут ко мне с мольбой и с ропотом:
«Мы жить хотим в уме твоем».
И возвещают тайным шепотом:
«Внимай, внимай, как мы поем.

Мы замираем, как проклятия,
Мы возрастаем, как прибой.
Раскрой безгрешные объятия —
Мы все обнимемся с тобой».

И я взглянул, и вдруг, нежданные,
Лучи луны, целуя мглу,
Легли, как саваны туманные,
Передо мною на полу.

И в каждом саване — видение,
Как нерожденная гроза,
И просят губы наслаждения,
И смотрят мертвые глаза.

Я жду, лежу, как труп, но слышащий.
И встала тень, волнуя тьму,
И этот призрак еле дышащий
Приникнул к сердцу моему.

Какая боль, какая страстная,
Как сладко мне ее продлить!

Как будто тянется неясная
Непрерываемая нить!

И тень всё ближе наклоняется,
Горит огонь зеленых глаз,
И каждый миг она меняется,
И мне желанней каждый раз.

Но снова башня дышит звуками,
И чей-то слышен тихий стон,
И я не знаю, чьими муками
И чьею грудью он рожден.

Я только знаю, только чувствую,
Не открывая сжатых глаз,
Что я как жертва соприсутствую,
И что окончен сладкий час.

И вот сейчас она развеется,
Моя отторгнутая тень,
И на губах ее виднеется
Воздушно-алый, алый день.

(1900)

244. ПОЖАР

Я шутя ее коснулся,
Не любя ее зажег.
Но, увидев яркий пламень,
Я — всегда мертвей, чем камень, —
Ужаснулся
И хотел бежать скорее —
И не мог.

Трепеща и цепенея,
Вырастал огонь, блестя,
Он дрожал, слегка свистя,
Он сверкал проворством змея,

Всё быстрей
Он являл передо мною лики сказочных зверей.
С дымом бьющимся мешаясь,
В содержаньи умножаясь,
Он, взметаясь, красовался надо мною и над ней.

Полный вспышек и теней,
Равномерно, неотступно
Рос губительный пожар.
Мне он был блестящей рамой,
В ней возник он жгучей драмой,
И преступно
Вместе с нею я светился в быстром блеске дымных чар.

245. AD INFINITUM[1]

В храме всё — как прежде было.
Слышен тихий взмах кадил.
«Я смеялся, я шутил.
Неужели ты любила?»

Дымен смутный трепет свеч,
На иконах свет заемный.
Каждый хочет в церкви темной
От свечи свечу зажечь.

В храме будет так, как было.
Слышен тихий звон кадил.
«А, неверный! Ты шутил.
Горе! Горе! Я любила».

⟨*1900*⟩

[1] До бесконечности (лат.). — *Ред.*

СОЗНАНИЕ

246

Я не могу понять, как можно ненавидеть
Остывшего к тебе, обидчика, врага.
Я радости не знал — сознательно обидеть,
Свобода ясности мне вечно дорога.

Я всех люблю равно любовью равнодушной,
Я весь душой с другим, когда он тут, со мной,
Но чуть он отойдет, как, светлый и воздушный,
Забвеньем я дышу — своею тишиной.

Когда тебя твой рок случайно сделал гневным,
О, смейся надо мной, приди, ударь меня:
Ты для моей души не станешь ежедневным,
Не сможешь затемнить — мне вспыхнувшего — дня.

Я всех люблю равно любовью безучастной,
Как слушают волну, как любят облака.
Но есть и для меня источник боли страстной,
Есть ненавистная и жгучая тоска.

Когда любя люблю, когда любовью болен,
И тот — другой — как вещь, берет всю жизнь мою,
Я ненависть в душе тогда сдержать не волен,
И хоть в душе своей, но я его убью.

247. ЗАГЛЯНУТЬ

Позабывшись,
Наклонившись,
И незримо для других,
Удивленно
Заглянуть,
Полусонно

Воздохнуть, —
Это путь
Для того, чтоб воссоздать
То, чего нам в этой жизни вплоть до смерти не видать.

248. ТЕРЦИНЫ

Когда художник пережил мечту,
В его душе слагаются картины,
И за чертой он создает черту.

Исчерпав жизнь свою до половины,
Поэт, скорбя о том, чего уж нет,
Невольно пишет стройные терцины.

В них чувствуешь непогасимый свет
Страстей перекипевших и отживших,
В них слышен ровный шаг прошедших лет.

Виденья дней, как будто бы не бывших,
Встают, как сказка, в зеркале мечты,
И слышен гул приливов отступивших.

А в небесах, в провалах пустоты,
Светло горят закатным блеском тучи —
Светлее, чем осенние листы.

Сознаньем смерти глянувшей могучи,
Звучат напевы пышных панихид,
Величественны, скорбны и певучи.

Все образы, что память нам хранит,
В одежде холодеющих весталок
Идут, идут, спокойные на вид.

Но, боже мой, как тот безумно-жалок,
Кто не узнает прежний аромат
В забытой сказке выцветших фиалок.

Последний стон. Дороги нет назад.
Кругом, везде, густеют властно тени.
Но тучи торжествующе горят.

Горят огнем переддремотной лени
И, завладев всем царством высоты,
Роняют свет на дольние ступени.

Я вас люблю, предсмертные цветы!

⟨1900⟩

249

Еще необходимо любить и убивать,
Еще необходимо накладывать печать,
Быть внешним и жестоким, быть нежным без конца
И всех манить волненьем красивого лица.

Еще необходимо. Ты видишь, почему:
Мы все стремимся к богу, мы тянемся к нему,
Но бог всегда уходит, всегда к себе маня,
И хочет тьмы — за светом, и после ночи — дня.

Всегда разнообразных, он хочет новых снов,
Хотя бы безобразных, мучительных миров,
Но только полных жизни, бросающих свой крик,
И гаснущих покорно, создавши новый миг.

И маятник всемирный, незримый для очей,
Ведет по лабиринту рассветов и ночей.
И сонмы звезд несутся по страшному пути.
И бог всегда уходит. И мы должны идти.

⟨1901⟩

250. ПРЕД ИТАЛЬЯНСКИМИ ПРИМИТИВАМИ

Как же должны быть наивно-надменны
Эти плененные верой своей!
Помнишь, они говорят: «Неизменны
Наши пути за пределами дней!»

Помнишь, они говорят: «До свиданья,
Брат во Христе! До свиданья — в раю!»
Я только знаю бездонность страданья,
Ждущего темную душу мою.

Помнишь? Луга, невысокие горы,
Низко над ними висят небеса,
Чистеньких рощиц мелькают узоры, —
Это, конечно, не наши леса.

Видишь тот край, где отсутствуют грозы?
Здесь пребывает святой Иероним, —
Льва исцелил он от острой занозы,
Сделал служителем верным своим.

Львы к ним являлись просить врачеванья!
Брат мой, как я, истомленный во мгле,
Где же достать нам с тобой упованья
    На измененной земле?

Весна 1900
Севилья

251. ФРА АНДЖЕ́ЛИКО

Если б эта детская душа
    Нашим грешным миром овладела,
    Мы совсем утратили бы тело,
Мы бы, точно тени, чуть дыша,
    Встали у небесного предела.

Там, вверху, сидел бы добрый бог,
    Здесь, внизу, послушными рядами,
    Призраки с пресветлыми чертами
Пели бы воздушную, как вздох,
    Песню бестелесными устами.

Вечно примиренные с судьбой,
    Чуждые навек заботам хмурным,
    Были бы мы озером лазурным
В бездне безмятежно-голубой,
    В царстве золотистом и безбурном.

Весна 1900
Севилья

252. РИБЕЙРА

Ты не был знаком с ароматом
Кругом расцветавших цветов.
Жестокий и мрачный анатом,
Ты жаждал разъятья основ.

Поняв убедительность муки,
Ее затаил ты в крови,
Любя искаженные руки,
Как любят лобзанья в любви.

Ты выразил ужас неволи —
И бросил в беззвездный предел
Кошмары исполненных боли,
Тобою разорванных тел.

Сказав нам, что ужасы пыток
В созданьях мечты хороши,
Ты ярко явил нам избыток
И бешенство мощной души.

И тьмою, как чарой, владея,
Ты мрак приобщил к красоте,
Ты — брат своего Прометея,
Который всегда в темноте.

Весна 1900
Севилья

253. ВЕЛАСКЕС

Вела́скес, Вела́скес, единственный гений,
Сумевший таинственным сделать простое,
Как властно над сонмом твоих сновидений
Безумствует солнце, всегда молодое!
С каким униженьем, и с болью, и в страхе,
Тобою — бессмертные, смотрят шуты,
Как странно белеют согбенные пряхи
В величьи рабочей своей красоты!

И этот Распятый, над всеми Христами
Вознесшиися телом утонченно-бледным,
И длинные копья, что встали рядами
Над бранным героем, смиренно-победным!
    И эти инфанты с Филиппом Четвертым,
    Так чувственно-ярким поэтом-царем, —
    Во всем этом блеске, для нас распростертом,
    Мы пыль золотую, как пчелы, берем!

Мы черпаем силу для наших созданий
В живом роднике, не иссякшем доныне,
И в силе рожденных тобой очертаний
Приветствуем пышный оазис в пустыне.
    Мы так и не знаем, какою же властью
    Ты был — и оазис и вместе мираж, —
    Судьбой ли, мечтой ли, умом или страстью
    Ты вечно — прошедший, грядущий и наш!

⟨1901⟩

254—255. *ВЕЛИКОЕ НИЧТО*

1

Моя душа — глухой всебожный храм,
Там дышат тени, смутно нарастая.
Отраднее всего моим мечтам
Прекрасные чудовища Китая.
Дракон — владыка солнца и весны,
Единорог — эмблема совершенства,
И феникс — образ царственной жены,
Слиянье власти, блеска и блаженства.
Люблю однообразную мечту
В созданиях художников Китая,
Застывшую, как иней, красоту,
Как иней снов, что искрится, не тая.
Симме́трия — их основной закон.
Они рисуют даль — как восхожденье,
И сладко мне, что страшный их дракон —
Не адский дух, а символ наслажденья.
А дивная утонченность тонов,
Дробящихся в различии согласном,

Проникновенье в таинство основ,
Лазурь в лазури, красное на красном!
А равнодушье к образу людей,
Пристрастье к разновидностям звериным,
Сплетенье в строгий узел всех страстей,
Огонь ума, скользящий по картинам!
Но более, чем это всё, у них
Люблю пробел лирического зноя.
Люблю постичь сквозь легкий нежный стих
Безбрежное отчаянье покоя.

2

К старинным манускриптам в поздний час
Почувствовав обычное призванье,
Я рылся между свитков — и как раз
Чванг-Санга прочитал повествованье.
Там смутный кто-то, — я не знаю кто, —
Ронял слова печали и забвенья:
«Бесчувственно Великое Ничто,
В нем я и ты — мелькаем на мгновенье.
Проходит ночь — и в роще дышит свет,
Две птички, тесно сжавшись, спали рядом,
Но с блеском дня той дружбы больше нет,
И каждая летит к своим усладам.
За тьмою — жизнь, за холодом — апрель,
И снова темный холод ожиданья.
Я разобью певучую свирель,
Иду на Запад, умерли мечтанья.
Бесчувственно Великое Ничто,
Земля и небо — свод немого храма.
Я тихо сплю, — я тот же и никто,
Моя душа — воздушность фимиама».

⟨Февраль 1900⟩

256

Верьте мне, обманутые люди,
Я, как вы, ходил по всем путям.
Наша жизнь есть чудо в вечном Чуде,
Наша жизнь — и здесь, и вечно там.

Я знаком с безмерностью страданий,
Я узнал, где правда, где обман.
Яркий ужас наших испытаний
Нам не для насмешки плоской дан.

Верьте мне, неверящие братья,
Вы меня поймете через день.
Нашей вольной жизни нет проклятья,
Мы избрали сами светотень.

Мы избрали Зло как путь познанья,
И законом сделали борьбу.
Уходя в тяжелое изгнанье,
Мы живем, чтоб кончить жизнь в гробу.

Но когда с застывшими чертами,
Мертвые, торжественно мы спим,
Он, Незримый, дышит рядом с нами,
И, молясь, беседуем мы с Ним.

И душе таинственно понятно
В этот миг беседы роковой,
Что в пути, пройдённом безвозвратно,
Рок ее был выбран ей самой.

Но, стремясь, греша, страдая, плача,
Дух наш вольный был всегда храним.
Жизнь была решенная задача,
Смерть пришла — как радость встречи с Ним.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ
Семицветник

Я ВСЕМУ МОЛЮСЬ.
Достоевский

1903

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ

Радость высших духов,
огненный рубин.
Бальмонт

257. ГИМН СОЛНЦУ

1

Жизни податель,
Светлый создатель,
Солнце, тебя я пою!
Пусть хоть несчастной
Сделай, но страстной,
Жаркой и властной
Душу мою!

Жизни податель,
Бог и создатель,
Страшный сжигающий свет!
Дай мне — на пире
Звуком быть в лире, —
Лучшего в мире
Счастия нет!

2

О, как, должно быть, было это утро
Единственно в величии своем,
Когда в рубинах, в неге перламутра
Зажглось ты первым творческим лучом.

Над хаосом, где каждая возможность
Предчувствовала первый свой расцвет,
Во всем была живая полносложность,
Всё было «Да», не возникало «Нет».

В ликующем и пьяном океане
Тьмы тем очей глубоких ты зажгло,
И не было нигде для счастья грани,
Любились все так жадно и светло.

Действительность была равна с мечтою,
И так же близь была светла, как даль.
Чтоб песни трепетали красотою,
Не надо было в них влагать печаль.

Всё было многолико и едино,
Всё нежило и чаровало взгляд,
Когда из перламутра и рубина
В то утро ты соткало свой наряд.

Потом, вспоив столетья, миллионы
Горячих, огнецветных, страстных дней,
Ты жизнь вело чрез выси и уклоны,
Но в каждый взор вливало блеск огней.

И много раз лик мира изменялся,
И много протекло могучих рек,
Но громко голос Солнца раздавался —
И песню крови слышал человек.

«О, дети Солнца, как они прекрасны!» —
Тот возглас перешел из уст в уста.
В те дни лобзанья вечно были страстны,
В лице красива каждая черта.

То в Мексике, где в таинствах жестоких
Цвели так страшно красные цветы,
То в Индии, где в душах светлооких
Сложился блеск ума и красоты, —

То там, где Апис, весь согретый кровью,
Склонив чело, на нем являл звезду,
И с ним любя бесстрашною любовью,
Лобзались люди в храмах, как в бреду, —

То между снов пластической Эллады,
Где Дионис царил и Аполлон, —
Везде ты лило блеск в людские взгляды,
И разум мира в солнце был влюблен.

Как не любить светило золотое,
Надежду запредельную Земли.
О вечное, высокое, святое,
Созвучью нежных строк моих внемли!

8

Я всё в тебе люблю. Ты нам даешь цветы —
Гвоздики алые, и губы роз, и маки,
Из безразличья темноты
Выводишь мир, томившийся во мраке,
В красивой цельности отдельной красоты,
И в слитном хаосе являются черты,
Во мгле, что пред тобой, вдруг дрогнув, подается,
Встают — они и мы, глядят — и я и ты,
Растет, поет, сверкает и смеется,
Ликует празднично всё то,
В чем луч горячей крови бьется,
Что ночью было как ничто.

Без Солнца были бы мы темными рабами,
Вне понимания, что есть лучистый день,
Но самоцветными камнями
Теперь мечты горят, — нам зримы свет и тень.

Без Солнца облака — тяжелые, густые,
Недвижно-мрачные, как тягостный утес,

Но только ты взойдешь — воздушно-золотые,
Они воздушней детских грез,
Нежней, чем мысли молодые.

Ты не взойдешь еще, а мир уже поет,
Над соснами гудит звенящий ветер мая,
И влагой синею поишь ты небосвод,
Всю мглу безбрежности лучами обнимая.

И вот твой яркий диск на небеса взошел,
Превыше вечных гор — горишь ты над богами,
И люди Солнце пьют, ты льешь вино струями,
Но страшно ты для глаз, привыкших видеть дол, —
На Солнце лишь глядит орел,
Когда летит над облаками.

Но, не глядя на лик, что ослепляет всех,
Мы чувствуем тебя в громах, в немой былинке,
Когда желанный нам услышим звонкий смех,
Когда увидим луч средь чащи, на тропинке.

Мы чувствуем тебя в реке полночных звезд
И в глыбах темных туч, разорванных грозою,
Когда меж них горит манящей полосою
Воздушный семицветный мост.

Тебя мы чувствуем во всем, в чем блеск алмазный,
В чем свет коралловый, жемчужный иль иной.
Без Солнца наша жизнь была б однообразной, —
Теперь же мы живем мечтою вечно-разной,
Но более всего ласкаешь ты — весной.

4

Свежей весной
Всеозаряющее,
Нас опьяняющее
Цветом, лучом, новизной,

Слабые стебли для жизни прямой укрепляющее,
Ты, пребывающее
С ним, неизвестным, с тобою, любовь, и со мной!

Ты теплое в радостно-грустном апреле,
Когда на заре
Играют свирели,
Горячее в летней поре,
В палящем июле,
Родящем зернистый и сочный прилив
В колосьях желтеющих нив,
Что в свете лучей утонули.
Ты жгучее в Африке; свет твой горит
Смертельно — в час полдня — вблизи пирамид
И в зыбях песчаных Сахары.
Ты страшное в нашей России лесной,
Когда, воспринявши палящий твой зной,
Рокочут лесные пожары.
Ты в отблесках мертвых — в пределах тех стран,
Где белою смертью одет океан,
Что люди зовут Ледовитым,
Где стелются версты и версты воды
И вечно звенят и ломаются льды,
Белея под ветром сердитым.
В Норвегии бледной — полночное ты;
Сияньем полярным глядишь с высоты,
Горишь в сочетаньях нежданных.
Ты тусклое там, где взрастают лишь мхи,
Цепляются в тундрах, глядят как грехи
В краях для тебя нежеланных.
Но Солнцу и в тундрах предельности нет,
Они получают зловещий твой свет,
И если есть черные страны,
Где люди в бреду и в виденьях весь год, —
Там день есть меж днями, когда небосвод
Миг правды дает за обманы.
И тот, кто томился весь год без лучей,
В миг правды — богаче избранников дней.

5

Я тебя воспеваю, о яркое, жаркое Солнце,
Но хоть знаю, что я и красиво и нежно пою,
И хоть струны поэта звончей золотого червонца,
Я не в силах исчерпать всю властность,
всю чару твою.

Если б я родился не певцом, истомленным тоскою,
Если б был я звенящей, блестящей, свободной
волной,
Я украсил бы берег жемчужиной — искрой морскою,
Но не знал бы я, сколько сокрыто их всех глубиной.

Если б я родился не стремящимся жадным поэтом,
Я расцвел бы, как ландыш, как белый влюбленный
цветок,
Но не знал бы я, сколько цветов раскрывается летом,
И душистые сны сосчитать я никак бы не мог.

Так, тебя воспевая, о счастье, о Солнце святое,
Я лишь частию слышу ликующий жизненный смех,
Всё люблю я в тебе, ты во всем и всегда — молодое,
Но сильнее всего то, что в жизни горишь ты —
для всех.

6

Люблю в тебе, что ты, согрев Франциска,
Воспевшего тебя, как я пою,
Ласкаешь тем же светом василиска,
Лелеешь нежных птичек и змею.

Меняешь бесконечно сочетанья
Людей, зверей, планет, ночей и дней,
И нас ведешь дорогами страданья,
Но нас ведешь к Бессмертию Огней.

Люблю, что тот же самый свет моручий,
Что нас ведет к немеркнущему Дню,
Струит дожди, порвавши сумрак тучи,
И приобщает нежных дев к огню.

Но если, озаряя и целуя,
Касаешься ты мыслей, губ и плеч,
В тебе всего сильнее то люблю я,
Что можешь ты своим сияньем — сжечь.

Ты явственно на стоны отвечаешь,
Что выбор есть меж сумраком и днем,
И ты невесту с пламенем венчаешь,
Когда в душе горишь своим огнем.

В тот яркий день, когда владыки Рима
В последний раз вступили в Карфаген,
Они на пире пламени и дыма
Разрушили оплот высоких стен.

Но гордая супруга Газдрубала
Наперекор победному врагу,
Взглянув на Солнце, про себя сказала:
«Еще теперь я победить могу!»

И окружив себя людьми, конями,
Как на престол, взошедши на костер,
Она слилась с блестящими огнями,
И был триумф — несбывшийся позор.

И вспыхнуло не то же ли сиянье
Для двух, чья страсть была сильней, чем мир, —
В любовниках, чьи жаркие лобзанья
Через века почувствовал Шекспир.

Пленительна, как солнечная сила,
Та Клеопатра, с пламенем в крови;
Пленителен пред этой Змейкой Нила
Антоний, сжегший ум в огне любви.

Полубогам великого Заката
Ты вспыхнуло в веках пурпурным днем,
Как нам теперь, закатностью богато,
Сияешь алым красочным огнем.

Ты их сожгло. Но в светлой мгле забвенья
Земле сказало: «Снова жизнь готовь!»
Над их могилой — легкий звон мгновенья,
Пылают маки красные, как кровь.

И как в великой грезе Македонца
Царил над всей землею ум один,
Так ты одно царишь над миром, Солнце,
О мировой закатный наш рубин!

И в этот час, когда я в нежном звоне
Слагаю песнь высокому Царю,
Ты жжешь костры в глубоком небосклоне,
И я светло, сжигая жизнь, горю!

7

О мироздатель,
Жизнеподатель,
Солнце, тебя я пою!
Ты в полногласной
Сказке прекрасной
Сделало страстной
Душу мою!

Жизни податель,
Бог и создатель,
Мудро сжигающий — свет!
Рад я на пире
Звуком быть в лире, —
Лучшего в мире
Счастия нет!

258. ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ

Что мне больше нравится в безднах мировых
И кого отметил я между всех живых?

Альбатроса, коршуна, тигра и коня,
Жаворонка, бабочку и цветы огня.

Альбатрос мне нравится тем, что он крылат,
Тем, что он врезается в грозовой раскат.

В коршуне мне нравится то, что он могуч
И как камень падает из высоких туч.

В тигре — то, что с яростью мягкость сочетал,
И не знал раскаянья, бога не видал.

И в других желанно мне то, что — их вполне!
Нравятся отдельностью все созданья мне.

Жаворонок — пением, быстротою — конь,
Бабочка — воздушностью, красотой — огонь.

Да, огонь красивее всех иных живых,
В искрах — ликование духов мировых.

И крылат и властен он, в быстроте могуч,
И поет дождями он из громóвых туч.

По земле он ластится, жаждет высоты,
В красные слагается страстные цветы.

Да, огонь красивее между всех живых,
В искрах — ликование духов мировых.

В пламени ликующем — самый яркий цвет.
В жизни — смерть, и в смерти — жизнь.
Всем живым — привет!

259. МОИ ЗВЕРИ

Мой зверь — не лев, излюбленный толпою, —
Мне кажется, что он лишь крупный пес.
Нет, желтый тигр, с бесшумною стопою,
Во мне рождает больше странных грез.

И символ Вакха, быстрый, сладострастный,
Как бы из стали, меткий леопард;
Он весь — как гений вымысла прекрасный,
Отец легенд, зверь-бог, колдун и бард.

Еще люблю я черную пантеру,
Когда она глядит перед собой
В какую-то внежизненную сферу,
Как страшный Сфинкс в пустыне голубой.

Но если от азийских, африканских
Святых пустынь мечту я оторву,
Средь наших дней — и плоских, и мещанских —
Моей желанной — кошку назову.

Она в себе, в изящной миньятюре,
Соединила этих трех зверей.
Есть искры у нее в лоснистой шкуре,
У ней в крови — бродячий хмель страстей.

Она проходит в комнатах бесшумно,
Всегда свою преследуя мечту,
Влюбляется внезапно и безумно,
И любит ведьм, и любит темноту.

В ее зрачках — непознанная чара,
В них — фосфор и круги нездешних сфер,
Она пленила страшного Эдгара,
Ей был пленен трагический Бодлер, —

Два гения, влюбленные в мечтанья,
Мои два брата в бездне мировой,
Где нам даны безмерные страданья
И беспредельность музыки живой.

260. ЖАР-ПТИЦА

То, что люди называли по наивности любовью,
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью,
Эту чудную Жар-птицу я в руках своих держу,
Как поймать ее — я знаю, но другим не расскажу.

Чтó другие, чтó мне люди! Пусть они идут по краю,
Я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю.
То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда,
Мне смеется там блаженство, где другим грозит беда.

День мой ярче дня земного, ночь моя — не ночь людская,
Мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая.
И меня поймут лишь души, что похожи на меня, —
Люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня!

261. ЗВЕЗДНЫЙ ХОРОВОД

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз,
И не любил — когда?

Как тот севильский Дон-Жуан,
Я — Вечный Жид, минутный муж.
Я знаю сказки многих стран
И тайну многих душ.

Мгновенья нежной красоты
Соткал я в звездный хоровод.
Но неисчерпанность мечты
Меня зовет — вперед.

Что было раз, то было раз,
Душе любить запрета нет.
Хочу я блеска новых глаз,
Непознанных планет.

Волненье сладостной тоски
Меня уносит вновь и вновь.
И я всегда гляжу в зрачки,
Чтоб в них читать — любовь.

262. ВОРОЖБА

В час полночный, в чаще леса, под ущербною луной,
Там, где лапчатые ели перемешаны с сосной,
Я задумал, что́ случится в близком будущем со мной.

Это было после жарких, после полных страсти дней,
Счастье сжег я, но не знал я, не зажгу ль
еще сильней,
Это было — это было в Ночь Ивановых Огней.

Я нашел в лесу поляну, где скликалось много сов,
Там для смелых были слышны звуки странных голосов,
Точно стоны убиенных, точно пленных к вольным зов.

Очертив кругом заветный охранительный узор,
Я развел на той поляне дымно-блещущий костер,
И взирал я, обращал я на огни упорный взор.

Красным ветром, желтым вихрем предо мной
возник огонь.
Чу! В лесу невнятный шепот, дальний топот, —
мчится конь.
Ведьма пламени, являйся, но меня в кругу не тронь!

Кто ж там скачет? Кто там плачет? Гулкий шум в лесу
сильней.
Кто там стонет? Кто хоронит память бывших
мертвых дней?
Ведьма пламени, явись мне в Ночь Ивановых Огней!

И в костре возникла ведьма, в ней и страх и красота,
Длинны волосы седые, но огнем горят уста,
Хоть седая — молодая, красной тканью обвита.

Странно мне знаком злорадный, жадный блеск зеленых
глаз.
Ты не в первый раз со мною, хоть и в первый —
так зажглась,
Хоть впервые так тебя я вижу в этот мертвый час.

Не с тобой ли я подумал, что любовь — бессмертный
рай?
Не тебе ли повторял я: «О, гори и не сгорай»?
Не с тобой ли сжег я утро, сжег свой полдень, сжег
свой май?

Не с тобою ли узнал я, как сознанье пьют уста,
Как душа в любви седеет, холодеет красота,
Как душа, что так любила, та же всё — и вот не та?

О, знаком мне твой влюбленный блеск зеленых жадных
глаз,
Жизнь любовью и враждою навсегда сковала нас.
Но скажи мне, что со мною будет в самый близкий час?

Ведьма пламени качнулась — и сильней блеснул костер,
Тени дружно заплясали, от костра идя в простор,
И змеиной красотою заиграл отливный взор.

И на пламя показала ведьма огненная мне;
Вдруг увидел я так ясно, — как бывает в вещем сне, —
Что возникли чьи-то лики в каждой красной головне.

Каждый лик — мечта былая, — то, что знал я, то, чем
был,
Каждый лик — сестра, с которой в брак святой —
душой — вступил,
Перед тем как я с проклятой обниматься полюбил.

Кровью каждая горела предо мною головня,
Догорела и истлела, почернела для меня,
Как безжизненное тело в пасти дымного огня.

Ведьма ярче разгорелась, та же всё — и вот не та,
Что-то вместе мы убили, как рубин — ее уста,
Как расплавленным рубином, красной тканью обвита.

Красным ветром, алым вихрем закрутилась над путем,
Искры с свистом уронила ослепительным дождем,
Обожгла, и опьянила, и исчезла... Что ж потом?

На глухой лесной поляне я один среди стволов,
Слышу вздохи, слышу ропот, звуки дальних голосов,
Точно шепот убиенных, точно пленных тихий зов.

Вот, что было, что узнал я, что случилося со мной —
Там, где лапы темных елей перемешаны с сосной,
В час полночный, в час зловещий, под ущербною луной.

(15 июля 1903)

ОЧЕРТАНИЯ СНОВ

Long lines of light...
Shelley[1]

263. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мне хочется снова дрожаний качели
В той липовой роще, в деревне родной,
Где утром фиалки во мгле голубели,
Где мысли робели так странно весной.

Мне хочется снова быть кротким и нежным,
Быть снова ребенком, хотя бы в другом,
Но только б упиться бездонным, безбрежным
В раю белоснежном, в раю голубом.

И если любил я безумные ласки,
Я к ним остываю — совсем, навсегда,
Мне нравится вечер, и детские глазки,
И тихие сказки, и снова звезда.

1903

[1] Длинные полосы света... *Шелли* (англ.). — *Ред.*

264. БЛАГОВЕЩЕНЬЕ В МОСКВЕ

Благовещенье и свет,
Вербы забелели.
Или точно горя нет,
Право, в самом деле?

Благовестие и смех,
Закраснели почки.
И на улицах — у всех
Синие цветочки.

Сколько синеньких цветков,
Отнятых у снега.
Снова мир и свеж и нов,
И повсюду — нега.

Вижу старую Москву
В молодом уборе.
Я смеюсь, и я живу —
Солнце в каждом взоре.

От старинного Кремля
Звон плывет волною.
А во рвах живет земля
Молодой травою.

В чуть пробившейся траве
Сон весны и лета.
Благовещенье в Москве —
Это праздник света!

265. Я НЕ ЗНАЮ МУДРОСТИ

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.

Не кляните, мудрые. Что́ вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

⟨*1902*⟩

266. КОРОМЫСЛО

Коромысло, коромысло
    С нежными крылами.
Как оно легко повисло
    В воздухе над нами.

Прилетает, улетает
    В ласковой лазури.
Для него она рождает
    Блески, а не бури.

Коромысло, коромысло,
    Почему мы пленны?
Если б знать, какие числа
    Для тебя священны.

Наши числа приковали
    Нас к земле угрюмой,
И в просторах вольной дали
    Мы скользим лишь думой.

Но и в думах мало смысла,
    Тяжесть в них земная.
Ты же грезишь, коромысло,
    В воздухе летая.

267. СНЕЖИНКА

Светло-пушистая
    Снежинка белая,
Какая чистая,
    Какая смелая!

Дорогой бурною
    Легко проносится,
Не в высь лазурную —
    На землю просится,

Лазурь чудесную
    Она покинула,
Себя в безвестную
    Страну низринула.

В лучах блистающих
    Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
    Сохранно-белая.

Под ветром веющим
    Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
    Светло качается.

Его качелями
    Она утешена,
С его мятелями
    Крутится бешено.

Но вот кончается
    Дорога дальняя,
Земли касается
    Звезда кристальная.

Лежит пушистая
    Снежинка смелая.
Какая чистая,
    Какая белая!

268. ЗОЛОТАЯ РЫБКА

В замке был веселый бал,
    Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
    Легкие качели.

В замке, в сладостном бреду,
Пела, пела скрипка.
А в саду была в пруду
Золотая рыбка.

И кружились под луной,
Точно вырезные,
Опьяненные весной
Бабочки ночные.

Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы гибко.
И мелькала там в пруду
Золотая рыбка.

Хоть не видели ее
Музыканты бала,
Но от рыбки, от нее,
Музыка звучала.

Чуть настанет тишина,
Золотая рыбка
Промелькнет — и вновь видна
Меж гостей улыбка.

Снова скрипка зазвучит,
Песня раздается.
И в сердцах любовь журчит
И весна смеется.

Взор ко взору шепчет «Жду!»
Так светло и зыбко.
Оттого что там в пруду —
Золотая рыбка.

МГНОВЕНЬЯ СЛИЯНИЯ

And was not this enough?
They met, they parted.

Shelley[1]

269. ИЗ ЦИКЛА «ЖЕМЧУГ»

Нежный жемчуг, Маргарита, —
Как поют в испанских песнях, —
Пели ангелы на небе
В день рожденья твоего.

Пели ангелы и птицы,
И цвели в садах гвоздики,
Распускались, раскрывались
В блеске солнца чаши роз.

Оттого лицом красивым
Ты на ангелов похожа,
И уста твои — гвоздики,
Нежный голос — пенье птиц.

И мечтанья — светлый жемчуг,
Оттененный розой алой,
И глаза твои — как небо,
Где бездонна глубина.

270. К ЕЛЕНЕ

О Елена, Елена, Елена,
Как виденье, явись мне скорей.
Ты бледна и прекрасна, как пена
Озаренных луною морей.

---

[1] И разве этого было недостаточно? Они встретились, они расстались. *Шелли* (англ.). — *Ред.*

Ты мечтою открыта для света,
Ты душою открыта для тьмы.
Ты навеки свободное лето,
Никогда не узнаешь зимы.

Ты для мрака открыта душою,
Но во тьме ты мерцаешь, как свет.
И, прозрев, я навеки с тобою,
Я — твой раб, я — твой брат — и поэт.

Ты сумела сказать мне без речи:
С красотою красиво живи,
Полюби эту грудь, эти плечи,
Но, любя, полюби без любви.

Ты сумела сказать мне без слова:
Я свободна, я вечно одна,
Как роптание моря ночного,
Как на небе вечернем луна.

Ты правдива, хотя ты измена,
Ты и смерть, ты и жизнь кораблей.
О Елена, Елена, Елена,
Ты красивая пена морей.

271. ПЕСНЯ АРАБА

Есть странная песня араба, чье имя — ничто.
Мне сладко, что этот поэт меж людей неизвестен.
Не каждый из нас так правдив, и спокоен,
и честен,
Нам хочется жить — ну хоть тысячу лет, ну хоть
сто.

А он, сладкозвучный, одну только песню пропел
И, выразив тайно свою одинокую душу,
Как вал океана, домчался на бледную сушу —
И умер, как пена, в иной удаляясь предел.

Он пел: «Я любил красоту. А любила ль она,
О том никогда я не знал, никогда не узнаю.
За первою встречей к иному умчался я краю, —
Так небо хотело и так повелела луна.

Прекрасная дева на лютне играла, как дух,
Прекрасная дева смотрела глазами газели.
Ни слова друг другу мы с нею сказать не успели,
Но слышало сердце, как был зачарован мой слух.

И взгляд мой унес отраженье блистающих глаз.
Я прожил пять лет близ мечетей Валата-Могита.
Но сердцем владычица дум не была позабыта.
И волей созвездий второй мы увиделись раз.

Я встретил другую. Я должен спросить был тогда,
Она ли вот эта. Всё ж сердце — ее разглядело.
И счастлив я был бы, когда бы она захотела.
Но, слова не молвив, она отошла навсегда.

Мне не в чем ее упрекнуть. Мы не встретимся вновь.
Но мне никогда обещанья она не давала.
Она не лгала мне. Так разве же это так мало?
Я счастлив. Я счастлив. Я знал, что такое любовь!»

272. ИЗ ЦИКЛА «РАЗЛУЧЕННЫЕ»

Прозвенит ли вдали колокольчик,
Колокольчик, во мгле убегающий, —
Догорает ли месяц за тучкой,
Там за тучкой, бледнеющей, тающей, —

Наклонюсь ли я, полный печали,
О, печали глубоко-мучительной! —
Над водой, над рекой безглагольной,
Безглагольной, безгласной, томительной, —

Предо мною встаешь ты, родная,
Ты, родная и в сердце хранимая, —
Вдруг я вижу, что ты не забыта,
Позабытая, горько-любимая.

273. МАСКИРОВАННЫЙ БАЛ

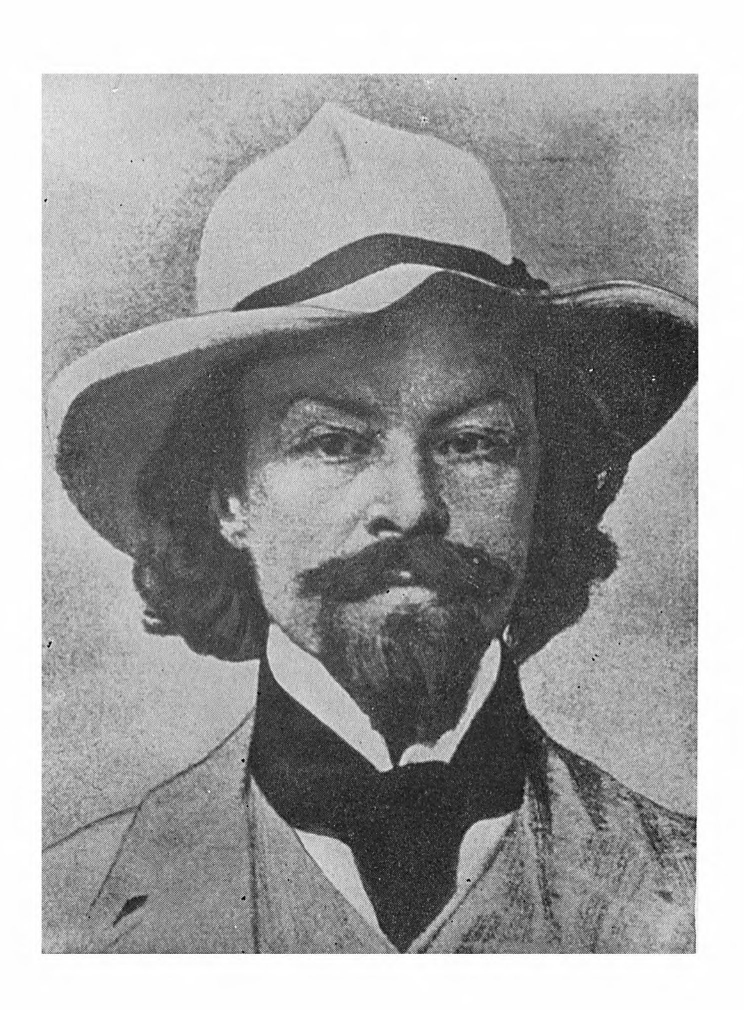
No vivas en flor.[1]
Испанская поговорка

О цветы красоты! Вы с какой высоты?
В вас — неясная страстная чара.
Пышный зал заблистал — и ликуют мечты,
И воздушная кружится пара.
«Не живи как цветок. Он живет краткий срок,
От утра и до вечера только.
Так прожить — много ль жить? Жизнь его — лишь намек,
О красивая нежная полька!»

«Лишь намек? — говоришь. Но и сам ты горишь,
Закружил ты свой бешеный танец.
Ты минуту живешь, и ты ложь мне твердишь,
На минуту влюбленный испанец.
Я живу как цветок, я — дневной мотылек,
Я красивая нежная полька.
Я хоть час, но живу, и глубок мой намек,
Ты мгновение кружишься только!»

«Чтó мгновенье и час для тебя и для нас, —
Раз цветок, для чего ж ты считаешь?
Ты цвети и гори. Если ж вечер погас,
Говори, что, как тучка, растаешь.
О, живи как цветок! Мне отдай свой намек.
Мы продлим наш ликующий танец.
Не ропщи, трепещи, золотой мотылек:
Я — безумно влюбленный испанец!»

[1] Не живи как цветок (исп.). — *Ред.*




К. Бальмонтъ
ЖАРЪ-ПТИЦА
СВИРѢЛЬ СЛАВЯНИНА

ПРОКЛЯТИЯ

Love that turns hate...
Shelley[1]

274

Он был из тех, на ком лежит печать
Непогасимо-яркого страданья,
Кто должен проклинать или молчать,
Когда звучат аккорды мирозданья.

Средь ликов, где прозрачен каждый взгляд,
Средь ангелов, поющих светлым хором
И вторящих свой вечный «Свят, свят, свят», —
Он вспыхнул бы и гневом и укором.

Нет, в нем сверкал иной зловещий свет,
Как факел он горел на мрачном пире:
Где есть печаль, где стон, там правды нет,
Хотя бы красота дышала в мире.

«Ответа — сердцу, сердцу моему!» —
Молил он, задыхаясь от страданья,
И демоны являлися к нему,
Чтоб говорить о тайнах мирозданья.

Он проклял мир и, вечно одинок,
Замкнул в душе глубокие печали,
Но в песнях он их выразить не мог,
Хоть песни победительно звучали.

И полюбил он в мире только то,
Что замерло в отчаяньи молчанья:
Вершины гор, где не дышал никто,
Безбрежность волшебства их без названья;

Ночных светил неговорящий свет
И между них, с их правильным узором,
Падение стремительных комет,
Провал ночей, пронзенный метеором, —

---

[1] Любовь оборачивается ненавистью... *Шелли* (англ.). — *Ред.*

Всё то, что, молча выносив свой гнет,
Внезапной бурей грянет в миг единый,
Как чистый снег заоблачных высот
Стремится вниз — губительной лавиной.

275. ДАЛЕКИМ БЛИЗКИМ

Мне чужды ваши рассуждения:
«Христос», «Антихрист», «Дьявол», «Бог».
Я — нежный иней охлаждения,
Я — ветерка чуть слышный вздох.

Мне чужды ваши восклицания:
«Полюбим тьму», «Возлюбим грех».
Я причиняю всем терзания,
Но светел мой свободный смех.

Вы так жестоки — помышлением,
Вы так свирепы — на словах.
Я должен быть стихийным гением.
Я весь в себе — восторг и страх.

Вы разделяете, сливаете,
Не доходя до бытия.
Но никогда вы не узнаете,
Как безраздельно целен я.

276. СТАРАЯ ПЕСЕНКА

— Mamma, mamma! perchè lo dicesti?
— Figlia, figlia! perchè lo facesti? [1]

Из неумирающих разговоров

Жили в мире дочь и мать.
«Где бы денег нам достать?»
Говорила это дочь.
А сама — темней, чем ночь.

---

[1] — Мама, мама! Зачем ты это сказала?
— Дочка, дочка! Зачем ты это сделала? (итал.). — *Ред.*

«Будь теперь я молода,
Не спросила б я тогда.
Я б сумела их достать...»
Говорила это — мать.

Так промолвила со зла.
На минуту отошла.
Но на целый вечер прочь,
Прочь ушла куда-то дочь.

«Дочка, дочка, — боже мой! —
Что́ ты делаешь со мной?»
Испугалась, плачет мать.
Долго будет дочку ждать.

Много времени прошло.
Быстро в мире ходит Зло.
Мать обмолвилась со зла.
Дочь ей денег принесла.

Помертвела, смотрит мать.
«Хочешь деньги сосчитать?»
— «Дочка, дочка, — боже мой! —
Что ты сделала с собой?»

«Ты сказала — я пошла».
— «Я обмолвилась со зла».
— «Ты обмолвилась, — а я
Оступилась, мать моя».

277. ТАК СКОРО

Так скоро ты сказала:
«Нет больше сил моих».
Мой милый друг, так мало?
Я только начал стих.

Мой стих, всегда победный,
Желает красоты.
О друг мой, друг мой бедный,
Не отстрадала ты.

Еще я буду в пытке
Терзаться и терзать.
Я должен в длинном свитке
Легенду рассказать.

Легенду яркой были
О том, что я — любовь,
О том, как мы любили,
Как любим вновь и вновь.

И вот твоих мучений
Хочу я, как моих.
Я жажду песнопений,
Я только начал стих.

278. ДОВОЛЬНО

Я был вам звенящей струной,
Я был вам цветущей весной,
Но вы не хотели цветов,
И вы не расслышали слов.

Я был вам призывом к борьбе,
Для вас я забыл о себе,
Но вы, не увидев огня,
Оставили молча меня.

Когда ж вы порвали струну,
Когда растоптали весну,
Вы мне говорите, что вот
Он звонко, он нежно поет.

Но если еще я пою,
Я помню лишь душу мою,
Для вас же давно я погас,
Довольно, довольно мне вас.

Январь 1903

БЕЗРАДОСТНОСТЬ

Come, darkness!
Shelley[1]

279. БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ

Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора, —
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомленье — глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада, —
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

⟨1900⟩

280. ПОДНЕВОЛЬНОСТЬ

Когда я думаю, что рядом,
Вот здесь, кругом, передо мной,
Безмерным преданы отрадам,
Ликуют духи, мир иной, —

---

[1] Приди, тьма! *Шелли* (англ.). — *Ред.*

В той комнате, где дни и ночи,
Как каторжник, забыв про сон,
Так бьюсь я, не смыкая очи,
Всё бьюсь, к работе присужден, —

Когда я думаю, что годы,
С печальной бледностью лица,
В окно всё тот же лик природы
Я буду видеть без конца, —

И сердцем, более не юным,
Я буду, догорая, тлеть,
Внимать мятелям и бурунам,
Слабеть, седеть и холодеть, —

Вдруг сам себе тогда я страшен,
Я содрогаюсь, как в бреду,
Как будто я с высоких башен
Вот-вот на землю упаду.

А между тем так близко, рядом,
Но не слиянные со мной,
Безбрежным преданы усладам,
Сплетают духи мир иной.

281. ТИШЕ, ТИШЕ

Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет.
У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды,
И слагатель вещих песен был поэт и есть поэт.

Победитель благородный с побежденным будет ровен,
С ним заносчив только низкий, с ним жесток
один дикарь.
Будь в раскате бранных кликов ясновзорен,
хладнокровен,
И тогда тебе скажу я, что в тебе мудрец — и царь.

Дети Солнца, не забудьте голос меркнущего брата,
Я люблю в вас ваше утро, вашу смелость и мечты,
Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката, —
В первый миг и в миг последний будьте, будьте
как цветы.

Расцветайте, отцветайте, многоцветно, полновластно,
Раскрывайте всё богатство ваших скрытых юных сил,
Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь,
прекрасна,
И что царственно величье холодеющих могил.

282. БОЛОТО

Прерывистые строки

Miles and miles and miles of desolation,
Leagues on leagues on leagues without
a change.

Swinburne [1]

На версты и версты протянулось болото,
Поросшее зеленой обманною травой.
Каждый миг в нем шепчет, словно плачет, кто-то,
Как будто безнадежно тоскует над собой.

На версты и версты шелестящая осока,
Незабудки, кувшинки, кувшинки, камыши.
Болото раскинулось властно и широко,
Шепчутся стебли в изумрудной тиши.

На самом зеленом изумрудном месте
Кто-то когда-то погиб навсегда.
Шел жених влюбленный к любящей невесте, —
Болото заманило, в болоте нет следа.

И многих манит к обманным изумрудам,
Каждому хочется над бездонностью побыть.
Каждый, утомившись, ярко грезит чудом,
И только тот живет, кто может всё забыть.

---

[1] Мили и мили и мили запустения, льё за льё — без перемен. *Суинберн* (англ.). — *Ред.*

О, как грустно шепчут камыши без счета,
Шелестящими, шуршащими стеблями говорят.
Болото, болото, ты мне нравишься, болото,
Я верю, что божественен предсмертный взгляд.

283. СТАРЫЙ ДОМ

Прерывистые строки

В старинном доме есть высокий зал,
Ночью в нем слышатся тихие шаги,
В полночь оживает в нем глубина зеркал —
И из них выходят друзья и враги.

Бойтесь безмолвных людей,
Бойтесь старых домов,
Страшитесь мучительной власти
не ска́занных слов,
Живите, живите — мне страшно —
живите скорей.

Кто в мертвую глубь враждебных зеркал
Когда-то бросил безответный взгляд,
Тот зеркалом скован, — и высокий зал
Населен тенями, и люстры в нем горят.

Канделябры тяжелые свет свой льют,
Безжизненно тянутся отсветы свечей,
И в зал, в этот страшный призрачный приют,
Привиденья выходят из зеркальных зыбей.

Есть что-то змеиное в движении том,
И музыкой змеиною вальс поет,
Шорохи, шелесты, шаги... О старый дом,
Кто в тебя дневной, не полночный свет прольет?

Кто в тебе тяжелые двери распахнет?
Кто воскресит нерассказанность мечты?
Кто снимет с нас этот мучительный гнет?
Мы — только отражения зеркальной пустоты?

Мы кружимся бешено один лишь час,
Мы носимся с бешенством скорее и скорей,
Дробятся мгновения и гонят нас,
Нет выхода, и нет привидениям дверей.

Мы только сплетаемся в пляске на миг,
Мы кружимся, не чувствуя за окнами луны,
Пред каждым и с каждым — его же двойник,
И вновь мы возвращаемся в зеркальность глубины.

Мы, мертвые, уходим незримо туда,
Где будто бы всё ясно и холодно-светло,
Нам нет возрожденья, не будет никогда,
Что сказано — о́тжито, не сказано — прошло.

Бойтесь старых домов,
Бойтесь тайных их чар,
Дом тем более жаден, чем он более стар,
И чем старше душа, тем в ней больше
задавленных слов.

284. У МОРЯ НОЧЬЮ

У моря ночью, у моря ночью
Темно и страшно. Хрустит песок.
О, как мне больно у моря ночью.
Есть где-то счастье. Но путь далек.

Я вижу звезды. Одна мне светит
Других светлее и всех нежней.
Но если сердце ее отметит, —
Она далёко, не быть мне с ней.

Я умираю у моря ночью,
Песок затянет, зальет волна.
У моря ночью, у моря ночью
Меня полюбит лишь Смерть одна.

285. МЕЖ ПОДВОДНЫХ СТЕБЛЕЙ

Хорошо меж подводных стеблей.
Бледный свет. Тишина. Глубина.
Мы заметим лишь тень кораблей,
И до нас не доходит волна.

Неподвижные стебли глядят,
Неподвижные стебли растут.
Как спокоен зеленый их взгляд,
Как они бестревожно цветут.

Безглагольно глубокое дно,
Без шуршанья морская трава.
Мы любили, когда-то, давно,
Мы забыли земные слова.

Самоцветные камни. Песок.
Молчаливые призраки рыб.
Мир страстей и страданий далек.
Хорошо, что я в море погиб.

ПРИБЛИЖЕНИЯ

I change, but I cannot die.
Shelley[1]

286. ПОХВАЛА УМУ

Безумие и разум равноценны,
Как равноценны в мире свет и тьма.
В них — два пути, пока мы в мире пленны,
Пока замкнуты наши терема.

И потому мне кажется желанной
Различность и причудливость умов.
Ум áнглийский — и светлый и туманный,
Как море вкруг несчетных островов.

[1] Я меняюсь, но я не могу умереть. *Шелли* (англ.). — *Ред.*

Бесстыдный ум француза, ум немецкий —
Строительный, тяжелый и тупой,
Ум русский — исступленно-молодецкий,
Ум скандинавский — вещий и слепой.

Испанский ум, как будто весь багряный,
Горячий, как роскошный цвет гвоздик,
Ум итальянский — сладкий, как обманы,
Утонченный, как у мадонны лик.

Как меч, как властный голос — ум латинский,
Ум эллинский — язык полубогов,
Индийский ум, кошмарно-исполинский, —
Свод радуги, богатство всех тонов.

Я вижу: волны мира многопенны,
Я здесь стою на звонком берегу,
И кто б ты ни был, Дух, пред кем мы пленны,
Привет мой всем — и брату и врагу.

287. ВОЗДУШНАЯ ДОРОГА

Памяти Владимира Сергеевича Соловьева

Недалека воздушная дорога, —
Как нам сказал единый из певцов,
Отшельник скромный, обожатель бога,
Поэт-монах Владимир Соловьев.

Везде идут незримые теченья,
Они вкруг нас, они в тебе, во мне.
Всё в мире полно скрытого значенья,
Мы на земле — как бы в чужой стране.

Мы говорим. Но мы не понимаем
Всех пропастей людского языка.
Морей мечты, дворцов души не знаем,
Но в нас проходит звездная река.

Ты подарил мне свой привет когда-то,
Поэт-отшельник с кроткою душой.

И ты ушел отсюда без возврата,
Но мир земли — для неба не чужой.

Ты шествуешь теперь в долинах бога,
О дух, приявший светлую печать.
Но так близка воздушная дорога,
Вот вижу взор твой — я с тобой — опять.

ЛИТУРГИЯ КРАСОТЫ

Стихийные гимны

ВСЯ ЗЕМЛЯ — МОЯ, И МНЕ ДАНО ПРОЙТИ ПО НЕЙ.

Аполлоний Тианский

1905

ПРАЗДНИК СЕРДЦА

Cada mañana hallarás, alma mia, á la puerta de tu casa á todo el universo.

Diego de Estella

Каждое утро, душа, ты найдешь у двери своего дома весь мир.

Диэго де Эстелья

288. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

Я знаю, что Брама умнее, чем все бесконечно-имянные боги.
Но Брама — индиец, а я — славянин. Совпадают ли наши дороги?
О, Брама — индиец, а я — скандинав, а я — мексиканец жестокий,
Я — эллин влюбленный, я — вольный араб, я — жадный, безумный, стоокий.

Я — жадный, и жить я хочу без конца, не могу я насытиться лаской.
Не разум люблю я, а сердце свое, я пленен многозвучною сказкой.

Все краски люблю я, и свет белизны не есть для меня
завершенье.
Люблю я и самые темные сны, и алый цветок
преступленья.

Оранжевый, желтый и красный огонь мне желанен, как
взор темносиний.
Не знаю, что́ лучше: снега ли вершин, или вихри над
желтой пустыней.
И стебель зеленый с душистым цветком — прекрасен,
прекрасна минута.
Не странно ли было б цветку объявить, что он только
средство к чему-то.

И если ты викинга счастья лишишь — в самом сердце
Валгаллы рубиться,
Он скажет, что небо беднее земли, из Валгаллы он прочь
удалится.
И если певцу из славянской страны ты скажешь, что ум
есть мерило,
Со смехом он молвит, что сладко вино и песни во славу
Ярила.

⟨1904⟩

289. К СЛАВЯНАМ

Славяне, вам светлая слава —
За то, что вы сердцем открыты,
Веселым младенчеством нрава
С природой весеннею слиты.

К любому легко подойдете,
С любым вы смеетесь как с братом,
И всё, что чужого возьмете,
Вы топите в море богатом.

Враждуя с врагом поневоле,
Сейчас помириться готовы,
Но если на бранном вы поле —
Вы тверды и молча суровы.

И снова мечтой расцвечаясь,
Вы — где-то, забывши об узком,

И светят созвездья, качаясь,
В сознании польском и русском.

Звеня, разбиваются цепи,
Шумит, зеленея, дубрава,
Славянские души — как степи,
Славяне, вам светлая слава!

290. ВЕСНА

Вот и белые березы,
Развернув свои листы,
Под дождем роняют слезы
Освеженной красоты.

Дождь идет, а солнце светит,
Травы нежные блестят, —
Эту нежность их заметит
И запомнит зоркий взгляд.

Видя радость единенья
Солнца, влаги и стеблей,
Дух твой будет — как растенье,
Взор засветится светлей.

И войдет в твои мечтанья
Свежесть пышной новизны.
Это — счастие, свиданье,
Праздник солнца и весны!

⟨1903⟩

291. ТАЛИСМАН

Знать, хотеть, сметь и молчать.
El. Ktab

Знать, хотеть, молчать и сметь — завещал араб.
Знай, молчи, желай и смей, если ты не слаб.

Если ж слаб, я говорю вовсе не с тобой,
Уходи, не прерывай сон мой голубой.

Сон мой алый, золотой, сон мой — всех тонов,
Чьей усладой каждый миг так цветисто-нов.

Вижу утро, вижу сад, каждый лепесток,
Розы губ, воздушный цвет белых рук и ног.

Розы губ и губы роз, нежные как стих,
Опьяняющий намек раковин немых.

Звон струны, сплетенья струн, звонкий водоем,
Тело к телу, взор во взор, — сладко быть вдвоем.

Раз ты властен, чтоб другой дрогнул, побледнев,
Знай, что вложен в разум твой вкрадчивый напев.

Раз хотеть умеешь ты, научись молчать,
Взор безгласный — для души — прочная печать.

Раз цветок к тебе глядит, ласки ждет твоей,
Наклонись к нему нежней, смелым быть умей.

Но, любя, не торопи розовой зари,
Дай раскрыться лепесткам, медленно гори.

Из познавших новый день мудрым будет тот,
Кто увидит — мрака в свет полный переход.

Венчик нежный обожай, о, счастливец ты:
Видишь, дышат пред тобой яркие цветы.

Сада пышного теперь стал ты властелин,
Где пьянеют гроздья роз, мускус и жасмин.

Знать, хотеть, молчать и сметь — радостный завет,
Этот светлый талисман дал нам Магомет.

Помни, сам Пророк сказал, бросив луч в мечты:
«В этом мире я люблю — женщин и цветы».

КРУЖЕВНЫЕ УЗОРЫ

Ipsa jussit mane totae virgines
nubant rosae.

Pervigilium Veneris

Воля Венеры — чтоб утром
венчались все девушки с розами.

Латинский стих

292. ГРЕЗА

Мне грустно, поэт. Ты пойми: не весталка я,
И нет: не русалка я, лунно-холодная.
Я — только любовница, бледная, жалкая,
Я — греза поэта, я — в мире безродная.

Меня ты поманишь, капризный, но вкрадчивый, —
Я тотчас к тебе из-за моря спешу,
Стараюсь быть кроткой, послушной, угадчивой,
Тобою одним и свечусь и дышу.

Глазами в глаза проникаю бездонные,
Любви ты захочешь — целую тебя,
Как жемчуг, сплетаю созвучья влюбленные,
Устанешь — страдаю и таю, любя.

Захочешь — с тобой я, захочешь — далёко я,
Всё, всё, что ты хочешь, тебе отдаю,
Но только с тобой — я всегда одинокая,
И я без тебя — одиноко пою.

Ты нежен, поэт, ты с душою воздушною,
Но нет мне слияния даже с тобой,
Понять ты не можешь подругу послушную,
Хоть часто даришь мне венок голубой.

Ты всё ж, хоть поэт, устаешь от мечтания,
Сливаешься с жизнью людскою — изношенной.
И нет мне слияния, вечно — изгнание,
Я — греза, я — призрак любовницы брошенной.

293. ЖАЛОБА ДЕВУШКИ

О, люди жалко-скудные, о, глупые затейники,
Зачем свои мечтания в слова вложили вы?
Вы ходите, вы бродите, по селам коробейники,
Но все людские вымыслы поблеклы и мертвы.

Словами захватали вы все радости желанные,
Всё тайное лишили вы светло́-заветных чар.
И травы грубо топчете, и бродите, обманные,
И, сгорбленные, носите непрошеный товар.

Торгуете, торгуетесь, назойливо болтаете,
Ступая, убиваете безмолвные цветы.
И всё, что в мысли просится, на деньги вы считаете,
И в сердце оставляете проклятье пустоты.

О, скупщики корыстные, глядельщики бесстыдные,
Оставьте нас, — ужели же вам мало городов?
Луга мои, мечты мои — неслышные, невидные, —
Найду ли для любви моей нетронутых цветов!

294—295. *ОСЕНЬ*

1

Белесоватое небо, слепое, и ветер тоскливый,
Шелесты листьев увядших, поблекших в мелькании дней,
Шорох листвы помертвевшей, и трепет ее торопливый,
Полное скорби качанье далеких высоких стеблей.

Степь за оградою сада, просторы полей опустелых,
Сонные мертвые воды затянутой мглою реки,
Сказочность облачных далей, безмолвных, печальных
и белых,
Шелесты листьев увядших, их вздохи, и лепет тоски.

Смутная тайна мгновений, которые вечно стремятся,
Падают с призрачным звоном по склонам скалистых
времен,
Осени саван сплетают и траурной тканью ложатся,
Зимний готовят холодный, томительный, длительный сон.

2

На кладбище старом, пустынном, где я схоронил
все надежды,
Где их до меня схоронили мой дед, мой отец, мой брат,
Я стоял под луной — и далёко серебрились, белели
одежды:
Это вышли из гроба надежды, чтобы бросить последний
свой взгляд.

На кладбище старом, пустынном качались высокие
травы,
Немые, густые, седые — и сердце дрожало в ответ.
О, надежды, надежды, надежды, неужели мертвы
навсегда вы?
Неужели теперь вы мне шлете замогильный, прощальный
привет?

На кладбище старом, пустынном, — услышал ответ я
безмолвный, —
Ты сам схоронил нас глубоко, ты сам закопал нас навек.
Мы любили тебя, мы дышали, мы скользили, как легкие
волны,
Но твое охладевшее сердце отошло от сияющих рек.

На кладбище старом, пустынном, в безвременье ночи
осенней,
За нами приходишь ты поздно, отсюда закрыта стезя.
Посмотри: всё короче минуты, посмотри: всё мгновенней,
мгновенней
В истечении времени брызги, — и продлить нам свиданье
нельзя.

На кладбище старом, пустынном, с сознанием, полным
отравы,
Под мертвой луною — сияньем, как саваном, был я одет.
И мгновенья ниспали в столетья, и качались высокие
травы,
И отчаянье бледно струило свой холодный безжизненный
свет.

(1905)

296. В БЕЛОМ

Я сидел с тобою рядом,
 Ты была вся в белом.
Я тебя касался взглядом
 Жадным, но несмелым.

Я хотел в твой ум проникнуть
 Грезой поцелуя.
Я хотел безгласно крикнуть,
 Что тебя люблю я.

Но кругом сидели люди,
 Глупо говорили.
Я застыл в жестоком чуде,
 Точно был в могиле.

Точно был в гробу стеклянном,
 Где-то там — другие.
Я — с своим виденьем странным —
 В сказке летаргии.

И твои глаза горели
 В непостижной дали.
Но мои сказать не смели,
 Почему мерцали.

Ты — невеста, ты — чужая,
 Ты и он — мечтанья.
Но застыл я, твердо зная,
 Что любовь — страданье.

Вижу, вижу, как другого
 Счастье ослепило.
Я утратил силу слова,
 Но сильна могила.

Кто узнал с другим слиянье,
 Тем не возродиться.
Я застыл, как изваянье,
 Знаю: нам не слиться.

Смерть свои соткала сети,
Смерть непобедима.
Если есть любовь на свете,
Ты лишь мной любима!

Январь 1904

ЧЕРНАЯ ОПРАВА

Die Hochzeit kam für Licht und Finsterniss.

Nietzsche

Свадьба настала для Света и Тьмы.

Ницше

297. ТЕНЬ ОТ ДЫМА

Мое несчастье несравнимо
Ни с чьим. О, подлинно! Ни с чьим.
Другие — дым, я — тень от дыма,
Я всем завидую, кто — дым.

Они горели, догорели
И, всё отдавши ярким снам,
Спешат к назначенной им цели,
Стремятся к синим небесам.

Великим схвачены законом,
Покорно тают в светлой мгле.
А я, как змей, ползу по склонам,
Я опрокинут на земле.

И я хотел бы на вершины
Хоть бледным призраком дойти, —
Они — для всех, они едины,
Но я цепляюсь по пути.

Увы, я сам себя не знаю,
И от себя того я жду,
Что преградит дорогу к раю,
Куда так зыбко я иду.

(1904)

298. ЖЕЛЕЗНЫЙ ШАР

Не говори мне: Шар Земной, скажи точнее: Шар
Железный —
И я навеки излечусь от боли сердца бесполезной.
Да, Шар Железный с круговым колодцем скрытого огня
И легким слоем верховым земли с полями ячменя.

С полями ржи, с лугами трав, с зелеными коврами
леса,
С громадой гор, где между скал недвижных туч висит
завеса,
И с этой плесенью людской, где ярче всех — кто всех
старей,
Кто мозг свой жадный расцветил на счет умов других
людей.

Я только должен твердо знать, что жёсток этот Шар
Железный.
И пусть, и пусть. Зачем же грусть? Мы с ним летим
воздушной бездной.
Зачем же мягким буду я в железный, в жесткий этот
век?
Я меч беру — и я плыву — до устья пышных — пышных
рек.

⟨1904⟩

299. ЧЕЛОВЕЧКИ

Человечек современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин,
Весь трусливый, весь двуличный, косодушный,
щепетильный,
Вся душа его, душонка — точно из морщин.

Вечно должен и не должен, то — нельзя, а это — можно,
Брак законный, спрос и купля, облик сонный,
гроб сердец.
Можешь карты, можешь мысли передернуть — осторожно,
Явно грабить неразумно, но — стриги овец.

Монотонный, односложный, как напевы людоеда:
Тот упорно две-три ноты тянет-тянет без конца,
Зверь несчастный существует от обеда до обеда,
Чтоб поесть — жену убьет он, умертвит отца.

Этот ту же песню тянет, — только он ведь просвещенный,
Он оформит, он запишет, дверь запрет он на крючок.
Бледноумный, сыщик вольных, немочь сердца,
евнух сонный,
О, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог!

(1904)

300—302. *ВОЙНА*

1

История людей —
История войны,
Разнузданность страстей
В театре Сатаны.

Страна теснит страну,
И взгляд встречает взгляд.
За краткую весну —
Несчетный ряд расплат.

У бешенства мечты
И бешеный язык.
Личина доброты
Спадает в быстрый миг.

Чтó правдою зовут —
Мучительная ложь.
Смеются ль, — тут как тут
За пазухою нож.

И снова льется кровь
Из темной глубины.
И вот мы вновь, мы вновь —
Актеры Сатаны.

2

Боже мой, о боже мой, за что мои страданья?
Нежен я, и кроток я, а страшный мир жесток.
Явственно я чувствую весь ужас трепетанья
Тысяч рук оторванных, — разбитых рук и ног.

Рвущиеся в воздухе безумные гранаты,
Бывший человеческим и ставший зверским взгляд,
Звуков сумасшествия тяжелые раскаты,
Гимн свинца и пороха, — напевы пуль звенят.

Сонмы пчел убийственных, что жалят в самом деле
И готовят Дьяволу не желтый — красный мед,
Соты динамитные, летучие шрапнели,
Помыслы лиддитные, свирепый пулемет.

А далёко, в городе, где вор готовит сметы,
Люди крепковыйные смеются, пьют, едят.
Слышится: «Чтó нового?» Слегка шуршат газеты.
«Вы сегодня в опере?» — «В партере, пятый ряд».

Широкó замыслены безмерные мученья,
Водопад обрушился, и Хаос — властелин;
Всё мое потоплено, кипит, гудит теченье, —
Я, цветы сбирающий, что ж сделаю один!

3

«Кто визжит, скулит и плачет? —
Просвистел тесак. —
Ты — как мяч, и ум твой скачет,
Ты — щенок, дурак!»

«Кто мешает битве честной? —
Крикнуло ружье. —
Мертвый книжник, трус известный,
Баба, — прочь ее!»

«Кто поет про руки, ноги? —
Грянул барабан. —
Раб проклятый, прочь с дороги,
Ты, должно быть, пьян!»

Гневной дробью разразился
Грозный барабан:
«Если штык о штык забился,
Штык затем и дан!»

Пушки глухо зарычали,
Вспыхнул красный свет,
Жерла жерлам отвечали,
Ясен был ответ.

Только чей-то зов с амвона
Прозвучал в мечте,
И несчетные знамена
Бились в высоте.

Сильный, бодрый, гордый, смелый,
Был и я солдат,
Шел в безвестные пределы,
Напрягая взгляд.

Шло нас много, пели звоны.
С неба лили свет
Миллионы, миллионы
Царственных планет.

303. ИЗ ЦИКЛА «ВОЙНА, НЕ ВРАЖДА»

Мне странно подумать, что трезвые люди
Способны затеять войну.
Я весь — в созерцательном радостном чуде,
У ласковой мысли в плену.

Мне странно подумать, что люди враждуют,
Я каждому рад уступить.
Мечты мне смеются, любовно колдуют
И ткут золотистую нить.

Настолько исполнен я их ароматом,
Настолько чужда мне вражда,
Что, если б в сражении был я солдатом,
Спокойно б стрелял я тогда.

Стрелял бы я метко, из честности бранной,
Но верил бы в жизнь глубоко.
Без гнева, без страха, без злобы обманной
Убил бы и умер легко.

И знал бы, убивши, легко умирая,
Что всё же мы братья сейчас,
Что это ошибка, ошибка чужая
На миг затуманила нас.

(18 июля 1904)

304—306. *ТРОЙСТВЕННОСТЬ ДВУХ*

1
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Strange case of Dr. Jekill and Mr. Hyde.
Stevenson [1]

Возвращение к жизни — и первый сознательный взгляд.
«Мистер Хайд или Джикиль?» — два голоса мне говорят.

Почему ж это «или»? — я их вопрошаю в ответ. —
Разве места обоим в душе зачарованной нет?

Где есть день, там и ночь. Где есть мрак, там и свет есть всегда.
Если двое есть в мире, есть в мире любовь и вражда.

И любовь ли вражду победила, вражда ли царит, —
Победителю скучно, и новое солнце горит.

Догорит — и погаснет, поборется с тьмою — и ночь.
Тут уж что же мне делать, могу ли я миру помочь!

---

[1] Странная история доктора Джикиля и мистера Хайда. *Стивенсон* (англ.). — *Ред.*

Ничего, доктор Джикиль, ты — мудрый, ты — добрый,
ты — врач,
Потерпи, раз ты доктор, что есть мистер Хайд, —
и не плачь.

Да и ты, мистер Хайд, если в прятки играешь, играй,
А уж раз проигрался, прощай — или вновь начинай.

И довольно мне слов. Уходите. Я с вами молчу...
О начало, о жизнь, неизвестность, тебя я хочу!

2

МИРОВОЕ ПРИЧАСТИЕ

L'idée pure, l'infini...
Flaubert

«L'idée pure, l'infini, j'y aspire, il m'attire...»[1]
О, искавший Флобер, ты предчувствовал нас.
Мы и ночи и дни устремляемся в Мир,
Мы в Бездонности ждем отвечающих глаз.

В наших жилах течет ненасытная кровь,
Мы безмерны в любви, безграничны вдвоем.
Но, любя как никто, не обманемся вновь,
И влюбленность души не телам отдаем.

В океанах мечты восколеблена гладь,
Мы воздушны в любви, как воздушен туман.
Но Елены опять мы не будем искать
И войной не пойдем на безумных троян.

Нет, иное светло ослепило наш взор,
Мы коснулись всего, растворились во Всем.
Глубину с высотой сочетали в узор,
С Мировым в мировом мы причастия ждем.

---

[1] Чистая мысль, бесконечность, я устремляюсь к ней, она меня влечет... *Флобер* (франц.). — *Ред.*

Больше медлить нельзя возле старых могил,
Что прошло — то прошло, что мертво — то мертво.
Мы в стозвучном живем, в Литургии Светил,
В откровеньи стихий, в воскресеньи Всего.

(1904)

8

«PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS»[1]

Мир на земле, мир людям доброй воли,
Мир людям воли злой желаю я.
Мир тем, кто ослеплен на бранном поле,
Мир тем, в чьих темных снах живет змея.

О, слава солнцу пламенному в вышних,
О, слава небу, звездам и луне.
Но для меня нет в мире больше лишних,
С высот зову и тех, кто там — на дне.

Все — в небесах, все равны в разной доле,
Я счастлив тем, что всех зову с собой.
Идите в жизнь, мир — людям доброй воли,
Идите в жизнь, мир — людям воли злой.

(1904)

397. ИЗ ЦИКЛА «ЗЕМЛЯ»

Земля, я неземной, но я с тобою скован
На много долгих дней, на бездну быстрых лет.
Зеленый твой простор мечтою облюбован,
Земною красотой я сладко заколдован,
Ты мне позволила, чтоб жил я как поэт.

Меж тысячи умов мой мозг образовала
В таких причудливых сплетеньях и узлах,
Что всё мне хочется. «Еще, — твержу я, — мало»,
И пытку я люблю, как упоенье бала, —
Я, быстрый альбатрос в безбрежных облаках.

[1] «Мир людям доброй воли» (лат.). — *Ред.*

Не страшны смелому безмерные усилья,
Шутя перелечу я из страны в страну,
Но в том весь ужас мой, что, если эти крылья
Во влаге омочу, — исполненный бессилья,
Воздушный, неземной, я в море утону.

Я должен издали глядеть на эти воды,
В которых жадный клюв добычу может взять,
Я должен над Землей летать не дни, а годы,
Но я блаженствую, я — лучший сон природы,
Хоть как я мучаюсь — мне некому сказать.

И рыбы бледные, немые черепахи,
Быть может, знают мир, безвестный для меня,
Но мне так радостно застыть в воздушном взмахе,
В ненасытимости, в поспешности и страхе
Над пропастью ночей и над провалом дня.

Земля зеленая, я твой, но я воздушный,
Сама велела ты, чтоб здесь я был таким,
Ты в пропастях летишь — и я лечу, послушный,
Я страшен, как и ты, я чуткий и бездушный,
Хотя я весь — душа, и мне не быть другим.

Зеленая звезда, планета изумруда,
Я так в тебе люблю безжалостность твою,
Ты не игрушка, нет, — ты ужас, блеск и чудо,
И ты спешишь — туда, хотя идешь — оттуда,
И я тебя люблю, и я тебя пою.

В раскинутой твоей роскошной панораме,
В твоей не стынущей и в декабрях весне,
В вертепе, в мастерской, в тюрьме, в семье и в храме
Мне вечно чудится картина в дивной раме, —
Я с нею, в ней, и вне, и этот сон — во мне.

Сказал — и более я повторять не стану,
Быть может, повторю, я властен повторить:
Я предал жизнь мою лучистому обману,
Я в безднах мировых нашел свою Светлану —
И для нее кручу блистающую нить.

Моя любовь — Земля, я с ней сплетен — для пира,
Легенду мы поем из звуковых примет.
В кошмарных звездностях, в безмерных безднах
Мира,
В алмазной плотности бессмертного Эфира —
Сон Жизни, Изумруд, Весна, Зеленый Свет!

⟨1904⟩

ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ

Детские песенки

1905

---

308. ПОСВЯЩЕНИЕ

Солнечной Нинике с светлыми глазками —
Этот букетик из тонких былинок.
Ты позабавишься Фейными сказками,
После — блеснешь мне зелеными глазками, —
В них не хочу я росинок.
Вечер далек — и до вечера встретится
Много нам: гномы, и страхи, и змеи.
Чур, не пугаться, — а если засветятся
Слезки, пожалуюсь Фее.

К. Бальмонт

Sillamäggi, Estl.
1905, Sept. 7

ФЕЯ

309. НАРЯДЫ ФЕИ

У Феи — глазки изумрудные,
Всё на траву она глядит.
У ней наряды дивно-чудные:
Опал, топаз и хризолит.

Есть жемчуга из света лунного,
Каких не видел взор ничей.
Есть поясок покроя струнного
Из ярких солнечных лучей.

Еще ей платье подвенечное
Дал колокольчик полевой,
Сулил ей счастье бесконечное,
Звонил в цветок свой голубой.

Росинка с грезой серебристою
Зажглась алмазным огоньком.
А ландыш свечкою душистою
Горел на свадьбе с Светляком.

310. ФЕЯ ЗА ДЕЛОМ

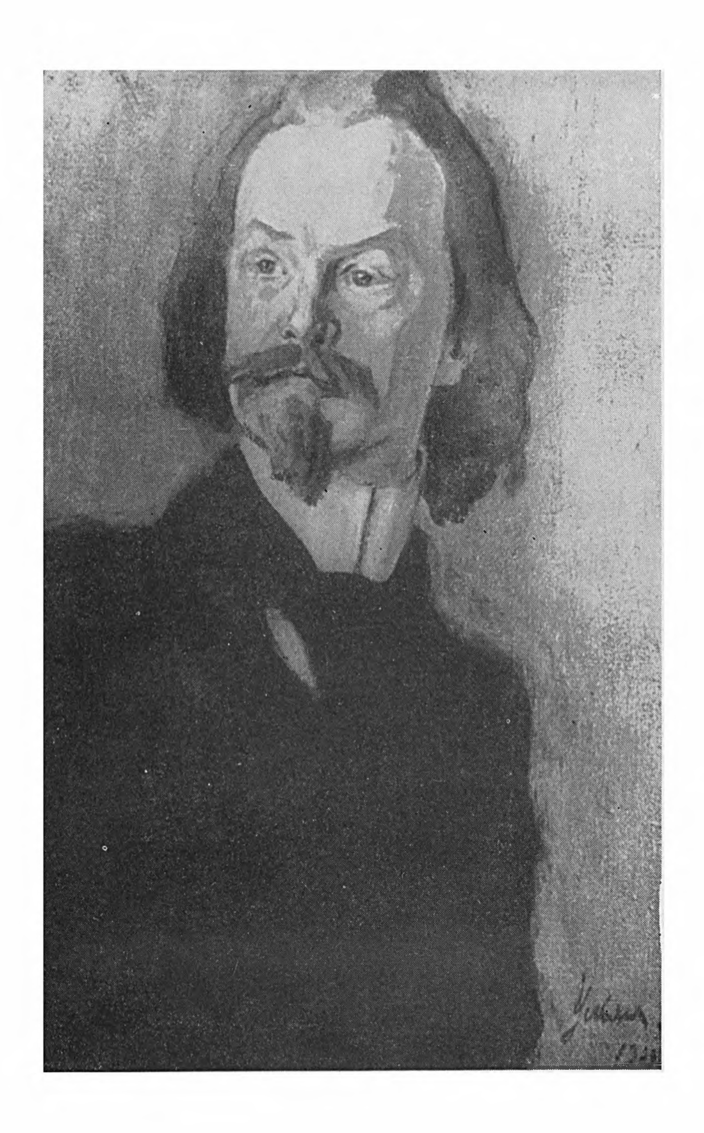
К Фее в замок собрались
Мошки и букашки.
Перед этим напились
Капелек с ромашки.

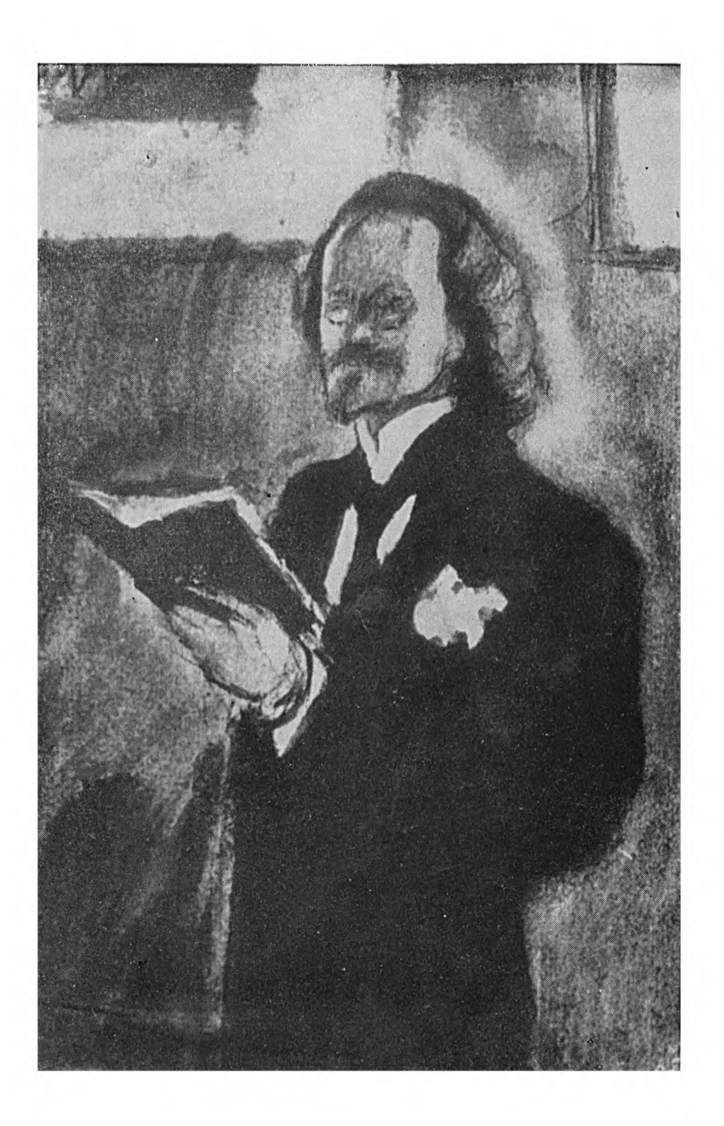
И давай жужжать, галдеть
В зале паутинной, —
Точно выискали клеть,
А не замок чинный.

Стали жаловаться все
С самого начала,
Что ромашка им в росе
Яду подмешала.

А потом на комара
Жаловалась муха:
Говорит, мол, я стара,
Плакалась старуха.

Фея слушала их вздор
И сказала: «Верьте,
Мне ваш гам и этот сор
Надоел до смерти».





И велела пауку,
    Встав с воздушных кресел,
Чтобы тотчас на суку
    Сети он развесил.

И немедля стал паук
    Вешать паутинки.
А она пошла на луг —
    Проверять росинки.

311. НАХОДКА ФЕИ

Фея сделала находку:
Листик плавал по воде.
Из листка построив лодку,
Фея плавает везде.

Под стеной речного срыва
Показался ей налим, —
Он мелькнул пред ней красиво
И исчез, неуловим.

Дальше — больше. Дышат травы
В светлом зеркальце реки.
Целым островом — купавы,
Целым лесом — тростники.

Ей тритоны удивлялись,
Проползая бережком,
И, смешные, похвалялись
Ей оранжевым брюшком.

Плавунцы в воде чернели
И пускали пузыри,
Обещались — в самом деле —
Быть ей свитой до зари.

Всё бы, всё бы было складно,
Да внезапно с ветерком
Стало сумрачно, прохладно,
Громыхнул далекий гром.

Лодку Феи ветер, вея,
Опрокинул — не со зла,
Но однако ж вправду Фея
Утонуть в реке могла.

Но она лишь усмехнулась,
Миг — и в замок, до грозы,
Фея весело вернулась
На спине у стрекозы.

812. ЧАРЫ ФЕИ

Я шел в лесу. Лес темный был
Так странно зачарован.
И сам кого-то я любил,
И сам я был взволнован.

Кто так разнежил облака, —
Они совсем жемчужны?
И почему ручью река
Поет: «Мы будем дружны»?

И почему так ландыш вдруг
Вздохнул, в траве бледнея?
И почему так нежен луг?
Ах, знаю! Это — Фея.

813. БЕСПОРЯДКИ У ФЕИ

Сегодня майские жуки
Не в меру были громки.
И позабыли червяки
Мне осветить потемки.

Пошла бранить я Светляка,
Чтоб не давать поблажки.

Споткнулась вдруг — у стебелька
Ромашки или кашки.

И вот лежу я и гляжу:
Кто черный там крадется?
Никак ума не приложу,
А сердце бьется, бьется.

И молвил кто-то грубо так:
«Послушай-ка, гляди-тка».
Тут лампочку зажег Светляк —
И вижу я: улитка.

Ползет, расставила рога,
Вся мокрая такая.
«Ступай, — сказал Светляк, — в луга»,
Слегка ее толкая.

А я ему: «Вина твоя!
Где был? В гостях у мухи?»
И в эту ночь заснула я
Совсем-совсем не в духе.

314. ТРИ ПЕСЧИНКИ

«Что можно сделать из трех песчинок?» —
Сказала как-то мне Фея вод.
Я дал букетик ей из былинок,
И в трех песчинках ей дал отчет.

Одну песчинку я брошу в море, —
Ей будет любо там, в глубине.
Другая будет в твоем уборе,
А третья будет на память мне.

ДЕТСКИЙ МИР

815. У ЧУДИЩ

Я был в избушке на курьих ножках.
Там всё как прежде. Сидит Яга.
Пищали мыши и рылись в крошках.
Старуха злая была строга.

Но я был в шапке, был в невидимке.
Стянул у старой две нитки бус.
Разгневал ведьму — и скрылся в дымке.
И вот со смехом кручу свой ус.

Пойду, пожалуй, теперь к Кощею.
Найду для песен там жемчугов.
До самой пасти приближусь к змею.
Узнаю тайны — и был таков.

816. РАКОВИНКИ

Раковинки, камешки, игрушки,
Сказки-травки в зеркале реки.
Жил старик — и говорит старушке:
«Мы с тобой зачахнем от тоски».

Говорит старушка: «Что же, старый,
Создавай ты море для людей.
Я создам ручьи, лесные чары, —
Жить тогда нам будет веселей.

Люди кораблей себе настроят,
Будут петь, браниться и кричать.
Если ж мысли их забеспокоят,
Ключ лесной им будет отвечать.

Дети прибегут играть на взморье —
Море что и бросит для детей.
Им — забава, нам, седым, — подспорье,
Будет старым в мире веселей».

Зашумело море кругземное,
Притаились по лесам ручьи.
Помолчат — и разольются вдвое,
Парус забелел, бегут ладьи.

И живет старик, легко старушке,
По ручьям проходят огоньки.
Светят травки, малые подружки,
Раковинки, камешки, пески.

БЫЛИНКИ

817. КАК Я ПИШУ СТИХИ

Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья, ей издалека
Четвертая смеется, набегая.

И пятая, и после, и потом,
Откуда, сколько — я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда — не сочиняю.

818. ЗЕРНО

Трудовые мечты,
Золотое зерно.
Торжество красоты —
Как мне близко оно.

Как мне радостен вид
Лошаденки простой.
В глыбах пашни скользит
Солнца луч золотой.

Озимые поля,
Созревание нив.
Молодая земля,
Лик твой вечно-красив.

Серп с косою — мечи! —
И победность сохи
Мне поют, как лучи,
Мне горят, как стихи.

Сын земли я и дня, —
Неразрывно звено.
И в душе у меня
Золотое зерно.

319. БЕРЕЗА

Береза родная со стволом серебристым,
О тебе я в тропических чащах скучал.
Я скучал о сирени в цвету и о нем, соловье
голосистом,
Обо всем, что я в детстве с мечтой обвенчал.
Я был там далёко —
В многокрасочной пряности пышных ликующих стран.
Там зловещая пума враждебно так щурила око
И пред быстрой грозой оглушал меня рев обезьян.
Но, тихонько качаясь
На тяжелом, чужом, мексиканском седле,
Я душою дремал — и воздушно во мне расцвечаясь,
Восставали родимые тени в серебряной мгле.
О, весенние грозы!
Детство с веткой сирени, в вечерней тиши —
соловей,
Зыбь и шепот листвы этой милой плакучей березы,
Зачарованность снов — только раз расцветающих
дней!

320. ОСЕННЯЯ РАДОСТЬ

Радость может ждать на каждом повороте.
Не грусти. Не надо. Посмотри в окно.
Осень в желтых листьях, в нежной позолоте
Медленно колдует. Что́ нам суждено?

Разве мы узнаем? Разве разгадаем?
Будем ждать, что чары улыбнутся нам.
Пляска мертвых листьев завершится маем.
Лютики засветят снова по лугам.

Даже и сегодня... Ум предав заботе,
Шел я хмурый, скучный по лесной глуши,
Вдруг на самой тропке, да, на повороте,
Красный цвет мелькнул мне в ласковой тиши.

Спелая рябина прямо предо мною,
Алая калина тут же рядом с ней.
Мы нарвем ветвей их на зиму с тобою,
Пред окном повесим комнатки твоей.

Прилетит снегирь смешной и неуклюжий,
Раза два чирикнет, клюнет — да и прочь.
И мятель завоет, всё затянет стужей,
Но зимой, пред лампой, так уютна ночь.

И пока на всполье будут свисты вьюги,
Сон тебя овеет грезой голубой.
«Милый, что́ я вижу! Лютики на луге!
Хороводы травок! Ах, и я с тобой!»

321. ОСЕНЬ

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро осень проснется —
И заплачет спросонья.

Август 1905

322. ОСЕННИЙ ВОЗДУХ

Пахнет грибами, листом перепрелым,
Пахнет и чем-то другим,
Точно горелым.
В синей дали — наползающий медленный дым.
Дым и ползет, и как будто бы ждет он чего-то,
Будто бы он говорит:
«Вот я, идите же».
Это горит
Торфяное болото.

323. ЗИМА

Поля затянуты недвижной пеленой,
Пушисто-белыми снегами.
Как будто навсегда простился мир с весной,
С ее цветками и листками.

Окован звонкий ключ. Он у зимы в плену.
Одна мятель поет, рыдая.
Но солнце любит круг. Оно хранит весну.
Опять вернется молодая.

Она пошла бродить в чужих краях,
Чтоб мир изведал сновиденья,
Чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах
И вьюгу слушает — как пенье.

ЗЛЫЕ ЧАРЫ

Книга заклятий

ДОЛГО НОЧЬ МЕРКНЕТ; ЗАРЯ СВЕТ ЗАПАЛА; МГЛА ПОЛЯ ПОКРЫЛА.
КРОВАВЫЕ ЗОРИ СВЕТ ПОВЕДАЮТ; ЧЕРНЫЕ ТУЧИ С МОРЯ ИДУТ; ХОТЯТ ПРИКРЫТИ ЧЕТЫРЕ СОЛНЦА; А В НИХ ТРЕПЕЩУТ СИНИЕ МОЛНИИ.

„Слово о полку Игореве“

1906

ОТСВЕТЫ РАКОВИН

О, жемчуг слов, отысканный в морских глубинах сердца, твои узоры красивы, но смысл твой горек, как морская вода.

Космогония майев

324. ТАЛИСМАНЫ

Судьба на утре дней дала мне талисманы,
Число их было три, и разны смыслы их.
Один меня повел в неведомые страны —
И там я в первый раз влюбленный был жених.

Другой мне изъяснил искусство завладенья
Сердцами, — я сердец покорных не сочту.
А третий мне явил тропинку нисхожденья —
Не в глубину земли: в меня, в мою мечту.

И первый талисман, смеясь, я бросил в море,
Второй швырнул в окно, — быть может, подниму.
Но третий талисман — звезда в моем уборе,
Я верую теперь ему лишь одному.

(1905)

325. СЕВЕРНОЕ ВЗМОРЬЕ

Небо свинцовое, солнце неверное,
Ветер порывистый, воды холодные,
Словно приливная, грусть равномерная,
Мысли бесплодные, век безысходные.

Здесь даже чайками даль не осветится,
Даже и тучкою только туманится,
Раковин взору на взморье не встретится,
Камешком ярким мечта не обманется.

Зимами долгими, скудными вёснами
Думы подавлены, жизнь не взлелеяна.
Море пустынное, с темными соснами,
Кем ты задумано, кем ты осмеяно?

Август 1905

326. ЧУДОВИЩЕ С КЛЕЙМОМ

Я опустил свой лот. Мой лот — до дна морей.
Я смерил глубину всех внятных океанов.
Я был во всех домах. Стоял у всех дверей.
Вкусил от меда пчел. Изведал яд обманов.

Мне имя — легион, средь гениев, чей знак —
Вопрос, всегда вопрос, повсюду вопрошанье.
Я раздвоил весь мир. Полярность. Свет и мрак.
Вновь слил я свет и тьму. И цельным сделал зданье.

Но жить в нем не хочу. Я знаю все углы.
Святая летопись, но на звериной коже.
Всё — безразлично что: кроты или орлы —
Чудовище с клеймом: «Всегда-Одно-И-То-Же.

(1905)

АМУЛЕТЫ ИЗ АГАТА

Gdzież jesteś, synu
zemsty?
Krasiński

Śpiewaj i przeklinaj!
Mickiewicz

Где же ты, сын
мщенья?
Красинский

Пой и проклинай!
Мицкевич

327. ЧЕРНЫЕ ВО́РОНЫ

Черные во́роны-воры играли над нами.
Каркали. День погасал.
Темными снами
Призрак наполнил мне бледный бокал.
И, обратившись лицом к погасающим зорям,
Пил я, закрывши глаза,
Видя сквозь бледные веки — дороги с идущим и едущим
сгорбленным Горем.
Во́роны вдруг прошумели, как туча,— и вмиг разразилась
гроза.
Словно внезапно раскрылись обрывы.
Выстрелы, крики, и вопли, и взрывы.
Где вы, друзья?
Странный бокал от себя оторвать не могу я,
и сказка моя
Держит меня, побледневшего, здесь — заалевшими
снами-цепями.
Мысли болят. Я, как призрак, застыл.
Двинуться, крикнуть — нет воли, нет сил.
Каркают во́роны, каркают черные, каркают злые
над нами.

Декабрь 1905

828. СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ

Святой Георгий, убив Дракона,
Взглянул печально вокруг себя.
Не мог он слышать глухого стона,
Не мог быть светлым — лишь свет любя.

Он с легким сердцем, во имя бога,
Копье наметил и поднял щит.
Но мыслей встало так много, много —
И он, сразивши, сражен, молчит.

И конь святого своим копытом
Ударил гневно о край пути.
Сюда он прибыл путем избитым.
Куда отсюда? Куда идти?

Святой Георгий, святой Георгий,
И ты изведал свой высший час!
Пред сильным Змеем ты был в восторге,
Пред мертвым Змием ты вдруг погас!

⟨1900⟩

829. ПРИЗРАЧНЫЙ НАБАТ

Я дух, я призрачный набат,
Что внятен только привиденьям.
Дома, я чувствую, горят,
Но люди скованы забвеньем.

Крадется дымный к ним огонь,
И воплем полон я безгласным, —
Гуди же, колокол, трезвонь,
Будь криком в сумраке неясном.

Ползет густой, змеится дым,
Как тяжкий зверь — ночная чара.
О, как мне страшно быть немым
Под медным заревом пожара!

330. ОТЗВУК НАРОДНОГО

Уж ты солнце, солнце красно,
Ты с полуночи взойди,
Чтоб очам не ждать напрасно,
Ктó там, чтó там впереди.
Чтоб покойникам в могиле
Не во тьме глухой сидеть,
Чтобы с глаз они сложили
Закрывающую медь.

Уж ты месяц, месяц ясный,
Глянь — и с вечера взойди,
Чтоб забыть о муке страстной,
Что осталась позади.
Чтобы мертвым, властью слова,
Властью света твоего,
Не крушить из-за былого
Ретивого своего.

Уж ты ветер, ветер буйный,
Ты с полуночи возвей,
Многовейный, многоструйный,
Будь отрадою моей.
Возвести моим родимым,
Что и в нас бесстрашный свет.
Всё мы бросим, пустим дымом,
Но пойдем за ними вслед.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1906

331. ПОЭТ — РАБОЧЕМУ

Я поэт, и был поэт,
И поэтом я умру.
Но видал я с детских лет
В окнах фабрик поздний свет, —
Он в уме оставил след,
Этот след я не сотру.

Также я слыхал гудок —
В полдень, в полночь, поутру,
Хорошо я знаю срок,
Как велик такой урок,
Я гудок забыть не мог,
Вот — я звук его беру.

Почему теперь пою?
Почему не раньше пел?
Пел и раньше песнь мою,
Я литейщик — формы лью,
Я кузнец — я стих кую,
Пел, что молод я и смел.

Был я занят сам собой,
Что ж — я это не таю.
Час прошел. Вот — час другой.
Предо мною вал морской,
О рабочий, я с тобой,
Бурю я твою — пою.

(Ноябрь 1905)

332. К РАБОЧЕМУ

Рабочий, странно мне с тобою говорить:
По виду я — другой. О, верь мне, лишь по виду.
В фабричном грохоте свою ты крутишь нить,
Я в нить свою, мой брат, вкручу твою обиду.

Оторван, как и ты, от тишины полей,
Которая душе казалася могильной,
Я в шумном городе, среди чужих людей,
Не раз изнемогал в работе непосильной.

Я был как бы чужой в своей родной семье,
Меж торгашами слов я был чужой бесспорно.
По морю вольному я плыл в своей ладье —
И море ширилось безбрежно, кругозорно.

Мне думать радостно, что прадеды мои
Блуждали по морям на Севере туманном.
В моей душе всегда поют, журчат ручьи,
Растут, чтоб в море впасть в стремленьи необманном.

В болотных низостях ликующих мещан
Тоскует вольный дух, безумствует, мятётся.
Но тот — отмеченный, кто помнит океан,
Освобожденья ждет — и бури он дождется.

Она скорей пришла, чем я бы думать мог,
Ты встал — и грянул гром, все вышли из преддверья.
На перекрестке всех скрестившихся дорог
Лишь к одному тебе я чувствую доверье.

Я знаю, что в тебе стальная воля есть, —
Недаром ты стоишь близ пламени и стали.
Ты в судьбах Родины сумел слова прочесть,
Которых мудрые, читая, не видали.

Я знаю, можешь ты соткать красиво ткань,
Раз что задумаешь — так выполнишь, что надо.
Ты мирных пробудил, ты трупу молвил: «Встань», —
Труп — жив, идут борцы, встает, растет громада.

Кругами мощными растет водоворот,
Напрасны лепеты, напрасны вопли страха, —
Теперь уж он в себя всё, что кругом, вберет,
Осуществит себя всей силою размаха.

333. НАЧИСТОТУ

Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих,
Тот играет в бесчестно-двойную игру.
Он чужое берет, — на чужое довольно охочих, —
Он свободу берет, обагренную кровью рабочих, —
Что ж, бери, всем она, но скажи: «Я чужое беру».

Да, свобода — для всех, навсегда, и, однако ж, вот эта свобода,
И, однако ж, вот эта минута — не комнатных душ,
Не болтливых, трусливых, а смелых из бездны народа,
Эта воля ухвачена с бою, и эта свобода —
Не застольная речь краснобая, не жалкий извилистый уж.

Это кровь, говорю я, посмевших и вставших рабочих,
И теперь — кто не с ними, тот шулер продажный и трус.
Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих
Я зову: «Старый сор». И во имя восставших рабочих
Вас сметут! В этом вам я, как голос прилива, клянусь!

(*Ноябрь 1905*)

334. ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

«Земля и Воля» — крик народа,
«Земля и Воля» — клич крестьян.
«Всё — заново, и всем — свобода», —
Рабочий крикнул сквозь туман.
«Всё — заново, и всем — свобода», —
Как будто вторит океан.

Мне чудится, что бурным ходом
Идет приливная волна.
Конец — тюремным низким сводам,
В тюрьме разрушена стена.

Судьба России всем народом
Теперь должна быть решена.

Крепчает, воет непогода,
Но ум рабочего — маяк.
В Земле и Воле — жизнь народа,
Опять душить не сможет мрак.
Всё — заново, и всем — свобода.
Да будет так! Да будет так!

335. РУССКОМУ РАБОЧЕМУ

Рабочий, только на тебя
Надежда всей России.
Тяжелый молот пал, дробя
Оплоты крепостные.
Тот молот — твой. Пою тебя
Во имя всей России!

Ты знал нужду, ты знаешь труд,
Ты слишком знаешь голод.
Но ты восстал. С тобой идут
Все те, кто сердцем молод.
Будь тверд, яви еще свой суд, —
Острог не весь расколот.

Тебя желают обмануть
Опять, опять и снова.
Но ты нам всем наметил путь,
Дал всем свободу слова.
Так в бой со тьмой, и грудь — на грудь, —
То — зов сторожевого.

Сторожевой средь темноты,
Сторожевой средь ночи —
Лишь ты, бесстрашно-смелый, ты!
Твои нам светят очи.
Осуществятся все мечты,
Ты победишь, рабочий!

⟨Октябрь 1905⟩

ПЕСНИ МСТИТЕЛЯ

ГНЕВ, ШОРОХ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ, ОН НАШЕПТЫВАЕТ, ОН РУКОПЛЕЩЕТ, ОН СОЧЕТАЕТ, ЕДИНИТ.

Майя

1907

---

336. РУДА

Широки и глубоки
Рудожелтые пески.
В мире — жертвенно, всегда —
Льется, льется кровь-руда.

В медном небе света нет.
Всё же вспыхнет молний свет —
И железная броня
Примет бой, в грозе звеня.

Бой за вольное житье
Грянул. Сломано копье.
И кольчуга сожжена.
А свобода — где она?

Дверь дубовая крепка.
Кто раскроет зев замка?
Сжаты челюсти Змеи,
Свиты звенья чешуи.

И пустынно-широки
Рудожелтые пески.
И безмерно, как вода,
Льется, льется кровь-руда.

337. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ

Если хочешь смести паутину,
Так смотри и начни с паука.
Если хочешь ты вырубить прорубь, исторгни тяжелую льдину.
Если хочешь ты песню пропеть, пусть же будет та песня звонка.
Если хочешь, живи. Если ж в жизни лишь тюрьмы и стены,
Встань могучей волной — и преграду стремленьем разбей.
Если ж стены сильней, разбросайся же кружевом пены,
Но живешь — так живи, и себя никогда не жалей.

338. НАШ ЦАРЬ

Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.

Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, — час расплаты ждет.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот.

⟨1906⟩

339. ЦАРЬ-ЛОЖЬ

Народ подумал: вот — заря,
Пришел тоске конец.
Народ пошел — просить царя.
Ему в ответ — свинец.

А, низкий деспот! Ты навек
В крови, в крови теперь.
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь.

Но кровь рабочего взошла,
Как колос, перед ним.
И задрожал приспешник зла
Пред колосом таким.

Он красен, нет ему серпа, —
Обломится любой.
Гудят колосья, как толпа,
Растет колосьев строй.

И каждый колос — острый нож,
И каждый колос — взгляд.
Нет, царь, теперь не подойдешь,
Нет, подлый царь, назад!

Ты нас теперь не проведешь
Девятым января.
Ты — царь, и, значит, весь ты ложь, —
И мы сметем царя!

⟨1906⟩

340. ЗВЕРЬ СПУЩЕН

Зверь спущен. Вот она, потеха
Разоблаченных палачей.
Звериный лик. Раскаты смеха.
Звериный голос: «Бей! Бей! Бей!»

И вдоль по всей России снова
Взметнулась, грязная всегда,
Самодержавия гнилого
Рассвирепевшая орда.

Удар могучий Общей Стачки
Их выбил вон из колеи.
Добычи нужно им, подачки
От их Романовской семьи.

Чужое нужно паразитам,
Свобода — гадам не под стать.
И вот они, своим синклитом,
Спустили Зверя погулять.

Но мы не спим, мы четко видим,
Борцов восстания не счесть.
И тех, кого мы ненавидим,
В свой должный миг постигнет месть.

Гуляй же, Зверь самодержавья,
Являй всю мерзостность для глаз.
Навек окончилось бесправье.
Ты осужден. Твой пробил час.

⟨1906⟩

341. ПРЕСТУПНОЕ СЛОВО

Кто будет говорить о слове примиренья,
Покуда в тюрьмах есть сходящие с ума,
Тот должен сам узнать весь ужас заключенья,
Понять, что вот — кругом — тюрьма.

Почувствовать, что ум, в тебе горевший гордо,
Стал робко ищущим услад хоть в бездне сна,
Что стерлась музыка — до крайнего аккорда:
Стена, стена, и тишина.

Кто будет говорить о слове примиренья,
Тот предает себя и предает других,
И я ему в лицо, как яркое презренье,
Бросаю хлещущий мой стих.

⟨1906⟩

ЖАР-ПТИЦА

Свирель славянина

1907

ЖИВАЯ ВОДА

Знак: красный рубин

Карбункул, иначе красный рубин, иначе лик или цвет огня, от солнца имеет дар светить в темноте и быть надлежащим оружием против отравы.

Жан де ля Тай де Бондаруа

342. ДВЕ РЕКИ

Я видел всю Волгу во время разлива,
От самых истоков
До Каспия гордого, чей хорош изумруд.
О, Волга повсюду красива,
В самом имени светлой царицы так много намеков,
И ее заливные луга, расцветая, победно цветут.
Это — гордость славян, это — знаменье воли
для вольных,
Для раздольных умов, теснотой недовольных.
Волга, Волга, воспетая тысячи раз,
Ты качала в столетьях мятежников — нас.
Ты, царица всех рек, полновластно красива,
Как красив ставший звучною былью разбой,
Как красива гроза в высоте голубой.
Но желанней мне кротко шуршащая желтая нива
Над родною владимирской тихой рекою Окой.

И да памятно будет,
Что над этой рекою рожден был любимец веков,
Кто в былинных сердцах — и еще — много песен
пробудит,
Сильный, — силы не раб, — исполинский смиренник лесов.
Тот прекрасный меж витязей всех, богатырь
справедливый,
Кто один не кичился могучею силой своей
И, на подвиги вскормленный скудною нивой,
Был за тех, чья судьба — ждать и ждать хлебоносных
стеблей.
Как заманчив он был, когда с сильным и наглым
схватился
И, его не убив, наглеца лишь взметнул в вышину
И упавшего сам подхватил, чтобы тот не убился,
Но вперед научился не силу лишь ведать одну.
Как заманчив он был и другой, Соловья победитель,
Разметавши надменных с их киевской гриднею той,
Кроткий, мог он восстать, как разгневанный мечущий
мститель,
Мог быть тихой рекой, и разливной рекою Окой.
И заманчив он был, как, прощаясь с родною рекою,
Корку черного хлеба пустил он по водам ее,
И вскочил на коня, в три прыжка он был с жизнью иною,
Но в нарядностях дней не забыл назначенье свое.

343. ЦЕЛЕБНАЯ КРИНИЦА

Конь Ильи копытом звонким бьет — рождается криница,
Ключ лесной освободился от подземного жерла.
Сам Илья в тот миг стремился, улетал в простор,
как птица,
А целебная криница до сих пор в лесах светла.

Он летел, не размышляя о зиждительности бега,
Без мышленья сердцем зная, как свобода хороша.
И доныне сребриводна освежительная нега,
И поет хрустальность в чащах: «Приходи испить, душа».

344. САЛАМАНДРА

Меж брегов есть брег Скамандра,
Что живет в умах века.
Меж зверей есть саламандра,
Что к бессмертию близка.
Дивной силой мусикийской
Врошен в жизнь который год,
Этот зверь в стране Индийской
Ярким пламенем живет.
Разожги костер златистый,
Саламандру брось в него, —
Меркнет вдруг восторг огнистый,
Зверь живет, в костре — мертво.
Так и ты, коль дьявол черный
В блеск любви введет свой лик,
Вспыхнешь весь во лжи узорной,
А любовь — погаснет вмиг.

345. СЕВЕРНЫЕ

Мы поем о скандинавах. Точно, смелы скандинавы.
Много грабили, всё к Югу шли они от белых льдов.
И на Западе далеком свет нашли широкой славы,
Предвосхитили Колумба за четыреста годов.

Меж таких пределов разных, как глухое Заонежье
И Атлантика с Винландом, светлый Киев и Царьград,
Чайки Норги пролетели лабиринты побережья,
И о викингах доныне волны моря говорят.

Даже в эту современность скальд седой и величавый
Опрокинул все оплоты мелкомыслящих людей,
Показал, припомнив древность, что не меркнут скандинавы, —
Башня Сольнеса надменна, Майя — в зареве страстей.

Гордым воронам — хваленье. Скандинавам память наша
Вознесет охотно песню,— светел Один, мощен Тор.

Но да вспенится разгульно и еще другая чаша —
В честь славян и в честь Перуна, знавших, знающих
простор.

Разметать чужие риги, растоптать чужие гумны
Люди Севера умели, как и мы, пьянясь бедой.
Но пред ними ль будут падать — тайновидец наш
безумный
И кудесник русской речи, песнопевец наш златой!

Прикоснувшись к преступленью, мы раздвинули границы,
Перебросив дерзновенье до истоков божества.
Мы в степях бежим, как кони, мы в степях летим,
как птицы,
Посягнувши — посягаем, знаем вещие слова.

И любиться, целоваться кто умеет, как Ярило?
В благородстве и в размахе превзошел ли кто Илью?
Честь и слава скандинавам! Да шумит в морях ветрило!
Честь славянам! Пью за Север, пью за Родину мою!

346. ЖИВАЯ ВОДА

Богатыри родные,
В вас светят небеса,
В вас — водные, степные,
Лесные голоса.

Вы детство укачали,
Как зимняя мятель
Качает в снежной дали
Загрезившую ель.

Вы в отрочестве жили,
Как отсвет вечных сил,
Как стебель давней были,
Который тьму пробил.

Вы юность обвенчали
С нарядною мечтой,

С глубинностью печали,
С улыбкой золотой.

Когда мечта хотела
Быть в яркой зыби дней,
Вы поглядели смело,
Жар-птицу дали ей.

Когда в затон мечтанья
Вошла, как тень, печаль,
Вы сделали страданье
Прозрачным, как хрусталь.

Мгновенья потонули,
Но, жезл подъявши свой,
Вы молодость вернули
И смех — с водой живой.

И где сошлись дороги,
Ваш образ — как звезда.
Богатыри, вы — боги,
Вам жить и жить всегда.

ТЕНИ БОГОВ СВЕТЛОГЛАЗЫХ

Знак: изумруд

Если ехидна глядит на изумруд,
слепнут у ней глаза.

Разэс, врач арабский

347. СЛАВЯНСКОЕ ДРЕВО

Корнями гнездится глубоко,
Вершиной восходит высоко,
Зеленые ветви уводит в лазурно-широкую даль.
Корнями гнездится глубоко в земле,
Вершиной восходит к высокой скале,
Зеленые ветви уводит широко в безмерную синюю даль.
Корнями гнездится глубоко в земле и в бессмертном
подземном огне,

Вершиной восходит высоко-высоко, теряясь светло
в вышине,
Изумрудные ветви в расцвете уводит в бирюзовую
вольную даль.
И знает веселье,
И знает печаль.
И от моря до моря раскинув свои ожерелья,
Колыбельно поет над умом и уводит мечтание в даль.

Девически вспыхнет красивой калиной,
На кладбище горькой зажжется рябиной,
Взнесется упорно, как дуб вековой.
Качаясь и радуясь свисту мятели,
Растянется лапчатой зеленью ели,
Сосной перемолвится с желтой совой.
Осиною тонкой, как дух, затрепещет,
Березой засветит, березой заблещет,
Серебряной ивой заплачет листвой.
Как тополь, как факел пахучий, восстанет,
Как липа июльская, ум затуманит,
Шепнет звездоцветно в ночах, как сирень.
И яблонью цвет свой рассыплет по саду,
И вишеньем ластится к детскому взгляду,
Черемухой нежит душистую тень.
Раскинет резьбу изумрудного клена
И долгою песней зеленого звона
Чарует дремотную лень.

В вешней роще, вдоль дорожки,
Ходит легкий ветерок.
На березе есть сережки,
На беляне — сладкий сок.

На березе белоствольной
Бьются липкие листки.
Над рекой весенней, вольной
Зыбко пляшут огоньки.

Над рекою в час разлива
Дух узывчивый бежит.
Ива, ива так красива,
Тонким кружевом дрожит.

Слышен голос ивы гибкой,
Как русалочий напев,
Как протяжность сказки зыбкой,
Как улыбка водных дев:

Срежь одну из веток стройных,
Освяти мечтой апрель,
И, как Лель, для беспокойных,
Заиграй, запой в свирель.

Не забудь, что возле Древа
Есть кусты и есть цветки,
В зыбь свирельного напева
Все запутай огоньки,

Все запутай, перепутай,
Наш славянский цвет воспой,
Будь певучею минутой,
Будь веснянкой голубой.

И всё растет зеленый звон,
И сон в душе поет:
У нас в полях есть нежный лен
И люб-трава цветет.
У нас есть папороть-цветок
И перелет-трава.
Небесно-радостный намек,
У нас есть синий василек —
Вся нива им жива.
Есть подорожник, есть дрема́,
Есть ландыш-первоцвет.
И нет цветов, где злость и тьма,
И мандрагоры нет.
Нет тяжких кактусов, агав,
Цветов, глядящих, как удав,
Кошмаров естества.
Но есть ромашек нежный свет,
И сладких кашек есть расцвет,
И есть плакун-трава.

А наш пленительник долин,
Светящий, нежный наш жасмин —

Не это ль красота?
А сну подобные цветы,
Что безымянны, как мечты,
И странны, как мечта?
А наших лилий водяных —
Какой восторг заменит их?
Не нужно ничего.
И самых пышных орхидей
Я не возьму за сеть стеблей
Близ Древа моего.

Не всё еще вымолвил голос свирели,
Но лишь не забудем, что круглый нам год
От ивы к березе, от вишенья к ели
Зеленое Древо цветет.

И туча протянется, с молнией, с громом,
Как дьявольский омут, как ведьмовский сглаз,
Но Древо есть терем — и этим хоромам
Нет гибели, вечен их час.

Свежительны бури, рожденье в них чуда,
Колодец, криница, ковер-самолет.
И вечно нам, вечно, как сон изумруда,
Славянское Древо цветет.

348. СТИХ О ВЕЛИЧЕСТВЕ СОЛНЦА

Величество Солнца великие поприща в небесах
пробегает легко,
Но малым нам кажется, ибо в далекости от Земли
отстоит высоко.

Одежда у Солнца с короною — царские, много тысяч
есть ангелов с ним,
По вся дни хождаху с ним, егда же зайдет оно, есть
и отдых одеждам златым.

Те ангелы божии с него совлекают их, на господень
кладут их престол,
И на ночь три ангела у Солнца останутся,
чтоб в чертог его — враг не вошел.

И только что к Западу сойдет оно, красное, — это час
есть для огненных птиц,
Нарицаемых: финиксы и ксалавы горючие, — упадают,
летучие, ниц.

Пред Солнцем летят они и блестящие крылия
в океянстей макают воде
И кропят ими Солнце, — да жаром пылающим не спалит
поднебесность нигде.

И егда от огня обгорает их перие, в океан упадают они,
В океане купаются и в воде обновляются, — снова светлы
на новые дни.

И едва в полунóчь от престола господнего двигнет ангел
покров и венец,
Петел тут пробуждается, глас его возглашается —
из конца поднебесной в конец.

И до света свершается эта песнь предрассветная —
от жилищ до безлюдных пустынь.
Бог-творец величается, радость в мир возвещается,
радость темным и светлым. Аминь.

349. ПЕРУН

У Перуна рост могучий,
Лик приятный, ус златой,
Он владеет влажной тучей,
Словно девой молодой.

У Перуна мысли быстры,
Что захочет — так сейчас.
Сыплет искры, мечет искры
Из зрачков сверкнувших глаз.

У Перуна знойны страсти,
Но, достигнув своего,
Что любил он — рвет на части,
Тучу сжег — и нет его.

850. РАЙСКИЕ ПТИЦЫ

На Макарийских островах,
Куда не смотрят наши страны,
Куда не входят смерть и страх
И не доходят великаны, —

На Макарийских островах
Живут без горя человеки,
Там в изумрудных берегах
Текут пурпуровые реки.

Там камни ценные цветут,
Там всё в цветеньи вечно-юном,
Там птицы райские живут —
Волшебный Сирин с Гамаюном.

И если слышим мы во сне
Напев, который многолирен,
В тот час в блаженной той стране
Поет о счастьи светлый Сирин.

И если звоном нежных струн
Ты убаюкан, засыпая,
Так это птица Гамаюн
Поет в безвестном, голубая.

851. СВЕТОВИТ

Мне снится древняя Аркона,
Славянский храм,
Пылают дали небосклона,
Есть час громам.

Я вижу призрак Световита
Меж облаков,
Кругом него — святая свита
Родных богов.

Он на коне — и слишком знает
Восторг погонь,
О, вихри молний нагоняет
Тот белый конь.

Он бросил алую Аркону,
Туман завес,
И льнет к нетронутому лону,
К степям небес.

Он позабыл священность красных
Заклятых стен
Для свежей радости неясных
Измен, измен.

И рог с вином им брошен в храме,
И брошен лук,
И с ним несется небесами
Громóвый звук.

Славянский мир объят пожаром,
Душа горит.
К каким ты нас уводишь чарам,
Бог Световит?

ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ

Строки напевные

1908

В ЯРКИХ БРЫЗГАХ

352. С ВЕТРАМИ

Душа откуда-то приносится ветрами,
Чтоб жить, светясь в земных телах.
Она, свободная, как вихрь владеет нами
В обманно-смертных наших снах.

Она как молния, она как буревестник,
Как ускользающий фрегат,
Как воскресающий отшедших в смерть кудесник,
С которым духи говорят.

Душа — красивая, она смеется с нами,
Она поет на темном дне.
И как приносится — уносится с ветрами,
Чтоб жить в безмерной вышине.

353. С ВЫСОКОЙ БАШНИ

С высокой башни
На мир гляжу я.
С железной башни
За ним слежу я.

Несется ветер,
Несется ветер,
Несется ветер,
Кругом бушуя.

Что́ миг текущий,
Что́ день вчерашний,
Что́ вихрь бегущий,
Как зверь, над пашней,
Бегущий мимо
Неуловимо,
Как гроздья дыма
Вкруг стройной башни.

На мир всегдашний
Светло гляжу я.
С высокой башни
За ним слежу я.
И злится ветер,
Кружится ветер
И мчится ветер,
Кругом бушуя.

⟨1907⟩

ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ

354. ОН МНЕ СНИЛСЯ

Он мне снился призраком долгие года,
Я ждала избранника, я ждала всегда.
Я не видя помнила, верила в него,
Не могла не слушаться сердца моего.

Светлая, холодная, думала всегда,
Как о солнце думает подо льдом вода.
Он смутил мне де́вичьи тающие сны,
Он дышал мне воздухом лета и весны.

И пришел неведомый, близко стал ко мне,
Я была — как облачко в солнечном огне.
Он взглянул так пристально, он вздохнул едва,
Говорил мне ласково стыдные слова.

Я, не видя, помнила, светлого, его,
И душа не вспомнила больше ничего.
Чем при нем исполнилась вся душа моя,
Что он сделал с девушкой — ах, не знаю я!

855. ЮНОЙ КУБАНКЕ

Когда я близ тебя, мне чудится Египет,
Вот — ночи Африки звездятся в вышине.
Так предвещательно и так тревожно мне, —
Фиал любви еще не выпит.

Еще касался я так мало черных глаз,
И ночь твоих волос я разметать не смею.
Я дам тебе века, царица, — будь моею,
Смотри: Вселенная — для нас!

ПРЕЛОМЛЕНИЕ

856. РОДНОЕ

Аллеи рек. Зеркальности озер.
Хрустальный ключ. Безгласные затоны.
Живая сказка — страшный темный бор.
Его вершин немолкнущие звоны.

Воздушность ив. Цветы родных полей.
Апрельский сон с его улыбкой маю.
Я целый мир прошел в мельканьи дней,
Но лучше вас я ничего не знаю.

857. У МОРЯ

Мы зависим от дней и ночей,
От вещей, от людей и погоды.
Мы в разлуке с душою своей,
С ней не видимся долгие годы.
Мы бряцаем металлом цепей,
Мы заходим под темные своды.
Мы из целой природы, из всей,
Взяли рабство, не взявши свободы.

Но приди лишь на влажный песок,
Освеженный морскими волнами,
Посмотри, как простор здесь широк,
Как бездонно здесь небо над нами;
Лишь услышь, чуть подслушай намек,
Набаюканный сердцу морями, —
Ты — как дух, ты окончил свой срок,
Ты — как дух над безбрежными снами.

В многопевности сказок морских,
В бестелесности призрачной влаги,
Где испод изначальностей тих,
Ни для чьей не доступен отваги, —
В отрешеньи от шумов людских
Как мы смелы здесь, вольны и наги!
Ты здесь — первый несозданный стих
Из еще не рассказанной саги.

(1905)

ОЖЕРЕЛЬЕ

858. ЧЕРВОННЫЕ СВЯТКИ

Святая неделя, Червонные святки,
Тут солнце — в веселии нашем сполна
Дарит нам сиянье свое без оглядки,
А ночи вещает: мол, ты не нужна.

Во всё продолженье пасхальной седьмицы
Как солнце взошло — так не хочет зайти,
И долго поют нам полдневные птицы,
И долго хотят нам все травы цвести.

359. ОБЛАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Если хочешь в край войти вечно-золотой,
Облачную лестницу нужно сплесть мечтой,
Облачные лестницы нас ведут туда,
Где во сне бываем мы только иногда.

А и спать не нужно нам, лишь возьми росу,
Окропи вечернюю света полосу
И, скрепивши облачко месячным лучом,
В путь иди, не думая больше ни о чем.

МОРАНА

360. ОСЕНЬ

Осень. Мертвый простор. Углубленные грустные дали.
Завершительный ропот шуршащих листвою ветров.
Для чего не со мной ты, о друг мой, в ночах,
в их печали?
Столько звезд в них сияет в предчувствии зимних
снегов.

Я сижу у окна. Чуть дрожат беспокойные ставни.
И в трубе без конца, без конца — звуки чьей-то мольбы.
На лице у меня поцелуй — о, вчерашний, недавний.
По лесам и полям протянулась дорога судьбы.

Далеко, далеко по давнишней пробитой дороге,
Заливаясь, поет колокольчик, и тройка бежит.
Старый дом опустел. Кто-то бледный стоит на пороге.
Этот плачущий — кто он? Ах, лист пожелтевший шуршит.

Этот лист, этот лист... Он сорвался, летит, упадает...
Бьются ветки в окно. Снова ночь. Снова день.
Снова ночь.
Не могу я терпеть. Кто же там так безумно рыдает?
Замолчи. О, молю! Не могу, не могу я помочь.

Это ты говоришь? Сам с собой — и себя отвергая?
Колокольчик, вернись. С привиденьями страшно мне
быть.
О, глубокая ночь! О, холодная осень! Немая!
Непостижность судьбы: расставаться, страдать и любить.

(1905)

361. ПРОЩАЙ

Мне жаль. Бледнеют лепестки.
Мне жаль. Кругом всё меньше света.
Я вижу: в зеркале реки
Печаль в туманности одета.

Зажглась вечерняя звезда —
И сколько слез в ее мерцаньях.
Прощай. Бездонно. Навсегда.
Застынь звездой в своих рыданьях.

(1905)

362. ВОЗГЛАС БОЛИ

Я возглас боли, я крик тоски.
Я камень, павший на дно реки.

Я тайный стебель подводных трав.
Я бледный облик речных купав.

Я легкий призрак меж двух миров.
Я сказка взоров. Я взгляд без слов.

Я знак заветный, — и лишь со мной
Ты скажешь сердцем: «Есть мир иной».

МАЙЯ

363. ИЗ СТРАНЫ КВЕТЦАЛЬКОАТЛЯ

Братья мыслей, вновь я с вами, я, проплывший океаны,
Я, прошедший срывы, скаты голых скал и снежных гор,
Гордый жаждою увидеть вечно-солнечные страны,
Я принес для звучных песен новый красочный убор.

Я спою вам час за часом, слыша вой и свист мятели,
О величии надменном вулканических вершин,
Я спою вам о колибри, я спою нежней свирели
О стране, где с гор порфирных смотрит
кактус-исполин.

О стране, где в чаще леса расцветают орхидеи,
Где полями завладели глянцевитости агав,
Где проходят ягуары, где шуршат под пальмой змеи,
Где гремят цикады к солнцу меж гигантских
пышных трав.

О стране, где мир созвездий предстает иным узором,
Где сияет каждый вечер символ жизни — Южный
Крест,
Где высоко в странном небе опрокинуто пред взором
Семизвездье скандинавов — Ursa Major[1] льдяных мест.

Слыша северных мятелей стоны, бреды, вскрики, шумы,
В час радений наших зимних, при мерцании свечей,
Я вас вброшу в дождь цветочный из владений
Монтезумы,
Из страны Кветцалькоатля, из страны крылатых змей.

⟨1905⟩

---

[1] Большая Медведица (лат.). — *Ред.*

364. ИЗУМРУДНАЯ ПТИЦА

Kat yacunah ma ya ma va.[1]
Майские письмена

В Паленке, меж руин, где майская царица
Велела изваять бессмертные слова,
Я грезил в яркий зной — и мне приснилась птица
Тех дней, но и теперь она была жива.

Вся изумрудная, с хвостом нарядно-длинным,
Как грезы — крылышки, ее зовут Кветцаль.
Она живет, как сон, в горах, в лесу пустынном,
Чуть взглянешь на нее — в душе поет печаль.

Красива птица та, в ней вешний цвет наряда,
В ней тонко-нежно всё, в ней сказочен весь вид.
Но как колодец — грусть ее немого взгляда,
И чуть ей скажешь что — сейчас же улетит.

Я грезил. Сколько лет, веков, тысячелетий —
Сказать бы я не мог, — и для чего считать?
Мне мнилось: меж могил, резвясь, играют дети,
И изумруд Кветцаль не устает блистать.

Гигантской пеленой переходило море
Из края в край Земли, волной росла трава.
Вдруг дрогнул изумруд — и на стенном узоре
Прочел я скрытые в ваянии слова:

«О, ты грядущих дней! Коль ум твой разумеет,
Ты спросишь: кто мы? — Кто? Спроси зарю, поля,
Волну, раскаты бурь, и шум ветров, что веет,
Леса! Спроси любовь! Кто мы? А! Мы — Земля!»

⟨*1905*⟩

---

[1] Кто мы? А! Зарю спроси, спроси лес. ⟨Перевод К. Д. Бальмонта в сборнике «Звенья (Избранные стихи 1890—1912)», М., 1913. — *Ред.*⟩

365. ОРХИДЕЯ

Я был в тропических лесах,
Я ждал увидеть орхидеи.
О, эти стебли точно змеи,
Печать греха на лепестках, —

Того, что здесь грехом зовется
Во мгле мещанствующих дней.
О, гроздья жадных орхидей,
Я видел, как ваш стебель вьется.

В переплетенности стволов
Друг друга душащих растений
Среди пьянящих испарений
Я рвал любовный цвет грехов.

Склонясь над чашей поцелуйной,
В раскатном рокоте цикад
Вдыхал я тонкий сладкий яд,
Лелейно-зыбкий, многоструйный.

Как будто чей-то нежный рот,
Нежней, чем рот влюбленной феи,
Вот этот запах орхидеи
Пьянит, пьянит и волю пьет.

⟨1905⟩

366. ЗЕРКАЛО

Я зеркало ликов земных
И собственной жизни бездонной.
Я всё вовлекаю в свой стих,
Что взглянет в затон углубленный.

Я властно маню в глубину,
Где каждый воздушно-удвоен,
Где все причащаются сну,
Где даже уродливый строен.

Тяжелая поступь живых,
Пред глубью меняясь, слабеет.
Радение сил неземных
Незримо, но явственно реет.

Душа ощущает: «Тону»,
Глаза удивляются взору.
И я предаю тишину
Запевшему в вечности хору.

367. МЕКСИКАНСКИЙ ВЕЧЕР

Заснул Чапультепек — роскошный парк ацтеков,
Растоптанных в борьбе за красные цветы.
Затих напрасный шум повторных человеков.
Созвездья дружные сияют с высоты.

О чем ты думаешь, печальница немая,
Ты, переплывшая Атлантику со мной,
Ты, встретившая дни единственного мая,
Как море луч луны — ласкающей волной?

Мы здесь с тобой одни, нам ближе тень Кортеса,
Чем призраки друзей в туманностях Земли.
К нам зовы не дойдут из северного леса,
Всё нам привычное растаяло вдали.

Воспоминания, что призрачно-угрюмы,
Да не восстанут вновь из-за громады вод.
Здесь агуэгуэтль — любимец Монтезумы —
Своей седой листвой сложился в мирный свод.

Воздушный ветерок в ветвях шуршит напевно,
Уйдем от наших дум — всецело — в наши сны.
Вечерней Мексики лучистая царевна,
Венера манит нас с прозрачной вышины.

Богиня с прядями волос лучисто-длинных,
Венера влюблена по-прежнему в любовь
И шлет нам светлый зов из тучек паутинных:
Горите, вы — вдвоем, любите вновь и вновь.

А Иctаксигуатль, венчанная снегами,
И Попокатепетль в уборе из снегов
Свой горный и земной возносят лик пред нами:
Любите, вы — вдвоем, доверьтесь власти снов.

368. ИЗ ЦИКЛА «ДОВРЕМЕННАЯ»

Ты любишь только верные слова,
Ты видишь только вечные сиянья,
Живешь, как первозданная листва,
Как первых трав роса и трепетанья.

В твоих глазах — глубинный изумруд
Волны, узнавшей зыбь и высь впервые.
Ты с нами, здесь, ты светишься — вот тут,
Но между нами — бездны вековые.

ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОГРАД

Слова поцелуйные

1909

---

369. ОТЧЕГО?

Отчего душа болит, а уму не говорит?
Я люблю. Я люблю.

Отчего огонь в крови, хоть зови, хоть не зови?
Я люблю. Я люблю.

Отчего на небесах звезды ясные в венцах?
Я люблю. Я люблю.

Отчего из темноты дышат пьяные цветы?
Я люблю. Я люблю.

Отчего в журчаньи струй так и бьется поцелуй?
Я люблю. Я люблю.

Отчего к цветку цветок посылает лепесток?
Я люблю. Я люблю.

Отчего в твоих глазах и желание и страх?
Я люблю. Я люблю.

Отчего ж ты, отчего не у сердца моего?
Я люблю. Я люблю.

⟨1907⟩

870. РАДУЙСЯ

Радуйся — Сладим-река, Сладим-река течет,
Радуйся — в Сладим-реке, в Сладим-реке есть мед,
Радуйся — к Сладим-реке, к Сладим-реке прильнем,
Радуйся — с Сладим-рекой мы в рай, мы в рай
войдем,
Радуйся — Сладим-река поит и кормит всех,
Радуйся — Сладим-река смывает всякий грех,
Радуйся — в Сладим-реке вещанье для души,
Радуйся — к Сладим-реке, к Сладим-реке спеши,
Радуйся — Сладим-река, Сладим-река есть рай,
Радуйся — в Сладим-реке Сладим-реку вбирай,
Радуйся — Сладим-река, Сладим-река есть мед,
Радуйся — Сладим-река, Сладим-река зовет.

871. ПОГОНЯ

Чей это топот? — Чей это шепот? — Чей это светится
глаз?
Кто это в круге — в бешеной вьюге — пляшет и путает
нас?

Чьи это крылья — в дрожи бессилья — бьются и снова
летят?
Чьи это хоры? — Чьи это взоры? — Чей это блещущий
взгляд?

Чье это слово — вечно и ново — в сердце поет,
как гроза?
Чьи неотступно — может, преступно — смотрят и смотрят
глаза?

Кто изменился — кто это свился — в полный змеиности
жгут?
Чьи это кони — белые кони — в дикой погоне — бегут?

(1907)

372 ПРОЩАНИЕ

Ты прости-прощай, тело белое,
Тело белое, лик земной.
Ты лежишь теперь, онемелое,
Онемелое под луной.

Я жила в тебе, тебя нежила,
В тебе нежила сон венца.
Но меня всегда ты мятежило,
Ты мятежило без конца.

А теперь пора расставаться нам,
Расставаться нам — так всегда.
Нужно в небо мне — вновь скитаться там,
Вновь скитаться там, как звезда.

Я отдам тебя на съедение,
На съедение злым червям.
Всё же бывшее единение,
Единение — радость нам.

Ты служило мне зыбкой лестницей,
Зыбкой лестницей к вышине.
Я была тебе светлой вестницей,
Светлой вестницей в нежном сне.

И когда опять в мире встретимся,
В мире встретимся в должный час,
Друг в друге мы вмиг отметимся,
Вмиг отметимся блеском глаз.

Но хотя вдвойне возрождение,
Возрождение примет свет,
Для минувшего — возвращения,
Возвращения больше нет.

И любя любовь, и любя тебя,
И любя тебя вдвое вновь,
Будем счастливы, о былом скорбя,
О былом скорбя сквозь любовь.

378. ЗВЕЗДОЛИКИЙ

Лицо его было как солнце — в тот час, когда солнце
в зените,
Глаза его были как звезды — пред тем, как сорваться
с небес,
И краски из радуг служили как ткани, узоры и нити
Для пышных его одеяний, в которых он снова воскрес.

Кругом него рдянились громы в обрывных разгневанных
тучах,
И семь золотых семизвездий, как свечи, горели пред ним,
И гроздья пылающих молний цветами раскрылись
на кручах,
«Храните ли Слово?» — он молвил, мы крикнули
с воплем: «Храним».

«Я первый, — он рек, — и последний», — и гулко ответили
громы,
«Час жатвы, — сказал Звездоликий. — Серпы
приготовьте. Аминь».
Мы верной толпою восстали, на небе алели изломы,
И семь золотых семизвездий вели нас к пределам
пустынь.

⟨1907⟩

ХОРОВОД ВРЕМЕН

Всегласность

1909

874. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Poiché vivo per te sólo.[1]

Люблю тебя, люблю, как в первый час,
Как в первый миг внезапной нашей встречи.
Люблю тебя. Тобою я зажглась.
В моей душе немолкнущие речи.
И как мою любовь я назову?
Восторгом ли? Мученьем ли? Борьбою?
Ей нет конца, покуда я живу,
Затем что я живу одним тобою.

[1] Потому что живу только для тебя (итал.). — *Ред.*

ЗАРЕВО ЗОРЬ

ВСЕМ ТЕМ, В ЧЬИХ ГЛАЗАХ ОТРАЗИЛИСЬ МОИ ЗОРИ, ОТДАЮ Я ОТСВЕТ ИХ ОЧЕЙ.

1912

ДОЧЕРИ НОЧИ

875. СОЛНЫШКО-ВЁДРЫШКО

Солнышко-вёдрышко, красная де́вица, ходит по синему полю.
Ходит по небу, а смотрит на землю: хочет сменить свою долю.
«Будет, — сказала, — мне синего поля, хочется мне изумруда».
Солнышко-вёдрышко с неба уходит, хочет спуститься оттуда.
Красная де́вица сверху нисходит — алый сильнее румянец.
Воды на море от радости пляшут — белый затеяли танец.
Рощи и долы в цветах золотятся, сердце распелось у птицы.
Красная де́вица вся закраснелась: к ночи готовы — зарницы.

876. ОТ ПТИЦЫ К ПТИЦЕ

Ласточка день начинает весенний,
Летнюю ночь завершит соловей.
Пенься, мгновение, будь многопенней,
Свежих мгновений нам, ветер, навей.

Ранняя ласточка — год нам счастливый,
Слезы зимы до последней доплачь.
Тешиться будем разливчатой нивой,
Ночью — затянет скрипящий дергач.

Жаворонок вызвенит песни хрустально,
Скажет кукушка — жить много ль нам дней.
Мы приобщимся к земле изначально,
В осень же спросим про всё — журавлей.

877. ЗОЛОТОЕ СЛОВО

Осень обещала: «Я озолочу».
А зима сказала: «Как я захочу».
А весна сказала: «Ну-ка, ну, зима».
И весна настала. Всюду кутерьма.

Солнце золотится. Лютик — золотой.
Речка серебрится и шалит водой.
Родилась на воле, залила луга,
Затопила поле, стерла берега.

Там, где не достала, — лютик золотой,
Желтый одуванчик, — будет и седой.
Осень обещала. Помогла весна.
Ну, зима, пропала, хоть была сильна.

378. БЫЛИНКИ

Во мне запела двойная сказка,
Я слышу в роще звенящий зов.
Зеленоглазка и Синеглазка —
Хрустальность детских двух голосов.

«Ау!» — кричу я, «Ау!» — зову я,
«Ау!» двойное звучит в ответ.
К одной спешу я, мечтой целуя, —
Беглянка скрылась, простыл и след.

Мечтой целуя, к другой бегу я,
И голос нежный уж недалек.
Но только стебель глядит, колдуя,
И синий где-то — вдали — цветок.

379. ЗВЕЗДА ВЕЧЕРНЯЯ

1

Она была мечтой одета,
Светилась в новолунных снах
И в мерной зыби менуэта
Плыла, как лебедь на волнах.

Вся в кружевах, как лебедь черный
С его узорностью крыла.
А в тот же час в выси надгорной
Звезда вечерняя плыла.

2

Она была из Вальтер Скотта,
Она была и в этих днях.
И в зыби мерного гавота
Плыла, как лебедь на волнах.

Вся в кружевах, как лебедь черный
С его узорностью крыла.
А в тот же час в выси надгорной
Звезда вечерняя плыла.

8

Она была из сказок света,
Из сказок сумрака в лучах.
И как зима вступает в лето,
Вступила в вальс, кружилась в снах.

Вся в кружевах, как лебедь черный
С его узорностью крыла.
А в тот же час за мир надгорный
Звезда вечерняя зашла.

⟨*1909*⟩

880. В ЗАРЕВЕ ЗОРЬ

С сердцем ли споришь ты? Милая! Милая!
С тем, что певуче и нежно, не спорь.
Сердце я. Греза я. Воля я. Сила я.
Вместе оденемся в зарево зорь.

Вместе мы встретили светы начальные,
Вместе оденемся в черный покров.
Но не печальные — будем зеркальные
В зареве зорном мерцающих снов.

⟨*1910*⟩

881. ПОСЛЕДНЯЯ ЗАРЯ

Я вижу свет моей зари последней.
Она вдали широко разлилась.
Безгласный звон. Мольбы цветной обедни.
Псалмы лучей. Предвозвещенный час.

И служба дня сменяется вечерней.
Встает луна — и паутинит нить.
Чтобы душе, где пытки, — равномерней
Для всенощной смиряющей светить.

⟨1909⟩

КОСТЕР

382. МОРСКОЙ

Был светел — и загашен, как свеча.
Был кроток — и сожжен мой дом над бездной.
Приди же, тьма и царствие меча,
Вскипай, душа, для музыки железной.

Я сделаюсь разбойником морей,
Чтобы топить чужие караваны
Червленых, синих, черных кораблей,
Когда они войдут в мои туманы.

383. УДЕЛ

Я не планета. Судьбы — свиты.
И в безднах неба, навсегда,
Я лишь комета без орбиты,
Я лишь падучая звезда.

384. ПЕЧАЛЬ

Сквозь тонкие сосновые стволы —
Парча недогоревшего заката.
Среди морей вечерней полумглы —
Нагретая смолистость аромата.

И море вод, текучий океан,
Без устали шумит, взращая дюны.
О, сколько дней! О, сколько стертых стран!
Звучите, несмолкающие струны!

883. ШОРОХИ

Шорох стеблей, еле слышно шуршащих,
Четкое в чащах чириканье птиц,
Сказка о девах, в заклятии спящих,
Шелест седых, обветшавших страниц.
Лепет криницы в лесистом просторе,
Сонные воды бесшумных озер,
Взоры и взоры в немом разговоре —
Чей это, чей это, чей это хор?

Не узнаешь,
Не поймешь —
Это волны
Или рожь.
Это лес
Или камыш,
Иль с небес
Струится тишь.
Или кто-то
Точит нож.
Не узнаешь,
Не поймешь.
Видны взоры —
Взор во взор,
Слышно споры,
Разговор.
Слышны вздохи,
Да и нет.
В сером мохе —
Алый цвет.
Тает. Таешь?
Что ж ты? Что ж?
Не узнаешь,
Не поймешь.

(1910)

886. ГИЕРОГЛИФЫ ЗВЕЗД

Я по ночам вникал в гиероглифы звёзд,
В те свитки пламеней в высотах совершенных.
Но немы их слова. И дух в томленьях пленных
Не перекинет к ним их достающий мост.

Их повесть явственна и четко различима,
Но дух в них не найдет возжажданный ответ.
На все мои мольбы они ответят: «Нет».
Промолвят: «Миг живи, как смесь огня и дыма.

Гори. Еще гори, покуда не сгоришь.
Когда же догорит лампада золотая,
Созвездье между звезд — взнесешься ты, блистая,
Узнавши звездную — в провалах ночи — тишь.

Но если ты душой ненасытимо-жгучей
Возжаждал то продлить, что длиться миг должно,
Ты камнем рушишься на мировое дно, —
Созвездием не став, сгоришь звездой падучей».

ЦВЕТОЧНЫЙ СОН

887. МИРРА

Мне чудится, что ты в одежде духов света
Витаешь где-то там — высоко над Землей,
Перед тобой твоя лазурная планета,
И алые вдали горят за дымной мглой.

Ты вся была полна любви невыразимой,
Неутоленности, как Сафо оных дней, —
Не может с любящим здесь слитным быть любимый,
И редки встречи душ при встрече двух людей.

Но ты, певучая, с устами-лепестками,
С глазами страстными в дрожащей мгле ресниц,
Как ты умела быть нездешней между нами,
Давала ощущать крылатость вольных птиц.

Любить в любви, как ты, так странно-отрешенно,
Смешав земную страсть с сияньем сверхземным,
Лаская, быть, как ты, быть любящим бездонно —
Сумел бы лишь сюда сошедший серафим.

Но, на Земле живя, ты Землю вся любила,
Не мертвой ты была — во сне, хоть наяву.
Не в жизненных цепях была живая сила,
Но возле губ дрожал восторг: «Живу! Живу!»

И шествуя теперь, как дух, в лазурных долах,
Волнуешь странно ты глядящий хор теней,
Ты даже там идешь с гирляндой роз веселых,
И алость губ твоих в той мгле всего нежней.

⟨1905⟩

888. ТОСКА СТЕПЕЙ
(ПОЛОНЯНКА СТЕПЕЙ ПОЛОВЕЦКИХ)

Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит,
Звон стеблей, ковыль, поет, поет, поет,
Серп времен горит сквозь сон, горит, горит,
Слезный стон растет, растет, растет, растет.

Даль степей — не миг, не час, не день, не год,
Ширь степей — но нет, но нет, но нет путей,
Тьма ночей — немой, немой тот звездный свод,
Ровность дней — в них зов, но чей, но чей, но чей?

Мать, отец, где все, где все — семьи моей?
Сон весны — блеснул, но спит, но спит, но спит,
Даль зовет — за ней, зовет, за ней, за ней,
Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит.

889. ВЕСЕННИЕ СОСНЫ

Какие стройные стволы
Воздушно-вознесенных сосен.
В них — чернь зеленой полумглы
Давно перегоревших вёсен.

Но все, но все концы ветвей
Хранят весенние побеги.
И свежий бархат их светлей
В первично-изумрудной неге.

А снизу — дышит изумруд
Росой обрызганного луга.
А дальше — в озере плывут
Два лебедя, любя друг друга.

И лебединое крыло,
Крыла касаяся воздушно,
Велит тебе взглянуть светло
И полюбить меня послушно.

890. СЧЕТ

Счесть в лесу хотел я сосны:
Сбился в пьяном духе смол.
Счесть с тобой хотел я вёсны:
Поцелуям счет не свел.

Счесть хотел цветочки луга,
Кашки розовой полки.
Да взглянули друг на друга —
В войске спутались значки.

Всё лицо — в цветочной пыли,
Мир горит, во мгле сквозя.
И, обнявшись, мы решили:
Ничего считать нельзя.

КАМЕНЬ ГОЛУБОЙ

391. ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

— Отчего у тебя голубые глаза?
— Оттого, что, когда пролетала гроза,
Были молнии рдяны и сини,
Я смотрела на пляску тех синих огней
И на небо, что всё становилось синей,
А потом я пошла по пустыне,
Предо мной голубел и синел зверобой,
Колокольчик сиял и звенел голубой,
И пришла я в наш дом, на ступени,
А над ними уж ночь, голубея, плыла,
И весна королевой лазури была,
И душисто синели сирени.

(1911)

392. КАК НОЧЬ

Она пришла ко мне, молчащая, как ночь,
Глядящая, как ночь, фиалками-очами,
Где росы кроткие звездилися лучами,
Она пришла ко мне — такая же точь-в-точь,
Как тиховейная, как вкрадчивая ночь.

Ее единый взгляд проник до глуби тайной,
Где в зеркале немом — мое другое я,
И я — как лик ея, она — как тень моя,
Мы молча смотримся в затон необычайный,
Горящий звездностью, бездонностью и тайной.

ЛУЧЕИЗЛОМ

393. КОНИ БУРЬ

Ржали громы по лазури,
Разоржались кони бурь
И, дождавшись громкой бури,
Разрумянили лазурь.

Громы, рдея, разрывали
Крепость мраков — черный круг,
В радость радуги играли,
Воздвигали рдяность дуг.

Завершив свой подвиг трудный,
Ливень струй освободив,
Мир растений изумрудный
Весь прикрыли мглою грив.

И промчались в небе взрытом,
Арку радуги дожгли
И ушли, гремя копытом.
Чу, последний гром вдали.

⟨1910⟩

894. ОСЕННИЙ ЛЕС

Лесная чаща. В изумруд
Еще недавно там и тут
Рубины изливались, рдея.
Теперь парча листвы сполна —
Как дымно-желтая стена,
Броня дерёв шуршит, редея.
Цвет постаревший, — не седой,
А серо-пепельный, подседный, —
Скользит по этой сказке медной
И, вспыхнув, гаснет чередой.
Так в час вечерний козодой
В лазури неба перед нами
Мелькнет неверными крылами,
Свершая быстро путь витой,
И вдруг исчезнет над водой,
Где, взор души слияв с мечтами,
Последний медлит луч златой.

ПОТУХШИЕ ВУЛКАНЫ

895. ПРИБЛИЖАЯСЬ К АЛЕКСАНДРИИ

Заходящее солнце уходило за море,
Сердоликовый цвет в небесах был разлит.
И шумело мне море в многопевном узоре:
Вот ты прибыл в святую страну пирамид.

Желтизна побережья отшумевшей столицы,
Где багряные сказки в столетьях зажглись.
Над преддверьем в Египет — длиннокрылые птицы.
Вот откроется Нил! Да, я твой, Озирис.

896. ЕГИПЕТ

Страна, где нет ни гроз, ни грома
В размерной смене тьмы и дня,
Ни молнебыстрого излома
Живого вышнего огня.

Страна без радуги окружной,
Что семикратно славит свет,
Твой край — и северный, и южный —
Однообразием одет.

Взнеслась безгласно пирамида —
Маяк для тысячи дорог.
Но ищет мертвого Изида,
И Озирис восстать не мог.

Восстал — но не живой для жизни,
А как властитель мертвецов.
И весь Египет — в вечной тризне
Среди бесчисленных гробов.

⟨1911⟩

897. ПОЛЯ ЕГИПЕТСКИЕ

Плавно, словно иноходец,
Скачет ослик. Путь далек.
Оросительный колодец
Ноет, воет, как гудок.

Два вола идут по кругу,
Всё по кругу, без конца,
Век прикованы друг к другу
Волей знойного Творца.

И в песчаные пространства,
Дождь которых не кропил,
Для зеленого убранства
Мутной влаги ссудит Нил.

Чтоб другие были сыты,
Чтоб во мне тупой был страх,
Мной пространства грязи взрыты, —
Буду, был и есмь феллах.

Темный, голый, червь надземный,
Пастью пашни взят и сжат,
Есмь, как был я, подъяремный,
Восемь тысяч лет назад.

898. ГДЕ Б Я НИ СТРАНСТВОВАЛ

Где б я ни странствовал, везде припоминаю
Мои душистые леса.
Болота и поля, в полях — от края к краю —
Родимых кашек полоса.

Где б ни скитался я, так нежно снятся сердцу
Мои родные васильки.
И в прошлое открыв таинственную дверцу,
Схожу я к берегу реки.

У старой мельницы привязанная лодка, —
Я льну к прохладе серебра.
И так чарующе и так узывно-четко
Душа поет: «Вернись. Пора».

⟨1911⟩

399. ПРЕКРАСНЕЙ ЕГИПТА

Прекрасней Египта наш Север.
Колодец. Ведерко звенит.
Качается сладостный клевер.
Горит в высоте хризолит.

А яркий рубин сарафана
Призывнее всех пирамид.
А речка под кровлей тумана...
О, сердце! Как сердце болит!

⟨1911⟩

400. РУБИЩЕ

Египет — рубище с роскошной бахромой,
Куда уводишь ты кораблик малый мой?

Зачем, о царственный, в веках текущий Нил,
В пустыню желтую меня ты заманил?

От скал Аравии до тех Либийских гор
Мне мал — хоть скудному — воспетый твой простор.

От черной Нубии до Дельты голубой
Не усладился я, разливный Нил, тобой.

Мне море чудится, — вспененным я рожден,
Я океанскою волной освобожден.

А суша мне — тюрьма, оковны сонмы скал, —
Я дома прочного нигде не воздвигал.

И не хочу я жить, как тень, средь верениц
Тяжелых пирамид, раскрашенных гробниц.

Покоя не хочу жрецов богов-зверей, —
Едва чего коснусь, лечу я прочь скорей.

Тысячелетия, сомкнутые в звено,
Тысячекратный раз шумит веретено.

В тысячекратности молельный свет свечи.
Сознанье яркое, мой дух отсюда мчи.

Что длилось — рушилось. Что было — то прошло.
Кораблик малый мой, раскрой свое крыло.

Я птица вольная. Я два крыла раскрыл.
Я вьюсь, пою, смеюсь. Прощай, мне чуждый Нил.

⟨1911⟩

401. ДВОЙНИК

Твой саван сияет, Египет,
Ты в белые ткани одет.
Мед жизни не весь еще выпит,
Есть в солнце и взрывность и свет.

Еще в еженощные пляски
Созвездья уводят себя.
И мир до предельной развязки
Пребудет, бессмертье любя.

И девушку с ликом газели
Влюбленный светло обоймет,
И в этом ликующем теле
Возникнет чарующий мед.

Чу! Сириус нам возвещает,
Что прибыл разлив в Сильсиле,
Качает река нас, качает.
Две кобры на царском челе!

⟨1911⟩

402. ВЫШНИЕ ЗНАМЕНИЯ

Глядишь ли ты в лазоревые дали
Ночных небес?
Шатры отшедших там, светлея, встали, —
Лучистый лес.

Мы говорим: созвездие там Девы,
Стрельца и Льва.
Но там, в полях, растут свои посевы,
Своя трава.

И каждый, кто с земным разъят мгновеньем,
Тот ввечеру
Зажжет свечу — и ставит, с означеньем,
Ее к шатру.

И знаменья тех свеч неисчислимых
Горят всю ночь,
Покуда Ночь в своих глубоких дымах
Уходит прочь.

И между тем как все земные свечи,
Сгорев дотла,
Оделись в мрак, — пресветлый лик предтечи,
Заря светла.

И свеч небесных гаснут вереницы.
Где все шатры?
Одна свеча властительной Денницы
Глядит с горы.

(1911)

БЕЛЫЙ ЗОДЧИЙ

Таинство четырех светильников

КОСТИ ЕГО — СЕРЕБРО, ТЕЛО ЕГО — ЗОЛОТОЕ, ВОЛОСЫ — КАМЕНЬ-ЛАЗУРЬ.

Из египетской книги волшебств

1914

ЗЛАТЫЕ ВЕДРА

Пение Влаги — Земля. Первая песня — Огонь. Главная песня есть Воздух. Вставная песня есть Солнце. Песня последняя — Небо. Чти пятикратность в Дожде.

«Упанишады»

403. БУБЕНЧИКИ

Качается, качается
Бубенчик золотой.
Душа моя встречается
С давнишнею мечтой.

Как будто изначальная
Означилась струя.
Прозрачная, хрустальная,
Поет мечта моя.

Бубенчики весенние
На сказочном лугу.
Душа моя всё пленнее,
Быть вольным не могу.

В неволе я сияющей,
Бубенчики поют.
Я тающий, мечтающий,
В душе — один уют.

Она в немом цветении,
В играющем огне,
И кто-то в отдалении
Родной спешит ко мне.

Мерцающие венчики
Мне льют медвяный яд.
И слышу я: бубенчики
За лесом там звенят.

404. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Неужели четверть века
Что-нибудь
Для такого человека,
Пред которым дальний путь!
О, неправда! Это шутка.
Разве я работник? Нет!
Я лишь сердцем, вне рассудка,
Жил — как птица, как поэт,
Я по снегу первопутка
Разбросал, смеясь, свой след.
Я порою тоже строю
Скрепы нежного гнезда.
Но всегда лечу мечтою
В неизвестное Туда.
Всё же, милых покидая,
Милых в сердце я храню,
Сердцем им не изменю.
Память — горница златая,
Верь крылатым — и огню!

Январь 1912

405. МУЗЫКА

Когда и правая и левая рука
Чрез волшебство поют на клавишах двуцветных,
И звездною росой обрызгана тоска,
И колокольчики журчат в мечтах рассветных, —

Тогда священна ты, — ты не одна из нас,
А ты как солнца луч в движении тумана,
И голос сердца ты, и листьев ты рассказ,
И в роще дремлющей идущая Диана.

Всего острей поет в тебе одна струна —
Чрез грезу Шумана и зыбкий стон Шопена.
Безумие луны! И вся ты — как луна,
Когда вскипит волна, но падает, как пена.

⟨1913⟩

406. В ГОСТИНОЙ

Я в гостиной стоял — меж нарядных, утонченных,
Между умных, играющих в чувства людей.
Средь живых мертвецов, меж романов оконченных,
Я вскричал всей душой потрясенной своей:

«Есть ли где еще звери в могучем количестве?
Есть ли тигр королевский и смелые львы?
Есть ли где бегемот — в безмятежном величестве
Как коряга встающей из вод головы?»

407—409. *ИЗ ЦИКЛА «ПЛАМЯ МИРА»*

1

Мы говорим, но мы не знаем,
Чтó есть воистину любовь.
Но если ты овеян раем,
Свое блаженство славословь.

И если взят ты поцелуем,
Что вот поет в твоей мечте,
Ликуй, — мы все светло ликуем,
Скользя на призрачной черте.

И та черта вдвойне прекрасна,
Затем, что тает, чуть представ.
Весна — пожар, душа — всевластна,
Красивы зори в море трав.

2

Помню я, в моей счастливой детской
Пела птичка — не синичка, канареечка.
Я простой мальчонка был, не светский,
Был зверенком, — у зверенка есть лазеечка.

Я смотрел на луч на половице,
Как в окне он по-иному паутинится,
Как лампадка теплится в божнице,
Как в углу ручной мой еж лежит, щетинится.

Целый мир мне — малая кроватка,
Я зажмурюсь — свет в глазах играет красками,
Пляшут искры, всё во мне загадка,
Каждый шорох шепчет тайну, манит сказками.

Там в саду жужжать не перестанут,
Точно струны, шмель тяжелый, пчелы с осами.
В кладезь вечный миги эти канут,
Месяц страсти встанет красный над утесами.

Правят миром страшные Старухи,
И давно уж не звенит мне канареечка.
Но любил я так — как любят духи,
Ах ты, птичка-солнцеличка, златофеечка!

8

Тринадцать лет! Тринадцать лет!
Ужели это много?
Звучит напев, играет свет.
Узнать любовь в тринадцать лет!
Скажите, ради бога.

Тринадцать лет! Тринадцать лет!
Ужели это мало?
Ведь вдвое — жизнь, когда — поэт,
И вдвое — мысль, и вдвое — свет,
И пенье крови — ало.

Товарищ раз пришел хмельной,
И не один, а с нею.
Ее оставил он со мной,
Уйдя, зажег весну весной,
И вот я пламенею.

Но кто ж та странная была,
Кого я обнял сладко?
Она была, как мысль, светла,
Хоть прямо с улицы пришла,
Гулящая солдатка.

Но вот, хоть мной утрачен счет
Всех дрогнувших со мною,
Всё ж стих мой верный воспоет
Того, с кем первый пил я мед,
Кто дал припасть мне к зною.

О, страх и сладость — вдруг упасть
С горы крутой, робея!
Восторг — впервые ведать страсть,
И цельным быть, и быть как часть,
Тесней, еще теснее!

Достоин любящий — венца,
И волен соколенок.
И с нежной бледностью лица
Она шептала без конца:
«Мой милый! Мой миленок!»

Тринадцать лет! Тринадцать лет!
Мы в это время дети.
Но вот, чтоб ведать этот свет,
Готов я встретить пытку бед
Тринадцати столетий!

(1913)

ЖУЖЖАНЬЕ СТРУН

> И ты сломана будешь, Земля.— Не скорби. — Да, и ты, даже ты. — Не скорби. — О любви ли ты будешь печалиться? — Огорчаться на то, что покрыла собою поверхность Воды? — Огорчаться на длительность Времени?
>
> *Океанийская песнь*

410. ГАМЕЛАНГ

Гамеланг — как море — без начала,
Гамеланг — как ветер — без конца.
Стройная яванка танцевала,
Не меняя бледного лица.

Гибкая, как эта вот лиана,
Пряная, как губы орхидей,
Нежная, как лотос средь тумана,
Что чуть-чуть раскрылся для страстей.

В пляске повторяющейся — руки,
Сеть прядет движением руки,
Гамеланга жалуются звуки,
В зыбком лёте вьются светляки.

Над водой, где лотос закачался,
Обвенчался с светляком светляк,
Разошелся, снова повстречался, —
Свет и мрак, и свет, и свет, и мрак.

Ход созвездий к полночи откинут,
В полночь засвечается вулкан.

Неужели звуки эти минут?
В этой пляске — сказка вещих стран.

За горой звенит металл певучий,
Срыв глухой и тонкая струна.
Гамеланг — как смерть сама — тягучий,
Гамеланг — колодец снов, без дна.

411. ЗЕРКАЛО

Ширяют ласточки над зеркалом пруда.
Летят за мошками. Летают ради шутки.
Плывут от берега до берега две утки.
За ними длинная мерцает борозда.
Но вот уж кончилась игра мгновенной зыби.
И день окончился. Горит одна звезда.
Вечерний зов к душе. В безвестное Туда.
Но подожду еще, к земной прикован глыбе.

1912
Ява

412. ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Австралийский черный лебедь на волне,
Словно в сказке, на картинке, виден мне.

Настоящий, проплывает предо мной,
Весь змеиный, весь узорный, вырезной.

И воистину влечет мечту в игру
Настоящими прыжками кенгуру.

И в хранимом зачарованном прудке
Светят лотосы во влажном цветнике.

Голубеет эвкалипта стройный ствол,
Куст невиданной акации расцвел.

Как колибри, медосос припал к цветку,
Птица-флейта засвирелила тоску.

И хохочут зимородки по ветвям,
Словно в сказке, что сказали в детстве нам.

Только это всё лишь малый уголок, —
Громче пенья птиц — на фабрике гудок.

Нет Австралии тех детских наших дней:
Вся сгорела между дымов и огней.

Рельсы врезались во взмахи желтых гор,
Скован, сцеплен, весь расчисленный, простор.

Там, где черные слагали стройный пляс, —
Одинокий белоликий волопас.

Там, где быстрая играла кенгуру, —
Овцы, овцы — поутру и ввечеру.

Миллионная толпа их здесь прошла,
В холодильники замкнуты их тела.

Замороженные трупы увезут —
Овцы новые пасутся там и тут.

И от города до города всегда
Воют, копоть рассевая, поезда.

И от улицы до улицы свисток, —
Вся и музыка у белого — гудок.

Сами выбрали такой себе удел,
Что их белый лик так грязно посерел.

Обездолили весь край своей гурьбой.
Черный лебедь, песнь прощальную пропой.

1912
Австралия

413. ТИШЬ

Вот она — неоглядная ширь океана, который зовется Великим
И который Моаной зовут в Гавайики, в стране Маори.
Человек островов, что вулканами встали, виденьем возник смуглоликим.
И кораллы растут, и над синей волной — без числа острова-алтари.

(1912)

ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО

Корми — как Земля кормит, учи — как Земля учит, люби — как Земля любит.

Русская поговорка

414. А КРОВЬ?

А кровь? А кровь? Она течет повсюду.
И это есть разлитие Зари?
Душа, терзаясь, хочет верить чуду.
Но нежных слов сейчас не говори.

Я чувствую жестокую обиду.
Я слышу вопль голодных матерей.
И как же я в свое блаженство вниду,
Когда есть боль вкруг радости моей?

Всё ж ведаю, что радость неизбежна.
Но от лучей да поделюсь огнем.
Склоняюсь к темным. Горько мне и нежно.
О боль души! Замолкнем и уснем.

415. БЕЗ ПРЕДЕЛА

Снежная равнина без предела.
По краям всё лес, и лес, и лес.
Почему так стынет это тело?
Отчего напрасно ждешь чудес?

Черные и серые деревни.
Зябкое, голодное лицо.
Отчего тот голод — страшный, древний?
Кто сковал железное кольцо?

Белая равнина без предела.
Льнет мятель, снежинками шурша.
Отчего так сердце онемело?
Как же в плен попала ты, душа?

416. ТЕ ЖЕ

Те же дряхлые деревни,
Серый пахарь, тощий конь.
Этот сон уныло-древний
Легким говором не тронь.

Лучше спой здесь заклинанье
Или молви заговóр,
Чтоб окончилось стенанье,
Чтоб смягчился давний спор.

Эта тяжба человека
С неуступчивой землей,
Где рабочий, как калека,
Мает силу день-деньской.

Год от года здесь невзгода
И беда из века в век.
Здесь — жестокая природа,
Здесь — обижен человек.

Этим людям злое снится,
Разум их затянут мхом,
Спит — и разве озарится
Ночью красным петухом.

⟨1913⟩

417. СЛОВО

От моря до моря другого,
От воды до великой воды
Смутьянило мертвое слово —
Не песню рождало, а льды.

Бродило как будто благое,
Ходило как вольная весть.
«Пребудьте в могильном покое.
Молчите. Вам нечего есть.

Молчите. За вас в говорильне
К словам громоздятся слова.
Могильнее. Тише. Могильней.
Стелитесь, как в ветре трава».

Так тешится мертвое слово,
Не чуя грядущей беды,
От моря до моря другого,
От воды до великой воды.

⟨1913⟩

418. КАПЛЯ

Семьюдесятью горлами
В то море, во Хвалынское,
Втекает Волга водная,
Что с капли зачалась.
Семьюдесятью ветками
Древа в лесу могучие

До неба умудряются,
Да небо не про нас.

По небу только молнии
Прорвутся и сокроются,
По небу только с тучами
Проносятся орлы.
А мы с землею связаны
Семьюдесятью связями,
И лишь слезой любовною
Как дым взойдем из мглы.

419. ЛЕТО

Я великое жаркое Лето,
Огнеликое чудо в дыму,
Я тепло огневого ответа,
Вопроси — всё поймешь, как сожму.

Я велю обозначиться зною, —
Многозыбкий, он виден глазам,
Я вселенскую пляску устрою
На усладу раскрытым сердцам.

Заалеется мной земляника,
Покраснеет, потупится ниц,
Переброшусь я в радостность вскрика,
В загорелые лица девиц.

Все побеги и ржи и пшеницы
В золотой я одену наряд,
Я скажу — заиграют зарницы,
Кое-где и деревни сгорят.

Я горячее алое Лето,
Я высокий предел всех живых.
Набирайтесь великого света,
Запевайте свой свадебный стих.

‹1913›

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

No quema, sino da luz, este fuego del santo amor. Oh diremos que quema y no quema!

Fray Diego de Estella

Не сжигает, а дает свет, этот огонь святой любви. О, скажем, что сжигает и не сжигает!

Фраи Диэго де Эстелья

420. СОЧЕТАНИЯ

Дальний Сириус дрожью объят, колыбелится, тянется свет.
Это — сказ, это — звук, это — сон, перекатная зыбь перезвона.
И как ровно горит перед ним, начертанье высоких побед,
Троезвездный размеренный звон, ослепительный систр Ориона.

421. НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Я на краю Земли. Я далеко на Юге.
На юге разных стран, на юге всей Земли.
Моя заря горит на предполярном круге.
В моих морях встают не часто корабли.

Мой светоч — Южный Крест. Мой светоч — отблеск льдины.
Здесь горы льдяные — один плавучий храм.
Но за чертой мечты — мой помысел единый
Ведет мой дух назад, к моим родным полям.

И сколько бы пространств какая бы стихия
Ни развернула мне, в огне или в воде, —
Плывя, я возглашу единый клич: «Россия!»
Горя, я пропою: «Люблю тебя — везде!»

422. СТРАНА, КОТОРАЯ МОЛЧИТ

Страна, которая молчит, вся в белом-белом,
Как новобрачная, одетая в покров,
Что будет тронут им, любующимся, смелым,
Несущим солнечность горячих лепестков.

Страна, которая всех дольше знает зиму
И гулкую тюрьму сцепляющего льда,
Где нет конца огням и тающему дыму,
Где долгий разговор ведет с звездой звезда.

Страна, которая за празднествами мая,
Чуть лето глянет ей, спешит сказать: «Я сплю», —
Страна великая, несчастная, родная,
Которую, как мать, жалею и люблю.

⟨1913⟩

ЯСЕНЬ

Видение древа

*ИБО Я ЗАЧАРУЮ МОЕ СЕРДЦЕ
И ПОМЕЩУ ЕГО НА ВЕРШИНЕ
ДРЕВА В ЦВЕТКЕ.*

*Египетская сказка
о двух братьях*

1916

---

423. ВОДОВОРОТ

Люблю чуть зримых малых тварей
Линейно-прихотливый вид.
Геометризм радиолярий
О вихре солнц мне говорит.

Реснички хищных инфузорий,
Проворных жгутиков игра
Мне говорят о звездном хоре,
И что любить всегда пора.

А жук-олень — то в праздник юный,
Средь полчищ малых, мастодонт.
И вот я чувствую, как струны
Чрез весь проходят горизонт.

И запоздавшему столетью,
Его предчувствуя в тоске,
Черчу рассказ я тонкой сетью
На мастодонтовом клыке.

424. ЗВЕРИНОЕ ЧИСЛО

Да не смутит несведущих сегодня
То, что им было ведомо вчера.
Не праздная в моих словах игра,
И каждый зверь есть стих и мысль господня.

Я тех люблю среди зверей земли,
Те существа старинные, которым
Доверено священным договором,
Чтобы они как вестники пришли.

Меж птиц мне дорог Одиновский ворон, —
Его воспел сильнейший в знаньи чар,
Среди земных — болид небес, Эдгар:
В веках тоски рунический узор он.

Мне дорог нильский демон — крокодил,
Которому молилась египтянка,
Желанна мне яванская светлянка,
Мне дорог путь от мошки до светил.

Наш соловей, как рыцарь, слит с луною,
С Венеры прилетела к нам пчела,
Змея из преисподней приползла,
Был послан с ветвью мира голубь к Ною.

И кит был нужен в повести земной,
Лик вечности являет черепаха.
Моя душа — внимательная пряха,
Кто в пряжу слов проник — тот мудр со мной.

425. ЗВУК ЗВУКОВ

Сейчас на Севере горит луна.
Сейчас на Севере бегут олени.
Равнина снежная мертва, ясна.
От тучек маленьких мелькают тени.

На небе стынущем огромный круг.
Какие радуги, луна, ты плавишь?
Когда б на Север мне умчаться вдруг
От черно-белого мельканья клавиш!

⟨1914⟩

426. КТО КОГО

Настигаю. Настигаю. Огибаю. Обгоню.
Я колдую. Вихри чую. Грею сбрую я коню.

Конь мой спорый. Топи, боры, степи, горы
пролетим.
Жарко дышит. Мысли слышит. Конь — огонь
и побратим.

Враг мой равен. Полноправен. Чей скорей
вскипит бокал?
Настигаю. Настигаю. Огибаю. Обогнал.

Январь 1915

427. ВЕСЕННЕЕ

Меж сосен — лучисто-зеленые пятна
На травах, на нежно-весенней земле.
Уж скоро весь лес расцветет ароматно
И ласточка сказку примчит на крыле.

Своим щебетаньем рассыплет ту сказку
Лазурною вязью пролесок и сна.
Танцует весна. Уронила подвязку.
И где уронила — там сказка видна.

Она из зеленых, и белых, и синих,
И желтых, и красных, и диких цветов.
Бесчинствует леший в лесистых пустынях
И зайца с зайчихой ославить готов.

428. ГРОМОВЫМ СВЕТОМ

Меня крестить несли весной,
Весной, нет — ранним летом,
И дождь пролился надо мной,
И гром гремел при этом.
Пред самой церковкой моей,
Святыней деревенской,
Цвели цветы, бежал ручей
И смех струился женский.
И прежде чем меня внесли
В притихший мрак церковный,
Крутилась молния вдали
И град плясал неровный.
И прежде чем меня в купель
С молитвой опустили,
Пастушья пела мне свирель
Над снегом водных лилий.
Я раньше был крещен дождем
И освящен грозою,
Уже священником потом —
Свечою и слезою.
Я в детстве дважды был крещен —
Крестом и громным летом,
Я буду вечно видеть сон
Навек с громовым светом.

429. ВОПЛЬ К ВЕТРУ

Суровый ветр страны моей родной,
Гудящий ветр средь сосен многозвонных,
Поющий ветр меж пропастей бездонных,
Летящий ветр безбрежности степной.

Хранитель верб свирельною весной,
Внушитель снов в тоске ночей бессонных,
Сказитель дум и песен похоронных,
Шуршащий ветр, услышь меня, я твой.

Возьми меня, развей, как снег мятельный,
Мой дух, считая зимы, поседел,
Мой дух пропел весь полдень свой свирельный.

Мой дух устал от слов и снов и дел.
Всевластный ветр пустыни беспредельной,
Возьми меня в последний свой предел.

430. АЛЫЧА

Цветок тысячекратный, древо-цвет,
Без листьев сонм расцветов белоснежных,
Несчетнолепестковый бледносвет,
Рой мотыльков — застывших, лунных, нежных.

Под пламенем полдневного луча,
На склоне гор, увенчанных снегами,
Белеет над Курою алыча,
Всю Грузию окутала цветами.

Апрель 1914
Тифлис

431. СКАЖИТЕ ВЫ

Скажите вы, которые горели,
Сгорали и сгорели, полюбив, —
Вы, видевшие солнце с колыбели,
Вы, в чьих сердцах горячий пламень жив, —

Вы, чей язык и странен и красив,
Вы, знающие строки Руставели, —
Скажите, как мне быть? Я весь — порыв,
Я весь — обрыв, и я — нежней свирели.

Мне тоже в сердце вдруг вошло копье,
И знаю я: любовь постигнуть трудно.
Вот, вдруг пришла. Пусть всё возьмет мое.

Пусть сделаю, что будет безрассудно.
Но пусть безумье будет обоюдно.
Хочу. Горю. Молюсь. Люблю ее.

12 апреля 1914
Тифлис

432. ТАМАР

Я встретился с тобой на радостной дороге,
Ведущей к счастию. Но был уж поздний час.
И были пламенны и богомольно-строги
Изгибы губ твоих и зовы черных глаз.

Я полюбил тебя. Чуть встретя. В первый час.
О, в первый миг. Ты встала на пороге.
Мне бросила цветы. И в этом был рассказ,
Что ты ждала того, чего желают боги.

Ты показала мне скрывавшийся пожар.
Ты приоткрыла мне таинственную дверцу.
Ты искру бросила от сердца прямо к сердцу.

И я несу тебе горение — как дар.
Ты, солнцем вспыхнувши, зажглась единоверцу.
Я полюбил тебя, красивая Тамар.

Апрель 1914

433. ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Она пришла ко мне из подземелья,
Ничем из мира снов не смущена,
Всегда пьяна, без тяжести похмелья.

И прошипела: «Я твоя жена».
Я посмотрел с глубоким отвращеньем,
Не веря в то, что молвила она.

Она, моим не тронувшись смущеньем,
Приблизилась и подступила вплоть,
Ведóвским отдаваясь превращеньям.

Их дважды видеть — сохрани господь.
То грузный червь, то злая обезьяна,
То лик Яги, то вздувшаяся плоть.

Она вставала бесом из тумана,
С глазами на затылке, а к челу
Две лампочки приделав для обмана.

Вдруг раздвоясь, кружилась на полу, —
Дрались друг с другом эти половины
И обе выдыхали чад и мглу.

Изливши кровь, казала лик ослиный,
И пожирала розы без конца,
Дудела в трубку, била в тамбурины.

Закрыв всю стену шкурою лица,
Разъяв ее на мерзостных распяльцах,
Из черепов два сделала венца.

Перстнями гады съежились на пальцах,
В глазных щелях — в лоханке их двойной —
Плясали мухи, словно в узких зальцах.

Я понял, что обвенчан я с Войной.

Март 1915

434. САМОРАЗВЕНЧАННЫЙ

Он был один, когда читал страницы
Плутарха о героях и богах.
В Египте, на отлогих берегах,
Он вольным был, как вольны в лёте птицы.

Многоязычны были вереницы
Его врагов. Он дал им ведать страх.
И, дрогнув, страны видели размах
Того, кто к солнцу устремил зеницы.

Ни женщина, ни друг, ни мысль, ни страсть
Не отвлекли к своим, к иным уклонам
Ту волю, что себе была законом, —

Осуществляя солнечную власть.
Но, пав, он пал — как только можно пасть,
Тот человек, что был Наполеоном.

435. ПЛИТА

Немые ветви сон мой закачали,
Цветами доходя из темноты,
Каждением из дыма и печали, —

Видением из дальних дней, где ты,
Куда уж больше досягнуть нельзя мне,
Где я с тобой лишь в зеркале мечты, —

Безвестный знак на придорожном камне.

436. ДОВЕРИЕ

Когда я думаю, что страшный лик уродца
Был первым мигом здесь для Винчи, как для всех,
Я падаю в провал бездонного колодца,
А вслед за мною — крик и судорожный смех.

Смеется надо мной сто тысяч духов страсти,
Которым подчинюсь, когда придет мой час,
В болотце посмотрю, как вьется головастик,
Уборам жизней всех — косой колдует глаз.

Мне странно-жутко знать, что даже четки — зерна
Моей любимой ржи, дающей черный хлеб,
Должны искать низин, чтоб в тлении упорно
Сплести зеленые взнесенности судеб.

Но также ведаю, что в золотые слитки
Умею перелить землистую руду,
И Апокалипсис читая в длинном свитке,
Я в храм моей души не сетуя иду.

Пахучей миррою, богатым духом нарда
Восходит ладан мой доверия к судьбе.
Кто я, чтоб лучше быть, чем был здесь Леонардо?
Земля родимая, вся мысль моя — тебе.

Март 1915

487. ПРЕВОЗМОГШАЯ

Хочет меня господь взять от этой жизни. Неподобно телу моему в нечистоте одежды возлечь в недрах матери своей земли.

Боярыня Морозова

Омыв свой лик, весь облик свой телесный,
Я в белую сорочку облеклась.
И жду, да закруглится должный час,
И отойду из этой кельи тесной.

Нет, не на баснях подвиг проходил,
Нет, полностью узнала плоть мытарства.
Но, восхотев небесного боярства,
Я жизнь сожгла, как ладан для кадил.

От нищих, юродúвых, прокаженных, —
Не тех, кто здесь в нарядной лепоте, —
От гнойных, но родимых во Христе
Я научалась радости сожженных.

И пламень свеч в моем дому не гас.
Не медлила я в пышных вереницах.
Но сúротам витать в моих ложницах
Возможно было каждый миг и час.

Но встала я за старину святую,
За правило ночное, за Того,
К кому всю роспись дела моего
Вот-вот снесу, как чаю я и чую.

За должное сложение перстов,
За верное несломанное слово
Мне ярость огнепальная царева —
Как свет, чтоб четко видеть путь Христов.

В веках возникши правильной обедней,
Здесь в земляную ввержена тюрьму,
Я всю дорогу вижу через тьму,
И я уже не та в свой час последний.

Минуты службы полностью прошли.
В остроге, и обернута рогожей,
Зарыта буду я. О сыне божий!
Ты дашь мне встать из матери-земли.

16 февраля 1915

СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЕДА И ЛУНЫ

Песня миров

СЛОВО ПЕСНИ — КАПЛЯ МЕДА,
ЧТО ПРОЛИЛСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ
ПЕРЕПОЛНЕННОГО СЕРДЦА.

Испанская песня

1917

---

438. ЗВЕЗДНЫЕ ЗНАКИ

Творить из мглы, расцветов и лучей,
Включить в оправу стройную сонета
Две капельки росы, три брызга света
И помысел, что вот еще ничей.

Узнать в цветах огонь родных очей,
В журчаньи птиц расслышать звук привета,
И так прожить весну и грезить лето,
А в стужу целоваться горячей.

Не это ли Веселая наука,
Которой полный круг, в расцвете лет,
Пройти повинен мыслящий поэт?

И вновь следить в духовных безднах звука,
Не вспыхнул ли еще не бывший след
От лёта сказок, духов и комет.

⟨1916⟩

439. ЧТО СО МНОЙ?

Что́ сделалось со мной? Я весь пою.
Свиваю мысли в тонкий строй сонета.
Ласкаю зорким взором то и это.
Всю вечность принимаю, как мою.

Из черных глыб я белое кую.
И повесть чувства в сталь и свет одета.
Во всем я ощущаю только лето.
Ветров пьянящих теплую струю.

О, что со мной? Я счастлив непонятно.
Ведь боль я знаю так же, как и все.
Хожу босой по стеклам. И в росе

Ищу душой того, что невозвратно.
Я знаю. Это — солнце ароматно
Во мне поет. Я весь в его красе.

440. УМЕЙ ТВОРИТЬ

Умей творить из самых малых крох.
Иначе для чего же ты кудесник?
Среди людей ты божества наместник,
Так помни, чтоб в словах твоих был бог.

В лугах расцвел кустом чертополох,
Он жёсток, но в лиловом он — прелестник.
Один толкачик — знойных суток вестник.
Судьба в один вместиться может вздох.

Маэстро итальянских колдований
Приказывал своим ученикам
Провидеть полный пышной славы храм

В обломках ка́мней и в обрывках тканей.
Умей хотеть — и силою желаний
Господень дух промчится по струнам,

441. НА ОГНЕННОМ ПИРУ

Когда я думаю, что предки у коня
В бесчисленных веках, чьи густы вереницы,
Являли странный лик с размерами лисицы,
Во мне дрожит восторг, пронзающий меня.

На огненном пиру творящего Огня
Я червь, я хитрый змей, я быстрокрылость птицы,
Ум человека я, чья мысль быстрей зарницы,
Сознание миров живет во мне, звеня.

Природа отошла от своего апреля,
Но наслоеньями записаны слова.
Меняется размер, но песня в нем жива.

И божья новая еще нас ждет неделя.
Не так уж далеки пред ликом божества
Акульи плавники и пальцы Рафаэля.

442. СНОПЫ

Снопы стоят в полях, как алтари.
В них красота высокого значенья.
Был древле час, в умах зажглось реченье:
«Не только кровь, но и зерно сбери».

В колосьях отливают янтари.
Богаты их зернистые скопленья.
В них теплым духом дышит умиленье.
В них золото разлившейся зари.

Как долог путь от быстрых зерен сева
До мига золотого торжества.
Вся выгорела до косы трава.

Гроза не раз грозилась жаром гнева.
О, пахари. Подвижники посева.
В вас божья воля колосом жива.

⟨1916⟩

443. ДАЛЕКОЕ

Когда весь мир как будто за горой,
Где всё мечта и всё недостоверно,
Подводный я любил роман Жюль Верна,
И Нэмо-капитан был мой герой.

Когда пред фортепьяно, за игрой,
Он тосковал, хоть несколько манерно,
Я в океане с ним качался мерно —
И, помню, слезы хлынули струей.

Потом я страстно полюбил Майн Рида,
Но был ручной отвергнут Вальтер Скотт.
Прошли года. Быть может, только год?

Мне грезится Египет, Атлантида.
Далекое. И мой сиамский кот
«Плыви в Сиам!» — мурлыча, мне поет.

444. СИЛА БРЕТАНИ

В таинственной, как лунный свет, Бретани,
В узорной и упрямой старине,
Упорствующей в этом скудном дне,
И только в давних днях берущей дани

Обычаев, уборов и преданий,
Есть до сих пор друиды, в тишине,
От солнца отделенной, там — на дне,
В Атлантике, в загадке, в океане.

В те ночи, как колдует здесь луна,
С Утеса Чаек видно глубь залива.
В воде — дубравы, храмы, глыбы срыва.

Проходят привиденья, духи сна.
Вся древность словно в зеркале видна,
Пока ее не смоет мощь прилива.

445. СИБИРЬ

Страна, где мчит теченье Енисей,
Где на горах червонного Алтая
Белеют орхидеи, расцветая,
И вольный дух вбираешь грудью всей.

Там есть кабан. Медведь. Стада лосей.
За кабаргой струится мускус, тая.
И льется к солнцу песня молодая.
И есть поля. Чем хочешь, тем засей.

Там на утес, где чары все не наши,
Не из низин, взошел я в мир такой,
Что не был смят ничьей еще ногой.

Во влагу, что в природной древней чаше
Мерцала, не смотрел никто другой.
Я заглянул. Тот миг — всех мигов краше.

1916

446. РОЖДЕНИЕ МУЗЫКИ

Звучало море в грани берегов.
Когда все вещи мира были юны,
Слагались многопевные буруны, —
В них был и гуд струны, и рев рогов.

Был музыкою лес и каждый ров.
Цвели цветы — огромные, как луны,
Когда в сознаньи прозвучали струны.
Но звон иной был первым в ладе снов.

Повеял ветер в тростники напевно,
Чрез их отверстья ожили луга.
Так первая свирель была царевна

Ветров и воли, смывшей берега.
Еще — чтоб месть и меч запели гневно —
Я сделал флейты из костей врага.

19 августа 1916

447. НА ОТМЕЛИ ВРЕМЕН

Заклятый дух на отмели времен,
Средь маленьких, среди непрозорливых,
На уводящих удержался срывах,
От страшных ведьм приявши гордый сон.

Гламисский тан, могучий вождь племен,
Кавдорский тан — в змеиных переливах
Своей мечты — лишился снов счастливых
И дьявольским был сглазом ослеплен.

Но потому, что мир тебе был тесен,
Ты сгромоздил такую груду тел,
Что о тебе Эвонский лебедь спел

Звучнейшую из лебединых песен.
Он, кто сердец изведал глубь и цвет,
Тебя в веках нам передал, Макбет.

448. ПОСЛЕДНЯЯ

Так видел я последнюю, ее.
Предельный круг. Подножье серых склонов.
Обрывки свитков. Рухлядь. Щепки тронов.
Календари. Румяна. И тряпье.

И сердце освинцовилось мое.
Я — нищий. Ибо — много миллионов
Змеиных кож и шкур хамелеонов.
Тут не приманишь даже воронье.

Так вот оно, исконное мечтанье,
Сводящее весь разнобег дорог.
Седой разлив додневного рыданья.

Глухой, как бы лавинный, топот ног.
И два лишь слова в звуковом разгуле:
Стон — Ultima, и голос трубный — Thule.[1]

---

[1] Ultima Thule — Весьма далекая Фула (лат.). — *Ред.*

449. СЛУЖИТЕЛЬ

В селе заброшенном во глубине России
Люблю я увидать поблекшего дьячка.
Завялый стебель он. На пламени цветка
Навеялась зола. Но есть лучи живые.

Когда дрожащий звон напевы вестовые
Шлет всем желающим придти издалека,
В золе седеющей — мельканье огонька,
И в духе будничном — воскресность литургии.

Чтец неразборчивый, вникая в письмена,
Нетвердым голосом блуждает он по чащам.
Как трогателен он в борении спешащем.

Бог слышит. Бог поймет. Здесь пышность не нужна.
И голос старческий исполнен юной силой,
Упорный свет лия в зов: «Господи помилуй!»

450. КОЛОКОЛ

Люблю безмерно колокол церковный.
И вновь, как тень, войду в холодный храм,
Чтоб вновь живой воды не встретить там,
И вновь домой пойду походкой ровной.

Но правды есть намек первоосновной
В дерзаньи — с высоты пророчить нам,
Что есть другая жизнь, — и я отдам
Все голоса за этот звук верховный.

Гуди своим могучим языком.
Зови дрожаньем грозного металла
Разноязычных — эллина и галла.

Буди простор, и говори, как гром.
Стократно-миллионным червяком
Изваян мир из белого коралла.

451. ШАЛАЯ

О шалая! Ты белыми клубами
Несешь и мечешь вздутые снега.
Льешь океан, где скрыты берега,
И вьешься, пляшешь, помыкаешь нами.

Смеешься диким свистом над конями,
Велишь им всюду чувствовать врага.
И страшны им оглобли и дуга, —
Они храпят дрожащими ноздрями.

Ты сеешь снег воронкою, как пыль.
Мороз крепчает. Сжался лед упруго.
Как будто холод расцветил ковыль.

И цвет его взлюбил верченье круга.
Дорожный посох — сломанный костыль,
Коль забавляться пожелает — вьюга!

452. КОЛЬЦА

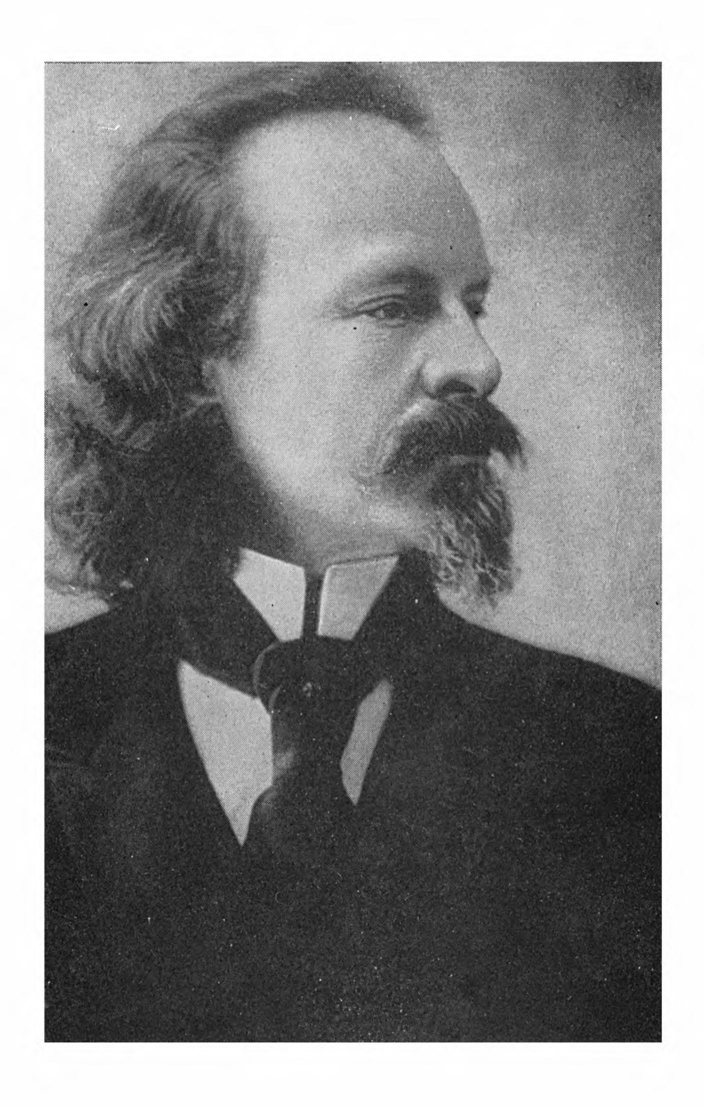
Ты спишь в земле, любимый мой отец,
Ты спишь, моя родная, непробудно.
И как без вас мне часто в жизни трудно,
Хоть много знаю близких мне сердец.

Я в мире вами. Через вас певец.
Мне ваша правда светит изумрудно.
Однажды духом слившись обоюдно,
Вы уронили звонкий дождь колец.

Они горят. В них золото — оправа.
Они поют. И из страны в страну
Иду, вещая солнце и весну.

Но для чего без вас мне эта слава?
Я у реки. Когда же переправа?
И я с любовью кольца вам верну.

⟨1917⟩





453. ПАНТЕРА

Она пестра, стройна и горяча.
Насытится — и на три дня дремота.
Проснется — и предчувствует. Охота
Ее зовет. Она встает, рыча.

Идет, лениво длинный хвост влача.
А мех ее — пятнистый. Позолота
Мерцает в нем. И говорил мне кто-то,
Что взор ее — волшебная свеча.

Дух от нее идет весьма приятный.
Ее воспел средь острых гор грузин,
Всех любящих призывный муэззин, —

Чей стих — алоэ густо-ароматный.
Как барс, ее он понял лишь один,
Горя зарей кроваво-беззакатной.

Октябрь 1915 (?)

454. БЛЕСК БОЛИ

«Дай сердце мне твое неразделенным», —
Сказала Тариэлю Нэстан-Джар.
И столько было в ней глубоких чар,
Что только ею он пребыл зажженным.

Лишь ей он был растерзанным, взметенным,
Лишь к Нэстан-Дарэджан был весь пожар.
Лишь молния стремит такой удар,
Что ей нельзя не быть испепеленным.

О Нэстан-Джар! О Нэстан-Дарэджан!
Любовь твоя была — как вихрь безумий.
Твой милый был в огне, в жерле, в самуме.

Но высшей боли — блеск сильнейший дан.
Ее пропел, как никогда не пели,
Пронзенным сердцем Шота Руставели.

27 июня 1916

455. НЕРАЗДЕЛЕННОСТЬ

Приходит миг раздумья. Истомленный,
Вникаешь в полнозвучные слова
Канцон медвяных, где едва-едва
Вздыхает голос плоти уязвленной.

Виттория Колонна и влюбленный
В нее Буонаротти. Эти два
Сияния, чья огненность жива
Через столетья, в дали отдаленной.

Любить неразделенно, лишь мечтой.
Любить без поцелуя и объятья.
В благословеньи чувствовать заклятье.

Творец сибилл, конечно, был святой.
И как бы мог сполна его понять я?
Звезда в мирах постигнута — звездой.

456. МИКЕЛЬ АНДЖЕЛО

Всклик «Кто как бог!» есть имя Михаила.
И ангелом здесь звался. Меж людей
Он был запечатленностью страстей.
В попраньи их его острилась сила.

В деснице божьей тяжкое кадило,
Гнетущий воздух ладанных огней
Излил душой он сжатою своей.
Она, светясь, себя не осветила.

Стремясь с Земли и от земного прочь,
В суровости он изменил предметы,
И женщины его — с другой планеты.

Он возлюбил Молчание и Ночь.
И лунно погасив дневные шумы,
Сибилл и вещих бросил он в самумы.

457. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Художник с гибким телом леопарда,
А в мудрости — лукавая змея.
Во всех его созданьях есть струя —
Дух белладонны, ладана и нарда.

В нем зодчий снов любил певучесть барда,
И маг — о каждой тайне бытия
Шептал, ее качая: «Ты моя».
Не тщетно он зовется Леонардо.

Крылатый был он человеколев.
Еще немного — и глазами рыси
Полеты птиц небесных подсмотрев,

Он должен был парить и ведать выси.
Среди людских, текущих к Бездне рек
Им предугадан был Сверхчеловек.

2 июля 1916

458. МАРЛО

С блестящей мыслью вышел в путь он рано,
Учуяв сочетание примет.
Преобразил в зарю седой рассвет
Повторной чарой зоркого шамана.

Величием в нем сердце было пьяно.
Он прочитал влияние планет
В судьбе людей. И пламенный поэт
Безбрежный путь увидел Тамерлана.

В нем бывший Фауст более велик,
Чем позднее его изображенье.
Борец, что в самом миге низверженья

Хранит в ночи огнем зажженный лик.
И смерть его — пустынно-страстный крик
В безумный век безмерного хотенья.

459. ШЕКСПИР

Средь инструментов всех волшебней лира:
В пьянящий звон схватив текучий дым,
В столетьях мы мгновенье закрепим,
И зеркало даем в стихе для мира.

И лучший час в живом весельи пира —
Когда поет певец, мечтой гоним, —
И есть такой, что вот мы вечно — с ним,
Пленяясь звучным именем Шекспира.

Нагромоздив создания свои,
Как глыбы построений исполина,
Он взнес гнездо, которое орлино,

И показал все тайники змеи.
Гигант, чей дух — плавучая картина,
Ты — наш, чрез то, что здесь мы все — твои.

460. КАЛЬДЕРОН

La Vida es Sueño. Жизнь есть сон.
Нет истины иной такой объемной.
От грезы к грезе в сказке полутемной.
Он понял мир, глубокий Кальдерон.

Когда любил, он жарко был влюблен.
В стране, где пламень жизни не заемный,
Он весь был жгучий, солнечный и громный.
Но полюбил пред смертью долгий звон.

Царевич Сэхисмундо. Рассужденье
Земли и Неба, Сына и Отца.
И свет и тень господнего лица.

Да, жизнь есть сон. И сон — все сновиденья.
Но тот достоин высшего венца,
Кто и во сне не хочет заблужденья.

461. ЭДГАР ПО

В его глазах фиалкового цвета
Дремал в земном небесно-зоркий дух.
И так его был чуток острый слух,
Что слышал он передвиженья света.

Чу. Ночь идет. Мы только видим это.
Он — слышал. И шуршанья норн-старух.
И вздох цветка, что на луне потух.
Он ведал всё, он — меж людей комета.

И друг безвестный полюбил того,
В ком знанье лада было в хаос влито,
Кто возводил земное в божество.

На смертный холм того, чья боль забыта,
Он положил, любя и чтя его,
Как верный знак, кусок метеорита.

462. ШЕЛЛИ

Из облачка, из воздуха, из грезы,
Из лепестков, лучей и волн морских
Он мог соткать такой дремотный стих,
Что до сих пор там дышит дух мимозы.

И в жизненные был он врошен грозы,
Но этот вихрь промчался и затих.
А крылья духов — да, он свеял их
В стихи с огнем столепестковой розы.

Но чаще он не алый — голубой,
Опаловый, зеленый, густосиний, —
Пастух цветов, с изогнутой трубой.

Красивый дух, он шел — земной пустыней,
Но — к морю, зная сон, который дан
Вступившим в безграничный Океан.

463. ЭЛЬФ

Сперва играли лунным светом феи.
Мужской диэз и женское — бемоль —
Изображали поцелуй и боль.
Журчали справа малые затеи.

Прорвались слева звуки-чародеи.
Запела Воля всклнком слитных воль.
И светлый Эльф, созвучностей король,
Ваял из звуков тонкие камеи.

Завихрил лики в токе звуковом.
Они светились золотом и сталью,
Сменяли радость крайнею печалью.

И шли толпы́. И был певучим гром.
И человеку бог был двойником.
Так Скрябина я видел за роялью.

1916

464—467. *ЛЕРМОНТОВ*

1

Опальный ангел, с небом разлученный,
Узывный демон, разлюбивший ад,
Ветров и бурь бездомных странный брат,
Душой внимавший песне звезд всезвонной,

На празднике — как призрак похоронный,
В затишьи дней — тревожащий набат,
Нет, не случайно он среди громад
Кавказских — миг узнал смертельно-сонный.

Где мог он так красиво умереть,
Как не в горах, где небо в час заката —
Расплавленное золото и медь,

Где ключ, пробившись, должен звонко петь,
Но также должен в плаче пасть со ската,
Чтоб гневно в узкой пропасти греметь.

2

Внимательны ли мы к великим славам,
В которых — из миров нездешних свет?
Кольцов, Некрасов, Тютчев, звонкий Фет
За Пушкиным явились величавым.

Но раньше их, в сиянии кровавом,
В гореньи зорь, в сверканьи лучших лет,
Людьми был загнан пламенный поэт,
Не захотевший медлить в мире ржавом.

Внимательны ли мы хотя теперь,
Когда с тех пор прошло почти столетье,
И радость или горе должен петь я?

А если мы открыли к свету дверь,
Да будет дух наш солнечен и целен,
Чтоб не был мертвый вновь и вновь застрелен.

3

Он был один, когда душой алкал,
Как пенный конь в разбеге диких гонок.
Он был один, когда — полуребенок —
Он в Байроне своей тоски искал.

В разливе нив и в царстве серых скал,
В игре ручья, чей плеск блестящ и звонок.
В мечте цветочных ласковых коронок
Он видел мед, который отвергал.

Он был один, как смутная комета,
Что головней с пожарища летит
Вне правила расчисленных орбит.

Нездешнего звала к себе примета
Нездешняя. И сжег свое он лето.
Однажды ли он в смерти был убит?

4

Мы убиваем гения стократно,
Когда, рукой его убивши раз,
Вновь затеваем скучный наш рассказ,
Что нам мечта чужда и непонятна.

Есть в мире розы. Дышат ароматно.
Цветут везде. Желают светлых глаз.
Но заняты собой мы каждый час, —
Миг встречи душ уходит безвозвратно.

За то, что он, кто был и горд и смел,
Блуждая сам над сумрачною бездной,
Нам в детстве в душу ангела напел, —

Свершим сейчас же сто прекрасных дел:
Он нам блеснет улыбкой многозвездной,
Не покидая вышний свой предел.

⟨1916⟩

ПЕРСТЕНЬ
1920

---

468. С. А. КУСЕВИЦКОМУ,
ИГРАЮЩЕМУ НА КОНТРАБАСЕ

Я знаю, что сегодня видел чудо.
Гудел и пел священный скарабей.
Душе был слышен ясный зов оттуда,
Где зреет гром средь облачных зыбей.

Вдруг мощный жук ладьею стал скользящей,
Мелькало белым тонкое весло.
Играли струны музыкою зрящей —
И сердце пробуждалось в ней светло.

А он, колдун, обеими руками
Нам рассыпал напевный дождь колец
И, весь горя, дрожащими перстами
Касаясь струн, касался всех сердец.

469. ВЕНОК

Смешать печаль, которой нет острей,
С восторгами, которых не бывало,
Но могут быть, — от горного обвала
Взять музыку — и кровь погнав быстрей,
В стихи добрызнуть огненный ручей
И всё соткать для нежности твоей
В венок любви, — а если скажешь:
«Мало!» —
Вели еще — я твой среди зыбей
Девятого ликующего вала.

СЕМЬ ПОЭМ

1920

470

Для чего звучишь ты, рог пастуший?
    Или разбрелись твои стада?
Дымны дали, степи, глуби, глуши.
    Бродит — ах, должна бродить! — беда.

Для чего поешь ты, заунывный?
    Душу манишь, мучаешь — зачем?
Я, как ты, был звонкий и призывный,
    Но в немой пустыне стал я нем.

Не сдержать травинке ветра в поле,
    Не удержит бурю малый цвет.
Мы в неволе видим сон о воле,
    Но на воле в вольном воли нет.

Для чего ж ты плачешь, звон свирели?
    Будем верить в то, что впереди.
Нужно спать. Все птицы песню спели.
    Рог пастуший, сердце не буди.

12 декабря 1917

ДАР ЗЕМЛЕ
1921

---

471. НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Я слушал дождь. Он перепевом звучным
Стучал во тьме о крышу и балкон,
И был всю ночь он духом неотлучным
С моей душой, не уходившей в сон.

Я вспоминал. Младенческие годы.
Деревня, где родился я и рос.
Мой старый сад. Речонки малой воды.
В огнях цветов береговой откос.

Я вспоминал. То первое свиданье.
Березовая роща. Ночь. Июнь.
Она пришла. Но страсть была страданье.
И страсть ушла, как отлетевший лунь.

Я вспоминал. Мой праздник сердца новый.
Еще, еще — улыбки губ и глаз.
С светловолосой, с нежной, с чернобровой
Волна любви и звездный пересказ.

Я вспоминал невозвратимость счастья,
К которому дороги больше нет.
А дождь стучал — и в музыке ненастья
Слагал на крыше мерный менуэт.

472. ЧЕРКЕШЕНКЕ

Я тебя сравнить хотел бы с нежной ивою плакучей,
Что склоняет ветви к влаге, словно слыша
звон созвучий.

Я тебя сравнить хотел бы с юным тополем, который,
Весь смолистый, в легкой зыби к небесам
уводит взоры.

Я тебя сравнить хотел бы, видя эту поступь, дева,
С тонкой лилией, что стебель клонит вправо,
клонит влево.

Я тебя сравнить хотел бы с той индусской баядерой,
Что сейчас-сейчас запляшет, чувства меря
звездной мерой.

Я тебя сравнить хотел бы... Но игра сравнений тленна,
Ибо слишком очевидно: ты средь женщин несравненна.

28 июля 1919
Ново-Гиреево

473. МИНУТА

Хороша эта женщина в майском закате,
Шелковистые пряди волос в ветерке,
И горенье желанья в цветах, в аромате,
И далекая песня гребца на реке.

Хороша эта дикая вольная воля:
Протянулась рука, прикоснулась рука,
И сковала двоих — на мгновенье, не боле, —
Та минута любви, что продлится века.

474. НИНИКА

Ты нашла кусочек янтаря,
Он тебе дороже был червонца,
И вскричала, радостью горя:
«Я нашла, смотри, кусочек солнца!»

Затаив желание свое,
Ты вбежала в море прочь от няни
И вскричала: «Море всё мое!»
И была как птица в океане.

Ты схватила красный карандаш
И проворно на клочке бумаги
Начертила огненный мираж
Солнечной молниеносной саги.

Ты взросла, как тополь молодой,
От смолистых капель благовонный,
И пошел, — как путник за звездой, —
За тобой — путем судьбы — влюбленный

Я не знаю, в чем твой час теперь,
Между нами — реки, горы, степи,
Но везде в тюрьме ты сломишь дверь,
И, играя, разорвешь ты цепи.

ПЕСНЯ РАБОЧЕГО МОЛОТА
1922

475. СЛАВА КРЕСТЬЯНИНУ

Когда ручей бежит с утесов,
Звенит в стремнине песней он.
Где утро начал Ломоносов,
Там полдень солнцем озарен.

Созвучья первых русских песен
Сложил крестьянин, а не князь.
И пусть удел крестьянский тесен,
Народ хранит с землею связь.

И колос ржи, и дуб могучий,
Чье тело входит в корабли,
И нежный сад, и лес над кручей —
Растут из Матери-Земли.

И та страна, где миллионам
Подруга первая — соха,
Невестой, в празднестве зеленом,
Весной дождется жениха.

Земля и Воля — эта свадьба,
И будет — это суждено —
Любой мужицкий двор — усадьба,
Где мысль — как веское зерно.

Народный ум не насмерть ранен,
Придет конец и мутной мгле,
И звучным голосом крестьянин
Воскличет к Матери-Земле.

22 февраля 1917

476. ЖЕНЩИНА

Московской работнице

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

12 марта 1917

477. ВОЛЬНЫЙ СТИХ

К иваново-вознесенским рабочим

Какое гордое счастье знать, что ты нужен людям,
Чуять, что можешь пропеть стих, доходящий в сердца.
Сестры! Вас вижу я, сестры. Огнем причащаться будем.
Кубок пьянящей свободы, братья, испьем до конца!

Силою мысливших смело, свершеньем солдат и рабочих
Вольными быть нам велит великая в мире страна.
Цепи звенели веками. Цепи изношены. Прочь их!
Чашу пьянящего счастья, братья, осушим до дна!

Смелые сестры, люблю вас! В ветре вы — птицы живые.
Крылья свободы шуршат шорохом первых дождей.
Слава тебе и величье, благодатная в странах Россия,
Многовершинное древо с перекличкой и гудом ветвей!

14 марта 1917

478. КРУЖЕВО

Листья для жизни разбужены,
Сказки окончены снежные,
Светит зеленое кружево,
Жизнью весны дорожи.

Ладаном ветры нагружены,
Вербы невестятся нежные,
В ласке дыхания южного
Носятся с свистом стрижи.

Трубочки липкие, влажные —
Листики эти содружные,
Возле сухого валежника
Стебель украсил межу.
Судьбы я кличу отважные,
В зори я верю жемчужные,
Всё дерзновенье подснежника
В первую песню вложу.

Жаждет и малая скважина
Выявить что-нибудь свежее,
Ласточка мчится, встревожена,
В клюве комочек держа.
Если вся жизнь взбудоражена,
Буду печалиться реже я,
Счастие новым умножено,
Жизнь переменой свежа.

19 мая 1918

479. ВЕРХОВНЫЕ КОНИ

В небесах — серебряные кони.
Бешено несутся табуны,
Ветром возносимые погони
От земли до верхней вышины.

На земле обильны водоемы,
Излучила влага лишек сил,
И желают будущие громы,
Чтоб изломом пламень их пронзил.

У коней замедилися гривы,
Бронзовыми стали табуны,
И одни из них упрямо-сивы,
И другие потемнеть должны.

А еще другие — с гривой красной,
С гривой рыжей, рьянее других, —
Обгоняют всех стезей опасной,
Искрометный в небе зреет стих.

Ближе закрепляющийся шорох
Призрачных несчитанных копыт,
Развернулся хлопьев дымный ворох,
Каплями надземный воздух взрыт.

Завершились рдяные погони,
Добежал табун до табуна,
И заржали бронзовые кони,
Раздробив оплот из чугуна.

13 сентября 1918

480. ПОЭТ — РАБОЧЕМУ

Рабочий, я даю тебе мой стих
Как вольный дар от любящего сердца.
В нем — мерный молот гулких мастерских,
И в нем — свеча, завет единоверца.

Здесь не чужой с тобою говорит,
Не баловень изнеженный и праздный:
В узор сложил я много стройных плит,
Взяв мыслью их из груды безобразной.

Мой лом, моя упорная кирка
Работали в ночах каменоломни
Не день, не два, а долгие века.
Я труженик столетий. Знай и помни.

Провидец, зодчий, ждущий и поэт,
Я — старший брат идущих через ночи,
Я — память дней, звено несчетных лет,
Хранитель всех лучистых средоточий.

Ты думаешь, что выси пирамид
Взнесла рука и те, что гнули спины?

О, да! Но я был связью этих плит,
Чертеж всего замыслил я единый.

И чертежи меняя по векам,
Разнообразя лик людских столетий,
Я не давал уснуть моим зрачкам,
И не сплетал для вольного я сети.

Когда тебя туманили цари,
Я первый начал бунт свободным словом
И возвестил тебе приход зари, —
В ней — гибель истлевающим основам.

Не я ли шел на плаху за тебя?
В тюрьму, в изгнанье уходил не я ли?
Но сто дорог легко пройдешь, любя, —
Кто хочет жертвы, не бежит печали.

Я ждал и жаждал вольности твоей,
Мне грезится вселенский праздник братства —
Такой поток ласкающих лучей,
Что не возникнет даже тень злорадства.

И час пришел, чтоб творчество начать,
Чтоб счастье всех удвоить и утроить.
Так для чего ж раздельности печать
На том дворце, который хочешь строить?

Кто верит в созидание свое,
Тот видит ложь в расколе разделенья.
Заря взошла, горит, вглядись в нее,
Сияет солнце без ограниченья.

Так будем же как солнце наконец,
Признаньем все хотенья обнимая,
И вольно примем вольность всех сердец
Во имя расцветающего Мая.

1 мая 1919

481. ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

Россия казней, пыток, сыска, тюрем,
Страна, где рубят мысль умов сплеча,
Страна, где мы едим и балагурим
В кровавый час деяний палача,

Страна, где пляшет право крепостное,
Где Змей — царем, змееныши — царьки,
Где правило — разгул в грязи и гное,
Страна мятели, рабства и тоски, —

Он знал ее, мыслитель благородный,
Чей дух — к борьбе зовущая струна,
Но он разлив предвидел полноводный,
Он разгадал колодец в ней без дна.

Есть в мире зачарованные страны,
Где ценный клад скрывается века, —
И в сказке спят подолгу великаны,
Но в сказке есть свирель из тростника.

В такой тростник дохни — ответит песней,
И волею зовется тот напев,
Он ширится всё ярче и чудесней,
Сон рассечён, алмазом блещет гнев.

Таинственная кузница грохочет,
Тяжелый молот наковальню бьет,
Тростник поет, огню победу прочит,
И в пламенях есть пляска и черед.

В сияниях всё белое пространство,
Полярная Звезда горит снегам,
Для жизни нужно новое убранство,
И великан светло идет к врагам.

До океанов плещут океаны,
И колокол вещает вечевой:
Есть в мире зачарованные страны,
Россия, быть как в сказке — жребий твой.

Разрушен навсегда твой терем древний
Со всем его хорошим и дурным,
Над городом твоим и над деревней
Прошел пожар и вьется красный дым.

Но если в каждом — дух единоверца,
И эта вера — счастье вольных всех,
Мы будем все — пылающее сердце,
И будет весь искуплен старый грех.

Кто в колокол ударил, верил в это,
Пусть только в брате брата видит брат,
Построим жизнь из одного лишь света,
Чтоб бег часов был звучный водопад.

20 января 1920

482. ПЕСНЯ РАБОЧЕГО МОЛОТА

Стук-стук, молоток,
В каждой планке — свой гвоздок.
Каждый гвоздик в самый раз,
Будет круглый стол у нас.
Доверши сполна урок,
Стук-стук, молоток.

За столом мы сядем дружно —
Вся рабочая семья.
За окошком будет вьюжно,
И в морозе песнь твоя.

Стук-стук — по стенам,
Холод, голод ходят к нам.
Стук-стук — в чердаки,
Мы не рады вам, дружки.
Загоняй их в уголок,
Стук-стук, молоток.

Стук-стук, поспевай,
Нам кровать приготовляй.
Составляй ее плотней,
Сердце с сердцем будет в ней.

Есть для счастья час и срок,
Стук-стук, молоток.

Для объятий и зачатий
Мы в беседке верной — в ней.
Мы рождаемся в кровати,
Спим. Уснем еще верней.

Стук-стук, молоток,
Пляшет звонко быстрый скок.
А окончим здесь свой час,
Добрым словом вспомнят нас.
Сноп готов, и сноп — на ток,
Стук-стук, молоток.

Бей, бей, молот мой,
В кузне — тьма и в кузне — зной.
Темень в пламень перельем.
Где железо? Путь куем.
В солнце — ходим за сохой,
Пой, пой, молот мой.

Услышьте все, кто жив и молод:
Свободный труд — как изумруд.
Я — в пляске, я — рабочий молот,
Во мне столетия поют.
В Египте, звавшемся иначе,
И в древней Индии, и где —
Везде свой лик я обозначил,
Как сребро-месяц на воде.
Как вестник солнечного Гора,
Что есть: рассветная заря, —
Я лезвеё ковал для спора,
Вскрыл целину, свой час творя.
Ковал мотыки я и плуги,
Метал, как молнии, мечи,
Я был на Севере и Юге,
Я — молот, — слушай и молчи.
Серпы я выковал и косы
И разрубающий топор,
Идут косцы — рядами — босы,
Но им в заре — златой убор.

Плясал я весело и звонко,
Любил огонь вдыхать и пить,
Сковал игрушку для ребенка,
Венец — чтобы его разбить.
Как прикасается до цели
По-соколиному стрелок,
Так я качаю в колыбели,
В работе, молот-молоток.
Мечись направо и налево,
Дождями брызги золоти,
Будь словом правды, криком гнева,
Будь нам звездою на пути.
В текучем пламени — расцветы,
В плавильне для руды — уют,
Еще не все напевы спеты, —
Впервые мне века поют.
Я пересек моря и боры,
Я смерил взором темноту,
Мои дорожные узоры
Черчу по горному хребту.
Я крикну — отклик до Востока,
Я стукну — Запад задрожал,
Мое сияние широко
И пламень мой набатно-ал.
Я — бунт, я — взрыв, я — тот, который
Разрушил смехом слепоту,
Пряду из зарева уборы,
Хватаю звезды на лету.
Гранит высоких скал расколот,
Я ходы вырыл в глубине,
Я — сердце мира, слушай, молот,
Я — кровь, я — жизнь, будь верен мне.
Я там, где брызжет смех в избытке,
Где бледно голубеет сталь,
Где солнца золотые слитки
И самый хо́леный хрусталь.
Я там, где свежие алмазы,
Где синий яхонт и рубин,
Всех стран качну ударом связы,
Я — труженик, я — властелин.
И с детства повесть мне знакома,
Что майский ливень, блеск и гул —

Есть пляс, веселый хохот грома, —
Громовник молот свой качнул.
Над первым светлым утром Мая,
Где маки молний — чрез века,
Тяжелый молот поднимая,
Взнеслась победная рука.

Стук-стук, молот мой,
Тьма за светом, свет за тьмой.
Мы по наковальне бьем,
Знаем песню о своем.
С солнцем — к счастью и домой,
Стук-стук, молот мой.

20 февраля 1920

МАРЕВО

1922

---

483. ПРОЩАНИЕ С ДРЕВОМ

Я любил вознесенное сказками древо,
    На котором звенели всегда соловьи,
А под древом раскинулось море посева,
    И шумели колосья, и пели ручьи.

Я любил переклички, от ветки до ветки,
    Легкокрылых, цветистых, играющих птиц.
Были древние горы ему однолетки,
    И ровесницы — степи, и пряжа зарниц.

Я любил в этом древе тот говор вершинный,
    Что вещает пришествие близкой грозы,
И шуршанье листвы перекатно-лавинной,
    И паденье заоблачной первой слезы.

Я любил в этом древе с ресницами Вия,
    Между мхами, старинного лешего взор.
Это древо в веках называлось Россия,
    И на ствол его — острый наточен топор.

7 сентября 1917

484. УЗНИК

В соседнем доме
Такой же узник,
Как я, утративший
Родимый край, —

Крылатый, в клетке,
Сердитый, громкий,
Весь изумрудный
Попугай.

Он был далёко,
В просторном царстве
Лесов тропических,
Среди лиан, —
Любил, качался,
Летал, резвился,
Зеленый житель
Зеленых стран.

Он был уловлен,
Свершил дорогу —
От мест сияющих
К чужой стране.
В Париже дымном
Свой клюв острит он
В железной клетке
На окне.

И о себе ли,
И обо мне ли
Он в размышлении, —
Зеленый знак.
Но только резко
От дома к дому
Доходит возглас:
«Дурак! Дурак!»

9 октября 1920
Париж

485. ТОЛЬКО

Ни радости цветистого Каира,
Где по ночам напевен муэззин,
Ни Ява, где живет среди руин,
В Боро-Будур, Светильник Белый мира,

Ни Бенарес, где грозового пира
Желает Индра, мча огнистый клин
Средь тучевых лазоревых долин,
Ни все места, где пела счастью лира,

Ни Рим, где слава дней еще жива,
Ни имена, чей самый звук — услада,
Тень Мекки, и Дамаска, и Багдада, —

Мне не поют заветные слова,
И мне в Париже ничего не надо.
Одно лишь слово нужно мне: *Москва.*

15 октября 1920
Париж

МОЕ — ЕЙ

Россия

1924

---

486. ОНА

В мгновенной прорези зарниц,
В крыле перелетевшей птицы,
В чуть слышном шелесте страницы,
В немом лице, склоненном ниц,

В глазке лазурном незабудки,
В веселом всклике ямщика,
Когда качель саней легка
На свеже-белом первопутке,

В мерцаньи восковой свечи,
Зажженной трепетной рукою,
В простых словах «Христос с тобою»,
Струящих кроткие лучи,

В глухой ночи, в зеленоватом
Рассвете, истончившем мрак,
И в петухах, понявших знак,
Чтоб перепеться перекатом,

В лесах, где папоротник, взвив
Свой веер, манит к тайне клада, —
Она одна, другой не надо,
Лишь ей, Жар-птицей, дух мой жив.

И все пройдя пути морские,
И все земные царства дней,
Я слово не найду нежней,
Чем имя звучное: Россия.

8 ноября 1922
Париж

487

Приветствую тебя, старинный крепкий стих,
Не мною созданный, но мною расцвечённый,
Весь переплавленный огнем души влюбленной,
Обрызганный росой и пеной волн морских.

Ты в россыпи цветов горишь, внезапно тих,
Мгновенно мчишься вдаль мятелью разъяренной,
И снова всходишь в высь размерною колонной,
Полдневный обелиск, псалом сердец людских.

Ты полон прихотей лесного аромата,
Весенних щебетов и сговора зарниц.
Мной пересозданный, ты весь из крыльев птиц.

И рифма, завязь грез, в тебе рукой не смята.
От Фета к Пушкину сверкни путем возврата
И брызни в даль времен дорогой огневиц.

488. КАПЛЯ

В глухой колодец, давно забытый, давно без жизни и без воды,
Упала капля — не дождевая, упала капля ночной звезды.

Она летела стезей падучей и догорела почти дотла,
И только искра, и только капля одна сияла, еще светла.

Она упала не в многоводье, не в полногласье воды
речной,
Не в степь, где воля, не в зелень рощи, не в чащу веток
стены лесной.

Спадая с неба, она упала не в пропасть моря,
не в водопад,
И не на поле, не в ровность луга, и не в богатый
цветами сад.

В колодец мертвый, давно забытый, где тосковало
без влаги дно,
Она упала снежинкой светлой, от выси неба к земле —
звено.

Когда усталый придешь случайно к тому колодцу
в полночный час,
Воды там много, в колодце — влага, и в сердце — песня,
в душе — рассказ.

Но чуть на грани земли и неба зеленоватый мелькнет
рассвет,
Колодец меркнет, и лишь по краю — росистой влаги
белеет след.

489. ВЕРБЛЮДЫ

Прошли караваном верблюды, качая своими тюками.
Нога на широком копыте в суставе сгибалась слегка.
Изящна походка верблюда. Красивы верблюды
с горбами.
И смотрят глаза их далеко. Глядят на людей свысока.

Когда же достигнут до цели, мгновенно сгибают колени.
Как будто свершают молитву с сыновьим почтеньем
к земле.
Недвижны в песках изваянья. На золоте красные тени.
Вот выбрызнут звезды по небу— ожившие угли в золе.

490. ПОЛДЕНЬ

Высокий полдень. Небо голубое.
Лик ястреба, застывшего вверху.
Вода ручья в журчащем перебое,
Как бисер, нижет звонкий стих к стиху.

Среди листвы умолк малейший шепот.
Мир — солнечный, а будто неживой.
Лишь издали я слышу спешный топот,
Куда-то мчится вестник верховой.

Откуда весть? Из памяти давнишней?
Быть может, час — обратный начал ток?
Я сплю. Я мертв. Я в этой жизни лишний.
В гробу сплетаю четки мерных строк.

Но если я навек живыми, ныне,
На дальней грани жизни позабыт,
Ко мне стремится тень былой святыни,
И ближе-ближе звонкий стук копыт.

491. ЦАРЬКИ ЛЕСНЫЕ

Царьки лесные — они смешные, они чудные, как угольки.
Тут засмеются, там обернутся, и вдруг зажгутся
поверх реки.

Вернутся в глуши, наденут лики, на каждом важен
его убор.
Один — как травка, другой — пиявка, тот —
птичка славка, тот — мухомор.

Тот землемером скользит по листьям, складной аршинчик
зеленый — он.
Листок измерить — большое дело, во всем есть мера,
везде закон.

А та ведунья, что в далях луга, ширяя, смерит всю
ширь лугов,
Хоть не супруга, но всё, летая, она подруга
лесных царьков.

А та — из стаи немых пророчиц — вся в сарафане
из серебра, —
Зовут рыбешкой, зовут плотицей, зови царицей:
давно пора.

И не подумай, что две улитки свои засидки замедлят зря.
Слюнявя тропку, они слагают псалмы во славу и в честь
царя, —

Того, чьи слуги — царьки лесные, кем жив зеленый испод
листа,
Кому — хваленье, благодаренье, и вознесенье, и высота.

492. ПЕРВОЗИМЬЕ

Свертелся заяц в поле чистом,
Беляк, на белом белый жгут.
Мигает хвостиком пушистым,
Сигает там, мелькает тут.

Он сказку заячью следами
На первом снеге начертил —
И шорк обмерзлыми кустами,
И прыг в свой терем что есть сил.

Кричали гуси на деревне:
«Окован пруд. Не плавать нам».
И крякал селезень напевней:
«Тепло в закуте. Там, там, там».

Свой голос не сгустив до лая,
Дворняжка тявкает на снег.
В нем зыбко лапы окуная,
Игривый зачинает бег.

На елке галка скоком шалым
Стряхнула с ветки бахрому
И глазом сине-полинялым
Глядит, чтó у людей в дому.

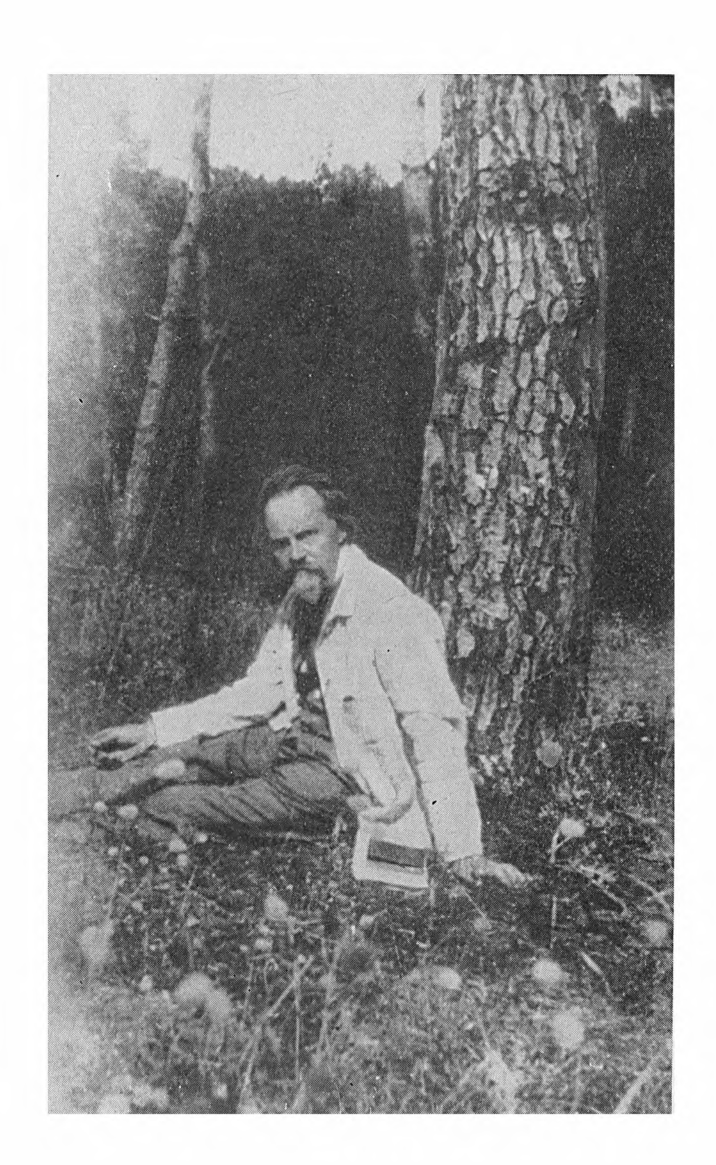
Горят все печи и печурки,
До неба всходит белый дым.
И бегом вещей сивки-бурки
Несусь я к далям голубым.

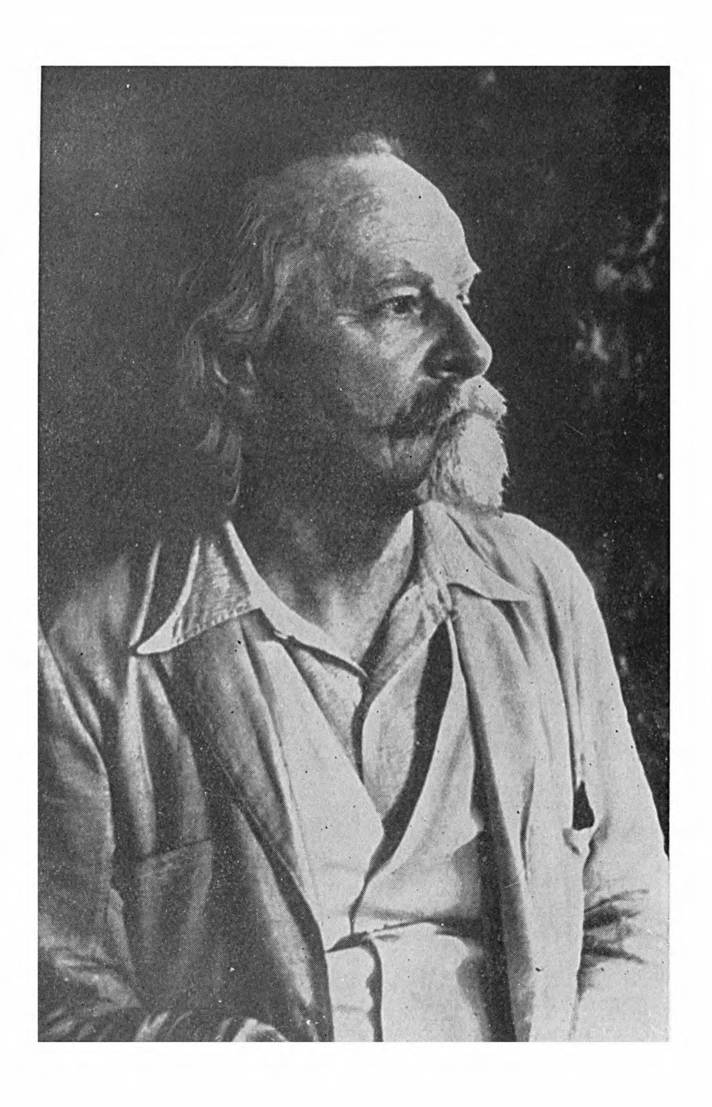
Тоски и мысли сверглась ноша,
Душа открыта и чиста.
Безгрешна первая пороша,
Как подвенечная фата.

493. МЕДВЯНАЯ ТИШЬ

Медвяная тишь от луны округлой и желтоогромной
В сосновом лесу разлилась, дремотный безмолвствует бор.
И только по самым верхам скользит ветерок неуемный,
И между высоких вершин чуть слышный идет разговор.

Далёко родимая Мать от Волги глядит до Урала,
От Белой волны на Закат, глядит чрез Алтай на Восток.
Атлантика мне говорит, что ждать остается мне мало,
К Родимой моей припаду, чуть только означится срок.





В РАЗДВИНУТОЙ ДАЛИ

Поэма о России

1929

---

494. ЗДЕСЬ И ТАМ

Здесь гулкий Париж — и повторны погудки,
Хотя и на новый, но ведомый лад.
А там на черте бочагов — незабудки,
И в чаще — давнишний алкаемый клад.

Здесь вихри и рокоты слова и славы,
Но душами правит летучая мышь.
Там в пряном цветеньи болотные травы,
Безбрежное поле, бездонная тишь.

Здесь в близком и в точном — расчисленный разум,
Чуть глянут провалы — он шепчет: «Засыпь!»
Там стебли дурмана с их ядом и сглазом,
И стонет в болотах зловещая выпь.

Здесь вежливо холодны к Бесу и к Богу,
И путь по земным направляют звездам.
Молю тебя, Вышний, построй мне дорогу,
Чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом *Там.*

495. Я РУССКИЙ

Я русский, я русый, я рыжий,
Под солнцем рожден и возрос.
Не ночью. Не веришь? Гляди же
В волну золотистых волос.

Я русский, я рыжий, я русый.
От моря до моря ходил.
Низал я янтарные бусы,
Я звенья ковал для кадил.

Я рыжий, я русый, я русский.
Я знаю и мудрость и бред.
Иду я — тропинкою узкой,
Приду — как широкий рассвет.

496. ОСЕНЬ

Я кликнул в поле. Глухое поле
Перекликалось со мной на воле.
А в выси мчались, своей долиной,
Полет гусиный и журавлиный.

Там кто-то сильный, ударя в бубны,
Раскинул свисты и голос трубный.
И кто-то светлый раздвинул тучи,
Чтоб треугольник принять летучий.

Кричали птицы к своим пустыням,
Прощаясь с летом, серея в синем.
А я остался в осенней доле —
На сжатом, смятом, бесплодном поле.

497. Я

В мои глаза вошли — поля, моря, леса,
Мои зрачки — огонь, в них солнце задремало.
Люблю Вселенную. Я верю в чудеса.
Они во всем, что ширь и что предельно-мало.

Мы загораемся сквозь сумрак голубой,
Когда, незримые, вступаем в мир зачатий.
И благо, если кто отмечен так судьбой,
Что он в самом себе хранит ее печати.

Какой из дальних звезд залюбовалась мать?
В какое из светил взглянул отец когда-то?
Об этом можем мы лишь мыслить и гадать,
Но в нас мерцает след рассвета и заката.

Есть смысл в речении старинной из примет,
Что в рыжих волосах всегда костер ярится.
Я быстро обогнул пролет горячих лет,
Но седина ко мне не смеет подступиться.

Чуть-чуть лишь по вискам, от полносчетных зим,
Неясно проступил осенний свежий иней,
Но всё еще лесным пожаром я гоним —
Куда-то, где найду цветок мечтаний синий.

До головы моей, когда рождался я,
Коснулся светлый луч зари июньской, нежной.
Пребудь лобзаемой, господь, рука твоя,
Дозволь мне полностью пройти твой мир
безбрежный!

Ты жаворонка мне явил среди полей,
Окутал ночь мою всей страстью соловьиной,
Дал зиму белую, в ней — звоны хрусталей,
Упругий, гулкий лед, и лунный луч над льдиной.

Внушив, когда искал я золотых ключей,
Что, красоту любя, свершаешь божье дело,
Ты мне велел желать, хотеть, всё горячей,
Внутри и вне искать, не знать ни в чем предела.

Я полюбил простор всех царств и многих вод,
От Скандинавии, где я скользнул сквозь шхеры,
Как зерна в океан, за годом бросил год,
Морями южными поил мои размеры.

Звучали песни мне. Я сам их пел везде.
От Семизвездия далеко уплывая —
До Южного Креста, молился той звезде,
Что где-то в снах ночей, у самого их края.

Красивая Земля дарована земным,
Красиво в неземном отыскивать земное

И видеть, что земной, мой сельский белый дым
Восходит к небесам — в пространство голубое.

Узорная мечеть, где кличет муэззин,
Багряно-желтые, в лучах, пески Сахары,
Священный Бенарес — не тот же ли один
Всё это сон Земли, людского сердца чары?

На Южных Островах, где вечная весна,
К ребенку наклонясь, с напевом, самоанка —
Не та же ли всё мать? Не так же ли она
Божественно ясна, как русская крестьянка?

Но, мир поцеловав, и весь его — крестом
В четырекратности пройдя, необозримый,
Не как заморский гость вступаю в Отчий Дом,
И нет — не блудный сын, а любяще-любимый.

Когда в младенчестве я шел в дремучий лес,
Я пропадал весь день, до самого заката,
И на опушке ждал, чтоб крайний луч исчез,
Чтоб был вдвойне, втройне желанным миг возврата.

Я меру яблок взял от яблонь всех садов.
Я видел Божий Куст. Я знаю ковы Змия.
Но только за одну я всё принять готов, —
Сестра моя и мать! Жена моя! Россия!

Январь 1927
Капбретон

498. БЕЛЫЙ ЛУЧ

Сквозь зелень сосен на красной крыше
Желтеет нежно закатный свет.
И глухо-глуше и тихо-тише
Доходит шепот минувших лет.

Всё тише, тише и всё яснее
Я слышу вздохи родных теней.
За синим морем цветет лилея,
За дальной далью я буду с ней.

Совсем погаснуть, чтоб нам быть вместе,
Совсем увянуть, как свет зари.
Хочу я к Белой моей Невесте,
Мой час закатный, скорей сгори.

И вот восходит Звезда морская —
Маяк вечерних, маяк ночных.
Я сплю. Как чутко. И ты — живая.
И я, весь белый, с тобою тих.

499. МОРСКОЙ СКАЗ

Посвящаю эту поэму поэтам —
строителям Новой Литвы.

Литва и Латвия, Поморье и Суоми,
Где между сосен финн Калéвалу пропел,
Меж ваших говоров брожу в родном я доме.
Венец Прибалтики. Вещательный предел.
За морем — Швеция. Озера. Одесную —
Оплот Норвегии. Ошуйю — я ликую.

Там где-то некогда — кто молвит точно, где? —
Свершилось — для меня единственное — чудо:
Молился предок мой! И к Утренней Звезде
Не он ли песнь пропел, под именем Вельмуда,
Что по морям хотел настигнуть горизонт
И стал поздней — Балмут, и стал — и есть —
Бальмонт?

Всегда в хотении неведомого брега
Я проплывал моря к неведомой стране.
И в летопись взглянув, я вижу близ Олега
Вельмуда. Нестора читаю, весь в огне.
И голубой просвет ловлю родного взгляда:
Прибил свой щит Олег на тех вратах Царьграда.

Не указанье ли, что с детских лет во мне
Неизъяснимая вражда к красе Эллады?
Мой пращур бился там, и на глубоком дне
Морским царевнам пел, — как пел Садко, —
баллады.
Не память ли веков, бродячих и морских,
Что синь морскую я всегда вливаю в стих?

Когда впервые мне, ребенку, дали браги,
Еще я мало что о вольном мире знал,
Но гости, — мнилось мне, — те древние варяги,
Чей смелый дуб-дракон рассек сильнейший вал.
Чрез полстолетия всё то же в сердце пенье.
Я помню проблеск тот. День Пасхи. Воскресенье.

Мне говорила мать, что прадеды мои
Бродили по Литве. Когда-то. Где-то. Кто-то.
От детских дней люблю журчащие ручьи,
И странной прелестью пьянит меня болото,
Узорный дуба лист, луга, дремучий лес,
И сад, и дом отца, с узорами завес.

Кто камыши пропел? Ах, что мы знаем! Ящер,
Что в дни цветения Земли гигантом был,
Не ящерки ли он в веках забытый пращур?
И в искре из кремня — не ста веков ли пыл?
Я камыши пропел, как до меня не пели.
Но раньше пел литвин, играя на свирели.

Чья песнь о лебеде Россию обошла?
Ее еще поют. Поют и в чуждых странах.
Кто в яркий стих вложил мгновенный блеск весла,
Болотной лилии красу и зорь румяных?
Я говорю: «Не я». Но кровь во мне жива,
В чьем вспеве, лебедем плывя, поет Литва.

Я видел вещий сон. Безмерное болото.
Всё в белых лилиях. В избе живет колдун.
В оконцах свет зари. Играет позолота.
Ведун перебирал перебеганья струн.
Он песнь о солнце пел. Живет та песня, дайна.
Мне чудится, тот сон мне снился не случайно.

Не черный звался он, а Белый Чаровник,
И было перед ним Волшебное Болото.
Завороженное. В лесу — и гул и клик.
Ломает путь кабан. Уносится охота.
Колдун поет свой сказ, лелея струнный звон.
В нем — путь, и пенный вал, и черный дуб-дракон.

Певучий длился сказ. В глухом лесу усадьба.
В ней много комнаток. Полна богатства клеть.
Яруют мед и хмель. И в яркой яри свадьба.
Как лебединую отрадно песню спеть!
Любимый — не любим. Прощай, моя дубрава.
Иду я в край иной. Пред смелым — всюду слава.

Иди, буланый конь. Люблю я звук копыт.
Уж дом родной — как дым, за синей гранью взгорья.
В морской душе восторг морской не позабыт.
Вперед. За ширь степей. Чу, рокот Черноморья!
И баламутил он, с конем, и там и тут,
Мой прадед, дед отца, смельчак, боец Балмут.

Как перелился сон и стал былым, столь явным,
От моря Черного плеснула кровь куда?
Нет, не назад в Литву к убежищам дубравным, —
За лесом Муромским любви зажглась звезда.
И сон того я сна. А где проснусь? — Не знаю.
Хочу к неведомо-единственному краю!

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Стихи о Литве и Руси

1931

ЛИТВА

500—501. *ЛЕСНОЙ ЦАРЕВНЕ — ЛИТВЕ*

1

В зачарованном сне ты, Лесная Царевна,
Ты пред вещею прялкой сидела века,
И пчелою жужжала та прялка напевно, —
Оттого твоя песня, как ночь, глубока.
Перебрызнуты в песню твою вечерница,
И денница, и месяц, и солнце, и гром,
Над тобой от младенчества ткала зарница, —
Оттого так лучисто в мечтаньи твоем.
Ты на мощной основе тяжелого сруба,
Как дитя, на высокую башню взошла,
Пели пращуры, слушая шелесты дуба, —
Не от них ли в душе твоей мудрая мгла.
Из густой, из запутанной, мглистой кудели
Ты огнистые выткала ткани векам,
И шумели, колдуя, столетние ели,
Всю зеленую тайну свевая к зрачкам.
О, зеницы, где дремлет священная тайна,
Негасимый огонь через тысячи лет.
Я, Царевна, тебя полюбил не случайно,
Ты поешь — через лес, глубже голоса — нет.
Что́ нежнее лесной первомайской опушки?

Чтó сильней, чем огонь, что колдует, горя?
Чтó вещательней долгого клича кукушки?
Слез Морского Царя — златослез янтаря?
Голос древней Литвы, струнно-звонкая дайна,
Ты — густой, и тягучий, и сладостный мед,
Многоптичий напев здесь провеял бескрайно,
И вошел в этот звук соколиный полет.
Через тысячи лет — созиданье святыни,
И не рушится мощь плотно сложенных плит.
О Лесная Царевна, ты в верной твердыне.
Всё, что хочешь ты, будет. Так солнце велит.

2

За то, что я в христовой вере
Свое язычество храню,
За то, что мы чрез те же двери
Ходили к вещему огню,
За то, что мы к одной стихии
С тобой привержены — к лесной, —
Тебя поет певец России:
Ты не во мне, но ты со мной.
За то, что ты пропела юно
Под звонкий, гулкий голос струн
Всё то, в чем власть была Перкуна,
Что для меня пропел Перун,
За то, что дух твой тверд, как камень,
Знакомый с искрой голубой, —
Тебе, Литва, мой вспевный пламень:
И розны мы, но я с тобой.
За то, что, дав скрепиться Югу,
Татар отбросил прочь литвин,
За то, что русскую супругу
Любил и холил Гедимин,
За то, что мощь свою и слово
Он в ту же сторону стремил,
Где путь Димитрия Донского, —
Да вспрянешь в новом цвете сил.
За то, что там, где ты — исканье,
Бродили пращуры мои,
Как возвестили мне преданья
Моих отцов, моей семьи,

За то, что ты гнездо, как ворон,
Вила среди лесных пустынь, —
Мой дух с тобой: от давних пор он
До грани дней с тобой! Аминь!

1 декабря 1928
Капбретон

502. ОБРУЧЕНИЕ

Посвящается Людасу Гире и всем, братски меня встретившим в Кибартах, на Литовской земле.

Среди других певцов отмеченный
Литвой, — и ею дорожа, —
Военной музыкою встреченный,
Ее достигши рубежа, —
Я горд, что там я с побратимами
Неломкий заключил союз,
И не моими, но родимыми
Ее просторами клянусь,
Что обручению свидания,
Словам, сверкнувшим, как весна,
Любви, всё ведавшей заранее,
Душа останется верна.
Литовской речью, столь ветвистою,
Что новь цветет, как рдела встарь,
Тысячелетья золотистою,
Как морем вымытый янтарь,
Хранимыми заветно тайнами,
В которых бьет хрустальный ключ,
Неумолкающими дайнами —
Твой дух, Литва, всегда могуч.
Нет, не случайною минутою
Решен крылатой птицы взлет,
И вечно-девственною рутою
Душа литовская цветет.
Своими чистыми озерами,
Своею пашней трудовой,
Прикованными к цели взорами —
Литва останется Литвой.

Судьба роняет искушения
И в тесный замыкает круг,
Но кто кует свои решения —
Тот цепи размыкает вдруг.
Упрямый дух! Сестра любимая!
Он знает путь — твой белый конь.
В прорывах дали вижу дымы я,
Но в дымах — творческий огонь.
Да будешь сильной и обильною,
В себе скрепленная страна, —
И Гедиминовою Вильною
Ты быть увенчана — должна!

РУСЬ

503. СЕВЕРНЫЙ ВЕНЕЦ

Только мы, северяне, сполна постигаем природу
В полнозвучьи всех красок, и звуков, и разностей сил,
И когда приближаемся к нашему Новому Году,
Нам в морозную ночь загораются сонмы кадил.

Только мы усмотрели, что всё совершается в мире
Совершенством разбега в раздельности линий Креста,
Лишь у нас перемены — в своем нерушимом — четыре,
Всеобъемная ширь, четырех тайнодейств полнота.

Не дождит нам зима, как у тех, что и осень и лето
Не сумеют сполна отличить от зимы и весны.
Наша белая быль в драгоценные камни одета,
Наши Святки — душа, наша тишь — неземной глубины.

О, священная смерть в безупречном — чистейшей одежды,
Ты являешь нам лик беспредельно-суровой зимы,
Научая нас знать, что, когда замыкаются вежды,
Воскресение ждет, — что пасхальны и вербы и мы.

Только Север узнал, как в душе полнозначна примета,
И предпервую весть приближенья весенних огней

Нам чирикнет снегирь, — красногрудый, поманит он лето,
Мы расслышим весну — в измененных полозьях саней.

Переведались дни — через оттепель — с новым морозом,
Зачернелась земля, глухариный окончился ток,
И проломленный наст — это мост к подступающим
грозам,
В полюбивших сердцах разливается алый Восток.

Развернись, разбежись, расшумись, полноводная сила,
Воля Волги, Оки и пропетого югом Днепра,
Сколько звезд — столько птиц, и бескрайно колдует
бродило.
По лугам, по лесам, по степям — огневая игра.

Насладись, ощутив, как сверкают зарницы в рассудке,
Захмелевшая кровь провещает свой сказ наизусть,
И вздохни близ купав, и довей тишину к незабудке,
И с кукушкой расслышь, как в блаженство вливается
грусть.

Досказалась весна. Распалилась иная истома.
Огнердеющий мак. Тайновеющий лес в забытьи.
Полноцветное празднество молнии, таинство грома,
Вся Россия— в раскатах телеги пророка Ильи.

Вся небесная высь — в полосе огневеющей гривы,
В переброce копыт, в перескоке и ржаньи коня.
И серебряный дождь напоил золотистые нивы,
В каждой травке — припев: «И меня, напои и меня!»

Что́ красивее колоса ржи в полноте многозерни?
Что́ желанней душе, чем тяжелая важность снопа?
Что́ прекрасней, чем труд? Или песня —
его достоверней?
Лишь работой, припавши к земле, наша мысль не слепа.

И опять оттолкнись от тебя обласкавшего праха,
Посмотри, как простор углубился вблизи и вдали,
Закурчавился ветер, летит, налетает с размаха,
Улетают — с душой — далеко — за моря — журавли.

Разбросалась брусника. Развесились гроздья рябины.
Многозаревный вечер последнее пламя дожег.
Столько звезд в высоте, что, наверно, там в небе — смотрины.
Новый выглянул серп. Завтра — первый перистый снежок.

Осень 1925
Вандея

504. РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык, великолепный наш язык.
Речное и степное в нем раздолье,
В нем клекоты орла и волчий рык,
Напев и звон и ладан богомолья.

В нем воркованье голубя весной,
Взлет жаворонка к солнцу — выше, выше.
Березовая роща. Свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше.

Журчание подземного ключа.
Весенний луч, играющий по дверце.
В нем Та, что приняла не взмах меча,
А семь мечей — в провидящее сердце.

И снова ровный гул широких вод.
Кукушка. У колодца молодицы.
Зеленый луг. Веселый хоровод.
Канун на небе. В черном — бег зарницы.

Костер бродяг за лесом, на горе,
Про Соловья-разбойника былины.
«Ау!» в лесу. Светляк в ночной поре.
В саду осеннем красный грозд рябины.

Соха и серп с звенящею косой.
Сто зим в зиме. Проворные салазки.
Бежит савраска смирною рысцой.
Летит рысак конем крылатой сказки.

Пастуший рог. Жалейка до зари.
Родимый дом. Тоска острее стали.
Здесь хорошо. А там — смотри, смотри.
Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали.

Чу, рог другой. В нем бешеный разгул.
Ярит борзых и гончих доезжачий.
Баю-баю. Мой милый! Ты уснул?
Молюсь. Молись. Не вечно неудачи.

Я снаряжу тебя в далекий путь.
Из тесноты идут вразброд дороги.
Как хорошо в чужих краях вздохнуть
О нем — там, в синем — о родном пороге.

Подснежник наш всегда прорвет свой снег,
В размах грозы сцепляются зарницы.
К Царьграду не ходил ли наш Олег?
Не звал ли в полночь нас полет Жар-птицы?

И ты пойдешь дорогой Ермака,
Пред недругом вскричишь: «Теснее, други!»
Тебя потопит льдяная река,
Но ты в века в ней выплывешь в кольчуге.

Поняв, что речь речного серебра
Не удержать в окованном вертепе,
Пойдешь ты в путь дорогою Петра,
Чтоб брызг морских добросить в лес и в степи.

Гремучим сновиденьем наяву
Ты мысль и мощь сольешь в едином хоре,
Венчая полноводную Неву
С Янтарным морем в вечном договоре.

Ты клад найдешь, которого искал,
Зальешь и запоешь умы и страны.
Не твой ли он, колдующий Байкал,
Где в озере под дном не спят вулканы?

Добросил ты свой гулкий табор-стан,
Свой говор златозвонкий, среброкрылый —
До той черты, где Тихий океан
Заворожил подсолнечные силы.

Ты вскликнул: «Пушкин!» Вот он, светлый бог,
Как радуга над нашим водоемом.
Ты в черный час вместишься в малый вздох.
Но Завтра — встанет! С молнией и громом!

3 июля 1924
Шатэлейон

505. ДЮННЫЕ СОСНЫ

Взвихрены ветром горбатые дюны,
Бор взгромоздился на выступ откосный.
Ветер качает зеленые струны,
Ветки поющие, терпкие сосны.

Голос безгласия, Север на Юге,
Ветру покорствуя, редко немые,
Те — перекручены в дикие дуги,
Те — как у нас, безупречно-прямые.

В этих лесах не курчавится щебет
Наших веселых играющих пташек.
В зарослях ветер лишь вереск терёбит,
Нет здесь — знакомых нам с детства — ромашек.

Не закачается дружная стая
Солнышек желтых и луночек белых,
Пахнут лишь капли смолы, нарастая,
Ладан цветет в ветрохвойных пределах.

Ландыш не глянет. Кукушка не стонет
В час, как везде — хороводами вёсны.
Ветер песчинки мятелями гонит,
Медью трезвонит сквозь дюнные сосны.

Если б — «Ау!» — перекликнуться с лешим,
С теми тенями, что век с нами юны...
Грустные странники, чем себя тешим?
Гусли нам — сосны, и ветки их — струны.

Вся моя радость — к обветренным склонам
Горько прильнуть, вспоминая и чая.
Если б проснуться в лесу мне зеленом,
Там, где кукует кукушка родная!

6 сентября 1926

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА

Стихи о Сибири

1935

---

506. ГЕОРГИЮ ГРЕБЕНЩИКОВУ

Тебе, суровый сын Сибири,
Что взором измерял тайгу,
Привет в изгнанническом мире,
На отдаленном берегу.

Ты выпытал в крестьянской доле,
Как творчески идет соха,
И как в страданьи и неволе
Тоска взметает взлет стиха.

Ты видел, мысля и мечтая,
Какого требует труда
В горах червонного Алтая
Золотоносная руда.

Ты принял светы талисмана
В пурге, прядущей долгий вой,
В гортанном говоре шамана,
В котором крик сторожевой.

И много раз в тоске немея,
Душой богат, но долей сир,
Ты восхитился ликом Змея,
Который весь объемлет мир.

Не тем, с кем говорила Ева,
Кто яд из пропасти исторг, —
Ему я не спою напева
И ты не подаришь восторг.

Мой Змей вздымает океаны,
Он говорит через тайфун.
Им уготованные раны
Я утоляю звоном струн.

Его могучие извивы
В сибирских видел я лесах,
Где изумрудные заливы
Лелеют творческий размах.

Где ствол раскидистого кедра —
Как довременный исполин,
И, затаясь в земные недра,
С алмазом говорит рубин.

Да будет завтра день твой новый —
Как матери родимой зов
Туда, где реки бирюзовы,
Где много милых голосов.

А ныне, с возгласом приветным,
Ты, разглядевший тайный лик,
Прими в Провансе многоцветном
Бретонской чайки взлетный крик.

11 февраля 1922
Бретань

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

507. СРЕДИ ШХЕР

Как сладко мечтать одиноко,
Забыть все сердечные раны,
Умчаться далеко, далеко —
В волшебные, чуждые страны.

За морем заря погасает,
Сливается с синею далью,
Последние искры бросает
С какою-то тайной печалью.

Пред вами картина такая,
Что с уст не срывается слово, —
И белая пена морская —
Как кудри царя водяного,

И брызг серебристых кристаллы,
И путь ваш в пучине безбрежной —
Как будто бы в царство Валгаллы
Вы мчитесь с валькирией нежной.

А синее, бурное море
Вам шепчет какие-то сказки;
В его переменчивом взоре
Вы видите страстные ласки.

И в ропоте водной громады
Вам чудится дальнее пенье:
Слиянье небесной отрады
С тревогой земного стремленья.

⟨1893⟩

508. ПАМЯТИ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА

Сонет

Он был из тех, кого судьба вела
Кремнистыми путями испытанья,
Кого везде опасность стерегла,
Насмешливо грозя тоской изгнанья.

Но вьюга жизни, бедность, холод, мгла
В нем не убили жгучего желанья —
Быть гордым, смелым, биться против зла,
Будить в других святые упованья.

Держал он светоч мысли в черный день,
В его душе рыдания звучали,
В его строфах был звук родной печали,

Унылый стон далеких деревень,
Призыв к свободе, нежный вздох привета
И первый луч грядущего рассвета.

Октябрь 1893

509. ГРОБОВЩИК

Гробовщик по крышке гроба молотком стучит
И, склонившись над работой, пасмурно молчит.
На полу белеют стружки. На пол, сквозь окно,
Солнца луч кладет, играя, светлое пятно.
Душно в комнате убогой. Гаснет беглый звук.
И опять по крышке гроба слышно: стук, стук,
стук...
Отчего так заунывно молоток стучит?
Отчего в глубокой думе гробовщик молчит?
Раньше с песнею веселой строил он гроба.
Да не то: не запоешь, брат, как пришла судьба.

Хоронить жену собрался — оттого молчит,
Оттого по крышке гроба молоток стучит.
Нелегко жене-старухе строить вечный дом.
Лучше б вместе в тесном гробе им лежать вдвоем.
Сквозь окошко раздается колокольный звон.
Шум весенний, жизни новой вечно-юный сон.
Чей-то зов и крик задорный. Чей-то смех звучит.
Гробовщик по крышке гроба молотком стучит.

24 апреля 1894

510. КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Сонет

Как нежный звук любовных слов
На языке полупонятном,
Твердит о счастьи необъятном
Далекий звон колоколов.

В прозрачный час вечерних снов
В саду густом и ароматном
Я полон дум о невозвратном,
О светлых днях иных годов.

Но меркнет вечер, догорая,
Теснится тьма со всех сторон;
И я напрасно возмущен

Мечтой утраченного рая;
И в отдаленьи замирая,
Смолкает колокола звон.

⟨1894⟩

511

Кто заглянет в лоно вод,
Где в прозрачности зеркальной,
В вечно-близкой — вечно-дальный
Опрокинут небосвод,
Легкий, светлый и печальный, —

Тот на миг душой поймет,
Что, как эти полутени,
Он лишь след иных видений,
Что и он уже не тот.

Ноябрь 1897

512

Бесстрастно светит солнце в высоте,
Бесстрастно предо мною волны бьются,
Бесстрастно, в бессознательной мечте,
Столетья, дни, мгновения несутся.

Приходит миг, приходит час и год,
И бури завершились тишиною,
И, замыкая их круговорот,
Бесстрастно дышит вечер предо мною.

Бесстрастие в лазурной вышине.
Ужели я один тебя нарушу?
Бесстрастие! О, снизойди ко мне —
В мою изнемогающую душу!

⟨1900⟩

513. МАЛЕНЬКИЙ СУЛТАН

То было в Турции, где совесть — вещь пустая.
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький Султан.

Во имя вольности, и веры, и науки
Там как-то собрались ревнители идей.
Но, сильны волею разнузданных страстей,
На них нахлынули толпой башибузуки.

Они рассеялись. И вот их больше нет.
И тайно собрались избранники с поэтом:
«Как выйти, — говорят, — из этих темных бед?
Ответствуй, о поэт, не поскупись советом».

И тот собравшимся, подумав, так сказал:
«Кто хочет говорить, пусть дух в нем словом дышит,
И если кто не глух, пускай он слово слышит,
А если нет, — кинжал!»

Март 1901

514. ГОРЬКОМУ

Сильный! Ты пришел со дна,
Ты пришел со дна глубокого, чудовищного, мутного.
Мир твой — пропасть, светлый мир мой — вышина,
Тишь забвенья,
Прелесть тучек, измененность их движенья
Поминутного.

Мир твой — яростный протест,
Возмущенье,
Крик ума, неправосудьем долгим скованного.
Мир мой — сладкий сон невест,
Чары леса, тишь лесных безлюдных мест,
Сон колодца зачарованного.

Горький! Ты пришел со дна,
Но душою возмущенной любишь нежное, утонченное.
В нашей жизни — скорбь одна:
Мы возжаждали величья, видя бледное кругом,
незаконченное.

Ты, томясь во мгле страстей,
В тайне сердца любишь грезы, сны лесные
в их пленительности.
Я тоскую без людей
И томлюсь душой моей
В этой мирной, в этой мерной упоительности.

Декабрь 1901

515. МОИ ВРАГИ

О, да, их имена суть многи,
Чужда им музыка мечты.
И так они серó-убоги,
Что им не нужно красоты.

Их дразнит трепет скрипки страстной
И роз красивых лепестки.
Едва махнешь им тканью красной —
Они мятутся, как быки.

Зачем мы ярких красок ищем,
Зачем у нас так светел взгляд!
Нет, если вежлив ты, — пред нищим
Скрывай, поэт, что ты богат.

Отдай свой дух мышиным войнам,
Забудь о бездне голубой.
Прилично ль быть красиво-стройным,
Когда уроды пред тобой!

Подслеповатыми глазами
Они косятся на цветы.
Они питаются червями,
О, косолапые кроты!

Едва они на солнце глянут —
И в норы прячутся сейчас:
Вдруг вовсе видеть перестанут,
И станут дырки вместо глаз.

Но мне до них какое дело?
Я — в облаках своей мечты.
С недостижимого предела
Роняю любящим цветы.

Свечу и жгу лучом горячим
И всем красивым шлю привет.
И я ничто — зверям незрячим,
Но зренью светлых — я расцвет!

14 августа 1903
Меррекюль Эстляндской губ.

516

Я мчусь по воздушной железной дороге
В могучем Нью-Йорке. Вблизи — океан.
Мелькают лачуги, мелькают чертоги.
Я мчусь по воздушной железной дороге —
И радостен сердцу железный обман.

Машины, машины. Победа над высью.
Сплетенье металла. Узоры сетей.
Я молча гляжу притаившейся рысью,
Я вольно овеян свободною высью,
А там — подо мной — панорама людей.

Дорога восходит всё выше и выше,
Я вижу там, в окнах, бесчисленность глаз.
Превзойдены взором высокие крыши.
Дорога восходит всё выше и выше.
Стремленье, куда же уводишь ты нас?

Июнь 1905

517. ⟨НА СМЕРТЬ М. А. ЛОХВИЦКОЙ⟩

О, какая тоска, что в предсмертной тиши
Я не слышал дыханья певучей души,
Что я не был с тобой, что я не был с тобой,
Что одна ты ушла в океан голубой.

17 сентября 1905

518. МЕЩАНЕ

Мне больно. Это ли есть мир?
И эти люди — вправду люди?
Не к мелким дьяволам на пир
Попал я — в шарлатанском чуде?

Рабы друг друга предают,
Чтоб побрататься в яме тесной.

Нет, этим — вправду нужен кнут,
Не их — телесный, мой — словесный.

Я думал видеть лес дубов —
Иудин вижу я осинник,
Не стан бойцов — кагал бесов,
На коем сыщик — именинник!

⟨Ноябрь 1905⟩

519. ПРИТЧА О ЧЕРТЕ

С великолепною иронией эстета,
Который тонко чтит изысканный свой дар,
Ко мне явился Черт, взял за руку поэта,
И вот меня повел — куда бы? — на пожар.

Горел огромный дом, пятнадцатиэтажный,
Стропила рушились сквозь дымы надо мной.
Пожарные, толпой картинной и отважной,
Спасали в этажах людей и хлам чужой.

И Черт промолвил мне: «Не трогательно ль это?»
Поджог, конечно, мой, и дом я строил сам.
Но сколько блесков здесь изменчивого цвета,
Как дым молитвенно восходит к небесам!

А те мундирники — что́ делали пред этим?
Сидели в кабаке и пили дрянь свою.
Теперь же сколько в них геройства мы заметим
В самоотверженном служеньи бытию!

А вон цветник там вдов, — в них чую
благодарность:
Погиб весь бельэтаж, — там каждый муж был стар.
Но в ночь да с мерою мы вводим светозарность».
И Черт, схватив насос, стал заливать пожар.

⟨Ноябрь 1905⟩

520

Я с ужасом теперь читаю сказки —
Не те, что все мы знаем с детских лет,
О, нет: живую боль — в ее огласке
Чрез страшный шорох утренних газет.

Мерещится, что вышла в круге снова
Вся нежить тех столетий темноты:
Кровь льется из Бориса Годунова,
У схваченных ломаются хребты.

Рвут крючьями язык, глаза и руки,
В разорванный живот втыкают шест,
По воздуху в ночах крадутся звуки —
Смех вора, вопль захватанных невест.

Средь бела дня — на улицах виденья,
Бормочут что-то, шепчут в пустоту,
Расстрелы тел, душ темных искривленья,
Сам дьявол на охоте. Чу! — «Ату!

Ату его! Руби его! Скорее!
Стреляй в него! Хлещи! По шее! Бей!»
Я падаю. Я стыну, цепенея.
И я их брат? И быть среди людей!

Постой. Где я? Избушка. Чьи-то ноги.
Кость человечья. Это — для Яги?
И кровь. Идут дороги всё, дороги.
А! Вот она. Кто слышит? Помоги!

⟨Декабрь 1905⟩

521. ДУША С ДУШОЙ

Душа с душой — как нож с ножом,
И два колодца — взгляд со взглядом.
Коль скажем: «Любим» — мы солжем,
Коль скажем: «Нет» — жизнь станет адом.
И мы друг друга — стережем,
И мы всегда друг с другом — рядом.

Декабрь 1908
Флоренция

522. ПРИМЕРНАЯ ЖИЗНЬ

Родился он в семье известной.
Желали первенца? Вот он.
Жена красивая, муж честный.
Дом — чаша полная. Закон
Любви супружеской, спокойной —
В укладе жизни тихой, стройной,
Где громок только граммофон
По воскресеньям. Мальчик вырос
Примерным. Он играл в войну.
По праздникам всходил на клирос
И подпевал. Идя ко сну,
Молился он: «Всевышний боже!
Мне папу, маму сохрани;
Пошли им счастья в долги дни;
А злых чужих карай построже.
Как вырасту, открой мне мир
И дай полковничий мундир».
Невинный мальчик был так скромен,
Хоть втайне он подозревал,
Что не во тьме каменоломен
Он будет жить, не из соломин
Построит свой приемный зал, —
И Рок был щедрым, награждая:
Еще далеко смерть седая,
А он уж — бравый генерал.
Он служит, милует, карает;
С подругой верною своей,
С супругою — в любовь играет,
И в карты — с дюжиной друзей;
С друзьями пишет приговоры,
Которыми казнимы воры;
И хоть порой щадит громил,
Но твердый почерк освятил
Не раз взнесенность перекладин.
Не упрекнешь его ни в чем:
Мир справедливости отраден
И обеспечен палачом.

⟨1910⟩

523. ЕМУ

Тебя любил, тебя люблю я,
Мой брат давнишний,
Мой враг с личиной поцелуя
И с ложью лишней.

Для ока сердца четко зримо
Всё то, что тайна.
Иди. Вражда проходит мимо.
Вражда случайна.

Но то, что вместе мы однажды
Взнесли мгновенье, —
Как звездный знак священной жажды,
Вне измененья.

И как бы ты ни унижался,
Мне изменивший,
И как бы ты червём ни сжался,
Меня любивший,—

Моя любовь не знает смены
И не изжита, —
Как не пробить касаньям пены
Оплот гранита.

Ноябрь 1912

524. ДУРНОЙ СОН

Мне кажется, что я не покидал России,
И что не может быть в России перемен.
И голуби в ней есть. И мудрые есть змии.
И множество волков. И ряд тюремных стен.

Грязь «Ревизора» в ней. Весь гоголевский ужас.
И Глеб Успенский жив. И всюду жив Щедрин.
Порой сверкнет пожар, внезапно обнаружась,
И снова пал к земле земли убогий сын.

Там за окном стоят. Подайте. Погорели.
У вас нежданный гость. То — голубой мундир.
Учтивый человек. Любезный в самом деле.
Из ваших дневников себе устроил пир.

И на сто верст идут неправда, тяжба, споры,
На тысячу — пошла обида и беда.
Жужжат напрасные, как мухи, разговоры.
И кровь течет не в счет. И слезы — как вода.

⟨1913⟩

525. ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

Когда умолк вдали тяжелый шум лавин
И снова свиделась вершина гор с вершиной,
Над побелевшею притихшею равниной
Был уцелевший я. И в днях я был один.

Но если в Вечности я зябкой стал былинкой,
Всех милых потерял, — я не скорблю о них,
А чую, как вверху снежинка за снежинкой,
Беззвучные, поют многолавинный стих.

3 июля 1915

526. В ЧАЙНОМ ДОМИКЕ

На циновках тонкотканных
Мы сидели и курили
Меж цветов, по цвету странных
И пьянящих в пышной силе.

Был расцвет махровых вишен,
Были гроздья там глициний,
Алый в белом был утишен
И смягчен был нежно-синий.

Чарованье измененья
Было в ладе всех движений,
В смене красок было пенье
Трех томов стихотворений.

Были косвенные очи
Хороши в уклонной силе —
Точно дрогнувшие ночи
Мрак свой к зорям наклонили.

Взоры гейш, изящных крошек,
Были точно свечи храма,
Как глаза священных кошек
Отдаленного Сиама.

Где-то в далях, невозвратно,
Мест родных леса и склоны.
И дымился ароматно
В малой чашке чай зеленый.

Апрель — май 1916

527. ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ

До самого конца вы будете мне милы,
Родного Севера непышные цветы.
Подснежник стынущий. Дыханье чистоты.
Печальный юноша. Дрожанье скрытой силы.

Ни косы быстрые, ни воющие пилы
Еще не тронули растущей красоты.
Но затуманены росой ее черты.
И тот, пред кем вся жизнь, расслышал
зов могилы.

Судьба счастливая дала мне первый день.
Судьба жестокая второй мой день послала.
И в юности моей не мед я знал, а жало.

Под громкий лай собак бежал в лесах олень.
И пена падала. А следом расцветала
Грустянка синяя, роняя в воду тень.

7 сентября 1916
Над Окой

528. БЕЛОЙ НОЧЬЮ

Светлодолгие летние ночи над пространствами
Белого моря.
Перелетные призраки чаек, упадающих к сонной волне.
Эти густо-ленивые воды в их бормочущем медленном
споре.
И по воздуху мысль уплывает к той приснившейся
в детстве стране.

Где она, окруженная садом? Расписной возвышается
терем.
У ворот роковая колдунья, и отравное яблочко с ней.
Я бы взял это яблоко смело. Я б сразился со сказочным
зверем.
Я бы девушку спас от напасти. Я от искуса только
сильней.

Но они за седьмою горою — посвященные счастью
хоромы.
Но она за тринадцатой бездной — что скучает по мне
без меня.
И напрасно закину я сети, — только рыб в них
сребристые комы.
И тоскую я ночью безнощной в ожиданьи бездневного
дня.

⟨1916 ?⟩

529—530. *ИЗ ЦИКЛА «В РОССИИ»*

1
ЛИШЬ С НЕЙ

Я был в России. Грачи кричали.
Весна дышала в мое лицо.
Зачем так много в тебе печали?
Нас обвенчали. Храни кольцо.

Я был повсюду. Опять в России.
Опять тоскую. И снова нем.

Поля седые. Поля родные.
Я к вам вернулся. Зачем? Зачем?

Кто хочет жертвы? Ее несу я.
Кто хочет крови? Мою пролей.
Но дай мне счастья и поцелуя.
Хоть на мгновенье. Лишь с ней. С моей.

2

ПРОЩАНИЕ

Меня встречали. Меня венчали.
Сердца горели среди цветов.
Зачем так много во мне печали?
Обвенчан с грустью на ряд годов.

Сам говорил я, что светлым богом,
Что ярким солнцем возможно быть.
Я пел влюбленный. Я шел чертогом.
Учило сердце любовь любить.

Но свет мой светит сквозь мглу страданья.
Мне вновь дорога в далекий край.
Прости. Так должно. Когда свиданье?
Я сам не знаю. Теперь — прощай.

Лето 1917

531. РЕБЕНКУ БОГОВ, ПРОКОФЬЕВУ

Ты солнечный богач. Ты пьешь, как мед, закат.
Твое вино — рассвет. Твои созвучья, в хоре,
Торопятся принять, в спешащем разговоре,
Цветов загрезивших невнятный аромат.

Вдруг в золотой поток ты ночь обрушить рад,
Там где-то далеко — рассыпчатые зори,
Как нитка жемчугов, и в световом их споре
Темнеющий растет с угрозным гулом сад.

И ты, забыв себя, но сохранивши светы
Степного ковыля, вспоенного весной,
В мерцаниях мечты, всё новой, всё иной,

С травинкой поиграл в вопросы и ответы
И, в звук свой заронив поющие приметы,
В ночи играешь в мяч с серебряной луной.

9 августа 1917

532. ПО ТРОПИНКЕ

От яблони розово-белой,
От вишенья — цветом белей,
От звонов пчелиных, со смелой
Игрою гудящих шмелей, —

В душе первоутренне-чистой
Раскрылся невидимый цвет.
В нем воздух и звон, серебристый,
Ему же названия нет.

Качается час с лепестками,
Срываясь, летят лепестки,
И легкими кто-то ногами
Танцует над гладью реки,

И легкою кто-то рукою
Туман разбросал по верхам,
Где овцы идут к водопою
Чрез пламень по синим лугам,

Где белые тучны коровы,
Где красный свирепится бык,
Где вдруг из безгласной основы
Взметается громкий язык,

Где манят фиалки всё выше,
Зовут незабудки меня —
До солнечной двери и крыши
По взлетной тропинке огня.

1917—1918 (?)

583

Тургенев — первая влюбленность,
В напевном сердце нежный строй,
Где близь уходит в отдаленность,
Заря целуется с зарей.

Зима наносит снег. Но лишь я
Припомню «Первую любовь»,
Промолвлю: «Ася» и «Затишье», —
Себя я вижу юным вновь.

Дремотный старый сад. Сирени.
Узор крестообразный лип.
Зовут заветные ступени.
Садовой дверцы дрогнул скрип.

Они пройдут перед очами —
Сплетенья призраков таких,
Что будешь днями и ночами
Их вспоминать и звать в свой стих.

На утре дней душа открыта,
Прикосновений жаждет новь,
И вот тропинка в ней пробита —
Через любовь к любви — в любовь.

Душа нуждается в уроке,
И мир заманчив и не хмур,
Когда читаешь сердцем строки,
Что спел грустящий трубадур.

Душа ребенка — лебеденок —
Предощущает свой полет,
А старший лебедь в кличе звонок,
И в синеву душа плывет.

Блажен, кто в золото лобзанья
Возвел землистую руду
И женское очарованье
Предуказал нам, как звезду.

Кто нас увлек в такие дали,
Где всё есть радость и печаль,
И мысль заветные скрижали
Взнесла в небесную эмаль.

Благословен учитель чувства,
Нам показавший образец,
Одевший в пламени искусства
И кровь и омуты сердец.

Просвет сквозь действо сил слепое,
Души девической ведун,
Тургенев — небо голубое,
Всё утро сердца в звоне струн.

Тургенев — первая влюбленность,
Глаза с их божеской игрой,
Где близь уходит в отдаленность,
Заря встречается с зарей.

Сентябрь 1918

534. ВОСПОМИНАНИЕ

Когда я в сумерки у волн мечтаю долго,
И шествует прилив, за валом плещет вал,
Я снова в юности. Сильна в разливе Волга.
И Каспий шепчет мне: «Ты в Персии бывал?»
Я не был в Персии. Но вспоминаю наши
Родные области. Глухая Кабарда.
Обрыв Балкарских гор. И в двадцать лет что́ краше,
Чем в близи нежных глаз манящая звезда?
Такой уклончивой, зовущей, тонкостанной,
Как девушка в горах, где встретить на Земле?
Аулы помню я в ложбине скал туманной,
Серебряный кувшин, усмешку Джамиле.
Мой юный проводник, — я не забыл Османа, —
Привел из табуна горячего коня.
И мы скакали с ним — до дальнего тумана,
До впадины в горах, до завершенья дня.
Мы ночевали с ним в заброшенной землянке.
В молитве перед сном он повторял: «Алла!»

А я, хоть спал, не спал — от нежной в сердце ранки.
Мне снились Джамиле и голубая мгла.
Мне грезились кругом нависшие твердыни.
Не досягнуть звезды, которая зовет!
Но пела песню кровь: «Навеки твой отныне!»
И время в звездный час замедлило полет.
Я проходил пути, где было только счастье.
Встречались люди мне, в которых только свет.
Одна лишь власть — любовь, и весь простор безвластья.
Чтоб досягнуть звезды, низвергнись в звездный бред.
Притянутый лучом, я, легкий, падал в бездны.
Но чувствовал у плеч два сильные крыла.
И та, кого любил в пустыне многозвездной,
Скрывалась в цепи гор — и всё вперед звала.
Когда же, наконец, я где-то пал на склоны
И близко увидал мерцанье милых глаз,
В землянку свет вошел, рассвет синезеленый,
И ранний холодок позвал в дорогу нас.
Два рьяные коня оседланы проворно.
Заря еще ждала, чтоб брызнуть в норы гор.
А резвый звук копыт перебегал повторно.
И к солнцу мчались мы, гоня во весь опор.

5 августа 1921
Бретань

535. КОЛОДЕЦ

Сполна принявши в сердце жало,
С зарей прощаясь золотой,
Голубоглазая упала
В колодец с чистою водой.

Колодец смертью был отравлен,
Исчезла радость на пути.
И людям властный знак был явлен
От этой влаги отойти.

Ветвей зеленая завеса
Сплелась над жуткою чертой.
И тишь и чарованья леса
Сошлись, колдуя, над водой.

И плесень выросла вдоль сруба,
Закраину укутал мох.
Но ветер, мчась и воя грубо,
Роняет здесь чуть слышный вздох.

Устав с самим собой бороться,
Узнав терзанию предел,
Я был у этого колодца
И поздней ночью в глубь глядел.

Я ждал и думал там, усталый,
За мшистый перевесясь край.
И чей-то голос запоздалый
За лесом крикнул мне: «Прощай!»

Но в этой тишине зеленой
Ждал голубой я тишины
От нежно серебрящей склоны,
От голубеющей луны.

Она всплыла, лазуря ели
И серебря листву осин,
И мнилось мне, что я недели,
Что целый год я был один.

Но миг бывает предрассветный,
На целый час весь мир замрет —
Пред тем как, с жаждою предметной,
Затеять бег и ткать черед.

И в этот миг всеединенья
Ко мне с колодезного дна
Качнулось белое виденье —
Голубоглазая, она.

Как бы поднявшись на ступени,
За край переступив ногой,
Ко мне присела на колени
И прошептала: «Милый мой!»

Она все звезды погасила,
И в дымке бледной темноты

В ее глазах дрожала сила,
В них были синие цветы.

Мы с ней ласкались до рассвета,
И вдруг растаяла она,
Как в ночь июня тает лето,
Поняв, что кончилась весна.

(1922)

536

Средь птиц мне кондор всех милее:
Летает в сини выше всех.
Средь девушек — чей веселее
Звенит, как колокольчик, смех.

Среди зверей, — их в мире много,
Издревле вестников огня, —
Люблю всегда любимца бога —
Полетно-быстрого коня.

Средь рыб, что, в водах пропадая,
Мелькают там и манят тут,
Люба мне рыбка золотая:
Вплывает в сказку, точно в пруд.

Среди деревьев — дуб зеленый,
Чей сок струится янтарем.
Из дуба строились драконы —
В морях, где викинг был царем.

Среди цветов стройна лилея,
Но в ландыш дух сильнее влит;
Он чаровнически пьянее,
И прямо в сердце он звонит.

Средь чувств люблю огонь любленья,
В году желанна мне весна,
Люблю средь вспышек — вдохновенье,
Средь чистых сердцем — Куприна.

15 апреля 1923

537

Если зимний день тягучий
Заменила нам весна,
Прочитай на этот случай
Две страницы Куприна.

На одной найдешь ты зиму,
На другой войдешь в весну.
И «спасибо побратиму» —
Сердцем скажешь Куприну.

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один, —
И Россию чуять ближе
Мне дает всегда Куприн.

Если я — как дух морозный,
Если дни плывут, как дым, —
Коротаю час мой грозный
Пересмешкой с Куприным.

Если быть хочу беспечней
И налью стакан вина,
Чокнусь я всего сердечней
Со стаканом Куприна.

Чиркнет спичкой он ли, я ли, —
Две мечты плывут в огне,
Курим мы — и нет печали,
Чую брата в Куприне.

Так в России звук случайный,
Шелест травки, гул вершин —
Той же манят сердце тайной,
Что несет в себе Куприн.

Это — мудрость верной силы,
В самой буре — тишина.
Ты — родной и всем нам милый,
Все мы любим Куприна.

6 мая 1923

538. ЖЕМЧУЖНАЯ РАКОВИНА

Мне памятен любимый небом край.
Жемчужною он раковиной в море
Возник давно, и волны в долгом хоре
Ему поют: «Живи. Не умирай».

Живи. Светись. Цвети. Люби. Играй.
Ты верным сердцем с солнцем в договоре.
Тебя хранит, весь в боевом уборе,
Влюбленный в Корень Солнца самурай.

Весь остров — как узор живого храма.
Взнесенный ирис, как светильник, нем.
Как слово песни — чаша хризантем.

Окно в простор. В нем — золотая рама.
Поля. Сады. Холмы. И надо всем —
Напев тончайших линий: Фуджи-Яма.

1923

539. ЗАВЕТНАЯ РИФМА

Не Пушкин, за ямбами певший хореи,
Легчайший стиха образец,
Не Фет, иссекавший в напевах камеи,
Усладу пронзенных сердец,
Не Тютчев, понявший созвучия шума,
Что Хаос родит по ночам,
Не Лермонтов — весь многозвездная дума,
Порыв, обращенный к мечам,
Не тот многомудрый, в словах меткострельный,
Кем был Баратынский для нас, —
Меня научили науке свирельной,
Гранили мой светлый алмаз.
Хореи и ямбы с их звуком коротким
Я слышал в журчаньи ручьев,
И голубь своим воркованием кротким
Учил меня музыке слов.

Качаясь под ветром, как в пляске,
как в страхе,
Плакучие ветви берез
Мне дали певучий размер амфибрахий, —
В нем вальс улетающих грез.
И дактиль я в звоне ловил колокольном,
И в марше солдат — анапест.
Напевный мой опыт был с детства невольным.
Как нежность на лике невест.
В саду, где светили бессмертные зори
Счастливых младенческих дней,
От липы до липы, в обветренном хоре,
Качались шуршанья ветвей.
Близ нивы беседовал сам я с собою,
И видел в колосьях намек,
И рифмою чудился мне голубою
Среди желтизны василек.
В горячем июле, в пробегах безгласных
Качавших полнеба зарниц,
Читал я сказанья о странах прекрасных,
Где райских увижу я птиц.
В звучаньи ли долгом пастушьего рога,
В громах ли — всё звонче, светлей —
Мне слышались, снились напев и дорога, —
И я полюбил журавлей.
Свершилось. Дорога моя беспредельна.
Певучие — песни мои.
Хваленье, что пели вы мне колыбельно,
В далекой деревне ручьи.
Быть может, дадутся другому удачи
Полней и светлей, чем моя.
Но мир облетел я. И как же иначе
Крылатым ответил бы я?
Я видел всю Землю от края до края.
Но сердцу всех сказок милей,
Как в детстве, та рифма моя голубая
Широкошумящих полей.

3 июля 1924
Шатэлейон

540. МОСКВА

(Отрывок)

Я помню... Маленькие руки,
Смешные, и мои притом,
Раскрыли очень старый том.
«Москва... как много в этом звуке...» —
Ребенок прочитал, дивясь, —
Он слов не понял в этот час.

«Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского...» Опять
Поет старинная печать.
Тут слово первое науки,
Но мне неведомой. Тут — знак,
А смысл понять нельзя никак.

Зачем Москва? Но я в деревне,
В моей, рожден, люблю ее.
В ней мать, отец, в ней всё мое.
Подобна сказочной царевне
Любая бабочка в саду.
Здесь всю Россию я найду.

Так я шептал, — внемлите, внуки
Мои, от дочери моей, —
Дивясь, шептал на утре дней:
«Москва! Так много в этом звуке?»
А ею жил. И ей живу.
Люблю, как лучший звук, Москву!

28 октября 1926
Lacanau — Océan — Gironde

541. НЕПРИСТУПНЫЙ ХРАМ

Мир опять в кровавой древней саге,
В беге — так, чтоб даль была близка.
— Я читаю солнце в капле влаги,
Я смотрю в молитвенник цветка.

Мир бесплодных взлетов, гремь набатов,
Пляска мертвых, ша́баш до зари.
— Я в великой всенощной закатов.
Бог, я здесь. Гори и говори.

1 августа 1927
Капбретон

542. УТОК ТКАНЬЯ

Над синим морем, ходом дня взметаем,
Взметен, кистями книзу обрамлен,
Багряный плащ, подбитый горностаем,
Уто́к тканья закатных веретен.

С кончиной дня окутано всё лоно
Лазурных сил в горючие цветы.
Но минет час — трилистник Ориона
Взнесется вкось и глянет с высоты.

6 ноября 1927
Капбретон

543. КОСОГОР

Как пойду я на далекий косогор,
Как взгляну я на беду свою в упор,
Придорожные ракиты шелестят,
Пил я счастье, вместе с медом выпил яд.

Косогорная дорога вся видна,
Уснежилася двойная косина,
А на небе месяц ковшиком горит,
Утлый месяц сердцу лунно говорит:

«Где всё стадо, опрометчивый пастух?
Ты не пил бы жарким летом летний дух,
Ты овец бы в час, как светит цветик-ал,
Звездным счетом всех бы зорко сосчитал.

Ты забыл, войдя в минуты и часы,
Что конец придет для всякой полосы,
Ты вдыхал, забывши всякий смысл и срок,
Изумительный, пьянительный цветок.

Ты забыл, что для всего везде черед,
Что цветущее наверно отцветет,
И когда пожар далекий запылал,
Любовался ты, как светит цветик-ал.

Не заметил ты, как стадо всё ушло,
Как сгорело многолюдное село,
Как зарделись ярким пламенем леса,
Как дордела и осенняя краса.

И остался ты один с собою сам,
Зашумели волчьи свадьбы по лесам,
И теперь, всю силу месяца лия,
Я пою тебе, остря свои края».

Тут завеяли снежинки предо мной,
Мир, как саваном, был полон белизной,
Только в дальности, далеко от меня,
Близко к земи ярко тлела головня.

Это месяц ли на небе, на краю?
Это сам ли я судьбу свою пою?
Это вьюга ли, прядя себе убор,
Завела меня, крутясь, на косогор?

Декабрь 1932

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

ВИЛЬЯМ БЛЕЙК

544. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Сладость снов, сойди, как тень,
Сон, дитя мое одень.
Сны, сойдите, как ручей
Лунных ласковых лучей.

Сладкий сон, как нежный пух,
Убаюкай детский слух.
Ангел кроткий, сладкий сон,
Обступи со всех сторон.

Смех, сверкай во тьме ночей
Над отрадою моей.
Будь с ним лучшей из утех,
Материнский нежный смех.

Каждои жалобе шепни:
«Задремли и отдохни».
Каждой жалобе скажи:
«Крылья легкие сложи».

Спи, дитя, счастливым сном,
Целый мир уснул кругом.
Спи же, спи, родимый мой,
Я поплачу над тобой.

Предо мной священный лик
На твоем лице возник,
Твой Создатель здесь, во сне,
Горько плакал обо мне.

Как невинное дитя,
Плакал, глазками блестя,
О тебе и обо всех,
И слезами смыл наш грех.

И теперь глядит, любя,
Он с улыбкой на тебя,
В снах ребенка спит он сам.
Мир земле и небесам.

545. ТИГР

Тигр, тигр, жгучий страх,
Ты горишь в ночных лесах.
Чей бессмертный взор, любя,
Создал страшного тебя?

В небесах иль средь зыбей
Вспыхнул блеск твоих очей?
Как дерзал он так парить?
Кто посмел огонь схватить?

Кто скрутил и для чего
Нервы сердца твоего?
Чьею страшною рукой
Ты был выкован — такой?

Чей был молот, цепи чьи,
Чтоб скрепить мечты твои?
Кто взметнул твой быстрый взмах,
Ухватил смертельный страх?

В тот великий час, когда
Воззвала к звезде звезда,

В час, как небо всё зажглось
Влажным блеском звездных слез, —

Он, создание любя,
Улыбнулся ль на тебя?
Тот же ль он тебя создал,
Кто рожденье агнцу дал?

БАЙРОН

546. СТАНСЫ ДЛЯ МУЗЫКИ

1

Кто сравнится в высшем споре
        Красотой с тобой?
Точно музыка на море —
        Нежный голос твой.
Точно музыка в тумане
На далеком океане,
В час, как ветры в сладких снах
Чуть трепещут на волнах.

2

В полночь месяц чуть колышет
        Воды в глубине;
Лоно моря еле дышит,
        Как дитя во сне.
Так душа, полна мечтою,
Чутко дышит красотою;
Нежно в ней растет прибой,
Зачарованный тобой.

ШЕЛЛИ

547. ОБЛАКО

Прохладу дождей и с ручьев и с морей
Я несу истомленным цветам,
В удушливый день мимолетную тень
Я даю задремавшим листам.
Живую росу на крылах я несу,
Пробуждаю ей почки от сна,
Меж тем как легли они к груди земли,
Пока пляшет вкруг солнца она.
Бичующий град моей дланью подъят,
Я под гром, как цепом, молочу,
Белеет вокруг зеленеющий луг,
Брызнет дождь — и опять я молчу.

В горах с высоты сею снег на хребты, —
И гигантские сосны дрожат;
Всю ночь на снегах я покоюсь в мечтах
И с грозой обнимаюсь, как брат.
На башне моей средь воздушных зыбей
Блещет молнии пламенный щит
И скованный гром ворчит пред дождем —
То умолкнет, то вновь зарычит;
Над гладью земной, над морской глубиной
Я плыву в нежном пурпуре дня.
И молний полет всё вперед и вперед
Увлекает, как кормчий, меня;
Над цепью холмов, над семьей ручейков,
Над пространством озер и полей
Мой кормчий спешит, и спешит, и бежит,
Разжигает порывы огней,
Под небом родным улыбаюсь я с ним
И внимаю потокам дождей.

Кровавый восход, вырастая, плывет,
Возродитель земли и воды.
Горит его взор, как ночной метеор, —
Гаснет свет предрассветной звезды;
На спину ко мне он вспрыгнёт весь в огне —
И расширятся крылья его:

На камни скалы так садятся орлы,
Затаивши в груди торжество.
А в час, как закат свой багряный наряд
Простирает над сонною мглой,
И в светлый туман разодет океан,
И повсюду любовь и покой, —
Я крылья сверну и, как голубь, усну
Высоко, высоко над землей.

В венце из огня нежит дева меня,
Что у смертных зовется луной,
Проходит она по извивам руна,
Что взлелеяно влагой ночной;
Чуть слы́шны шаги той незримой ноги,
Только ангелам внятны они, —
От этих шагов сквозь раздвинутый кров
Многозвездные смотрят огни;
Я с ними горю, и смеюсь, и смотрю,
Как они, точно пчелы, кишат,
Вперяю в них взор, раздвигаю шатер, —
Золотистые роем спешат,
Озера, моря, их лучами горя,
Как обломки лазури лежат.
Трон солнца свяжу и огнем окружу,
И, как жемчуг, я вьюсь над луной;
Вулканы дрожат, звезды гаснуть спешат,
Увидавши мой стяг боевой.
От мыса на мыс — то к высотам, то вниз,
Над пучиной кипучих морей,
Как мост протянусь, и на горы опрусь,
Как преграда для жгучих лучей.
Сквозь радуги свод прохожу я вперед,
С ураганом, со снегом, с огнем.
То арка побед, что в изменчивый цвет
Разукрашена пышно кругом,
Лучи сплетены, горячи и нежны,
И смеется земля под дождем.

Из вод на земле я рождаюсь во мгле,
Я кормилицей небо зову,
Таюсь в берегах и шумящих волнах,
Изменяюсь, но вечно живу.

И стихнет ли гром, и нигде ни пятном
Не запятнан небесный шатер,
И ветры скорей вместе с роем лучей
Воздвигают лазурный собор, —
Я молча смеюсь, в саркофаге таюсь,
Поднимаюсь из пропасти бурь,
Как призрак ночной, промелькну белизной,
И опять разрушаю лазурь.

548. ОЗИМАНДИЯ

Я встретил путника; он шел из стран далеких
И мне сказал: вдали, где вечность сторожит
Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит.

Из полустертых черт сквозит надменный пламень —
Желанье заставлять весь мир себе служить;
Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.

И сохранил слова обломок изваянья:
«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времен, всех стран и всех морей!»

Кругом нет ничего... Глубокое молчанье...
Пустыня мертвая... И небеса над ней...

ЭДГАР ПО

549. ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною
думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, — вдруг неясный звук
раздался,

Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.
«Это, верно, — прошептал я, — гость в полночной
тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа
На страданье без привета, на вопрос о ней, о ней —
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней, —
О светиле прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине —
Гость стучится в дверь ко мне».

Подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, — и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его,
Я не слышал...» Тут раскрыл я дверь жилища моего:
Тьма — и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего, —
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, —
Эхо — больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся —
содрогнулся, —
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь
пошевелилось,
Там, за ставнями, забилось у окошка моего,
Это — ветер, — усмирю я трепет сердца моего, —
Ветер — больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, —
Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда —
Сел над дверью говорящий без запинки, без труда
Ворон с кличкой: «Никогда».

И взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он, —
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра *он* меня покинет, как надежды, навсегда».
Ворон молвил: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной.
«Верно, был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье
Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда
В песне вылилось о счастьи, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,

И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным «Никогда»,
Страшным криком: «Никогда».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой головой своей усталой
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я — один, на бархат алый — та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.

Но постой: вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, —
То с кадильницей небесной серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье,
Это бог послал забвенье о Леноре навсегда, —
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты — иль дух ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, — я молю, скажи, когда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк, — вскричал я, — вещий! Птица ты — иль дух зловещий,
Этим небом, что над нами, — богом, скрытым навсегда, —
Заклинаю, умоляя, мне сказать — в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь — всегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда.
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, — на полу дрожит всегда.
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

550. КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА

1

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,
Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят,
Этим пеньем и гуденьем о забвенья говорят.
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,
Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном.
Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят,
Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,
И, внимая им, горят,
И мечтая, и блистая, в небе ду́хами парят;
И изменчивым сияньем,
Молчаливым обаяньем
Вместе с звоном, вместе с пеньем о забвеньи говорят.

2

Слышишь: к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,

Из волны певучих звуков на луну они глядят,
Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят,
Вновь потухнут, вновь блестят
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов.

8

Слышишь: воющий набат,
Словно стонет медный ад!
Эти звуки в дикой муке сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг, —
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться и кричать, кричать,
кричать!
Только плакать о пощаде
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Всё горит,
То из окон, то по крыше
Мчится выше, выше, выше
И как будто говорит:
Я хочу
Выше мчаться, разгораться — встречу лунному лучу, —
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О, набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь с плачем, с воплем, и звеня!

А теперь нам нет спасенья:
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность, —
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

4

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон, —
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон —
Скорбный, гневный
И плачевный —
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит.
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает, —
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.

551. УЛЯЛЮМ

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы,
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла — сон глухой черноты, —
Близ туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал, —
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилася мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир, —
Это дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах,
Что-то облачным сном забелело
Перед нами в неясных лучах —

И внезапно предстал серебристый
Полумесяц — двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомилась одна, —
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах
И, чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю, — промолвила, — в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли, — в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли —
И влачились, влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет:
В нем — кристальность, обмана в нем нет,
Сибиллически-ярко-прекрасный
В нем Надежды манящий привет, —
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье, —
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом — сквозь ночь — к небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею
    Толкованием звездных судеб, —
    Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
    И внезапно увидели склеп,
    С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,
    И как ветра осеннего шум —
Этот вздох, этот стон услыхал я:
    «Ты не знал? Улялюм — Улялюм —
    Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,
    Задрожав, как на ветке листы,
    Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
    Это — осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно год, как на кладбище лета
    Я здесь ночью октябрьской блуждал,
    Я здесь с ношею мертвой блуждал, —
Эта ночь была — ночь без просвета,
    Самый год в эту ночь умирал, —
    Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь: это — Обер,
    О, я знаю теперь: это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
    И излюбленный ведьмами Вир».

552. АННАБЕЛЬ-ЛИ

Это было давно, это было давно
    В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
    Называлася Аннабель-Ли, —
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
    Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли,
Но любили мы больше, чем любят в любви —
Я и нежная Аннабель-Ли, —
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно
В королевстве приморской земли:
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многознатной сошлись,
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, —
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли):
Ветер ночью повеял холодный из туч —
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней
Тех, что страсти бремя несли,
Тех, что мудростью нас превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли;
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я всё с ней, я всё с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей, —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

ТЕННИСОН

553. ВКУШАЮЩИЕ ЛОТОС

«Смелей! — воскликнул он. — Вон там, в туманной дáли,
Причалим мы к земле». Чуть пенилась вода.
И в сумерки они к чужой стране пристали,
Где сумеречный час как будто был всегда.
В тревожно-чутких снах дышала гладь морская,
Вздымался круг луны над сумраком долин.
И точно бледный дым, поток, с высот сбегая,
Как будто замедлял свой путь, изнемогая,
И падал по скалам, и медлил меж теснин.

О, тихий край ручьев! Как бледный дым, иные
Скользили медленно по зелени лугов,
Иные падали сквозь тени кружевные,
Роняя дремлющий и пенистый покров.
Огнистая река струила волны в море
Из глубины страны; а между облаков
Три мертвые горы в серебряном уборе
Хранили след зари, и сосны на просторе
Виденьями росли среди немых снегов.

На Западе закат, навек завороженный,
Горя, не погасал; и сквозь провалы гор
Виднелась глубь страны, песками окаймленной,
Леса из пышных пальм сплеталися в узор,
Долины и луга в сверканьи бледной влаги,
Страна, где перемен как будто нет и нет.
И бледнолицые, как тени древней саги,
Толпой у корабля сошлися лотофаги, —
В их взорах трепетал вечерний скорбный свет.

Душистые плоды волшебного растенья
Они давали всем, как призраки глядя́,
И каждый, кто вкушал, внимал во мгле забвенья,
Как ропот волн стихал, далеко уходя;
Сердца, в сознаньи всех, как струны трепетали,
И если кто из нас друг с другом говорил,

Невнятные слова для слуха пропадали,
Как будто чуть звеня во мгле безбрежной дали,
Как будто приходя из сумрака могил.

И каждый, хоть не спал, но был в дремоте странной,
Меж солнцем и луной, на взморьи, у зыбей,
И каждый видел сон о родине туманной,
О детях, о жене, любви, — но всё скучней
Казался вид весла, всё больше тьмой объята
Казалась пена волн, впивающая свет,
И вот один сказал: «Нам больше нет возврата!»
И вдруг запели все: «Скитались мы когда-то.
Наш край родной далек! Для нас возврата нет!»

1

Есть музыка, чей вздох нежнее упадает,
Чем лепестки отцветших роз,
Нежнее, чем роса, когда она блистает,
Роняя слезы на утес;
Нежней, чем падает на землю свет зарницы,
Когда за морем спит гроза,
Нежней, чем падают усталые ресницы
На утомленные глаза;
Есть музыка, чей вздох — как сладкая дремота,
Что сходит с неба в тихий час,
Есть мшистая постель, где крепко спит забота
И где никто не будит нас;
Там дышит гладь реки в согретом полумраке,
Цветы баюкает волна,
И с выступов глядя́, к земле склонились маки
В объятьях нежащего сна.

2

Зачем душа болит, чужда отдохновенья,
Неразлучимая с тоской,
Меж тем как для всего нисходит миг забвенья,
Всему даруется покой?

Зачем одни лишь мы в пучине горя тонем,
Одни лишь мы — венец всего,
Из тьмы идя во тьму, зачем так скорбно стонем
В терзаньи сердца своего?
И вечно и всегда трепещут наши крылья,
И нет скитаниям конца,
И дух целебных снов не сгонит тень усилья
С печально-бледного лица?
И чужды нам слова чуть слышного завета:
«В одном покое — торжество».
Зачем же только мы томимся без привета,
Одни лишь мы — венец всего?

3

Вон там, в глуши лесной, на ветку ветер дышит,
Из почки вышел нежный лист,
И ветер, проносясь, едва его колышет,
И он прозрачен и душист.
Под солнцем он горит игрою позолоты,
Росой мерцает под луной,
Желтеет, падает, не ведая заботы,
И спит, объятый тишиной.
Вон там, согрет огнем любви, тепла и света,
Растет медовый сочный плод,
Созреет — и с концом зиждительного лета
На землю мирно упадет.
Всему есть мера дней: взлелеянный весною,
Цветок не ведает труда,
Он вянет, он цветет, с землей своей родною
Не разлучаясь никогда.

4

Враждебен небосвод, холодный, темносиний,
Над темносинею волной,
И смерть — предел всего, и мы идем пустыней,
Живя тревогою земной.
Что может длиться здесь? Едва пройдет мгновенье —
Умолкнут бледные уста.

Оставьте нас одних в тиши отдохновенья,
Земля для нас навек пуста.
Мы лишены всего. Нам ничего не надо.
Всё тонет в сумрачном Былом.
Оставьте нас одних. Какая нам отрада —
Вести борьбу с упорным злом?
Чтó нужды восходить в стремленьи бесконечном
По восходящей в высь волне?
Всё дышит, чтоб иметь удел в покое вечном,
Всё умирает в тишине.
Всё падает, мелькнув, как тень мечты бессильной,
Как чуть плеснувшая волна.
О, дайте нам покой, хоть черный, хоть могильный,
О, дайте смерти или сна.

5

Глаза полузакрыв, как сладко слушать шепот
Едва звенящего ручья
И в вечном полусне внимать невнятный ропот
Изжитой сказки бытия.
И грезить, и дремать, и грезить в неге сонной,
Как тот янтарный мягкий свет,
Что медлит в высоте над миррой благовонной
Как будто много-много лет.
Отдавшись ласковой и сладостной печали,
Вкушая лотос день за днем,
Следить, как ластится волна в лазурной дали,
Курчавясь пеной и огнем.
И видеть в памяти утраченные лица,
Как сон, как образ неживой, —
Навек поблекшие, как стертая гробница,
Полузаросшая травой.

6

Нам память дорога о нашей брачной жизни,
О нежной ласке наших жен;
Но всё меняется — и наш очаг в отчизне
Холодным прахом занесен.

Там есть наследники; и наши взоры странны;
Мы потревожили бы всех,
Как привидения, мы не были б желанны
Среди пиров, где дышит смех.
Быть может, мы едва живем в мечте народа,
И вся Троянская война,
Все громкие дела — теперь лишь гимн рапсода,
Времен ушедших старина.
Там смута, может быть; но если безрассудно
Забыл народ завет веков,
Пусть будет то, что есть: умилостивить трудно
Всегда взыскательных богов.
Другая смута есть, что хуже смерти черной, —
Тоска пред новою борьбой;
До старости седой — борьбу и труд упорный
Везде встречать перед собой, —
Мучение для тех, в чьих помыслах туманно,
Кто видел вечную беду,
Чей взор полуослеп, взирая неустанно
На путеводную звезду.

7

Но здесь, где амарант и моли пышным цветом
Везде раскинулись кругом,
Где дышат небеса лазурью и приветом
И веют легким ветерком,
Где искристый поток напевом колыбельным
Звенит, с пурпурных гор скользя, —
Как сладко здесь вкушать в покое беспредельном
Восторг, что выразить нельзя.
Как нежны голоса, зовущие оттуда,
Где шлет скала привет скале,
Как нежен цвет воды с окраской изумруда,
Как мягко льнет акант к земле,
Как сладко здесь дремать, покоясь под сосною,
И видеть, как простор морей
Уходит без конца широкой пеленою,
Играя светом янтарей.

8

Здесь лотос чуть дрожит при каждом повороте,
Здесь лотос блещет меж камней,
И ветер целый день в пленительной дремоте
Поет нежней и всё нежней.
И впадины пещер, и сонные долины
Покрыты пылью золотой.
О, долго плыли мы, и волны-исполины
Грозили каждый миг бедой, —
Мы ведали труды, опасности, измену,
Когда средь стонущих громад
Чудовища морей выбрасывали пену,
Как многошумный водопад.
Клянемтесь же, друзья, изгнав из душ тревоги,
Пребыть в прозрачной полумгле,
Покоясь на холмах, — бесстрастные, как боги, —
Без темной думы о земле.
Там где-то далеко под ними свищут стрелы,
Пред ними — не́ктар золотой,
Вкруг них везде горят лучи́стые пределы
И тучки рдеют чередой.
С высот они глядят и видят возмущенье,
Толпу в мучительной борьбе,
Пожары городов, чуму, землетрясенье
И руки, сжатые в мольбе.
Но в песне горестной им слышен стро́й напева —
Иной, что горести лишен,
Как сказка, полная рыдания и гнева,
Но только сказка, только сон.
Людьми воспетые, они с высот взирают,
Как люди бьются на земле,
Как жатву скудную с полей они сбирают
И после — тонут в смертной мгле.
Иные, говорят, для горечи бессменной
Нисходят в грозный черный ад,
Иные держат путь в Элизиум блаженный —
И там на златооках спят.
О, лучше, лучше спать, чем плыть во тьме безбрежной,
И снова плыть для новых бед.
Покойтесь же, друзья, в отраде безмятежной, —
Пред нами странствий больше нет.

ОСКАР УАЙЛЬД

554. БАЛЛАДА РЭДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Памяти К. Т. В. — бывшего кавалериста королевской гвардии, умершего в тюрьме его величества Рэдинг, Беркшир, 7 июля 1896.

1

Он не был больше в ярко-красном,
Вино и кровь он слил,
Рука в крови была, когда он
С умершей найден был,
Кого любил — и, ослепленный,
В постели он убил.

И вот он шел меж подсудимых,
Весь в серое одет.
Была легка его походка,
Он не был грустен, нет,
Но не видал я, чтоб глядели
Так пристально на свет.

Я никогда не знал, что может
Так пристальным быть взор,
Впиваясь в узкую полоску,
В тот голубой узор,
Что, узники, зовем мы небом
И в чем наш весь простор.

С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел и думал, что́ он сделал,
Что́ совершил вон тот, —
Вдруг кто-то прошептал за мною:
«Его веревка ждет».

О, боже мой! Глухие стены
Шатнулись предо мной,
И небо стало раскаленным,
Как печь, над головой,
И пусть я шел в жестокой пытке, —
Забыл я ужас свой.

Я только знал, какою мыслью
Ему судьба — гореть.
И почему на свет дневной он
Не может не смотреть, —
Убил он ту, кого любил он,
И должен умереть.

Но убивают все любимых, —
Пусть знают все о том, —
Один убьет жестоким взглядом,
Другой — обманным сном,
Трусливый — лживым поцелуем,
И тот, кто смел, — мечом!

Один убьет любовь в расцвете,
Другой — на склоне лет,
Один удушит в сладострастьи,
Другой — под звон монет,
Добрейший — нож берет: кто умер,
В том муки больше нет.

Кто слишком скор, кто слишком долог,
Кто купит, кто продаст,
Кто плачет долго, кто — спокойный —
И вздоха не издаст,
Но убивают все любимых, —
Не всем палач воздаст.

Он не умрет позорной смертью,
Он не умрет — другой,
Не ощутит вкруг шеи петлю
И холст над головой,
Сквозь пол он не уронит ноги
Над страшной пустотой.

Молчащими не будет ночью
И днем он окружен,
Что всё следят, когда заплачет,
Когда издаст он стон, —
Следят, чтоб у тюрьмы не отнял
Тюремной жертвы он.

Он не увидит на рассвете,
    Что вот пришла Беда,
Пришел, дрожа, священник в белом,
    Как ужас навсегда,
Шериф и комендант, весь в черном,
    Чей образ — лик Суда.

Он не наденет торопливо
    Свой каторжный наряд,
Меж тем как грубый доктор смотрит,
    Чем новым вспыхнул взгляд, —
Держа часы, где осужденья
    Звучат, стучат, стучат.

Он не узнает тяжкой жажды,
    Что в горле — как песок,
Пред тем, когда палач в перчатках
    Прильнет на краткий срок
И узника скрутит ремнями,
    Чтоб жаждать он не мог.

Слова молитв заупокойных
    Не примет он, как гнет,
И, между тем как ужас в сердце
    Кричит, что он живет,
Он не войдет, касаясь гроба,
    Под страшный низкий свод.

Не глянет он на вышний воздух
    Сквозь узкий круг стекла,
Молясь землистыми губами,
    Чтоб боль скорей прошла,
Не вздрогнет он от губ Кайафы,
    Стирая пот с чела.

2

Уж шесть недель гулял солдат наш,
    Весь в серое одет,
Была легка его походка,
    Он не был грустен, нет,
Но не видал я, чтоб глядели
    Так пристально на свет.

Я никогда не знал, что может
Так пристальным быть взор,
Впиваясь в узкую полоску,
В тот голубой узор,
Что, узники, зовем мы небом
И в чем наш весь простор.

Он не ломал с тоскою руки,
Как те, в ком мало сил
И кто в Отчаяньи Надежду
Безумно оживил, —
Нет, только он глядел на солнце
И жадно воздух пил.

Не плакал он, ломая руки,
О том, что́ суждено,
Но только утро пил, как будто
Целительно оно.
О, жадно, жадно пил он солнце,
Как светлое вино!

С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел, — и каждый, кто терзался,
Про свой не помнил гнет,
Но мы за тем следили тупо,
Кого веревка ждет.

И странно было знать, что мог он
Так весело шагать,
И странно было, что глазами
Он должен свет впивать,
И странно было знать, что должен
Такой он долг отдать.

Цветут и дуб и вяз роскошно
Весеннею порой.
Но страшно видеть столб позорный,
Что перевит змеей, —
И, стар иль юн, но кто-то должен
Предел не выждать свой!

Высок престол, и счастье трона
Всех ма́нит и зовет,
Но кто хотел бы, с крепкой петлей,
Взойти на эшафот
И сквозь ошейник бросить взгляд свой
Последний в небосвод?

Прекрасны пляски, звуки скрипок,
Любовь и Жизнь с Мечтой;
Любить, плясать, под звуки лютни,
Толпою молодой;
Но страшно — быстрою ногою —
Плясать над пустотой!

И мы за ним с больным вниманьем
Следили, чуть дыша:
Быть может, к каждому такой же
Конец ползет, спеша?
Как знать, в какой нас Ад заманит
Незрячая душа.

И наконец меж подсудимых
Он больше не ходил.
Я знал: он в черной загородке,
В судебном зале был.
Его лица я не увижу,
Как долго б я ни жил.

Мы встретились, как в бурю, в море,
Погибшие суда.
Без слов, без знака — что́ могли бы
Мы говорить тогда?
Мы встретились не в ночь святую,
А в яркий день стыда.

Тот и другой в глуши тюремной
Людской отбросок был,
Нас мир, сорвавши с сердца, бросил,
И бог о нас забыл,
И за железную решетку
Грех в тьму нас заманил.

8

Двор Должников — в камнях весь жестких,
Там слизь со стен течет,
С высоких стен; близ них гулял он:
Над ним — свинцовый свод,
И слева-справа страж ходил с ним,
Боясь, что он умрет.

Или молчащими он ночью
И днем был окружен, —
Они следили за слезами,
Они ловили стон,
Боясь, чтобы не отнял жертву
У эшафота он.

Был комендант без послаблений,
Устав он твердо знал.
Смерть — факт научный, — доктор умный
Все факты признавал.
В день дважды приходил священник —
И книжку оставлял.

И дважды в день курил он трубку
И кружку пива пил,
Его душа была спокойна,
В ней страх не властен был,
Он говорил, что он доволен
Уйти во тьму могил.

Но почему так говорил он,
Страж ни один не знал:
Тот, кто в тюрьме быть должен стражем,
Язык свой замыкал,
Кому судьба в тюрьме быть стражем,
Тот маску надевал.

Когда б спросил, душа не в силах
Была б так быть нема,
А что же может сделать Жалость
Там, где убийцам — Тьма?
Какое слово он нашел бы
Для братского ума?

Мы проходили, образуя
Наш — Шутовской — Парад.
Что́ в том! Ведь были мы одною
Из Дьявольских Бригад:
В ногах — свинец, затылки бриты, —
Роскошный маскарад.

Канаты рвали мы — и ногти,
В крови, ломали мы,
Пол мыли щеткой, терли двери
Решетчатой тюрьмы, —
Шел гул от топота, от ведер,
От адской кутерьмы.

Мешки мы шили, били камни, —
Шел звон со всех сторон, —
Мы били жесть и пели гимны,
Наш ум был оглушен,
Но в сердце каждого был ужас:
Таился в сердце он.

Таился так, что дни, как волны,
Меж трав густых ползли.
Забыли мы, чего обманщик
И глупый ждать могли.
Но раз, с работы возвращаясь,
Могилу мы прошли.

Зияла яма жадной пастью,
Возжаждавшей убить,
Кричала грязь, что хочет крови,
Асфальту нужно пить.
Мы знали: завтра между нами
Один окончит быть.

И мы вошли, душой взирая
На Смерть, на Суд, на Страх;
Прошел палач с своей сумою, —
Он спрятался впотьмах;
И мы дрожа замкнулись — каждый
Под номером — в гробах.

В ту ночь тенями в коридорах
Тюрьма была полна,
Вошли шаги в Железный Город,
Шепталась тишина,
И лица бледные глядели
Сквозь полосы окна.

А он лежал — как тот, кто в травах
Заснул, устав мечтать,
И стражи сон тот сторожили
И не могли понять,
Как может кто-нибудь пред казнью
Так сладко, сладко спать.

Но нет тем сна, кто слез не ведал
И весь дрожит в слезах.
Так мы — обманщик, плут и глупый —
Все были на часах.
Сквозь каждый мозг, цепляясь, ползал
Другого жгучий страх.

О, это страшно, страшно — муку
Терпеть за грех чужой!
Нам меч греха вонзился в сердце
С отравой роковой,
Горели слезы в нас — о крови,
Что пролил здесь другой.

И стражи, в обуви бесшумной,
Смотря в дверной кружок,
Пугались, на полу увидя
Тех, дух чей изнемог, —
Дивились, что молиться могут,
Кто никогда не мог.

Всю ночь, склоняясь, мы молились,
Оплакивая труп,
И перья полночи качались,
Могильный мрак был туп,
И вкус раскаянья был в сердце —
Как жёлчи вкус для губ.

Седой петух пропел и красный,
Но дня не привели,
И тени Ужаса пред нами
По всем углам ползли,
И каждый дух, что бродит ночью,
Кривясь, густел в пыли.

Они ползли, они скользили,
Как путники сквозь мглу,
Они, как лунные виденья,
Крутились на полу,
И с мерзкой грацией качались,
И радовались злу.

Они с ужимками мигали
Вблизи и вдалеке,
Они плясали сарабанду —
И шли рука к руке,
Они чертили арабески,
Как ветер на песке!

Марионеткам было любо
Ногами семенить,
Под флейты Страха в маскараде
Свой хоровод водить, —
И пели маски, пели долго,
Чтоб мертвых разбудить.

«*Ого*! — кричали. — *Мир обширен,*
Но цепи — вот беда!
И джентльмены кость бросают
И раз, и два, — о, да!
Но раб тот, кто с Грехом играет
В Прибежище Стыда!»

Нет, не из воздуха был создан
Злорадный тот синклит
Для тех, чья жизнь была в колодках,
Кто был в гробу забит.
Они — о, боже! — были живы,
И страшен был их вид.

Кругом, кругом в зловещем вальсе
Крутились духи тьмы,
Они жеманно улыбались
По всем углам тюрьмы,
Мигали, тонко усмехались,
Пока молились мы.

———

Ночь длилась, но уж ветер утра
Летал, легко стеня,
Все нити мрака Ночь продлила,
Сквозь свой станок гоня,
И мы в молитвах ужаснулись
На Правосудье Дня.

Вдоль влажных стен стенящий ветер
Скользил со всех сторон,
И колесом стальным впился в нас
Минут чуть слышный звон.
О, что́ же сделали мы, ветер,
Чтоб слышать этот стон?

И наконец во мгле неясной
На извести стенной
Увидел призрак я решетки,
Узор ее резной, —
И я узнал, что где-то в мире
Был красен свет дневной.

———

И в шесть часов мели мы кельи,
В семь — тишь везде была.
Но внятен шорох был — качанье
Могучего крыла.
Чтобы убить —с дыханьем льдистым
В тюрьму к нам Смерть вошла.

Не на коне, как месяц, белом,
Не в красках огневых.
Сажень веревки только нужно,
Чтоб человек затих, —
И вот она вошла с веревкой
Для тайных дел своих.

———

Мы точно шли сквозь топь на ощупь:
Кругом — болото, мгла,
Не смели больше мы молиться,
И сжата скорбь была,
В нас что-то умерло навеки,
Надежда умерла.

О, Правосудье Человека,
Подобно ты Судьбе,
Ты губишь слабых, губишь сильных
В чудовищной борьбе,
Ты сильных бьешь пятой железной,
Проклятие тебе!

Мы ждали, чтоб пробило восемь,
Томясь в гробах своих:
Счет восемь — счет клеймящий Рока,
Крик смерти в мир живых, —
И Рок задавит мертвой пётлей
Как добрых, так и злых.

Мы только думали и ждали,
Чтоб знак прийти был дан,
И каждый был как бы в пустыне
Застывший истукан,
Но сердце в каждом било — точно
Безумный в барабан!

Внезапно на часах тюремных
Восьми отбит был счет,
И стоном общим огласился
Глухой тюремный свод,
Как будто крикнул прокаженный
Средь дрогнувших болот.

И как в кристалле сна мы видим
Чудовищнейший лик,
Мы увидали крюк, веревку,
Пред нами столб возник,
Мы услыхали, как молитву
Сдавила пётля в крик.

И боль, которой так горел он,
Что издал крик он тот,
Лищь понял я вполне, — весь ужас
Никто так не поймет:
Кто в жизни много жизней слышит,
Тот много раз умрет.

4

Обедни нет в день смертной казни,
Молитв не могут петь.
Священник слишком болен сердцем,
Иль должен он бледнеть,
Или в глазах его есть что-то,
На что нельзя смотреть.

Мы были взаперти до полдня,
Затем раздался звон,
И стражи, прогремев ключами,
Нас выпустили вон,
И каждый был с отдельным адом
На время разлучен.

И вот мы шли в том мире божьем
Не как всегда, — о, нет:
В одном лице я видел бледность,
В другом — землистый цвет,
И я не знал, что скорбный может
Так поглядеть на свет.

Я никогда не знал, что может
Так пристальным быть взор,
Впивая узкую полоску,
Тот голубой узор,
Что, узники, зовем мы небом
И в чем наш весь простор.

Но голову иной так низко,
Печально опустил,
И знал, что, в сущности, той казни
Он больше заслужил:
Тот лишь убил — кого любил он,
Он — мертвых умертвил.

Да, кто грешит вторично, — мертвых
Вновь к пыткам будит он
И тянет труп за грязный саван:
Вновь труп окровавлен,
И вновь покрыт густой он кровью,
И вновь он осквернен!

По влажно-скользкому асфальту
Мы шли и шли кругом,
Как клоуны иль обезьяны,
В наряде шутовском, —
Мы шли, никто не молвил слова,
Мы шли и шли кругом.

И каждый ум, пустой и впалый,
Испуган был мечтой,
Мысль об уродливом была в нем,
Как ветер круговой,
И Ужас шел пред ним победно,
И Страх был за спиной.

И были стражи возле стада
С чванливостью в глазах,
И все они нарядны были
В воскресных сюртуках,
Но ясно известь говорила
У них на сапогах.

Там, где зияла раньше яма,
Покрылось всё землей.
Пред гнусною стеной тюремной —
Песку и грязи слой,
И куча извести — чтоб мертвый
Имел в ней саван свой.

Такой на этом трупе саван,
Каких не знает свет:
Для срама большего он — голый,
На нем покрова нет, —
И так лежит, цепями скован
И пламенем одет!

И известь ест и плоть и кости,
    Огонь в него проник,
И днем ест плоть и ночью — кости,
    И жжет, меняет лик,
Ест кость и плоть попеременно,
    Но сердце — каждый миг.

Три долгих года там не сеют
    И не растят цветов,
Три долгих года там — бесплодность
    Отверженных песков, —
И это место смотрит в небо,
    Глядит без горьких слов.

Им кажется, что кровь убийцы —
    Отрава для стеблей.
Неправда! Нет, земля — от бога,
    Она добрей людей, —
Здесь краска роз была б краснее,
    И белых роз — белей.

Из сердца — стебель белой розы,
    И красной — изо рта!
Кто может знать пути господни,
    Веления Христа?
Пред папой — посох пилигрима
    Вдруг все одел цвета!

Но нет ни белых роз, ни красных
    В тюрьме, где всё — тиски.
Кремень, голыш — вот всё, что есть там, —
    Булыжник, черепки:
Цветы нас исцелить могли бы
    От ужасов тоски.

И никогда не вспыхнут розы
    Меж стен позорных тех,
И никогда в песке и в грязи
    Не глянет цвет утех,
Чтобы сказать убогим людям,
    Что умер бог за всех.

Но всё ж, хоть он кругом оцеплен
Тюремною стеной,
И хоть не может дух в оковах
Бродить порой ночной,
И только плачет дух, лежащий
Во мгле, в земле такой, —

Он в мире — этот несчастливый,
Он в царстве тишины.
Там нет грозящего безумья,
Там Страх не входит в сны,
В земле беззвездной, где лежит он,
Нет солнца, нет луны.

Он как животное — бездушно —
Повешен ими был.
Над ужаснувшейся душою
И звон не прозвонил.
Они его поспешно взяли,
Зев ямы жертву скрыл.

Они с него покров сорвали:
Для мух был пирный час.
Смешна была им вздутость горла,
Недвижность мертвых глаз.
Они со смехом клали известь,
Чтоб саван жег, не гас.

Священник мимо той могилы
Без вздоха бы прошел,
Ее крестом не осенил бы,
Нам данным в бездне зол, —
Ведь здесь как раз один из тех был,
К кому Христос пришел.

Пусть так. Всё хорошо: замкнулась
Дней здешних череда,
Чужие слезы отдадутся
Тому, чья жизнь — беда,
О нем отверженные плачут,
А скорбь их — навсегда.

5

Прав или нет Закон — не знаю,
Одно в душе живет:
В тюрьме — тоска, в ней стены крепки,
В ней каждый день — как год.
И каждый день в том долгом годе
Так медленно идет.

И знаю я: все, все законы,
Что сделал человек,
С тех пор, как первый брат убит был,
И мир стал — мир калек, —
Закон мякину сохраняет
И губит рожь навек.

И знаю я, — и было б мудро,
Чтоб каждый знал о том, —
Что полон каждый камень тюрем
Позором и стыдом:
В них люди братьев искажают,
Замок в них — пред Христом.

Луну уродуют решеткой
И солнца лик слепят,
И благо им, что ад их скрытен:
На то, что там творят,
Ни бога сын, ни человека
Не должен бросить взгляд!

Деянья подлые взрастают,
Как плевелы, в тюрьме.
Что есть благого в человеке —
Бледнеет в той чуме,
И над замком Тоска нависла,
Отчаянье — во тьме.

Ребенка мучают, пугают,
Он плачет день и ночь.
Кто слаб — тем кнут, кто глуп — тех хлещут,
Кто сед — тех бить не прочь.
Теряют ум, грубеют, чахнут —
И некому помочь.

Живем мы — каждый в узкой келье,
Вонючей и глухой,
Живая Смерть с гнилым дыханьем —
За каждою стеной,
И, кроме Похоти, всё тлеет,
Как пыль, в душе людской.

Водой соленой там поят нас,
И слизь по ней скользит,
И горький хлеб, что скудно весит,
С известкой, с мелом слит,
И Сон не хочет лечь, но бродит
И к Времени кричит.

Но если Голод с бледной Жаждой —
Змея с другой змеей,
О них заботимся мы мало,
Но в чем наш рок слепой —
Тот камень, что ты днем ворочал,
В груди — во тьме ночной.

Всегда глухая полночь в сердце,
И тьма со всех сторон.
Мы рвем канат, мотыль вращаем,
Ад — каждый отделен,
И тишина еще страшнее,
Чем грозный медный звон.

Никто не молвит слова ласки
С живущим мертвецом,
И в дверь лишь виден взор следящий
С бесчувственным лицом.
Забыты всеми, — мы и телом
И духом здесь гнием.

Цепь Жизни ржавя, каждый жалкий
Принижен и забит, —
И кто клянет, и кто рыдает,
И кто всегда молчит.
Но благ Закон бессмертный бога:
Он камень душ дробит.

Когда же нет у человека
В разбитом сердце сил,
Оно — как тот ларец разбитый,
Где нард роскошный был,
Который в доме с прокаженным
Господь, как клад, открыл.

Счастливы — вы, с разбитым сердцем,
Уставшие в пути.
Как человек иначе может
Свой дух от Тьмы спасти?
И чем же, как не сердцем, может
Христос в наш дух войти?

И тот — с кровавым вздутым горлом
И с мглой недвижных глаз —
Ждет рук Того, кем был разбойник
Взят в Рай в свой смертный час.
Когда у нас разбито сердце,
Господь не пре́зрит нас.

Тот человек, что весь был в красном
И что читал Закон,
Ему дал три недели жизни,
Чтоб примирился он,
Чтоб тот с души смыл пятна крови,
Кем нож был занесен.

К его руке — от слез кровавых
Вернулась чистота:
Лишь кровью кровь омыть возможно,
И влага слез чиста, —
И красный знак, что дал нам Каин,
Стал белизной Христа.

6

Близ Рэдинга есть в Рэдингской
Тюрьме позорный ров.
Злосчастный человек одет в нем
В пылающий покров.
Лежит он в саване горящем —
И нет над гробом слов.

Пусть там до воскресенья мертвых
Он будет тихо тлеть,
И лить не нужно слез безумных,
И без толку жалеть:
Убил он ту, кого любил он, —
Был должен умереть.

Но убивают все любимых, —
Пусть слышат все о том.
Один убьет жестоким взглядом,
Другой — обманным сном,
Трусливый — лживым поцелуем,
И тот, кто смел, — мечом!

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

БОДЛЕР

555. КРАСОТА

Стройна я, смертные, как греза изваянья,
И грудь, что каждого убила в час его,
Поэту знать дает любовь — и с ней терзанье,
Безгласно-вечное, как вечно вещество.

В лазури я царю как сфинкс непостижимый;
Как лебедь бледная, как снег я холодна;
Недвижна Красота, черты здесь нерушимы;
Не плачу, не смеюсь, — мне смена не нужна.

Поэты пред моим победно-гордым ликом
Все дни свои сожгут в алкании великом,
Дух изучающий пребудет век смущен;

Есть у меня для них, послушных, обаянье,
Два чистых зеркала, где мир преображен:
Глаза, мои глаза — бездонное сиянье.

556. СМЕРТЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Постели, нежные от ласки аромата,
Как жадные гроба, раскроются для нас,
И странные цветы, дышавшие когда-то
Под блеском лучших дней, вздохнут
в последний раз.

Остаток жизни их, почуяв смертный час,
Два факела зажжет — огромные светила,
Сердца созвучные, заплакав, сблизят нас —
Два братских зеркала, где прошлое почило.

В вечернем таинстве, воздушно-голубом,
Мы обменяемся единственным лучом —
Прощально-пристальным и долгим, как рыданье.

И ангел, дверь поздней полуоткрыв, придет
И, верный, оживит и, радостный, зажжет
Два тусклых зеркала — два мертвые сиянья.

557. ГИГАНТША

В оны дни, как природа в капризности дум, вдохновенно
Каждый день зачинала чудовищность мощных пород,
Полюбил бы я жить возле юной гигантши бессменно,
Как у ног королевы ласкательно-вкрадчивый кот.

Я любил бы глядеть, как с душой ее плоть расцветает
И свободно растет в ужасающих играх ее;
Заглянув, угадать, чтó за мрачное пламя блистает
В этих влажных глазах, где, как дымка, встает забытье.

Пробегать на досуге всю пышность ее очертаний,
Проползать по уклону ее исполинских колен,
А порой в летний зной, в час, как солнце дурманом
дыханий

На равнину повергнет ее, точно взятую в плен, —
Я в тени ее пышных грудей задремал бы, мечтая,
Как у склона горы деревушка ютится глухая.

558. ПРОПАСТЬ

Паскаль носил в душе водоворот без дна.
— Всё пропасть алчная: слова, мечты, желанья.
Мне тайну ужаса открыла тишина,
И холодею я от черного сознанья.

Вверху, внизу, везде — бездонность, глубина,
Пространство страшное с отравою молчанья.
Во тьме моих ночей встает уродство сна
Многообразного — кошмар без окончанья.

Мне чудится, что ночь — зияющий провал,
И кто в нее вступил — тот схвачен темнотою.
Сквозь каждое окно — бездонность предо мною.

Мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал,
Чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья.
— А! Никогда не быть вне Чисел, вне Сознанья!

ПОЛЬ ФОР

559—561. *ПЕСЕНКИ*

1

Она умерла, умерла, она умерла от любви.
С рассветом ее унесли, и за гробом немногие шли.
Ее схоронили одну, одну, как она умерла,
Ее схоронили одну, как она перед смертью была.

И с песней вернулись они: «Кому суждено —
так умрет».
И пели, и пели они: «Для каждого есть свой черед.
Она умерла, умерла, она умерла от любви».
Ее унесли — и опять работать, работать пошли.

2

Море блестит за изгородью,
Море блестит, как раковина.
Как бы его поймать? — Поймай!
Это веселый, веселый май.

Нежно море за изгородью,
Нежно, как руки детские.
Так бы его и ласкал. — Ласкай!
Это веселый, веселый май.

3

Прими всю глубь небес в твои глаза с их тьмою,
Своим молчанием проникни в тень земли, —
И если жизнь твоя той тени не усилит,
Огни далеких сфер в них зеркало нашли.

Там изгородь ночей с незримыми ветвями
Хранит цветы огня, надежду наших дней, —
Печати светлые грядущих наших жизней,
Созвездья, зримые немым ветвям ночей.

Гляди, будь сам в себе, брось чувства в область мысли,
Собою увлекись, будь на земле ничей, —
Без понимания, глазами слушай небо,
Твое молчание есть музыка ночей.

ИЗ ИСПАНСКОЙ ПОЭЗИИ

562—606. *ИСПАНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ*

I

SOLEARES

1

Слово песни — капля меда,
Что пролился через край
Переполненного сердца.

2

Я иду вперед, как пленник,
Тень моя идет за мною,
Предо мною — мысль моя.

3

Да, твоя любовь — как ветер,
А моя любовь — как камень,
Что недвижен навсегда.

4

Ты себя со мной сравнила!
Ты — из всех металлов слиток!
Я — беспримесный металл.

5

Как же ты безумна, крошка!
Ты — как колокол, в который
Каждый может позвонить.

6

Вот несчастье, так несчастье:
Вижу смех — я должен плакать,
Вижу слезы — веселюсь.

7

Снилось мне, что я на небе,
На твоей груди проснулся, —
Сон меня не обманул.

8

Подожди еще, останься, —
Каждый раз, как ты уходишь,
Это жизнь уходит прочь!

9

Как мне быть с тобой, не знаю, —
Ты — как Кáдикс за стеною:
Подступиться не могу!

10

Я по власти выше бога, —
Он простить тебе не может
То, что я тебе простил.

11

Я ее увидел мертвой,
Я нашел ее прекрасной —
И закрыл ее лицо.

12

От тоски я умираю, —
Ты живешь еще на свете,
Ты, умерший для меня!

II

COPLAS

1

Камень, — тронь его огнивом, —
Брызжет слезы из огня.
Это камень! Чтó же будет
С сердцем, с сердцем у меня?

2

Вечно кажется влюбленным,
Вечно кажется — хоть брось! —
Что не видят их, — меж тем как
Всякий видит их насквозь.

3

Я утес гранитный,
Я суровый камень,
Я для всех — как бронза,
Для тебя — как воск.

4

Мать, что тебя породила,
Ранняя роза была,
Она лепесток обронила,
Когда тебя родила.

5

Белки твоих глаз
С их синими жилками
Похожи на небо,
Покрытое облаком.

6

Два зеркала — твои глаза.
Я в них смотрюсь. Постой.
Не закрывай их, жизнь моя,
Не закрывай! Открой!

7

Ресницы глаз твоих
Черны, как мавританки.
Среди ресниц твоих
Мерцают две звезды.

8

Звезд на небе, звезд на небе —
Тысяча и семь,
А твои считая очи,
Тысяча и девять.

9

Твой рот, моя малютка, —
Закрывшийся цветок.
О, если б поцелуем
Его раскрыть я мог!

10

Ты красивее, чем солнце,
Ты белей, чем снег в пустыне,
Ты нежней, чем роза в цвете
И чем лилия в саду.

11

С этими кудрями золотыми,
Вдоль лица упавшими вперед,
Кажешься ты башней золотою,
В церковь призывающей народ.

12

Предстань же у окна —
И мы тебя увидим,
И светом глаз твоих
Закурим мы сигару.

13

По морям глубоким проплывал я,
Потерял свой путь среди морей,
И нашел испанскую я гавань,
Увидавши свет твоих очей.

14

Когда б под ключом я
С тобой очутился,
И слесарь бы умер,
И ключ бы сломился!

15

Если б я родился василиском,
Я тебя бы взором умертвил,
Чтоб тебя совсем отнять у мира,
Чтоб тебя никто в нем не любил.

16

Если в ад пойдешь ты,
Я пойду с тобой,
Если ты со мною —
Всюду рай со мной.

17

Сердце мое и твое
Между собой совещались;
Было у них решено,
Что жить им в разлуке нельзя.

18

Люблю невозможность,
Как все, кто разумен.
Возможности любит
Один лишь глупец.

19

На лицо твое гляжу я,
Но не думай, что люблю!
Я на всё гляжу на рынке,
Погляжу — и не куплю.

20

Первая любовь —
Вплоть до самой смерти.
Все любви другие —
Вспыхнут и умрут.

21

Под грудою пепла
Огонь сохранится.
Чем больше разлука,
Тем тверже любовь.

22

Счастие мира проходит,
Время и жизнь исчезают.
То, что всегда остается,
Это — любовь.

23

Кто-нибудь нас слышит? — Нет.
Поболтаем, хочешь? — Да.
У тебя есть милый? — Нет.
Хочешь, я им буду? — Да.

III

SEGUIDILLAS

1

Не хочу, чтоб ты ушел,
Не хочу, чтоб ты остался,
Ни чтоб ты меня оставил,
Ни чтоб ты меня увлек.
Одного хочу я только...
Я всего хочу — и значит
Не хочу я ничего.

2

Женщины — как тени:
К ним идешь — уходят,
Ты от них стремишься —
Гонятся вослед.
Я их постигаю:
Раз подходят — жду,
Раз уходят — пусть их.

3

Как хрусталь — влеченье сердца,
Как бокал — любовь людская.
Чуть его толкнешь неловко —
Разобьется на куски.
И уж так всегда бывает:
Чем нежнее, тем скорее
Разобьется навсегда.

4

Чуть глаза твои увидел,
Я своим глазам промолвил:
«Осторожней: перед нами —
Беспощадные враги!»
И душа мне отвечала:
«Уж открыли перестрелку
Аванпосты, — посмотри!»

5

В понедельник я влюбляюсь,
А во вторник признаюсь,
И взаимность получаю
В среду — так же, как в четверг,
А на пятницу ревнуют,
А в субботу, в воскресенье
Новой страсти я ищу.

6

Нежным веером ты веешь
На себя, чтоб освежиться,
И даешь тихонько знаки
Незаметные другому.
Тем же веером ты можешь
Окружить себя прохладой,
Окружить меня огнем.

7

Женщины — как книги,
Думаешь: «Вот новость,
Дай-ка я куплю».
Развернешь, посмотришь —
Читано давно уж.
Сколько переделок
Заново идет!

8

Ты глядишь и молчишь,
Дни идут и проходят,
Я гляжу и молчу.
Двести лет так продлится:
Друг на друга смотря,
Мы с тобой не заметим,
Что приблизилась смерть.

9

У тебя глаза, не очи,
У тебя не взоры — стрелы,
Только взглянешь — я мертва.
Так гляди же больше, больше,
Пусть, с тобой встречаясь взором,
Каждый миг я умираю,
Пусть от счастья я умру.

10

С тех пор как ушла ты,
О солнце всех солнц,
И птицы умолкли,
И смолкли ручьи.
О милое счастье!
И птицы умолкли,
И смолкли ручьи.

ХОСЕ ДЕ ЭСПРОНСЕДА

607. РОМАНС

Над вершиною Хорэба —
Чуть рожденная луна,
И могучий на равнине
Рыцарь видится в броне.

Под лучом печальным светит
Крест на латах, на груди, —
Паладин, в защиту вставший
За святой Ерусалим!

Едет он от Иордана
Вдоль теченья иногда,
И в парадной и в богатой
Блещет сбруе стройный конь.

Между тем ему навстречу
Там — араб на скакуне, —
Он с копьем, с кривою саблей
И с сияющим щитом.

Конь бежит, гремит оружье,
Слышит, видит паладин,
Отпустил коню он повод —
И к неверному вперед.

И араб уж наготове,
Жаждет славы, помнит честь,
Приложил к плечу десницу,
Ринул в смелого копье.

Полетело с быстрым свистом —
Невредим христианин.
Пролетевши мимо, на земь
Пало — дрогнула земля.

«Сдайся, мавр, — ему кричит он, —
Ярость бешенства сдержи,
Я — Рича́рд». — «А что мне в этом,
Если я Абенамет?»

И в ответ ему на слово
Мечет дикий он удар.
Сталь дамасская сверкнула —
Край у шлема срезан прочь.

С гневом мощную секиру
Самодержец англичан
Взнес — тюрбан разрублен, вместе
С мусульманской головой.

Эту тяжкую секиру —
Из носивших тяжесть лат —
И обеими руками
Не приподнял бы никто.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

608—610. *НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ О ТВАРДОВСКОМ*

1

ЗЕРКАЛО ТВАРДОВСКОГО

В Венгрии, в старом костеле приходском,
В ризнице плоское зеркало есть
Из металла блистательно-белого.
Зеркало это — высокое,
Зеркало кругло-широкое,
С малым уклоном от круга — в длину,
Граненое всё по краям,
В старосветской широкой и черной оправе,
Прозрачное, словно затон.
Ни пятна, — лишь внизу вкось прошедшая трещина.
Юноши в зеркале этом видали
Множество ликов, — манили одни,
Но в недоступную глубь уходили,
Пугали другие, страшили другие.
И словно из раны они выступали,
И словно как змеи срывалися вниз.
И юноши в страхе бросали камнями,
Но зеркалу камень не мог повредить.
Один догадался — и связкою бросил
Церковных ключей, —
И трещина вкось побежала узором,
Который для призраков был как замо́к.
Тем зеркалом, много в себе затаившим,
Когда-то владел чернокнижник Твардовский.

На раме доселе виднеется надпись:
«Twardovius Magicus»[1], — что-то еще,
Но буквы неполны, от времени стерлись.
Высоко то зеркало там — над дверями,
Дабы не страшило глядящих в него.
Когда облачаются ксёндзы для мессы,
Нельзя им глядеть в это зеркало, ибо
Там Дьявол всегда сторожит.

2

ТВАРДОВСКИЙ

Твардовский добрый шляхтич был — с обоих
Концов семьи: кудели и меча.
Хотел умом сильнее быть, чем люди,
И сна́добье хотел найти от смерти,
Затем что умирать он не хотел.
Начетчик, в старых книгах прочитал он,
Как можно вызвать Дьявола, — и в полночь
Под Краковом вступил с ним в договор,
Где выставил, в числе других, условье,
Что до тех пор ни к телу, ни к душе
Не может сила ада подступиться,
Пока не будет в Риме схвачен он.
Засим — услуги Дьявола. Без счета.
Всё серебро, какое было в Польше,
Он в место снес одно, песком засыпал, —
Отсюда — Олькуш с славным рудником.
Чего бы только ни хотел Твардовский,
Он всё имел, — лишь вымолви желанье.
Нарисовав коня — на нем скакал;
Летал без крыл по воздуху высоко;
По водам Вислы с милой плавал — против
Теченья, без весла и без ветрил;
По прихоти своей капризной воли
На груды гор он горы громоздил;
И в ночь одну выкапывал озера;

---

[1] Твардовский — маг (лат.). — *Ред.*

Когда хотел жениться, тайну панны
От пчелки златокрылой он узнал;
Смеялся над людьми, порой — лечил их,
Дурачил их, предназначал по воле —
Того женить, а этих — разженить.
О золоте и говорить не нужно:
Оно с ним было — как с волной песок.
Однажды, без приборов чернокнижных,
Зашел в глухой он бор — и думал там.
Задумался глубоко он. Вдруг — Дьявол.
Предстал, глядит, и глухо молвил: «В Рим!»
Разгневанный, заклял его Твардовский.
Злой дух от чернокнижника бежал,
Зубами скрежеща в бессильной злобе.
Но, убегая, вырвал он сосну,
В Твардовского с размаху ей швырнул он —
И был с минуты той Твардовский хром.
Притом, как чернокнижник не был счастлив
От всех причуд, которые исчéрпал,
Так Дьявола возможно ль усыпить
Какой-то причиненной хромотою!
К Твардовскому приходит дворянин
И молит: «Дай лекарства. Пан вельможный
Внезапно занемог. Приди — спаси,
Ведь ты — один». Твардовский — в Сандомирском,
В корчме, где слег и ждет вельможный пан.
Чуть только перешел порог Твардовский —
На крышу сели вóроны кругом,
Закаркали. И понял чернокнижник,
Что тут случилось что-то вне расчета.
Он быстро к колыбели подошел,
Где был ребенок, только что крещеный, —
И на руки берет его. А Дьявол
Уж тут как тут, и говорит: «Ты — мой».
— «Я твой?» — «Мы — в Риме». — «Это что за бредни?»
— «Корчма, в которой ты, зовется: Рим».
Подъяты когти Дьявола. Но сила
Ребенка, освященного крещеньем,
Ему — стена. Чрез стену ходят мыши.
Он говорит: «Послушай, ты ведь шляхтич.

Так, значит, знаешь: verbum nobile
И stabile, конечно, debet esse»[1].
Твардовский, видя, что никак нельзя
Шляхетское нарушить обещанье,
Ребенка в колыбель вернул. А сам
С товарищем через камин промчался.
Воронье стадо грянуло приветом.
Летят, летят — всё выше над землей.
Твардовский смотрит вниз — и видит Краков.
От боли сердце сжалось у него:
Всё, что любил, он там, внизу, оставил.
В нем встали чувства лет первоначальных —
И детскую молитву он запел, —
Свой стих, что спел когда-то в честь Марии.
Чуть кончил песнь, он видит, изумленный,
Что в воздухе недвижно он висит.
Взглянул — его товарищ странствий скрылся,
Лишь мощный голос слышит над собой:
«Повисши так, до дня Суда здесь будешь».
И вот, когда заходит полный месяц,
На нем нам видно черное пятно:
Твардовский во плоти, который будет
Там в воздухе висеть до дня Суда.

8

ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ ТВАРДОВСКОГО

Всю жизнь свою придумывал Твардовский,
Как ускользнуть от смерти. И нашел.
За несколько годов пред тем, как Дьявол
Его унес,
Он верному велел ученику
Себя рассечь, — и рассказал подробно,
Как дальше поступать. Разнесся слух,
Что умер чернокнижник. Был Твардовский —
И нет его. А ученик меж тем
Его рассек — и приготовил зелья,
Облил куски вскипевшим соком трав

[1] Слово благородного должно быть непреложным (лат.). — *Ред.*

И в землю схоронил наоборот их,
И не в ограде, а перед оградой.
Твардовский поручил ему, чтоб он
Не прикасался к тем кускам три года,
Семь месяцев, семь дней и семь часов.
И ученик всё в точности исполнил.
Один пришел он — в полночь, в новолунье, —
И семь свечей из жира мертвеца
Зажег перед оградой. Сбросил землю,
Прогнившую сорвал он с гроба крышку, —
Какое чудо! Больше нет останков:
Где саван был, фиалки там цветут
С пахучею травою богородской.
На этой мураве дитя лежало,
Объятое дремотой и в чертах
Обличие Твардовского являя.
Он взял ребенка и принес в свой дом.
За ночь одну возрос он как бы зá год,
Семь дней прошло — и он уж обо всем
Так говорил, как говорил Твардовский,
В семь месяцев — он юношею стал.
Тогда-то обновившийся Твардовский
В искусстве чернокнижном стал работать.
Он щедро наградил ученика, —
Однако же, чтоб тайна возрожденья
Не разгласилась, он его заклял —
И стал тот пауком. Его держал он
В своих покоях, в добром попеченьи.
Когда потом Твардовский из корчмы
Бесами унесен был в вышний воздух,
Паук, что прицепился паутинкой
К его одежде, вместе с ним повис...
Паук ему товарищем остался:
На нити он спускается к земле,
Глядит — чтó там, взбирается к высотам,
Над ухом у Твардовского присядет
И говорит — что видел он, что слышал,
Чтобы Твардовский очень не скучал.

АДАМ МИЦКЕВИЧ

611. ПЕСНЬ ПОЛЬСКОГО УЗНИКА

Какому б злу я ни был отдан —
Рудник, Сибирь, — о, пусть! Не зря
Я буду там: я верноподдан,
Работать буду для царя.

Куя металл, вздымая молот,
Во тьме, где не горит заря,
Скажу: пусть тьма, пусть вечный холод, —
Топор готовлю для царя.

Татарку выберу я в жены,
Татарку в жены, говоря:
«Быть может, выношен, как стоны,
Родится Пален для царя».

Когда в колониях я буду,
Я огород себе куплю
И каждый год, поверя чуду,
Лен буду сеять, коноплю.

Из конопли сплетутся нити,
В них серебро мелькнет, горя,
К ним, может, честь придет — о, ждите:
То будет шарфом для царя.

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

ЯРОСЛАВ ВРХЛИЦКИЙ

612. ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ

Сегодня для тебя одно воспоминанье,
Но в нем такая тишь, душистый в нем угар,
Как бы в дремотный лес глядит мое мечтанье,
А в нем — весенний час и золотистый пар,
Там птица, песня там, — и весь я ликованье,
Там на цветке роса, — в глазах мерцанье чар.

Всё — весть мне о тебе, и эта весть — живая,
В лазури жаворонок, в траве цветок, струя,
И дух мой — мотылек, а крыльев пыль цветная —
Усмешка милая, улыбчивость твоя.
И песнь моя поет: «Дочь звезд!» — к тебе взывая,
А в сердце в тот же миг звенит: «Моя! Моя!»

613. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Уж падает сон мне на веки,
А в мыслях одна только ты.
И в памяти ткущей мечты
Я вижу багряные реки, —
В них — дождь золотой с высоты.

Глаза закрывает бессилье,
В зеницах — видений река,
Мне зримы твой взгляд и рука.
И сон мотыльковые крылья
На веки мне свеял слегка.

Плывут облака золотые,
В них — тени, виденья, черты,
Все знают тебя: не впервые
Во всех их сплетениях ты.

Уж сплю я. Бог весть, что мне зримо.
Всё дымом проносится мимо.
Но знаю, что в снах темноты,
Что в мыслях — одна только ты.

И в реку вступив золотую,
Я милые щеки целую.

614. КОСТЕР

На опушке леса разведу костер,
Разогрею тело, разожгу мой взор.
Алые сверканья в пляшущем огне,
Алчущие волки не придут ко мне.

Это я и сделал. — Тщетен труд и мал.
Я всю ночь в мученьях тягостных не спал.
О свирепом волке — том, что всех страшней,—
Я забыл о жадной совести моей.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

615. МАРГИТА

Мрак на поле, и солнце заходит,
На дворе собралися невестки:
Чей черед за водою с кувшином?
А черед был Маргиты девойки.
Да хитра мать Маргиты, лукава, —
Хвать кувшин — и идет за водою.
Вот встречает ее юн безумец:
«Добрый вечер, Маргитина матерь,
А Маргита девойка-то где же?»
Отвечает Маргитина матерь:
«Умерла нынче ночью Маргита,
Братья утром ее схоронили».
И промолвил тогда юн безумец:
«Ты не лги, ты не лги, мать Маргиты,
Всю-то ночь нынче ночью Маргита
У меня на руке пролежала».

616. НЕВЕСТА ТОДОРА

Есть красивая Тодора,
Молодая есть невеста,
За водой не ходит утром —
Вечерами, в лунном свете,
Чтобы солнце не смотрело.

Вот Тодора наклонилась
Зачерпнуть в кувшин водицы,
Тень упала до криницы,
Выпрямляется Тодора,
И не тень была пред нею —
Молодой был воевода.
Говорит Тодоре тихо:
«Ой, невеста молодая,
Ты, красивая Тодора,
Зачерпни воды студеной,
Напои коня из кадки,
Напои меня устами,
А дружину — из пригоршни».

617. ТРИ СОКОЛА

Древо взросло у меня тройноствольное,
Три там гнезда на стволах между ветками,
Три в этих гнездах там серые сокола.
Первый тут сокол играет пред матерью,
Молит родную: «Пусти меня, матушка,
Ты отпусти на Дунай поохотиться,
Рыбу поймаю я там сребропёрую,
Да, сребропёрую, златочешуйную».
Пусть же идет он — вернется с добычею.
Тут и второй заиграл перед матерью, —
Сер соколенок играет пред матерью,
Молит он мать: «Ты пусти, отпусти меня,
Дай мне носиться по полю широкому,
Метко схвачу куропатку я пеструю».
Пусть же идет он — вернется с добычею.
Третий теперь соколенок пред матерью,
Молит он мать: «Отпусти меня, матушка,
Вслед за царем отпусти поохотиться,
Дай мне родную добычей порадовать».
Пусть же идет и вернется с добычею,
С доброй добычею — с царскою дочерью.

618. ЖУРАВЛИ

«Журавли вы серокрылы,
Журавли вы длиннокрылы,
Как высоко вы летите,
Как далёко вы глядите, —
Миновали ли в пути вы
Ровный край пустой — Добруджу?
Был ли вам в полете виден,
Журавли, внизу мой милый?»
Журавли сказали юной:
«Коли спрашиваешь, скажем.
Да, мы видели Стояна
В Черном море, среди моря.
Корабли плывут по морю,
Корабли плывут и лодки.
Вот плывет корабль по морю,
А за ним плывут три лодки,
Млад Стоян плывет по морю,
Держит медную свирель он,
Он играет на свирели,
А свирель свирелит слово:
«Подожди меня немножко,
Ты ждала меня так долго,
Подожди еще немножко.
Если к милой не вернусь я,
Избери себе другого, —
Пусть моим он ходит ходом,
Пусть мое он молвит слово,
Пусть мою поет он песню».

619. СОН

Заснула девушка крепко
У самого берега моря, —
Под той ли был сон под маслиной.
И ветер повеял от моря,
Он ветку сломал на маслине,
Ударила девушку ветка,
В лицо ее ветер ударил,

И, вздрогнув, она пробудилась,
И ветер кляла она гневно:
«Ах, если б ты, ветер, не веял,
Спала бы себе и спала я.
Приснился мне сон несчастливый:
Приходят в мой сон три безумца,
Безумцы они, не женаты.
Один дал мне яблоко красно,
Другой подарил мне злат-перстень,
Во сне целовал меня третий.
Пусть тот, что был с яблоком красным,
Иссох бы, как яблоко красно;
Пусть тот, что дарил мне злат-перстень,
Сквозь перстень скользнув, провалился;
А кто целовал меня в дрёме,
Целуй не во сне меня — в яви!»

620. ЖЕНИХ ДА НЕ ЖЕНИЛСЯ

Ждет юнак, всё смотрит-смотрит:
Хороша в селе юница —
В стаде агнец белорунный,
На горе ветвистый явор,
Горностаевая шапка.
Ждал безумный, всё смотрел он, —
Белый агнец был заколот,
И срубили стройный явор,
И купил купец проезжий
Горностаевую шапку.

621. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Мать моя, радость родная,
Юною я умираю,
Не хорони меня скоро,
Дай подойти всем подружкам,
Пусть восковыми свечами
Все они — светы засветят,

Все принесут по цветочку,
Все погрустят и потужат.
После — меня ты схоронишь
Меж двух дорог, двух широких,
Там, где несутся юнаки.
Буду я слушать, родная,
Как там топочут их кони,
Звякают острые сабли.

622. ЧУМА

Как чума по Боснии ходила,
Как она в Сараеве бродила,
Десять сотен душ на дню упало, —
Всё же город той беды не понял.
А когда у матери единый
Умер сын, — беда сполна предстала,
И чума, насытившись, устала.

623. ЦАРЬ КОСТАДИН ЦАРЕГРАДСКИЙ

Расцвело миндально древо
В зиму на дворе на царском,
Посреди зимы, в Коляду,
А цветы его — писанье,
Белый свиток с черным словом.
Костадин Царьградский глянул:
«Слуги верные, — он кликнул, —
Позовите грамотеев,
Да прочтут тот свиток белый».
Собралися грамотеи,
Не прочли, не разобрали
Белый свиток — мелкописье.
«Да придет же поп Никола,
Он прочтет тот белый список».
И приходит поп Никола,
Он читает, слезы льются:
«Царь, о царь, о царь почестный,
Саблю в руки, здесь главой я.

Вот что пишет мелкописье:
Тут твое свершилось царство
И мое — попом служенье.
Турки лютые приходят,
Люты турки — анадолцы,
Цареград они захватят».
Костадин тут царь прокликал:
«Запирайте, замыкайте
Город тяжкими вратами,
Море Черное — цепями!»
Отвечает поп Никола:
«Царь, о царь, о Костадине,
Затворять ли, замыкать ли, —
Сам господь вперед приходит,
Где он стукнет — там отворят,
Где он кликнет — там услышат».
И сказал царь Костадин тут:
«Ковачей скорей зовите —
Подковать коней проворных,
Все наизворот подковы!»

ИВАН ВАЗОВ

624. РОССИЯ

Россия! Ка́к нас это имя
Пленяет — милое, родное!
Она лучами огневыми
Светила в горе наше злое!

Она нас вспомнила, когда мы
Забыты были, — чужд весь свет.
Любовь, цветок над краем ямы,
Забота, ласка и завет.

Россия! Ширь — в веках и ныне,
Размах ты с мощью разливной!
Ты схожа с небом, с бездной синей,
И только с русскою душой!

ИЗ ЛИТОВСКОЙ ПОЭЗИИ

ПЕСНИ И ДАЙНЫ

625. ЛИТВИН

Литвин уезжал на войну,
Мать оставлял и жену.
Мать начинает тужить:
«Кто тебе будет служить
В далекой Угорской земле?»
— «Что же, родная? Есть звезды во мгле, —
И не счесть.
Светят глазами,
Белыми светят руками, —
Будут как знамя, как буду рубиться с врагами.
Ты вот, родная, как будешь одна?»
— «Буду молиться». — «А ты как, жена?»
— «Буду любить тебя. Буду молиться».
— «А как ребеночек малый родится?»
— «Буду ребенка качать.
Петь буду песни». — «А будут мятели?»
— «Лаума вместо меня к колыбели
С бледным лицом подойдет.
Будет ребенка качать,
Снега мне в сердце немного положит.
Это поможет.
Буду молчать».

626. МЕСЯЦ И СОЛНЦЕ

Солнце-Савлита — красивая дева,
Месяц женился на ней.
Светы направо, и светы налево,
Солнце поет, и под звуки напева
Росы — как бисер на сетке ветвей.
Солнце взошло и по небу блуждало,
Месяц сказал: «Целовались мы мало».
Месяц бледнеет от трепета сил.
Слышит в ветвях он поющую птицу,
Видит блестящую Диво-Денницу,
Вмиг светлолицую он полюбил.
Он ее нежит, целует, ласкает.
Видит Перкунас измену его,
Поднял карающий меч, набегает,
Месяц разрублен, но жив. Оттого
Солнце-Савлита, пылая от гнева,
Ходит по синему небу вдовой,
Месяц же часто в ущербе, но дева
Диво-Денница в сияньи напева
Слышит, как Месяц ей шепчет: «Я твой!»

627. РУТА

Рута в садике цветет,
Вышла дева в свой черед.
Вышла дева и поет.
Не меня ли манишь? Вот.
Нежен садик рутяной.
Выйди в садик, милый мой.
Дева, дева, оглянись.
Я с тобой. Цветы зажглись.
Рутяной венок сплела.
В воду бросила, светла.
Нежно счастье. Милый — мил.
Рутяной венок уплыл.

628. МЕСЯЦ

Месяц взял Солнышко в жены
Первою ранней весною,
Солнышко рано проснулось,
Месяц на небе отстал.

Месяц бродил одиноко,
И полюбил он Денницу,
В сильном был гневе Перкунас —
Месяц мечом разрубил.

Что же отстал ты от Солнца?
Что же один ты блуждаешь?
Что ж полюбил ты Денницу?
В сердце печаль не унять.

629. МАТЬ И ДОЧЬ

— О мать моя родимая,
Позволь идти мне с ними,
С солдатами, как с братьями,
Огонь там ходит в дыме.
— О дочь моя, ты девушка,
Не с ними мерить долы:
Сегодня здесь, а завтра там, —
Солдатский хлеб тяжелый.
— О мать моя родимая,
Огонь не гаснет в дыме.
Я в бой пойду с солдатами,
Хочу идти я с ними.
— О дочь моя любимая,
А ночевать-то где же?
— О мать моя родимая,
Повсюду ночи те же.
Как ночь придет, зеленый луг
Густой травой поманит.
Как ночь придет, высокий холм
Моей постелью станет.

— О дочь моя любимая,
Что подстелить ты сможешь?
И чем же ты прикроешься,
И как себе поможешь?
— О мать моя, кручинишься
Напрасно надо мною,
Росу я подстелю себе,
Прикроюсь темной мглою.

630. ВОРОБЬИНЫЙ ПРАЗДНИК

Воробей варит пиво для гостей,
Дам-дам-дали-дам-дили-дам.
Жить не может воробейко без затей,
Скачет, пляшет по дорогам, по кустам.
Варит пиво воробейко для гостей,
Дам-дам-дали-дам-дили-дам.
Всех крылатых просит в гости воробей.
Писк и щебеты. Дам-дам-дили-дам.
Он с совой пошел плясать. Пляши и пей.
Ей на палец наступил — и стыд и срам.
Не с тобой бы воробью плясать, ей-ей.
Дам-дам-дали-дам-дили-дам.
Захмелел совсем от пива воробей,
И пищит сова, нахмурясь: «В суд подам».
Отдавил сове он палец, лиходей,
И пошла она таскаться по судам,
И чирикнул на заборе воробей:
Дам-дам-дали-дам-дили-дам.

631. ЗАРЕВАЯ

1

Утром ранним, раным-рано,
Солнышко взошло,
За окошком стал отец мой,
Глянул сквозь стекло.

Где ты был, сыночек милый,
Где гулял зарей?
Где свои заржавил шпоры,
Оросил росой?

Утром ранним, раным-рано,
Я коня кормил,
И заржавил там я шпоры,
В росах оросил.

Ты неправильное слово,
Мой сынок, сказал.
Ты там утром, раным-рано,
С девушкой гулял.

2

Утром ранним, раным-рано,
Солнышко взошло,
За окошком стал отец мой,
Глянул сквозь стекло.

Где гуляла, дочь родная,
Где зарей была?
Где на твой венок зеленый
В росах пала мгла?

Утром ранним, раным-рано,
Шла я за водой,
И на мой венок зеленый
Пала мгла росой.

Ты неправильное слово,
Дочь моя, рекла,
Ты там утром, раным-рано,
С мóлодцем была.

632. ОЙ, БРАТЬЯ!

Ой, братья вы, братья,
Вы милые братья,
  Куда вы стремите ладью?
До хутора, что ли?
Быть может, в деревню?
  Скажите, а я вам спою.
Не в хутор мы едем, —
Всего в деревушку,
  Но сердце свое приготовь.
Там малые девушки
В малой деревне,
  Но в малых — большая любовь.
Поедем, поедем,
Одной поищу я,
  Найти не найду — не беда.
Другой поищу я,
Другой не найду я, —
  Есть младшая, третья, тогда.
А если и младшей
Отдать не желают,
  Возьму я рыбачку, ей-ей.
Она черноброва,
Не взглянет сурово,
  Не знает же трех лишь вещей:
Ни пяльцы расставить,
Ни ткань бы как выткать,
  Ни спрясть ни единую нить.
С утра бы ей в лодку,
И гнать ее ходко,
  И белые руки умыть!

633. У БЕРЕЗКИ

У березки-малолетки
Три сестрицы ломят ветки.
  Лю́ли, лю́ли, ой люли́,
  Три сестрицы ломят ветки.

Сестры, ветки вы ломайте,
А верхушку не снимайте.
    Лю́ли, лю́ли, ой люли́,
    А верхушку не снимайте.
Вы не трогайте верхушки
Из-за серой той кукушки.
    Лю́ли, лю́ли, ой люли́,
    Из-за серой той кукушки.
Любо будет на верхушке
Куковать весной кукушке.
    Лю́ли, лю́ли, ой люли́,
    Куковать весной кукушке.

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

634. ГРУЗИНСКАЯ ОДА К ТАМАР

Тамар, тебя пою, ты — солнце незаходящей красоты,
Твой стан точеный тонко-строен, и кроткий лик являешь ты.

Тамар, эфир молниеносный, словесный луг целебных трав,
Ларец познаний, ключ, текущий среди Эдемовых дубрав.

В щедротах ты подобна морю, высоким духом — небесам.
Ты — милосердье, и смиренье, и упоение глазам.

Из края в край идя с победой и славой тронув гуд струны,
Ты победителей сразила, — они тобой побеждены.

Ты с богом разделила страсти его вознесенного креста,
В горах ты утвердила веру, — их высота тобой свята.

Все люди власть твою признали, и люди ль только слились в хор? —
Тебе подвластны львы в равнине, тебе послушны барсы гор.

Тебя зовут светила — солнцем, тебя возносят семь планет,
Но для певцов ты недоступна, и до тебя дороги нет.

ШОТА РУСТАВЕЛИ

635. НОСЯЩИЙ БАРСОВУ ШКУРУ

Четырестрочия вступительные

Он, что создал свод небесный, он, что властию чудесной
Людям дух дал бестелесный, — этот мир нам дал в удел.
Мы владеем беспредельным, многоразным, в разном
цельным.
Каждый царь наш в лике дельном, — лик его средь
царских дел.

Бог, создавший мир однажды, от тебя здесь облик
каждый.
Дай мне жить любовной жаждой, ей упиться глубоко.
Дай мне страстным устремленьем вплоть до смерти жить
томленьем,
Бремя сердца, с светлым пеньем, в мир иной снести легко.

Льва, что знает меч блестящий, щит и копий свист
летящий,
Ту, чьи волосы — как чащи, чьи уста — рубин, Тамар, —
Этот лес кудрей агатный и рубин тот ароматный
Я хвалою многократной вознесу в сияньи чар.

Не вседневными хвалами, я кровавыми слезами,
Как молитвой в светлом храме, восхвалю в стихах ее.
Янтарем пишу я черным, тростником черчу узорным.
Кто к хвалам прильнет повторным, в сердце примет он
копье.

В том веление царицы, чтоб воспеть ее ресницы,
Нежность губ, очей зарницы и зубов жемчужный ряд.
Милый облик чернобровой. Наковальнею свинцовой
Камень твердый и суровый руки меткие дробят.

О, теперь слова мне ну́жны. Да пребудут в связи
дружной.
Да звенит напев жемчужный. Встретит помощь Тариэль.

Мысль о нем — в словах заветных, вспоминательно-
приветных.
Трех героев звездосветных воспоет моя свирель.

Сядьте вы, что с колыбели тех же судеб волю зрели.
Вот запел я, Руставели, — в сердце мне вошло копье.
До сих пор был сказки связной тихий звук однообразный,
А теперь — размер алмазный, песня, — слушайте ее.

Тот, кто любит, кто влюбленный, должен быть
весь озаренный,
Юный, быстрый, умудренный, должен зорко видеть сон,
Быть победным над врагами, знать, что выразить словами,
Тешить мысль как мотыльками, — если ж нет, не любит он.

О, любить! Любовь есть тайна, свет, что льнет
необычайно.
Неразгаданно, бескрайно светит свет того огня.
Не простое лишь хотенье, это — дымно, это — тленье.
Здесь есть тонкость различенья, — услыхав, пойми меня.

Кто упорен в чувстве жданном, он пребудет постоянным,
Неизменным, необманным, — гнет разлуки примет он.
Примет гнев он, если надо, будет грусть ему отрада.
Тот, кто знал лишь сладость взгляда, ласки лишь, —
не любит он.

Кто, горя сердечной кровью, льнул с тоскою к изголовью,
Назовет ли он любовью эту легкую игру?
Льнуть к одной, сменять другою — это я зову игрою.
Если ж я люблю душою, — целый мир скорбей беру.

Только в том любовь достойна, что, любя тревожно,
знойно,
Пряча боль, проходит стройно, уходя в безлюдье, в сон,
Лишь с собой забыться смеет, бьется, плачет, пламенеет,
И царей он не робеет, но — любви робеет он.

Связан пламенным законом, как в лесу идя зеленом,
Не предаст нескромным стоном имя милой для стыда.

И бежа разоблаченья, примет с радостью мученья:
Всё для милой, хоть сожженье, — в том восторг,
а не беда.

Кто тому поверить может, что любимой имя вложит
В пересуды? Он тревожит — и ее, и с ней себя.
Раз ославишь — нет в том славы, лишь дыхание отравы.
Тот, кто сердцем не лукавый, бережет любовь, любя.

Той, чей голос — звон свирели, нить свивая из кудели,
Песнь сложил я, Руставели, умирая от любви.
Мой недуг — неизлечимый. Разве только от любимой
Свет придет неугасимый, — или, смерть, к себе зови!

Сказку персов, их намеки — влил в грузинские я строки.
Ценный жемчуг был в потоке. Красота глубин тиха.
Но во имя той прекрасной, перед кем я в пытке
страстной,
Я жемчужин отсвет ясный сжал оправою стиха.

Взор, увидев свет однажды, преисполнен вечной жажды
С милой быть в минуте каждой. Я безумен. Я погас.
Тело всё опять — горенье. Кто поможет? Только пенье.
Троекратное хваленье — той, в которой всё — алмаз.

Что судьба нам присудила, нам должно быть это мило.
Неизменно, что б ни было, любим мы родимый край.
У работника — работа, у бойца — война забота.
Если ж любишь, так без счета верь любви, и в ней
сгорай.

Петь напев четырестрочно, это — мудрость. Знанье —
точно.
Кто от бога, — полномочно он поет, перегорев.
В малословьи много скажет. Дух свой с слушателем
свяжет.
Мысль всегда певца уважит. В мире властвует напев.

Как легко бежит свободный конь породы благородной,
Как мячом игрок природный попадает метко в цель,
Так поэт в поэме сложной ход направит бестревожный,
Ткани — будто невозможной — четко выпрядет кудель.

Вдохновенный — в самом трудном светит светом
изумрудным,
Грянув словом многогудным, оправдает крепкий стих.
Слово Грузии могуче. Если сердце в ком певуче,
Блеск родится в темной туче, в лёте молний вырезных.

Кто когда-то сложит где-то две-три строчки, песня
спета,
Всё же — пламенем поэта он еще не проблеснул.
Две-три песни — он слагатель, но когда такой даятель
Мнит, что вправду он создатель, — он упрямый только
мул.

И потом, кто знает пенье, кто поймет стихотворенье,
Но не ведает пронзенья — сердце жгущих, острых слов,
Тот еще охотник малый и в ловитвах не бывалый,
Он с стрелою запоздалой к крупной дичи не готов.

И еще. Забавных песен в пирный час напев чудесен.
Круг сомкнется — весел, тесен. Эти песни тешат нас.
Верно спетые при этом. Но лишь тот отмечен светом,
Назовется тот поэтом — долгий кто пропел рассказ.

Знает счет поэт усилью. Песен дар — не бросит пылью.
И всему он изобилью быть велит усладой — ей,
Той, кого зовет любовью, перед кем блеснет он новью,
Кто, его владея кровью, петь ему велит звучней.

Только ей — его горенья. Пусть же слышат той хваленья,
В ком нашел я прославленье, в ком — удел блестящий
мой.
Хоть жестока, как пантера, — в ней вся жизнь моя
и вера,
Это имя в ток размера я поздней внесу с хвалой.

О любви пою верховной — неземной и безгреховной.
Стих об этом полнословный трудно спеть: бегут слова.
Та любовь от доли тесной душу мчит в простор небесный,
Свет сверкает в ней безвестный, здесь лишь видимый
едва.

Говорить об этом трудно. Даже мудрым многочудна
Та любовь. И здесь не скудно, — многощедро, — пой
и пой.
Всё сказать о ней — нет власти. Лишь скажу: земные
страсти
Подражают ей отчасти, зажигая отблеск свой.

По-арабски кто влюбленный — тот безумный. Точно
сонный,
Видит он невоплощенной уводящую мечту.
Тем желанна близость бога. Но пространна та дорога.
Эти прямо — от порога — досягают красоту.

Я дивлюсь: зачем бесправно то, что тайна, делать явно.
Мысль людская своенравна. Для чего любовь — стыдить?
Всякий срок здесь — слишком рано. День придет,
не тронь тумана.
О, любовь — сплошная рана. Рану — нужно ль бередить?

Если тот, кто любит, — плачет, это только то и значит,
Что в себе он жало прячет. Любишь, — знай же тишину.
И среди людей, средь шума, об одной пусть будет дума,
Но красиво, не угрюмо, скрытно — всё люби одну.

ИЗ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

П. ДУРЯН

•

636. МОЯ СКОРБЬ

Я не о том скорблю, что в жажде сновидений
Источник дум святых иссякшим я нашел,
Что прежде времени мой нерасцветший гений
Сломился и поблек под гнетом тяжких зол;

И не согрел никто горячим поцелуем
Ни бледных уст моих, ни бледного чела;
И, счастья не познав, любовью не волнуем,
Смотри: уж предо мной зияет смерти мгла...

И не о том скорблю, что нежное созданье,
Букет из красоты, улыбки и огня,
Не усладит мое последнее страданье,
Лучом своей любви не озарит меня...

Я не о том скорблю... Нет, родине несчастной —
Все помыслы мои... О ней моя печаль!
Не в силах ей помочь, томясь тоской напрасной,
Безвестно умереть, — о, как мне жаль, как жаль!

И. ИОАННИСЯН

637

Умолкли навсегда времен былых народы,
Родились новые народы в смену им, —
И с пальмой нежною зиждительной свободы
Склонилось счастие к народам молодым.

И слава прадедов, забрезживши звездою,
Роняет им свой луч и светом гонит зло;
И дóбытый трудом, печалью и борьбою,
Венок бессмертия венчает их чело.

Лишь только ты одна, Армения родная,
Лежишь, как труп живой, — мне горестно взглянуть:
В цепях тоскуешь ты, прекрасный лик склоняя;
Разметана твоя истерзанная грудь!

Из-под твоих руин не глянет ветвью новой
Зеленый мирт любви — спасения симвóл;
Возложен на тебя тоски венец терновый —
Венец немых скорбей и вековечных зол.

Но нет, ты не умрешь! Я верю в обновленье,
Оно должно прийти, — оно к тебе придет.
Во мраке вековом горит звезда спасенья:
Проснися, близок час, о родина, — он ждет.

Всё то, что некогда в душе твоей боролось,
Пусть вспыхнет вновь. Воспрянь во прахе и пыли!
Хоть полумертвая, услышь, подай свой голос, —
Твои сыны придут со всех концов земли...

А. ЦАТУРЯН

638

Что ты плачешь, печальный, прозрачный ручей?
Пусть ты скован цепями суровой зимы, —
Скоро вспыхнет весна, запоешь ты звончей
На заре, под покровом немой полутьмы!..

И свободный от мертвых, бездушных оков,
Ты блеснешь и плеснешь изумрудной волной,
И на твой жизнерадостный, сладостный зов
Вольный отклик послышится в чаще лесной.

И под шелест листка ветерка поцелуй
Заволнует твою белоснежную грудь,
И застенчивым лилиям в зеркале струй
На себя будет любо украдкой взглянуть.

Вся земля оживится под лаской лучей,
И бесследно растают оковы зимы.
Что ж ты плачешь, скорбящий, звенящий ручей?
Что ж ты рвешься так страстно из темной
тюрьмы?..

О. ТУМАНЯН

639. АХТАМАР

Легенда

Каждой ночью к водам Вана
Кто-то с берега идет
И без лодки средь тумана
Смело к острову плывет.

Он могучими плечами
Рассекает лоно вод,
Привлекаемый лучами,
Что маяк далекий шлет.

Вкруг поток, шипя, крутится,
За пловцом бежит вослед,
Но бесстрашный не боится
Ни опасностей, ни бед.

Чт́о ему угрозы ночи,
Пена, волны, ветер, мрак?
Точно любящие очи,
Перед ним горит маяк!

Каждой ночью искры света
Манят лаской тайных чар:
Каждой ночью, тьмой одета,
Ждет его к себе Тамар.

И могучими плечами
Бороздит он лоно вод,
Привлекаемый лучами,
Что маяк далекий шлет.

Он плывет навстречу счастью,
Смело борется с волной.
А Тамар, объята страстью,
Ждет его во тьме ночной.

Не напрасны ожиданья...
Ближе, ближе... вот и он!
Миг блаженства! Миг свиданья!
Сладких таинств райский сон!

Тихо. Только волны плещут,
Только, полны чистых чар,
Звезды ропщут и трепещут
За бесстыдную Тамар.

И опять к пучинам Вана
Кто-то с берега идет,
И без лодки средь тумана
Вдаль от острова плывет.

И со страхом остается
Над водой Тамар одна,
Смотрит, слушает, как бьется
Разъяренная волна.

Завтра — снова ожиданья,
Так же искрится маяк,
Тот же чудный миг свиданья,
Те же ласки, тот же мрак.

Но разведал враг жестокий
Тайну любящих сердец:

Был погашен свет далекий,
Тьмой застигнут был пловец.

Растоптали люди злые
Ярко блещущий костер,
Небеса молчат ночные,
Тщетно света ищет взор.

Не заискрится, как прежде,
Маяка привет родной, —
И в обманчивой надежде
Бьется, бьется он с волной.

Ветер шепчет непонятно,
Над водой клубится пар,
И вздыхает еле внятно
Слабый возглас: «Ах, Тамар!»

Звуки плача, звуки смеха...
Волны ластятся к скале...
И как гаснущее эхо
«Ах, Тамар!» звучит во мгле.

На рассвете встали волны
И примчали бледный труп,
И застыл упрек безмолвный:
«Ах, Тамар!» — средь мертвых губ.

С той поры минули годы,
Остров полон прежних чар,
Мрачно смотрит он на воды
И зовется «Ахтамар».

А. ИСААКЯН

640. КОЛОКОЛ ВОЛИ

О колокол воли, гуди из лазури,
От горных высот, от кавказских громад,
Греми, как гроза, как гудение бури,
Чтоб гордый тебя услыхал Арарат.

Могучее слово бунтующей мести,
Свой гнев расширяй, как враждующий стан,
Народам неси веселящие вести,
Чтоб грозный союз был, как стяг, златоткан.

От гор до селений, с долины — к долинам
От сердца летит пусть до сердца твой зов,
Да заповедь дашь, да гремишь властелином,
Твой гнев да звучит до скончанья веков!

О гордые души, сюда, — окрылитесь!
Совместно звеня, да развеем мы звон!
Наш колокол — гнев, он — ликующий витязь,
Чтоб вольный Кавказ позабыл свой полон.

О колокол воли, греми же, буди же
От сна Арарат и верховный Казбек,
Проснитесь, орлы, прилетите к нам ближе,
Свирепьтесь, о львы, и встряхнись, человек!

Довольно, довольно мы были рабами,
С умом в кандалах и с руками в цепях,
Неси же нам мощь, да пребудем мы в храме,
И огнь распалим в напряженных сердцах.

Рычи нам, журчи нам и выстрой нас к бою,
До славы, до ран, хоть на смерть, но — в борьбу,
Несчастье и зло да сразим мы с тобою,
Греми же как гром и труби как в трубу!

Страна величавых и взрывных вулканов,
От моря звучи и до моря бушуй!
Кто смел — тот вперед! Поразим великанов!
Беги, водопад, огнебрызгами струй!

О колокол воли, наш колокол воли,
Да будет твой звук для сердец властелин!
Свободный Кавказ, в возрождении доли,
Весь вскликнет в ответ перекличкой вершин.

В. ТЕРЯН

641. НАИРЯНКА

Мне наирянка улыбнулась тонкостанная,
Печальных глаз был прям и огнен верный взор,
И чист был пламень, как заря из ночи данная,
Горел и жил открытый облик девы гор.

И там, где северно и сумрачно от холода,
Наирский день блеснул в душе, как солнце, ал,
И в сердце — роза, сердце огненно и молодо,
Оно горит — и мне велит, чтоб не молчал.

Не петь нельзя мне непорочную и чистую,
Огонь поет, огонь — краса, я весь в огне,
Так солнце тучу разрезает дымно-мглистую,
Наирский край, высокий край, весь виден мне.

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

⟨*XVIII век*⟩

МИР ТАКИ

642. ДВОЕСТРОЧИЕ

Мысль приникает до черных волос твоих, — на лице моем слезы тоски,
И дивлюся, но ночи мне грезятся, брызжет дождь, и горят светляки.

ШАХ СЕЛИМ

643. ДВОЕСТРОЧИЕ

Я хочу, чтобы розовый камень был могилы моей талисман,
Ибо каменно сердце у милой и пленительный облик — румян.

МИЙЯН ДЖАНГУ

644. ДВОЕСТРОЧИЕ

Если сердце болеет любовью, — чтобы жить, нужно нежить недуг.
Кто излечит его — тот преступник. Горе сердцу! Убьет его вдруг.

СОЗ

645. ГАЗЭЛА

К чему стонать, о сердце, с зари и до зари?
Довольно. Будет, сердце. Умолкни и замри.
К чему вздыхать, о сердце? Всю боль в себя вбери.
Она не слышит, сердце. Умолкни и замри.
Поверь. Поверь мне, сердце, и слез росу отри.
Искать не надо, сердце. Умолкни и замри.
С тобою плачут, сердце. Но не она, — смотри...
О, глупое ты сердце. Умолкни и замри.
И эти искры сердца, — хоть их не две, не три, —
Стихи напрасны, сердце. Умолкни и замри.

ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

646—655. *ПЯТИСТРОЧИЯ*

1

В дыханьи горном
На всех деревьях
Заржáвел лист.
Зовется Бурей
Дыханье гор.

Бунния Но Ясухидэ (VIII век).

2

Вся краска цветка,
Потускнев, побледнела,
Пока я глядела,
Как лик мой проходит
Меж ликов земных.

Оно Но Комачи (IX век).

3

Сердцу ль человека
После мглы разлуки
Вспомнить человека?
Но цветы всё те же, —
Дышат так, как прежде.

Цурайюки (IX век).

4

Как волны, что бьются
Под ветром о скалы,
Один
Я схвачен печалью,
В тоске.

Минамото Но Шигхеюки (X век)

5

Шум водопада
В далекой дали
Умолк давно.
Но светоч-имя,
Слежу, плывет.

Фудживара Киннто (XI век)

6

Пороги в пене,
Поток скалою
Разъединен.
Соединится —
Вот мысль моя.

Император Сутоку (XII век)

7

Хотя я только
Слуга смиренный,
Но я хочу,
Чтоб шла до неба
Моя дорога.

Цунэнага Асон (XIII век)

8

Оставить в мире
Хоть лист словесный.
Мой знак — чуть-чуть,
Как лист бамбука,
Глядящий в пруд.

Фудживара Нобуйоши (XIV век)

9

С одним и тем же, —
Я знаю, — сердцем
Сосна веков
И цвет минутный —
Вьюнок, лик утра.

Муро Киусо (XVII век)

10

Разлука с жизнью.
Немножко дыма
От фимиама.
Немножко пепла.
Земля, прощай.

Джипенниша Икку (XVIII—XIX век)

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

656. ЗЕРКАЛО

Народная песня

Я коня вороного тебе оседлала,
Отточила твой нож, заострила копье.
Если нужно — так в путь, встреть змеиное жало,
Но в бою не забудь ту, чье сердце — твое.

Как в том зеркальце малом, в том зеркальце чудном,
Что мне с ярмарки раз ты из Кяхты привез,
Обещай мне, что буду в пути многотрудном
Отражаться в душе твоей, в зеркале грез.

Прежде чем ты уедешь, мне дай обещанье
Каждый вечер смотреть, в третий час, на луну, —
В этот час, как ее так зеркально сиянье,
Ты гляди в серебро, ты гляди в глубину.

Прежде чем ты уедешь, тебе обещанье
Также дам, что смотреть, в третий час, на луну
Каждый вечер я буду, завидев сиянье,
В тот серебряный круг, в ту ее глубину.

Каждый вечер твои буду чувствовать очи,
Каждый вечер глаза будешь чуять мои,
И взаправду луна, в приближении ночи,
Будет зеркалом нам — в серебре, в забытьи.

Каждый вечер увижу коня вороного,
И тебя в том краю, где играет война,
Каждый вечер увидишь ты снова и снова,
Как тебя я люблю, как тебе я верна.

657. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Нам начать не благо ль, братья, песню старыми словами,
Песнь, как полк в поход повел он, славный
Игорь Святославич?
По былинам лет тех бывших, не по замыслу Баяна,
Эту песнь зачнем мы, братья. Он, Баян, певец тот вещий,
Коль кому восхочет песни, белкой он течет по древу,
По земле он серым волком и орлом под облак сизым.
Вспомнит быль времен тех первых, об усобицах сказанья,
Соколо́в пускает десять к лебединой стае белой,
Чуть домчится первый сокол, лебедь первая закличет, —
И певучим словом песни Ярослав проходит старый.
И в певучем слове песни восстает Мстислав тот храбрый,
Он, зарезавший Редедю пред косожскими полками,
И Роман тот Святославич, в песне он красиволикий.
А Баян пускал не десять соколо́в проворных, братья,
К лебединой стае белой не летел поспешный сокол,
Нет, он вещие на струны возлагал персты, и звонко
Князю, избранному песней, струны славу рокотали.
Так начнем же, братья, повесть, от Владимира начало
И до Игоря, что ныне ум напряг свой, ум-твердыню,
Заострил свое он сердце, ратным мужеством наполнив,
И привел свои полки он до земли до Половецкой,
Да отмстит, и мщеньем правым, он за Русскую за землю.
Тут взглянул на солнце Игорь, солнце светлое на небе,
Видит он — от солнца черной тьмою воинство покрыто.
И сказал к своей дружине Игорь: «Братья и дружина,
Лучше быть мечом сраженным, чем в бою быть
полоненным.
На коней на борзых сядем, Дона синего посмотрим!»
Стали хотью мысли князя против злого предвещанья,
У великого он Дона захотел изведать счастья.

«Преломить хочу, — сказал он, — с вами, русские,
копье я,
Там, на поле Половецком, может, голову сложу я,
Или — любо будет шлемом мне воды испить из Дона!»
Соловей времен давнишних, о Баян! Тебе бы надо
Песню спеть о том походе, разливаться звонкой трелью,
Соловьем бы проскакал ты вдоль по мысленному древу,
Возлетя умом под облак, ты хвалой звенел бы в песне,
Славу прошлого свивая с этой славой дней текущих,
И полями, и горами по тропе Трояна мчался б.
Песню Игорю пропел бы, внуку Ольгову, ты складно:
«То не буря, мол, чрез поле соколóв несет проворных,
То не галки стаей мчатся посмотреть на Дон великий», —
Ой, Баян, ой, внук Велесов, это всё ты нам пропел бы.
«Ржут, мол, кони за Сулою, слава в Киеве как звоны,
Трубы трубят в Новеграде, стяги вьются
над Путивлем», —
Брата Всеволода Игорь, мила брата ожидает.
Молвит Всеволод до брата, говорит Буй-Тур могучий:
«Свет один ты, светлый Игорь, Святославичи мы оба,
Брат один ты, светлый Игорь, так седлай коней ты
борзых,
А мои готовы кони, уж оседланы у Курска,
А мои куряне знают, как быть витязями в битве,
Все под трубами повиты, всяк взлелеян под шеломом
И концом копья воскормлен, свистом ветра был баюкан,
Все им ведомы дороги, все им знаемы яруги,
Уж натянуты их луки, много стрел, колчан отвóрен,
Уж наточены их сабли, сами скачут серым волком,
Ищут чести в поле бранном для себя, а князю — славы!»
Князь вступил в златое стремя, едет Игорь чистым
полем,
Солнце путь заткало тьмою, ночь ему грозою стонет,
Будит ветер птиц кричащих, свист зверин в норах
звериных,
Кличет див в верхушке древа, чтоб его был слышен
голос
По незнаемому краю, и по Волге, и по взморью,
По Суле, и по Суражу, и в далеком том Корсуне,
И тебе бы клич был слышен, истукан Тьмутороканский.
А уж половцы до Дона до великого помчались,

По дорогам неготовым бег бежит, кричат телеги,
Словно лебеди, скликаясь, в полночь кличут долгим
кликом.
Игорь к Дону рать уводит. О беде уж знают птицы,
По оврагам волки воют, и орлы к зверям клекочут,
Зов на труп, лисицы лают, ряд узрев щитов червленых.
Русь, о Русь! Уж ты далёко за грядой холмов сокрылась.
Меркнет ночь, заря запала, сумрак-мгла поля покрыла,
Дремлет посвист соловьиный, говор галичий забредил.
Русь червлеными щитами поле-даль прегородила,
Ищет чести в поле бранном для себя, а князю — славы.

Рано в пятницу разбили силу полчищ половецких
И, рассыпавшись стрелами вдоль по бранному простору,
Вот в полон они помчали красных девок половецких,
С ними золото и ткани, дорогие аксамиты,
Епанчами и плащами мост мостили по болотам
И стелили грязь и топи узорочьем половецким.
Стяг червлен с хоругвью белой, и червленой краски
чёлку,
И серебряное древко взял хоробрый Святославич.
Дремлет в поле стая храбрых, Ольгов выводок далече,
Не к обиде порожденный, — что́ тут сокол, что́ тут
кречет,
Что́ тебе тут, черный ворон, ты, поганый половчанин!
Гзак несется серым волком, след Кончак направил
к Дону.

День другой, и раным-рано свет кровавых зорь поведан,
Тучи черные от моря мнят прикрыть четыре солнца,
В них дрожанье синих молний — будет гром, и гром
великий,
С Дону дождь пойдет стрелами, дождь готовит Дон
великий.
Тут-то копьям приломаться, тут-то саблям притупиться
По шеломам половецким, на реке на той Каяле,
Что при Доне при великом. Русь, о Русь! Уж ты далёко,
За грядой холмов сокрылась. Вот Стрибожьи внуки,
ветры,
Веют с моря, мечут стрелы на полки, где храбрый
Игорь.

Земь гремит, и реки мутны, пыль поля запорошила,
Шум знамен: идет от Дона и от моря ворог сильный,
Половецкие дружины. Обступили силу русских.
Дети бесовы пресекли поле битвы зычным кликом,
И червлеными щитами Русь поля прегородила.
Тур, о Всеволод, о ярый, ты стоишь на поле брани,
Мечешь стрелы и о шлемы бьешь булатными мечами.
Где ни скочит Тур могучий, где шелом златой
ни вспыхнет,
Там и головы увидишь половецкие на поле,
И оварские шеломы рассекает он булатом.
Он какою будет раной дорожиться в битве, братья,
Позабывши жизнь и почесть, свой забывши град
Чернигов,
Золотой престол отцовский, свычай-хоть супруги милой?
Были древле дни Трояна, было время Ярослава,
Миновала брань Олега, что мечом ковал крамолу,
Тот Олег, тот Святославич, по земле он стрелы сеял.
Он ступает в злато стремя в городе Тьмуторокани,
Ярослав великий слышал звон стремян его, — Владимир
Чуть в Чернигове услышит, каждым утром слух замкнет
он,
А Борис-то Вячеславич приведен хвальбой был к смерти
За обиду молодого князя храброго Олега,
На зеленую положен был на конскую попону.
Ярополк от той Каялы тело вез отца родного,
Меж угорских иноходцев, ко Святой Софии, в Киев.
Как Олег был Гориславич, был посев междоусобий,
Внук Даждьбожий был в ущербе, век же в княжиих
крамолах
Сокращался человекам. По земле тогда по Русской
Голос пахаря был редок, часто каркал черный ворон,
Ворон с вороном делили труп убитого, и галки
На кормежку сокликались, говоря своею речью.
Так бывало в прежних бранях, в тех полках
и в тех походах,
Но такого не бывало и не слышано сраженья,
Чтоб до вечера от рани, чтобы с вечера до света
Били тучи стрел каленых и гремели сабли в шлемы,
Был бы треск булатных копий на незнаемом том поле,
На незнаемом том поле, средь земли той Половецкой.

Под копытами прибитой, там костьми земле посев был,
И она полита кровью, и взошел посев печалью,
Ах, тугой — тоской-бедою на земле взошел он Русской!

Что́ шумит там, что́ звенит там раным-рано, пред зарею?
Повернул дружины Игорь, брата милого жалеет.
Бьются Всеволод и Игорь. Бились день, другой день
бились,
А на третий день, к полудню, пали Игоревы стяги.
Тут-то братья разлучились на брегу Каялы быстрой,
Тут кровавого вина им, — было много, — недостало,
Пир докончен храбрых руссов, сватов крепко попоили,
Сами пили — недопили и за Русскую за землю
Полегли. Трава поникла, их жалея, а деревья
До земли с тоской склонились. Час уж, братья,
невеселый.
Силу русскую прикрыла неприязная пустыня,
И обида встала девой — там, над внуками Даждьбога,
Восплескала в край Трояна лебедиными крылами,
Плеск ее на синем море, — трудный час всплескал
у Дона.
Уж князья не на поганых мчат усобицу, — брат брату
Говорит: «Мое и это, да и то». На малость — малость,
Словно молвят о великом, и себе куют крамолу,
Нечестивые тем часом в Русь приходят отовсюду,
Землю Русскую терзая. Далеко заходит сокол,
К морю, птиц бия, далече. Войско Игоря не встанет.
Жля и Карна, кликнув алчно, по земле несутся
Русской,
Мечут меч и мычут пламя, жены русские рыдают:
«Уж ни мыслию не мыслить милых лад своих нам больше,
И ни думою не сдумать, ни очами поглядеть их,
А уж злата, серебра ли, — было, — больше не увидим!»
Восстонал тоскою Киев и напастями Чернигов,
Разлилась тоска-истома всею Русскою землею,
Как во рту горячем жажда, скорбь горит землею
Русской.
На себя князья ковали — наковали ту крамолу,
Допустили нечестивых, — по земле и рыщут Русской,
От двора беря по белке. Святославича два храбрых,

Игорь с Всеволодом, снова ту неправду пробудили,
Что заснуть сумел заставить Святослав, отец их
грозный,
Князь тот киевский великий. Был грозой он непокорным,
Сильным воинством гремел он и булатными мечами,
Притоптал стопой тяжелой Половецкую он землю,
На холмы он наступивши, утоптал везде яруги,
Возмутил озера, реки, иссушил потоки, топи,
А поганого Кобяка из излучины приморской,
Из железных половецких он полков, как вихрь,
исторгнул,
В Киеве Кобяк низринут, в гриднице он Святослава.
Немцы там и венедийцы, греки там и там морава
Славят песней Святослава, князя Игоря же — кают,
Упрекают, что на дно он той Каялы половецкой
Рушил воинскую силу, злата русского насыпал.
Пременил в ту пору Игорь-князь седло свое златое
На Кощеево. Уныли в час тот стены городские,
И веселие поникло.

Святославу же приснился
Мутный сон. «Мне снился Киев на горах, — к боярам
рек он. —
С вечера в ту ночь меня вы кутали покровом черным,
А кровать была из тиса. Зачерпнувши, подавали
Синь-вина мне, вместе с ядом, и на лоно высыпали
Из пустых колчанов вражьих, улещая, крупный жемчуг.
Вижу в тереме, — так снилось, — в златоверхом все уж
доски
Без конька, без скрепы терем самой верхней, и до света
Будто вóроны, закаркав и у Плесенска, близь вала,
Сев на выгон, ночь сидели, не летели к синю морю».
Говорят бояре князю: «Ум тоска заполонила, —
Вот два сокола слетели с златоотчего престола
Поискать Тьмуторокани, зачерпнуть шеломом Дона.
Соколам пообрубили крылья сабли нечестивых,
А самих их захватили, — соколá в железных путах».
Тьмою третий день был схвачен, два померкли в свете
солнца,
Два столпа багряных темны, и Олег со Святославом,
Месяц с месяцем младые, черной тьмой заволоклися.

На реке Каяле быстрой тьма покрыла свет горючий,
Русью половцы, как барсы, скачут, логовище бросив,
Сила русская потопла, Хан не спит, взбодренный
буйством.
Где хвала, хула там стала, и неволит сила волю.
Вражий див слетел на землю. Девы готские запели,
Сев на бреге синя моря и позванивая златом,
Русским златом, песнь запели, восхваляя время Буса,
Месть лелея Шароканя. Нам, дружине, нет веселья.

Святослав Великий, в скорби, изронил златое слово:
«Игорь, Всеволод, родные, рано вздумали мечом вы
Половецкую сечь землю, ладить поиски за славой.
Вы бесславным одоленьем завлеклись неправосудно,
Кровь излили нечестивых. Ваши храбрые сердца вы
Сплошь булатом оковали, в яром буйстве закалили.
Вы того ли возжелали седине моей сребристой?
Уж не вижу власти сильной, власти брата Ярослава,
Что богат был, многовоен, с ним в Чернигове бояре,
С ним Могуты и Татраны, с ним Шельбиры и Топчаки,
С ним Ревуги и Ольберы. Без щитов, — кинжалы
в руки, —
Кликом воинства сражают, славой прадедов ударив.
Вы же: «Будущая слава — наша, прошлую поделим».
Разве диво, братья, стару молодеть? Перелинявши,
Сокол птиц взобьет высоко, а гнезда не даст в обиду.
То беда, что не пособье мне князья, — другое время.
Уж под саблей половецкой стонут Ромны, а Владимир
Весь изранен, сыну Глеба — только горе и печали.

Князь ты Всеволод великий, прилетел бы издалёка,
Порадел бы о защите златоотчего престола.
Ты веслом разбрызжешь Волгу, Дон шеломами ты
выльешь,
Будь ты здесь — и дёшев пленник, а рабыня и дешевле.
Чрез сынов удалых Глеба стрелы птицами ты мечешь.
Ты, буй Рюрик, ты, Давыд наш, где златые шлемы
ваши?
Не поплыли в лужах крови? И не ваша ли дружина,
Словно туры, заметались под булатом под каленым?

Вы вступите, господари, в стремена свои златые,
Чтоб отмстить за час тяжелый, на земле наставший
Русской,
Чтоб за Игоря вступиться, Святославича оправить.
К Осмомыслу Ярославу клич несем мы в самый Галич,
Ты сидишь там на высоком златокованом престоле,
Высь подпер ты гор Угорских всё железными полками,
Королю ты путь заставил, затворил в Дунай ворота,
Камни мечешь через тучи, суд ты рядишь до Дуная,
По земле течешь грозою, в Киев путь ты отворяешь,
С златоотчего престола шлешь удар султанам дальним.
Устреми же, господине, устреми удар в Кончака,
В нечестивого Кощея, — порадей же ты о Руси,
Чтоб от ран своих окрепнул буй наш
Игорь Святославич.
Буй Роман с Мстиславом храбрым, смелый ум ваш —
зов на подвиг,
Вы, как сокол, что ширяет по ветрам, плывете в выси,
Сокол птицу одолеет, в ветре быструю нагонит.
Ведь у вас железны латы и латинские шеломы.
Сотряслась земля под вами, слышат ханские владенья,
И Литва, Ятвяги, вместе с Деремелой, копья бросив,
Ниц склонились головами под булатными мечами.
Но для Игоря для князя солнца свет уж умалился,
Не к добру с деревьев листья обронились. И по Роси,
По Суле — в разделе грады. Войско Игоря не встанет.
Дон к тебе, о князь, взывает. Он князей зовет
к победе.
Князи Ольговичи храбры, — брань почуяв, поспешили.
Ингварь, Всеволод, все трое вы Мстиславичи лихие,
Шестикрылый рой, гнезда вы не худого, но, до власти
Устремясь, ее стяжали вы не жребием победным.
Где же шлемы золотые, копья с польскими щитами?
Стрелы остры, заградите вы ворота, и вступитесь
Вы за Русскую за землю, ранен Игорь Святославич.
Уж Сула струей сребристой не течет к Переяславлю,
И Двина течет болотом к полочанам, в кликах вражьих.
Изяслав лишь, сын Васильков, о литовские шеломы
Грянул острыми мечами, славу деда он Всеслава
Затемнил, а сам низлег он под червлеными щитами,
На траве окровавленной, взмах узнав мечей литовских.

И, на ту кровать прилегши, рек: «О князь, твою дружину
Птицы крыльями одели, кровь ее лизали звери».
Брячислав там брат с ним не был, не был Всеволод там
брат с ним,
И жемчужную ту душу из бестрепетного тела
Испустил один-один он чрез златое ожерелье.
Городенские унылым гласом трубы затрубили.
Ярослав и все Всеслава внуки, стяги преклоните,
Вы мечи вложите в ножны. Слава дедов позабыта.
Вы крамолами вманили в землю Русскую неверных,
Жизнь Всеслава омрачая. Распри кликнули насилье
От земли вам Половецкой. На седьмом Трояна веке
Князь Всеслав закинул жребий о девице, сердцу милой.
Он, клюками подпершися, на коней скочил и едет
К граду Киеву, коснулся дрéвком кóпьевым престола,
Лютым зверем побежал он прочь, на полночь
из Белграда,
Приукрылся синей мглою и орудьем стенобитным
Новгородские ворота отворил, разбил он славу
Ярослава и с Дудуток до Немиги прыгнул волком.
А снопы-то на Немиге из голов там устилают,
В молотьбе молотят крепко там булатными цепами,
Жизнь кладут на ток и веют душу вольную от тела.
На брегах окровавленных, на Немигских, сея, сеют,
Да не жито, да не травы — сеют густо кости русских.
Князь Всеслав — людей судил он, города князьям
рядил он,
Сам же в ночь он рыскал волком, волк от Киева
несется,
До утра — в Тьмуторокани, Солнце-Хорса перерыщет.
До заутрени звонили для него в Святой Софии,
В граде Полоцке, а звоны в стольном Киеве он слышал.
Хоть и вещею душою он владел в несмирном теле,
Но от бед страдал он часто. Для таких Баян-провидец
Спел мудреную припевку: «Будь ты хитрым, будь
гораздым,
Будь ты птицею гораздой, не уйдешь суда господня».
О, земле восплакать Русской, первовременье воспомнив
И князей припомня первых! Мог ли быть Владимир
старый
Пригвожден к горам, где Киев? Ныне Рюрику достались

Эти стяги и Давыду, но хоть машут бунчуками,
А хвосты их вьются порознь, каждый в сторону иную».

Свист ли копий или песня? Что за песня над Дунаем?
Ярославнин слышен голос. Как безвестная кукушка,
Кличет рано: «Полечу, мол, я кукушкой по Дунаю,
Омочу рукав бобровый я в реке Каяле быстрой,
Раны я утру на князе, кровь утру на теле сильном».
Рано плачет Ярославна на стене градской в Путивле,
Кличет к ветру: «Ветр, ветрило, ты к чему насильно веешь?
Ты зачем, о господине, на своих нетрудных крыльях
Стрелы ханские бросаешь на бойцов, где он, мой Ладо?
Мало ль было в высях веять и летать под облаками,
Прилетев, качать-лелеять корабли на синем море?
Ты зачем мое веселье ковылями всё развеял?»
Рано плачет Ярославна на стене градской в Путивле:
«Славный Днепр, пробил ты горы сквозь земли той Половецкой,
Святославовы суда ты, в стан Кобяков мча, лелеял,
Возлелей, о господине, моего примчи ты Лада,
Чтобы утром я не слала слез к нему на море рано».
Рано плачет Ярославна на стене градской в Путивле:
«Солнце светлое, свет-солнце, ты для всех тепло и крáсно,
Для чего же, господине, ты стремишь свой луч горячий
На войска, где он, мой Ладо? Для чего в безводном поле
Ты тоской им сушишь луки и колчаны затворяешь?»

Взволновалось сине море в час полуночи глубокой,
Встали мороки и мглятся, князю Игорю дорогу
Кажет бог к отчизне Русской из земли той Половецкой,
К златоотчему престолу. Свет погас зари вечерней.
Игорь спит. А Игорь спит ли? Игорь мыслью поле мерит
От великого ли Дона до Донца, что мал в теченьи.
В полночь конь. Овлур надежный, — слышно, — свистнул за рекою,
Разумей, мол, князь. Князь Игорь тут не тут и тут не будет.

Кликнул, стукнул земь в пробеге. Зашумели, шепчут травы.
Половецкие заставы! Зыбь в них. Бег свой мчит князь Игорь.
К тростнику он горностаем, белым гоголем на воду.
На коня вскочил, — конь борзый, — и с коня босым он волком,
И к Донецкому он лугу побежал, — под облаками
Реет соколом, — на завтрак, и к обеду, и на ужин
Бьет гусей и лебедей он. Если Игорь — сокол в лёте,
Влур, Овлур — течет он волком и росу с себя стряхает,
Ибо в беге надорвались жарки борзые их кони.
Говорит Донец: «Князь Игорь, для тебя немало славы,
Для Кончака — злой досады и веселья — русским людям».
— «О Донец, — ответил Игорь, — и тебе немало славы,
Что волной лелеял князя, что зеленую траву ты
Стлал ему постелью мягкой на серебряном на бреге,
Кутал мглой своею теплой, осенял зеленым древом,
На воде нырком лелеял, на струях стерег ты чайкой,
На ветрах качал летящей быстро чернетью проворной.
Не такая, — он промолвил, — та река худая, Стугна,
Ток чужой она глотает, в берег кинет струг, разломит,
Юну князю Ростиславу Днепр закрыла-затворила,
Плачет мать по юном князе Ростиславе и тоскует.
Восскорбев, цветы увяли, и к земле склонилось древо».

Чу, стрекочут не сороки, а по Игореву следу
Гзак с Кончаком слéда ищут. Тут не каркали ворóны,
Тут и галки приумолкли, и сороки без трещанья
Только ползали по сучьям, дятлы путь к реке казали,
Соловьи веселой песней свет поведали, распели.
Говорит Кончак ко Гзаку: «Если сокол улетает,
Мы застрелим соколенка золочеными стрелами».
Говорит Кончак ко Гзаку: «Если сокол улетает,
Мы увяжем соколенка, взявши красною девицей».
Говорит тут Гзак к Кончаку: «Если красною девицей
Нам опутать соколенка, нам не будет соколенка,
И ни красной нам девицы, и не будет нам девицы,
И начнут терзать нас птицы в чистом поле Половецком».
Рек Баян — и о походах, в оно время им пропетых,
Святослава, Ярослава и Олега вспоминая,

Молвил: «Тяжко с головою, но без плеч, и худо телу,
С головою разлучившись». И без Игоря не благо
Русской быть земле. На небе светит солнце золотое.
Игорь-князь — в земле он Русской! И девицы на Дунае
Песнь поют. Их голос слышен вплоть до Киева чрез море.
По Бори́чеву он едет, Игорь-князь, чтоб помолиться
Богородице Пресветлой Пирогощей. Люди рады.
В городах идет веселье. Песнь князьям пропета старым,
Молодым за ними также. Слава, Игорь Святославич,
Слава, Всеволод, буй тур он, и сын Игоря, Владимир!
Здравье, князи и дружина, на неверные полки вы,
Христианам на защиту, ратоборствуете. Слава!

ПРИМЕЧАНИЯ

Выбрать лучшие стихи К. Д. Бальмонта из великого множества их, написанных поэтом за долгие годы его творческой работы, — задача не простая. В первую очередь составитель руководствовался, конечно, критерием художественного совершенства, но вместе с тем хотел показать лирику Бальмонта как характерное явление времени и стиля, по-своему ярко воплотившее определенный тип художественного сознания и черты определенной поэтической манеры. Иными словами, данная книга должна продемонстрировать лирику Бальмонта как страницу из истории русской поэзии, — что и составляет главную задачу изданий Большой серии «Библиотеки поэта». При всем том в книгу вошла в количественном отношении незначительная часть (примерно одна десятая) громадного стихотворного наследия К. Д. Бальмонта (многие стихи, опубликованные Бальмонтом в периодической печати, в его сборниках не перепечатаны). Целые обширные томы представлены здесь несколькими стихотворениями, а в иных случаях — даже одним.

При отборе материала были учтены соображения, высказанные таким строгим ценителем и судьей поэзии, каким был Александр Блок. В 1920 г. издательство З. И. Гржебина предложило К. Д. Бальмонту составить книгу избранных стихотворений. Поэт решил переиздать (с небольшими дополнениями) свой старый «изборник» («Звенья»), вышедший в свет в 1913 г. Посылая в издательство экземпляр «Звеньев», подготовленный для набора, он писал 29 апреля 1920 г.: «Редакционному комитету я предоставляю право вносить изменения в выборе (в смысле добавлений или выпущений отдельных стихотворений)» (ИРЛИ). Состав книги не удовлетворил издательство, и 4 мая 1920 г. А. М. Горький, возглавлявший «редакционный комитет», предложил А. А. Блоку заново составить сборник и написать к нему вступительную статью. Блок принял предложение, приступил к работе, «думал о статье» (Александр Блок, Записные книжки 1901—1920, М., 1965, сс. 492—494, — записи от 4 и 20 мая и от 7 июня). Однако Блок успел лишь пересмотреть состав книги — в пределах ранних сборников Бальмонта (до «Литургии красоты» включительно). В бумагах Блока сохранилось содержание «изборника» с его пометой: «Выбор Бальмонта, «прибавления» — мои». В конце — другая его же помета: «. . .Гржебину и Горькому кажется этого мало». К. Д. Бальмонт, можно сказать, начисто был лишен

чувства вкуса в оценке собственных своих стихотворений. Отбирая их для «изборника», он непостижимым образом проходил мимо бесспорно лучших, в свое время создавших ему славу, и, как нарочно, останавливался на самых слабых. «Прибавления» А. А. Блока существенно меняли картину; в подавляющем большинстве случаев они совпали с критерием отбора, принятым при составлении настоящей книги.

К. Д. Бальмонт, как правило, не возвращался к тому, что было им написано и напечатано. Изменения, которые вносил он в текст своих книг, крайне редки (вернее сказать — единичны) и по существу незначительны. Этому Бальмонт находил своего рода теоретическое обоснование. Осуждая В. Брюсова за предпринятую им коренную переработку ранних его стихов, он писал: «Лирика по существу своему не терпит переделок и не допускает вариантов. Разночтения лирического чувства или же лирически выраженной мысли ищут и должны искать, у понимающего себя поэта, нового и нового выражения — в виде написания новых, родственных стихотворений, а никак не в кощунственном посягновении на раз пережитое, раз бывшее цельным и в секундности своей неумолимо-правдивым ушедшее мгновение» («Восковые фигурки». — «Утро России», 1913, 29 июня).

Вместе с тем, никогда ничего не меняя в стихах, К. Д. Бальмонт внимательно относился к структуре своих сборников, по свидетельству его жены (Е. А. Андреевой), «старательно и вдумчиво подбирал стихи по отделам» и проявлял чрезвычайную заботу насчет сохранности самого текста. Он педантически относился даже к мельчайшим вопросам эдиционной техники (этим полны, например, письма его в издательство «Скорпион», где печатались его книги), не переносил опечаток. В письме к Л. Н. Андрееву от 21 октября 1917 г., ссылаясь на погрешности, вкравшиеся в его стихи, помещенные в газете «Русская воля», Бальмонт восклицал: «Так нельзя. Для меня одна опечатка убивает стихотворение. Итак, предупреждаю: если будут опечатки, я сотрудничать в «Русской воле» не могу» (ИРЛИ).

В основу настоящего издания положены сборники К. Д. Бальмонта. Каждый сборник представлен избранными стихотворениями, но с соблюдением составляющих книгу разделов и циклов, равно как и последовательности самих стихотворений (исключение допущено для сборника «Хоровод времен», из которого взято одно стихотворение). Краткие характеристики сборников даны в начале примечаний к каждому из них. Пять ранних сборников («Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина», «Горящие здания», «Будем как солнце») печатаются по двухтомному Собранию стихов (1904—1905), поскольку в это издание Бальмонт все же внес, сравнительно с первыми изданиями сборников, некоторые изменения (сняты или, напротив, добавлены посвящения, кое-что, очень немногое, переправлено в самих стихах). В Собрании стихов окончательно установились состав и текст указанных выше пяти сборников. Лишь в трех случаях в текст внесены мелкие поправки, сделанные Бальмонтом впоследствии (они оговорены в примечаниях).

Все остальные сборники печатаются по первым (для поздних сборников — единственным) изданиям. Текст позднейших изданий Бальмонта — Полного собрания стихов, выходившего (в десяти томах) в 1908—1914 гг. и Собрания лирики, начавшего выходить

в 1917—1918 гг. (были выпущены книги 1, 2, 4, 5 и 6) засорен изрядным количеством опечаток (очевидно, Бальмонт не всегда имел возможность держать корректуру).

Избранные стихотворения из числа не вошедших в сборники печатаются по первым публикациям или (в отдельных случаях) по рукописным источникам.

Избранные переводные стихотворения печатаются также по первым публикациям, — в отдельных случаях с проверкой по книге: К. Д. Бальмонт, Из мировой поэзии, «Слово», Берлин, 1921. Имена иноязычных поэтов даны в современной русской транскрипции (у Бальмонта: Уильям Блэк, Бодлэр и т. п.).

Прописные буквы, которыми Бальмонт с чрезмерной щедростью уснащал свои стихи, начиная с Собрания стихов (1904—1905), сохранены лишь в тех случаях, когда для этого есть логические (при персонификации понятия) или стилистические основания. Пунктуация Бальмонта в необходимых случаях (интонационных) соблюдалась, вообще же — приведена в соответствие с принятыми ныне правилами.

В подавляющем большинстве стихи К. Д. Бальмонта не датированы, и установить время их написания чаще всего невозможно, поскольку творческий архив поэта до нас не дошел. В отдельных случаях удавалось установить дату косвенным путем. Даты, заключенные в угловые скобки, означают время, позже которого данное стихотворение не могло быть написано (как правило, это даты первых публикаций). Библиографическая аппаратура ограничивается указанием на первую публикацию стихотворения. Для данной книги были предприняты обширные библиографические разыскания. Просмотр журнальной и частично газетной периодики 1890—1910-х годов дал ощутимые результаты, но Бальмонт печатался во множестве периодических изданий, не только столичных, но и провинциальных, так что на полноту добытых сведений о первоначальных публикациях рассчитывать, конечно, не приходится.

Указания на музыкальные переложения стихов К. Д. Бальмонта (весьма многочисленные) ограничиваются ссылками на сочинения лишь крупных, широко известных композиторов. Более полные сведения можно найти в справочниках: Игорь Глебов, Русская поэзия в русской музыке, изд. 2, П., 1922 и «Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года)», вып. 1, М., 1966.

За помощь в работе благодарю дочь поэта Нину Константиновну Бальмонт-Бруни, племянницу поэта Веру Дмитриевну Бальмонт, а также сестер В. В. и И. В. Исакович, Н. П. Снеткову, С. К. Чукалова (София), Г. Г. Шмакова и работников журнального отделения фундаментальной Библиотеки Академии наук СССР Л. А. Иванову и Л. Н. Кузину.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

ВЕ — «Вестник Европы».
«Горные вершины» — К. Д. Бальмонт, Горные вершины. Сборник статей. Книга первая, К-во «Гриф», М., 1904.
ГПБ — Рукописное отделение Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
«Гриф» (1903) — «Альманах книгоиздательства Гриф», М., 1903 (цензурное разрешение — 27 марта 1903 г.).
«Гриф» (1904) — «Альманах Гриф», М., 1904 (цензурное разрешение — 31 января 1904 г.).
«Гриф» (1905) — «Альманах к-ва Гриф», М., 1905 (цензурное разрешение — 21 января 1905 г.).
ЕС — «Ежемесячные сочинения».
ЖДВ — «Журнал для всех».
ЗР — «Золотое руно».
ИРЛИ — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР.
КЗ — «Красное знамя» (Париж, 1906; Петроград, 1917).
КН — «Книжки Недели».
КР — «Книга раздумий. 1. К. Д. Бальмонт. 2. Валерий Брюсов. 3. Модест Дурнов. 4. Ив. Коневской». СПб., 1899 (цензурное разрешение 26 марта 1899 г.; книга вышла в свет в конце ноября 1899 г.)
ЛА — «Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения», 5, Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), М.—Л., 1960.
ЛБ — Рукописное отделение Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.
ЛПН — Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива».
МБ — «Мир божий».
МИ — «Мир искусства».
НЖ — «Новая жизнь».
НП — «Новый путь».
«Письма Брюсова» — «Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову 1894—1896 гг. (К истории раннего символизма)», Государственная академия художественных наук, М., 1927.

РБ — «Русское богатство».
РВ — «Русские ведомости».
РМ — «Русская мысль».
РО — «Русское обозрение».
РС — «Русское слово».
СВ — «Северный вестник».
СЗ — «Современные записки» (Париж).
СМ — «Современный мир».
СП — К. Д. Бальмонт, Солнечная пряжа. Изборник 1890—1918, «Пушкинская библиотека», Изд-во М. и С. Сабашниковых, М., 1921.
СЦ (1901) — «Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством „Скорпион"», М., 1901.
СЦ (1902) — «Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством „Скорпион"», М., 1902.
СЦ (1903) — «Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства „Скорпион"», М., MCMIII.
ТО — неизданный сборник стихов К. Д. Бальмонта «Тропинкой огня» (стихи 1916—1918 гг.), подготовленный к печати осенью 1919 г. Сборник состоял из пяти разделов: «Лестница сна», «Над влагой», «Лишь с ней», «Солнечная пряжа» и «Серебряные реки» (всего 254 стихотворения). Неполная авторизованная рукопись сборника (машинопись) находится в ЦГАЛИ.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ

«Сборник стихотворений» — первая книга К. Д. Бальмонта (издание автора). Она вышла в Ярославле в 1890 г. (цензурное разрешение было выдано в Москве 21 ноября 1889 г.), с посвящением Л. М. Б. (то есть Ларисе Михайловне Бальмонт, урожденной Гарелиной, первой жене поэта). В книге было помещено 21 оригинальное стихотворение; основную часть ее составляли переводы из А. Сюлли-Прюдома, А. де Мюссе, Ж. Лягора, Г. Гейне и Н. Ленау. В дальнейшем из этого сборника Бальмонт перепечатывал лишь одно стих-ие «Струя» («Только любовь», М., 1903, с. 181, — в составе стих. «Колодец»; «Звенья». Избранные стихи, М., 1913, с. 3; «Солнечная пряжа». Изборник, М., 1921, с. 86).

ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ

Сборник (издание автора), разрешенный цензурой 31 января 1894 г., вышел в свет в Петербурге между 16 и 23 февраля 1894 г. В книгу вошло 58 стихотворений. Издание 2-е — Собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1905; издание 3-е — Полное собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1909; издание 4-е — Полное собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1914; издание 5-е — Собрание лирики, кн. 1, изд. В. Пашуканиса, М., 1917.

К с. 78. Ленау Николаус (1802—1850) — австрийский поэт-романтик. Бальмонт переводил его стихи («Сборник стихотворений», 1890; «Из чужеземных поэтов», ⟨1908⟩; «Из мировой поэзии», 1921).

2. СВ, 1893, № 10, с. 270. В ст. 22-й внесено исправление, сделанное Бальмонтом в 1917 г. при подготовке 1-й книги Собрания лирики; раньше было: «. . .вещих сказочных дерёв».

5. *Нить Ариадны.* По греческой мифологии, дочь критского царя Ариадна, обреченная в жертву чудовищу Минотавру, обитавшему в Лабиринте, откуда смертному не было выхода, передала своему возлюбленному Тезею клубок ниток, благодаря которому он, убив Минотавра, сумел выбраться из Лабиринта. В широком смысле: путеводная нить.

6. Дата — по содержанию («Пять быстрых лет пройдет — мне минет тридцать лет»).

7. «Путь-дорóга». Научно-литературный сборник, СПб., 1893, с 71.

8. РМ, 1894, № 2, с. 93.

10. «Помощь голодающим». Научно-литературный сборник, М., 1892, с. 499 (без загл.).

13. РМ, 1894, № 2, с. 93 (под загл.: «У норвежского фьорда»).

15. РВ, 1894, 13 января (в прозаическом этюде Бальмонта «Тени» — I. «Прощальный взгляд»). Положено на музыку М. Ф. Гнесиным и В. В. Щербачевым.

16. *Андреева* Екатерина Алексеевна (1867—1950) — вторая жена Бальмонта (с 1896 г.), переводчица, автор неопубликованных воспоминаний о Бальмонте.

18. МБ, 1894, № 1, с. 31, с примеч.: «Было прочитано автором 31 октября 1893 года в Москве, в заседании Общества любителей российской словесности, посвященном памяти И. С. Тургенева». Незадолго до того, 20 октября 1893 г., Бальмонт был избран членом Общества. *Клятва Ганнибала.* По свидетельству древних историков, карфагенский полководец Ганнибал (247 — 183 до н. э.) в детстве дал отцу клятву всю жизнь оставаться непримиримым врагом Рима — и сдержал ее. И. С. Тургенев во вступлении к «Литературным и житейским воспоминаниям», говоря о крепостном праве, сказал: «Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца — с чем поклялся никогда не примириться... Это была моя Аннибаловская клятва» (И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. 10, М., 1956, с. 261). В десятой строфе стих-ия перечислены героини романов и повестей И. С. Тургенева. В 1918 г. Бальмонт посвятил И. С. Тургеневу еще одно стих-ие (№ 533 наст. издания).

20. *Урусов* кн. Александр Иванович (1843—1900) — знаменитый московский адвокат, знаток и любитель литературы и театра, критик, страстный поклонник и исследователь творчества Флобера и Бодлера. Познакомившись с Бальмонтом в 1892 г., оказал ему существенную поддержку, в 1895 г. издал на свои средства две книги его переводов из Эдгара По («Баллады и фантазии» и «Таинственные рассказы»), переводил стихи Бальмонта на французский язык. В 1900 г. горячо заступился за Бальмонта, когда некая г-жа А. Тэзи безосновательно охарактеризовала наброски его поэмы «Дон-Жуан» (№№ 94—98 наст. издания) как плагиат «Дон-Жуана» Н. Ленау («Новости дня», 1900, 6 июня; резкий ответ Урусова — там же, 13 июня). В мемуарном очерке «Князь А. И. Урусов (Страница любви и памяти)», прочитанном в Обществе любителей российской словесности 9 марта 1903 г., Бальмонт сказал о нем: «Он не писал стихов, но сам был живой поэмой... Он не был писателем, если не считать немногих его статей, совершенно не дающих представления

об очаровании его личности, но он страстно любил литературное слово... Я много раз встречался с ним в течение восьми лет нашего знакомства и нашей дружбы... За эти встречи моя душа будет вечно благодарна Александру Ивановичу Урусову... Урусов первый подчеркнул мне самому то, что жило во мне, но чего я еще не понимал ясно: любовь к поэзии созвучий, преклонение перед звуковой музыкальностью, которая влекла меня и которой я в то же время боялся отдаться, под давлением известных литературных предрассудков... Урусов помог моей душе освободиться, помог мне найти самого себя» («Горные вершины», сс. 103—105). Семнадцать писем Бальмонта к А. И. Урусову (1893—1900 гг.) хранятся в ЦГАЛИ. Одиннадцать писем А. И. Урусова к Бальмонту (1889—1900 гг.) опубликованы в кн.: «А. И. Урусов, Статьи его о театре, о литературе и об искусстве. Письма его. Воспоминания о нем», т. 2/3, М., 1907, сс. 316—328. Там же (сс. 295—296) — посвященное памяти А. И. Урусова стих. Бальмонта «Радостный завет». В письме от 27 декабря 1896 г. А. И. Урусов заверял Бальмонта: «Я... ценил в Вас продуктивную творческую натуру и всегда считал Вас одним из рыцарей духа, трудом которых созидается высшая культура страны» (сс. 317—318). Урусов восторженно отзывался о ранней лирике Бальмонта, но уже «декадентский» сборник «Горящие здания» встретил у него суровое осуждение: «Mania grandiosa, кровожадные гримасы... Искусство оттенков заменило какое-то гоготание» (письмо к А. А. Андреевой от 4 июня 1900 г. — там же, с. 384).

В БЕЗБРЕЖНОСТИ

Сборник (издание автора), разрешенный цензурой 15 декабря 1895 г., вышел в свет в Москве около 25 декабря 1895 г. (см. «Письма Брюсова», сс. 58—59). В книгу вошло 108 стихотворений. У Бальмонта было еще несколько вариантов заглавия сборника: «Уходящие тени», «Между ночью и днем», «За пределы предельного» (см. «Письма Брюсова», с. 48). Издание 2-е — М., 1896 (вышло в феврале); издание 3-е — Собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1905; издание 4-е — Полное собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1909; издание 5-е — Полное собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1914; издание 6-е — Собрание лирики, кн. 2, М., 1917 (здесь появился подзаголовок: «Голоса природы»). Эпиграф — слова старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы».

26. РМ, 1894, № 8, с. 196.

27. РМ, 1895, № 7, с. 144. Положено на музыку М. А. Кузминым (ГПБ).

28. КН, 1895, № 4, с. 108. Положено на музыку Р. М. Глиэром, М. Ф. Гнесиным, Н. Я. Мясковским и В. В. Щербачевым.

29. Дата — по автографу, посланному Бальмонтом А. К. Трутовскому 17 июля 1895 г. (ИРЛИ).

30. ВЕ, 1895, № 5, с. 236. В журнале и в первом издании сборника посвящено поэту В. А. Шуфу (1865 — ок. 1914). Дата — по ру-

кописи в архиве Г. Г. Бахмана (ИРЛИ). В. Брюсов назвал это стих-ие «шедевром» («Письма Брюсова», с. 35).

31. *Варженевская* Елизавета Александровна — поэтесса, подражательница Бальмонта, печатавшаяся в периодике 1890-х годов, автор сб. «Стихотворения», М., 1901. Бальмонт посвятил ей еще одно стих. — «Зимний ландыш» («Север», 1898, № 47, с. 1475).

32. С Бальмонтом и другими поэтами декадентско-символистского круга Иван Алексеевич *Бунин* (1870—1953) познакомился в 1895 г. и на некоторое время с иными из них (с К. Бальмонтом, В. Брюсовым, Ю. Балтрушайтисом) даже сблизился (в 1900 г. в издательстве символистов «Скорпион» вышел сб. Бунина «Листопад»), но вскоре, в конце 1901 г., «разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор» (И. А. Бунин, Автобиографическая заметка. — Собрание сочинений, т. 9, М., 1967, сс. 262 и 264). Бунин, в свою очередь, посвятил Бальмонту два стих.: «Ни песен, ни солнца...» («Орловский вестник», 1895, 22 июля, — в книги Бунина не входило) и «Ночная вьюга» («Когда на темный город сходит...») («Мир божий», 1898, № 2; И. Бунин, Листопад, М., 1901, с 40, — в дальнейшем посвящение было снято). Стих. «Ковыль» положено на музыку Н. Я. Мясковским.

33. РО, 1895, № 5, с. 206 (без посвящения). Знакомство Бальмонта с Валерием Яковлевичем *Брюсовым* (1873—1924) состоялось 28 сентября 1894 г. (см.: В. Брюсов, Дневники 1891—1910, М., 1927, с. 19). Долголетние отношения их были сложными и неровными, Бальмонт справедливо охарактеризовал их как «нить дружбы-вражды». На первых порах В. Брюсов, по его признанию, испытал «огромное влияние» Бальмонта («через Бальмонта мне открылась тайна музыки стиха»), однако уже в конце 1897 г. он записывает в дневнике: «Что-то порвалось в нашей дружбе», а в 1901 г. сообщает З. Н. Гиппиус: «Я от него ⟨Бальмонта⟩ отказываюсь ныне навсегда». В дальнейшем неуклонно нарастает критическое отношение Брюсова к творчеству Бальмонта, сказавшееся в его многочисленных отзывах о книгах поэта, появлявшихся в журнале «Весы» (1904—1909). В январе 1905 г., в письме к П. П. Перцову, Брюсов как бы подвел итог, заявив, что Бальмонт «десять лет царил полновластно в нашей поэзии. Но теперь жезл выпал из его рук. Мы далеко ушли вперед, он остался на одном месте» (см. сводку данных в примечаниях М. И. Дикман в кн.: В. Брюсов, Стихотворения и поэмы, «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1961, сс. 742—743). При всем том Брюсов часто обращался к Бальмонту с комплиментарными стихотворными посланиями: «К портрету К. Д. Бальмонта» (1899), «К. Д. Бальмонту» (1902), «Ему же» (1903), «К. Д. Бальмонту» (1909). По этому поводу В. Ф. Ходасевич заметил: «Его ⟨Брюсова⟩ неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности: к самому Каину» (В. Ходасевич, Некрополь, Брюссель, 1939, с. 37). Бальмонт, в свою очередь, утверждал, что уже в 1900 г. Брюсов

«представлял для него мало интереса» (ЗР, 1908, № 6, с. 70), называл талант Брюсова «острым», но «узко-ограниченным» (ЗР, 1907, № 11/12, с. 62), в 1909 г. печатно отказался от участия в журнале Брюсова «Весы» («Письмо в редакцию». — «Речь», 1909, № 179), в 1913 г. открыто свел старые счеты с Брюсовым в ядовитых рецензиях на его книги («Восковые фигурки» и «Забывший себя». — «Утро России», 1913, 29 июня и 3 августа). Может быть, к Брюсову обращено стих. Бальмонта «Ему», написанное в ноябре 1912 г. (№ 523 наст. издания). В последний раз оба поэта обменялись стихотворными посланиями в 1919 г. («Москва», 1919, №№ 3 и 4). В 1921 г. Брюсов собирался рассмотреть все творчество Бальмонта в целом в статье «Что же такое Бальмонт?» (набросок статьи опубликован в «Ученых записках Ленинградского гос. педагогического института». Факультет языка и литературы, вып. 5, Л., 1949).

34. В первом издании сборника посвящено М. С. Россолимо (1860—1939), жене известного московского медика профессора Г. И. Россолимо (1860—1928). Положено на музыку С. И. Танеевым (кантата для четырех мужских голосов в сопровождении скрипки).

35. Дата — по письму Бальмонта к Л. М. Бальмонт от 12 сентября 1894 г. (ЦГАЛИ).

37. РО, 1894, № 12, с. 914 (без загл.).

39. РМ, 1896, № 1, с. 107.

40. *Сибилла* (сивилла) — гадалка-пророчица у греков, римлян и ранних христиан.

41. МБ, 1896, № 1, с. 169.

44. *Саламандра* — в средневековой магии дух, стихия огня (основано на древнем поверии, будто ящерица-саламандра не сгорает в огне). *Феникс* (миф.) — птица, возрождающаяся из собственного пепла, символ вечного возрождения.

46. РО, 1895, № 2, с. 804.

47. Дата — по рукописи в архиве Г. Г. Бахмана (ИРЛИ).

48. РБ, 1895, № 1, с. 171. Положено на музыку Р. М. Глиэром.

49. РБ, 1894, № 12, с. 126.

53. РМ, 1895, № 3, с. 192. В журнале и в первом издании сборника посвящено поэту и публицисту В. Л. Величко (1860—1903).

54. «Почин». Сборник Общества любителей российской словесности на 1895 год, М., 1896, с. 33. Весной 1890 г., 13 марта, в Москве, Бальмонт, испытывая «сильное нервное расстройство», связанное с неладами в семейной жизни, пытаясь покончить самоубийством, выбросился из окна третьего этажа. При падении получил сильные увечья, целый год провел в постели и потом всю жизнь немного при-

храмывал. «И когда наконец я встал, — писал он впоследствии, — душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над ней властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом» («Белая невеста». — СЗ, 1921, кн. 7, с. 119). *И в той, что льет теперь рыданья.* Речь идет о Л. М. Гарелиной, первой жене поэта. *Антей* (греч. миф.) — гигант, который оставался непобедимым, пока соприкасался с матерью Землей (Геей); Геракл задушил Антея, оторвав его от земли.

ТИШИНА

Сборник (издание автора), разрешенный цензурой в Москве 22 ноября 1897 г., вышел в свет в Петербурге между 16 и 23 августа 1898 г. В книгу вошло 101 стихотворение. Издание 2-е — Собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1905; издание 3-е — Полное собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1909; издание 4-е — Полное собрание стихов, т. 1, «Скорпион», М., 1914.

56. «Почин». Сборник Общества любителей российской словесности на 1896 год, М., 1896, с. 372. Дата — в первой публикации. В. Брюсов 25 февраля 1896 г. назвал эту небольшую поэму «лучшим, что написал Бальмонт» («Письма Брюсова», с. 67). Положено на музыку С. И. Танеевым (хоры для мужских голосов).

57. «Южное обозрение» (Одесса), 1898, 9 августа.

К с. 119. Блейк Вильям (1757—1827) — английский поэт и художник. Переводы Бальмонта из Блейка см. на сс. 497—498 наст. издания. Характеристику Блейка-поэта Бальмонт дал в статье «Праотец современных символистов» («Горные вершины», с. 43).

59. *Веспер* (греч. миф.) — вечерняя звезда.

61. Дата — по списку стих-ия в дневнике О. В. Синакевич (ГПБ, архив К. М. Станюковича).

62. «Южное обозрение», 1898, 26 июля.

63. «Южное обозрение», 1898, 15 августа. Дата — по списку стих-ия в дневнике О. В. Синакевич (ГПБ).

64. «Южное обозрение», 1898, 6 сентября.

65. РМ, 1896, № 5, с. 63.

66. СВ, 1897, № 3, с. 298. В ст. 13-й внесено исправление, сделанное Бальмонтом в 1920 г. при подготовке сб. «Избранные стихотворения» (ИРЛИ); во всех изданиях было: «Символ нежности бесстрастной». Положено на музыку С. И. Танеевым (хор для мужских голосов), С. С. Прокофьевым и В. И Ребиковым.

68. «Южное обозрение», 1898, 6 сентября. Положено на музыку М. Ф. Гнесиным.

70. СВ, 1897, № 4, с. 188.

71. В первом издании сборника без посвящения. *Лохвицкая* Мирра Александровна (1869—1905) — поэтесса, печаталась с 1889 г.; с Бальмонтом познакомилась в начале марта 1898 г., в дальнейшем между ними установились близкие отношения. См. стихи Бальмонта, посвященные памяти М. А. Лохвицкой (№№ 387 и 517 наст. издания). Среди многочисленных стих-ий М. А. Лохвицкой, обращенных к Бальмонту, наиболее известны «Лионель», «Если прихоти случайной...» и «Эти рифмы — твои иль ничьи...».

72. РМ, 1898, № 1, с. 134. Дата — по автографу в архиве К. М. Станюковича (ГПБ).

73. «Север», 1898, № 16, с. 483 (с посвящением М. А. Лохвицкой).

74. «Север», 1898, № 3, с. 76 (без загл. и с посвящением М. А. Л., то есть М. А. Лохвицкой).

К с. 129. Сульпиций Севéр (363—410 или 429) — латинский писатель-историк.

75. ЛПН, 1896, № 7, с. 506. Положено на музыку С. И. Танеевым и М. А. Кузминым (ГПБ).

76. РМ, 1896, № 5, с. 63. *Голубиная книга* — по народно-поэтическому преданию, книга, упавшая на землю с неба; популярное произведение духовно-поучительной литературы русского средневековья. *Стратим* — сказочная птица в древнерусских сказаньях, нечто вроде страуса.

К с. 131. Форд Джон (1586—1639) — английский драматург.

78. ВЕ, 1897, № 4, с. 590. Дата — по письму А. И. Урусова к Бальмонту от 18 (30) января 1897 г. («А. И. Урусов», т. 2/3, М., 1907, с. 318). Шарля *Бодлера* (1821—1867), наряду с Шелли и Эдгаром По, Бальмонт считал наиболее близким себе поэтом. Он высказался о творчестве Бодлера в предисловии к сб. его стих-ий в анонимном переводе П. Ф. Якубовича (М., 1895) и в статье «О „Цветах зла"» («Горные вершины», с. 54) и посвятил французскому поэту несколько стих-ий (см. №№ 156 и 259 наст. издания). Переводы Бальмонта из Бодлера см. на сс. 538—540 наст. издания. *Гойя* Франсиско (1746—1828) — испанский художник, великий портретист и автор остро-гротескных рисунков и гравюр. Бальмонт, переживший сильное увлечение творчеством Гойи, посвятил ему статью «Поэзия ужаса. Франсиско Гойя как автор офортов» (МИ, 1898, № 11/12, с. 175; вошло в «Горные вершины», с. 1). *Коэльо* — вероятно, имеется в виду Клаудио Коэльо (1642—1693), испанский художник, придворный живописец Карла II (в XVI в. работал другой Коэльо — Санчес Коэльо, придворный художник Филиппа II). *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский художник, писавший картины главным образом на религиозные сюжеты. *Боттичелли* Сандро (1445—1510) — итальянский живописец и график, отличавшийся особенно поэтической и утонченной манерой исполнения. Общую характеристику испанской живописи (Рибейра, Сурбаран, Эль Греко, Ве-

ласкес, Мурильо, Гойя) Бальмонт дал в статье «От страстей — к созерцанию (Поэзия Кальдерона)», особенно подчеркнув самобытность этой живописи как «оригинальную черту, возвышающую испанцев как верных истолкователей средневекового западного христианства и как единственных в своем роде создателей художественного реализма и художественного символизма» (Кальдерон, Сочинения, вып. 1, М., 1900, с. X). См. также стих-ия №№ 79, 80, 252 и 253.

79. СВ, 1897, № 5, с. 220. *Греко* (Эль Греко), настоящее имя: Доменико Теотокопули (1541—1614) — испанский живописец, грек по происхождению; для него характерны религиозный спиритуализм и резкая, драматическая экспрессия образов, бестелесные, вытянутые ввысь фигуры. Романтики XIX века (Т. Готье и др.), пробудившие интерес к творчеству Эль Греко после длительного его забвения, утвердили представление о нем как о «гениальном безумце», художнике маниакальной религиозности.

84. МБ, 1897, № 10, с. 26 (в цикле «Из Англии»). Дата — по автографу (ЦГАЛИ).

85. МБ, 1897, № 10, с. 26 (в том же цикле).

86. В первом издании сборника посвящено Вильяму Р. Морфилю, профессору Оксфордского университета, филологу-славистy. С 1904 г. William R. Morfill был английским корреспондентом журнала «Весы». Он переводил стихи Бальмонта на английский язык.

87. СВ, 1897, № 5, с. 220. *Гвадаррама* — горная цепь в Испании, неподалеку от Мадрида.

88. КН, 1896, № 12, с. 150.

89. Дата — по списку стих-ия в дневнике О. В. Синакевич (ГПБ). *Шелли* Перси Биши (1792—1822) — английский поэт-романтик, придерживавшийся революционных убеждений в духе утопического социализма. Бальмонт был страстным поклонником и пропагандистом творчества Шелли. В 1892 г. он приступил к планомерному переводу стихотворений, поэм и драм английского поэта (первое издание переводов вышло в семи выпусках в 1893—1899 гг.; заново отредактированное издание было выпущено в трех томах в 1903—1907 гг. горьковским издательством «Знание»). Бальмонт много писал о Шелли; кроме вступительных статей в «Сочинениях», см.: «Сердце сердец» (РВ, 1892, 23 октября), «Шелли и Байрон» (РВ, 1894, 2 августа), «Шелли» (ЖДВ, 1901, № 1), «Призрак между людей» («Горные вершины», с. 130). Два перевода из Шелли см. на сс. 500—502 наст. издания (№№ 547—548). *Андрогина* — по верованию древних греков, существо, которое дало жизнь человеческому роду и соединяло в себе мужское и женское начала.

90. Дата — по письму Бальмонта к Л. Н. Станюкович от 23 ноября ⟨1896 г.⟩: «. . .посылаю Вам одно из последних своих стихотворений» (ГПБ).

91. ВЕ, 1897, № 4, с. 591. Положено на музыку С. И. Танеевым и Н. Я. Мясковским.

93. ЛПН, 1897, № 3, с. 494 (без загл.). Дата — по письму Бальмонта к В. С. Миролюбову от 30 декабря 1896 г. (ЛА, с. 146).

94—98. КН, 1898, № 9, с. 60; «Южное обозрение», 1898, 24 сентября. Ср. статью Бальмонта «Тип Дон-Жуана в мировой литературе» (МИ, 1903, № 6, сс. 269—292; «Горные вершины», с. 173), в которой из множества литературных вариаций на данный сюжет рассмотрены драма Тирсо де Молины «Севильский обольститель и Каменный гость», повесть П. Мериме «Души чистилища», поэма Хосе де Эспронседы «Саламанкский студент», романы Г. д'Аннунцио «Наслаждение» и С. Пшибышевского «Homo sapiens». *Тернер* Самуил (1790—1861) — американский писатель-богослов. *Гитана* — испанская цыганка. В четвертом сонете затронута тема похождений Дон-Жуана в России при Екатерине II, выдвинутая Байроном в стихотворном романе «Дон-Жуан» (песни 9—11).

99. «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», изд. 2, М., 1898, с. 408 (под загл.: «Стон»). Дата — в первой публикации.

ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ

Книга (издание автора) вышла в Москве между 16 и 23 мая 1900 г. В ней было помещено 131 стихотворение, написанных в большинстве осенью и зимой 1899 г. Начиная со 2-го издания (Собрание стихов, т. 2, «Скорпион», М., 1904) — посвящение: «Посвящаю эту книгу рубиновых страниц моему другу С. А. Полякову, с которым мы вместе ее пережили. *К. Бальмонт.* Москва, 3 января 1904». Там же в качестве предисловий помещены: 1. «Из записной книжки» (3 сентября 1899 г.); 2. стих. «Мои враги», датированное 14 августа 1903 г. (№ 515 наст. издания); 3. «Из записной книжки» (3 января 1904 г.). В первом из этих предисловий читаем: «Эта книга почти целиком написана под властью одного настроения, на долгие недели превратившего мою жизнь в сказку. Я был захвачен страстной волной, которая увлекла меня и держала в плену... Эта книга не напрасно названа *лирикой современной души.* Никогда не создавая в своей душе искусственной любви к тому, что является теперь современностью и что в иных формах повторялось неоднократно, я никогда не закрывал своего слуха для голосов, звучащих из прошлого и неизбежного грядущего. Я не уклонялся от самого себя и спокойно отдаюсь тому потоку, который влечет к новым берегам. В этой книге я говорю не только за себя, но и за многих других, которые немотствуют, не имея голоса, а иногда имея его, но не желая говорить, немотствуют, но чувствуют гнет роковых противоречий, быть может, гораздо сильнее, чем я. У каждой души есть множество ликов, в каждом человеке скрыто множество людей, и многие из этих людей, образующих одного человека, должны быть безжалостно ввергнуты в огонь. Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь. Что до меня, я сделал это в предлагаемой книге, и, быть может, тем, кто чувствует созвучно со мной, она поможет

придти к тому внутреннему освобождению, которого я достиг для себя. В предшествующих своих книгах «Под северным небом», «В безбрежности» и «Тишина» я показал, что́ может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденных впервые. Но этого недостаточно. Это только часть творчества. Пусть же возникнет новое». Третьим изданием сборник «Горящие здания» вышел в составе Полного собрания стихов — т. 2, «Скорпион», М., 1908. Издание 4-е — Полное собрание стихов, т. 2, «Скорпион», М., 1914; издание 5-е — Собрание лирики, кн. 4, М., 1917.

К с. 147. Эдгар По (1809—1849) принадлежал к числу любимейших писателей Бальмонта. В 1895 г. в переводе Бальмонта вышли две книги Э. По — «Баллады и фантазии» и «Таинственные рассказы»; в 1901—1912 гг. — Собрание сочинений в пяти томах (изд-во «Скорпион»). Общая характеристика Э. По как «величайшего из поэтов-символистов» содержится в статье Бальмонта «Гений открытия» («Горные вершины», с. 49); см. также предисловие к «Балладам и фантазиям» (1895). Переводы нескольких стих-ий Э. По — на сс. 502—512 наст. издания (№№ 549—552).

108. «Жизнь», 1899, № 11, с. 299 (в цикле «Страницы из книги „Лирика современной души“. Дневник поэта»).

109. «Жизнь», 1899, № 11, с. 301 (в том же цикле).

110. Дата — по письму Бальмонта к Л. Н. Вилькиной от 24 августа 1899 г. (ИРЛИ). *Сиэрра-Невада* (исп.: снежные горы) — хребет в Андалузских горах Испании.

111. «Денница. Альманах 1900 года», СПб., (1900), с. 110 (в цикле «Из „Красных цветов“»).

112. «Жизнь», 1899, № 11, с. 301 (в цикле «Страницы из книги „Лирика современной души“. Дневник поэта»). *Ольвия* (греч.: счастливая) — древнегреческий город на берегу Буга, основанный во второй половине VII века до н. э. (другое название Ольвии — Борисфен). Расположенная в стране скифов Ольвия оказывала культурное влияние на жившие по соседству скифские племена; в самой Ольвии находился дворец скифского царя Скила *(замок Ольвийский)*.

113. «Жизнь», 1900, № 2, с. 89 (в цикле «Из мира легенд»). Источником для Бальмонта послужила, вероятно, «История государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 11, гл. 2), где по летописным преданиям рассказано о страшном голоде, постигшем Московское царство в 1601 г. (когда люди, «лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено»), также — о разного рода замеченных в ту пору чудесах (восхождение двух-трех лун и двух-трех солнц, появление «невиданных птиц» и орлов, парящих над Москвой) и, наконец, о появлении в Литве, в начале 1604 г., Лжедмитрия.

114. «Жизнь», 1900, № 2, с. 90 (в том же цикле). *Димитрий Красный* — Димитрий Юрьевич (1421—1441), прозванный Красным

(то есть красивым), князь Галицкий, младший брат Димитрия Шемяки, действовавший заодно с ним в междоусобных княжеских распрях. Источник предания о странных обстоятельствах кончины Димитрия Красного — «История государства Российского» Н. М. Карамзина (т. 5, гл. 3).

115. КР, с. 20. Сборник «Книга раздумий» вышел в свет в конце ноября 1899 г. Инициатором издания сборника был Бальмонт (см.: В. Брюсов, Дневники 1891—1910, М., 1927, с. 60, — запись от января 1899 г.).

116. *Поэт и царь, сжегший Рим* — Нерон. По рассказу Светония, Нерон, в силу своей извращенности, приказал поджечь Рим: «Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие... На этот пожар он смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем» (Гай Светоний Транквилл, Жизнь двенадцати цезарей, М., 1964, с. 164).

К с. 154. Эпиграф — из трагедии Шекспира «Ричард Третий».

117. КР, с. 25.

120. «Южное обозрение», 1898, 20 декабря. *Белладонна* (итал.: красавица) — дикорастущее ядовитое растение («красавка», «сонная одурь», «бешеная ягода»), применяется в медицине как болеутоляющее средство.

123. КН, 1898, № 12, с. 65 (с подзаг.: «В Крыму»). Дата — по автографу в архиве Г. Г. Бахмана (ИРЛИ). Имя героини взято из стих. М. Лохвицкой «Джамиле» (1895), — см.: М. А. Лохвицкая (Жибер), Стихотворения, т. 1, изд. 2, СПб., 1900, с. 122. Более отдаленный источник — комическая опера Ж. Бизе «Джамиле» (1872), поставленная на петербургской сцене в 1893 г. Ср. стих. 1921 г. «Воспоминание» (№ 534 наст. издания).

125. В первом издании сборника под загл.: «На рубеже». Дата — по письму Бальмонта к В. С. Миролюбову от 6 июля 1899 г. (ЛА, с. 146). *А мой вампирный гений...* и далее. Речь идет о первой жене поэта Л. М. Гарелиной, от которой у него был сын Николай (музыкант и поэт-дилетант).

К с. 168. Кальдерон де ла Барка (1600—1681) — испанский поэт-драматург. Бальмонт перевел ряд его пьес («Сочинения Кальдерона», вып. 1—3, М., 1900—1912) и посвятил разбору его творчества несколько статей: «Поклонение Кресту» (МИ, 1901, № 11/12), «Кальдероновская драма личности: „Жизнь есть сон“» (МИ, 1903, № 3; «Горные вершины», с. 26) и др.

127—128. КР, с. 5 (в цикле «Лирика мыслей»). Дата первого стих-ия — по автографу ЛБ.

129. «Жизнь», 1899, № 11, с. 297 (под загл.: «Отчаянье» — в цикле «Страницы из книги „Лирика современной души“. Дневник поэта»).

130. «Жизнь», 1899, № 11, с. 298 (в том же цикле).

131. «Жизнь», 1899, № 11, с. 298 (в том же цикле). *Томагавк* — боевой топорик североамериканских индейцев.

132. «Жизнь», 1899, № 11, с. 299 (под загл.: «Разрыв»). *Жизнь есть сон* — заглавие одной из драм Кальдерона.

133. «Жизнь», 1899, № 11, с. 300 (в цикле «Страницы из книги „Лирика современной души". Дневник поэта»).

134. «Денница. Альманах 1900 года», СПб., ⟨1900⟩, с. 109 (в цикле «Из „Красных цветов"»). *Гоморра* и *Содом* — по библейской легенде, города, преданные богом разрушению за грехи жителей.

К с. 174. Тирсо де Молина (1571—1648) — испанский драматург.

135. ЖДВ, 1899, № 10, с. 1179. Положено на музыку Б. Асафьевым (И. Глебовым).

136. Это и следующее стих-ия были написаны летом 1899 г., задолго до того, как Бальмонт впервые побывал в Бретани (см. его статью «Пьяность солнца. Бретань» — ЗР, 1908, № 3/4, с. 71). Впоследствии, в 1906 г., он провел в Бретани лето и переложил в стихи несколько бретонских легенд (ВЕ, 1908, №№ 5 и 6).

144. *Безумный Эдгар* — Эдгар По. «*Nevermore*» — рефрен в балладе Э. По «Ворон», переведенной Бальмонтом (№ 549 наст. издания).

145. «Жизнь», 1899, № 11, с. 302. Эпиграф — из популярной песни, автор которой не установлен.

149. «Пушкинский сборник», СПб., 1899, с. 74. *Сага* — поэтическое сказание, легенда.

150. КН, 1899, № 5, с. 87 (с подзаг.: «Рондо»); КР, с. 16 (с посвящением В. Брюсову, — в цикле «Символика настроений»).

152. Известна тонкая пародия на эти стихи, сочиненная Ин. Анненским («Стихотворения и трагедии», «Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1959, с. 223).

153. По поводу этого стих-ия В. Брюсов заметил: «К. Д. Бальмонт много путешествовал, изъездил весь мир, был в Египте, в Мексике, на Тихом океане и еще во многих других местах. Все земли, где он побывал, Бальмонт описывал в стихах и в прозе. Но живее всего он описал страну, в которой никогда не был, — Исландию: «Валуны и равнины, залитые лавой...» ⟨и т. д.⟩. Как хорошо!» (В. Брюсов, Miscellanea. — «Эпоха», кн. 1, М., ⟨1918⟩, с. 229).

К с. 186. Антифон (греч. и лат.) — в церковном богослужении попеременное пение двух хоров (полухоров). *Вилье де Лиль-Адан* (1838—1889) — французский писатель.

155. *Гермес Трисмегист* (то есть «Трижды великий») — вымышленный создатель теософского учения, изложенного в текстах египетско-греческого происхождения («Герметических книгах»), получивших распространение в III—IV вв. Имя Гермес было присвоено ему по аналогии с греческим богом — покровителем «тайного знания» (герметизма).

156. См. примеч. 78.

157. См. цикл сонетов «Лермонтов» (№№ 464—467 наст. издания).

158. «Жизнь», 1900, № 2, с. 87 (в цикле «Из мира легенд»). *Гипербореи* — по представлению древних, сказочный народ, живший где-то на дальнем севере, где солнце восходит и заходит лишь один раз в течение года. Это блаженные люди, не знающие вражды и споров, охотно посвящающие свою жизнь службе Аполлону; они могут жить сто лет, но усталые старики обыкновенно сами торжественно бросаются со скалы в море. *Рифейские горы* — по представлению древних, горы на дальнем севере; вероятнее всего, имелись в виду западные отроги Уральского хребта. *Понт* — здесь: Черное море.

159. «Жизнь», 1900, № 2, с. 87 (в цикле «Из мира легенд»). *Исседоны* — по Геродоту, народ, обитавший в отдаленных районах Скифии. *Аргипеи* — по Геродоту же, народ «лысоголовых» (вероятно, монгольского происхождения), якобы соседивший со скифами. Предания об этих народах кратко изложены в первой главе I тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, откуда Бальмонт взял и эпиграф к стих-ию: «Сие приятное баснословие...». *Край их — золотом богатый*. У Карамзина читаем: «На восток от аргипеев (в Великой Татарии) жили исседоны, которые сказывали, что недалеко от них грифы стерегут золото: сии баснословные грифы кажутся отчасти историческою истиною и заставляют думать, что драгоценные рудники южной Сибири были издревле знаемы».

160. РМ, 1898, № 4, с. 158.

161. «Памяти В. Г. Белинского», М., 1899, с. 341; КР, с. 16. Дата — в первой публикации.

162. На это стих-ие впоследствии ответил стихами же («Вы обещали нам сады...») Н. Клюев, — ответил с позиции «народного поэта» обличающего лживые посулы интеллигентских «пророков»: «И облетел ваш сад узорный, Ручьи отравой потекли...» (Н. Клюев, Песнослов. Книга первая, П., 1919, с. 57).

163. ЕС, 1900, № 1, с. 13.

К с. 193. Красинский Зигмунт (1812—1859) — польский писатель-романтик консервативно-католического направления.

164. «Южное обозрение», 1899, 12 июля.

167. «Жизнь», 1899, № 11, с. 304 (в цикле «Страницы из книги „Лирика современной души". Дневник поэта»). Известна пародия Н. Минского на это стих-ие (П. Перцов, Литературные воспоминания, М.—Л., 1933, с. 262).

К с. 196. Шри-Шанкара-Ачария (Шанкарачарья) — индийский религиозный реформатор из касты брахманов, один из главных проповедников религиозной школы Веданты, живший в VIII или (вероятнее) в IX веке.

168. РМ, 1899, № 2, с. 148; КР, с. 9. *Майя* (по-санскритски: магическая сила, обман) — одно из главных понятий индийской религиозно-философской школы Веданты: способность духа (брахмана) к сотворению мира; в другом значении — иллюзия, видимость, как бы покров, накинутый на материальный мир. *Иоги* (иог) — последователь религиозно-мистического учения Йога, возникшего в древней Индии. *Мантра* — индийская молитва. *Брама* (Брахма) — высшее божество индийских религий брахманизма и индуизма, творец мира и всего живого.

169. КР, с. 7 (в цикле «Лирика мыслей»).

К с. 199. де Гранада Люис (1504—1588) — испанский религиозно-мистический поэт. *Случевский* Константин Константинович (1837—1904) — поэт, прозаик, критик и журналист, в конце жизни сблизившийся с начинавшими тогда символистами; в поздних стихах тяготел к философским темам, разрабатывая их в воинствующем идеалистическом духе. Бальмонт был частым посетителем «пятниц Случевского», собиравших самую разношерстную литературную публику. См. два стих-ия Бальмонта, обращенные к К. К. Случевскому (КР, сс. 13 и 15). Письма Бальмонта к К. К. Случевскому (1899—1902) хранятся в Отделе рукописных источников Государственного Исторического музея.

171. Положено на музыку Н. Я. Мясковским.

172. «Жизнь», 1899, № 9, с. 58 (в статье Бальмонта «Избранник Земли (Памяти Гёте)»).

173. РМ, 1898, № 8/9, с. 90.

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Книга составлялась Бальмонтом зимой 1901—1902 г. в усадьбе Сабынино Курской губернии; 16 января 1902 г. он писал С. А. Полякову: «Через несколько дней мой новый сборник стихов будет вполне закончен» (ИРЛИ). В первой половине марта 1902 г. рукопись подготовленного сборника была прочитана в литературном кружке Г. Г. Бахмана (см.: В. Брюсов, Дневники 1891—1910, М., 1927, с. 119). Посвящение к книге датировано: «1902. Весна. Келья затворничества». Текст посвящения таков: «Посвящаю эту книгу, сотканную из лучей, моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа: брату моих мечтаний, поэту и волхву Валерию Брюсову, — нежному, как мимоза, С. А. Полякову, — угрюмому, как скалы, Ю. Балтрушайтису, —

творцу сладкозвучных песнопений Георгу Бахману, — художнику, создавшему поэму из своей личности, М. А. Дурнову, — художнице вакхических видений, русской Сафо, М. А. Лохвицкой, знающей тайны колдовства, — рассветной мечте Дагни Кристенсен, валькирии, в чьих жилах кровь короля Гаральда Прекрасноволосого, — и весеннему цветку Люси Савицкой, с душой вольной и прозрачной, как лесной ручей». Подготовленная к изданию рукопись подверглась цензурному вмешательству. В письме к И. И. Ясинскому (издателю журнала «Ежемесячные сочинения») от 1 июля 1903 г. Бальмонт писал: «Получили ли Вы мою книгу «Будем как солнце», прошедшую сквозь строй московских и петербургских цензоров и потерявшую при этом 10 стихотворений, в том числе напечатанного у Вас «Святого Георгия» (№ 328 наст. издания. — *В. О.*)? Хотели вырезать и «Художника-Дьявола», но спасло указание на то, что он был напечатан в „Ежемесячных сочинениях"» (ГПБ). Печаталась книга в ноябре 1902 г. и вышла в свет в изд-ве «Скорпион», очевидно, в самом конце года (помечена 1903 г.). В ней было помещено 198 стихотворений. Издание 2-е — Собрание стихов, т. 2, «Скорпион», М., 1904; издание 3-е — Полное собрание стихов, т. 3, «Скорпион», М., 1908; издание 4-е — Полное собрание стихов, т. 3, «Скорпион», М., 1912; издание 5-е — Собрание лирики, кн. 5, М., 1918 (здесь помещено предисловие «Солнечная сила», датированное сентябрем 1917 г.).

К с. 203. Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.) — греческий натурфилософ материалистического направления, математик и астроном, заменивший понятие божества разумом; был изгнан из Афин по обвинению в безбожии.

176. «Гриф» (1903), с. 11.

177. ЖДВ, 1902, № 11, с. 1287.

178. «Жизнь», 1899, № 11, с. 140.

180. Дата — по письму Бальмонта к В. С. Миролюбову от 1 сентября 1901 г. (ЛА, сс. 151—152).

181. ЖДВ, 1903, № 6, с. 661.

182. СЦ (1901), с. 85. Дата — в первой публикации.

184. СЦ (1902), с. 170 (за подписью: Лионель). *Сибилла* — см. примеч. 40.

185. КР, с. 24.

187. «Жизнь», 1900, № 10, с. 320. В экземпляре «Избранных стихотворений», подготовленном Бальмонтом к печати в 1920 г. (ИРЛИ), эпиграф вычеркнут, но остается неясным, сделал ли это сам Бальмонт. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий филолог и философ антидемократического направления, в поздний период творчества проповедник реакционного культа «сверхчеловека», оказавший сильное влияние на русских декадентов.

188. СЦ (1902), с. 151 (под загл.: «Чужой»).

189. ЕС, 1902, № 8, с. 99. В оглавлении журнала названо «поэмой».

190. МИ, 1901, № 5, с. 206 (под загл.: «Ночь»).

191. «Гриф» (1903), с. 8.

192. ЕС, 1900, № 9, с. 5.

193. «Гриф» (1903), с. 9.

194. «Жизнь», 1901, № 2, с. 261 (под загл.: «Из книги „Голоса природы“»). Положено на музыку Б. Асафьевым (И. Глебовым).

195. ЖДВ, 1900, № 6, с. 693 (под загл.: «Красота Севера»).

196. СЦ (1901), с. 82. *Леда* (греч. миф.) — возлюбленная Зевса. Широкую известность приобрела пародия на это стих-ие, сочиненная А. А. Измайловым («Я плавал по Нилу, я видел Ирбит. . .». — А. Измайлов, Кривое зеркало. Пародии и шаржи, изд. 4, СПб., 1914, с. 22).

197. ЕС, 1900, № 7, с. 165 (в цикле «Внушения весны (Из южных настроений)»). *Paseo de las Delicias* — название бульвара в Севилье.

198. ЕС, 1900, № 7, с. 165 (в том же цикле).

200. ЕС, 1900, № 7, с. 168 (в том же цикле).

201. ЕС, 1900, № 7, с. 168 (в том же цикле).

202. МИ, 1901, № 5, с. 205.

204. ЕС, 1900, № 9, с. 5 (под загл.: «Песни»).

205. «Гриф» (1903), с. 79 (за подписью: Лионель). Дата — по автографу ЛБ.

206. «Гриф» (1903), с. 10.

207. СЦ (1902), с. 149 (без посвящения). Дата — по письму Бальмонта к З. Н. Венгеровой от 19 января 1902 г. (ИРЛИ).

209. Датировано на основании того, что Бальмонт прочитал это стих-ие на вечере в петербургской Городской думе 14 марта 1901 г. (см. дневник М. С. Сухотина — «Литературное наследство», т. 69, кн. 2, 1961, с. 151). Ср. примеч. 513.

211. СЦ (1902), с. 150 (без посвящения). Бальмонт познакомился с М. Горьким в Крыму в ноябре 1901 г. Еще до личного знакомства М. Горький дважды высказался в печати о стихах Бальмонта — первый раз вполне осудительно («Беглые заметки». — «Нижегородский листок», 1896, 10 сентября; Собрание сочинений, т. 23, М., 1953, сс. 182—183), вторично — с явной заинтересованностью («Нижего-

родский листок», 1900, 14 ноября; М. Горький, Несобранные литературно-критические статьи, М., 1941, с. 43). Незадолго перед тем, в июньской книжке журнала «Жизнь» за 1900 г., Бальмонт напечатал три стих-ия («Ведьма», «Родник» и «Придорожные травы»), посвященные М. Горькому. По этому поводу Горький писал И. А. Бунину: «А что Вы скажете о стихах Бальмонта? Мне, грешному, «Ведьма» очень понравилась. Знай я, где он живет, — поблагодарил бы поэта за внимание, ей-богу, очень для меня лестное. Ваш брат, поэт, — аристократ, и Ваша похвала всегда дороже всякой критики и всякой публики и т. д.» («Горьковские чтения», М., 1961, с. 14). Тогда же, в 1900 г., Горький назвал Бальмонта «гениальным виртуозом формы» (см. сб.: «Горький на родине», Горький, 1937, сс. 294—295). Вскоре после личного знакомства М. Горький писал В. А. Поссе: «Познакомился с Бальмонтом. Дьявольски интересен и талантлив этот нейрастеник! Настраиваю его на демократический лад...» («Архив А. М. Горького», т. 7, М., 1959, с. 30). Уроки Горького были, безусловно, в известной мере усвоены Бальмонтом; 21 декабря 1901 г. он писал Горькому, вспоминая их знакомство: «Последней моей фразой было: «Для меня эта встреча с Вами не только радость, но и хитрое приобретение». Фраза оборванная и с двумя словами, которые могут заставить усомниться во мне. Почему приобретение? Потому что до этой встречи я чего-то не знал, и это что-то большое, а глядя на Вас, слушая Вас, как слушают в лесу поющую птицу, в самом себе понял многое, что было под грудами мусора, и, приобретя в Вас человека, расположенного ко мне или хоть к стихам моим, приобрел себе и душу свою. Почему же хитрое? Потому что душа-то у меня до отчаянности наполнена всячиной, и если бы я открыл Вам некоторые ее стороны, быть может, Вы прокляли бы меня и не захотели бы говорить со мной. А мне до смерти хотелось говорить с Вами. Конечно, если бы я был хитрей, я ни фразы бы этой не сказал тогда, ни, может быть, этих слов не говорил бы сейчас. Но в последнюю минуту, когда я понял, что вижу Вас в последний раз перед долгой разлукой, мне вдруг стало так, что я как будто обманно приобрел Ваше расположение Вы понимаете меня? Я все время был с Вами искренним, но слишком часто неполным. Как мне трудно освободиться сразу — и от ложного, и от темного, и от своей наклонности к безумию, к чрезмерному безумию» («М. Горький, Материалы и исследования», 1, Л., 1934, с. 192). К письму было приложено стих-ие «Горькому» (№ 514 наст. издания). Характеристика М. Горького как «сильной личности» содержится в письме Бальмонта к А. П. Чехову от 10 мая 1902 г.: «Я думаю, например, что Горького именно за то любят (и я его за то люблю), что законченная сильная личность, что он певчая птица, лесной зверь, а не чернильная душа; писатель, а не литератор» (Архив А. П. Чехова в ЛБ). Однако настоящего сближения у Горького с Бальмонтом не получилось. Уже в начале февраля 1901 г. М. Горький писал В. Брюсову по поводу поэмы Бальмонта «Художник-Дьявол» (напечатанной, с подзаг.: «Книга сатурналий», в ЕС, 1901, №№ 1—3, 6, 9 и 11/12): «Бальмонт! Вам нравится его демонизм в книге сатурналий? Мне — противно. Все это выдумал он, все это он напустил на себя. «Людишки — мошки». Врет он. Людишки — несчастны не менее его, и — что, если они более его заслуживают внимания и уважения?» (Собрание сочинений, т. 28, М.,

1954, с. 153). Впрочем, в дальнейшем, в 1902 г., М. Горький привлек Бальмонта к участию в изд-ве «Знание» (трехтомное Собрание сочинений Шелли, выходившее в 1903—1907 гг., редактирование перевода «Истории живописи в XIX веке» Р. Муттера, сборник «Стихотворения» 1906 г.). В 1905 г., когда буржуазная печать обрушилась на Бальмонта, высмеивая его революционное увлечение и участие в большевистской печати, М. Горький решительно встал на защиту поэта. Когда фельетонист эсеровской газеты «Сын отечества» (им был известный старый литератор П. И. Вейнберг, выступавший под псевдонимом: «Гейне из Тамбова»), по словам М. Горького, «потешая зрителей, издевался над Бальмонтом», Горький на страницах большевистской «Новой жизни» (1905, 16 ноября) выступил с резкой отповедью «мещанам», «неспособным понять, как может Бальмонт печатать свои стихи в органе рабочей партии»: «Невежественные, они не знают, что Бальмонт давно предал проклятию, облил ядом презрения их суетливую, бесцельную жизнь, полную трусости и лжи, прикрытую выцветшими словами, тоскливую жизнь полумертвых людей. Им невнятен чистый восторг поэта, наконец увидевшего смелую, бодрую армию строителей новой жизни, красивой и свободной».

216. «Жизнь», 1900, № 11, с. 186.

219. ЕС, 1900, № 7, с. 171 (под загл.: «Кинжал» и без второй строфы).

220—222. ЕС, 1900, № 10, с. 167 (под загл.: «Три стихотворения» и с посвящением: «Норвежской поэтессе Дагни Кристенсен»). Бальмонт познакомился с Dagny Kristensen в 1900 г. (в Петербурге), встречался с нею в 1902 г. (в Париже) и в 1906 г. (в Норвегии), переписывался в 1915—1917 гг. О ней — в письме Бальмонта к В. С. Миролюбову от 10 октября 1902 г. (ЛА, с. 154). С 1904 г. Дагни Кристенсен была корреспондентом журнала «Весы» в Норвегии. Она переводила стихи Бальмонта на норвежский язык.

225. «Жизнь», 1900, № 6, с. 234 (с посвящением М. Горькому). Дата — в первой публикации.

226. «Южное обозрение», 1899, 28 февраля (без загл.). Дата — по автографу в альбоме М. К. Станюкович (ГПБ).

227. «Север», 1901, № 11, с. 327 (в цикле «Три стихотворения», посвященном княжне М. С. Урусовой, — посвящение сохранено и в первом издании сборника). *Одалиска* (турецк.) — в расхожем языке: обитательница гарема, наложница.

228. ЕС, 1900, № 9, с. 10.

229. В первом издании сборника посвящено некоей О. Н. Миткевич.

230. Дата — по автографу в альбоме «Пятницы Случевского» (ГПБ); в автографе — другое расположение строф.

231. ЕС, 1900, № 7, с. 167 (в цикле «Внушения весны (Из южных настроений)»).

232. СЦ (1903), с. 61 (в цикле «Из книги „Только любовь"»). Заглавие приписано Бальмонтом в экземпляре «Избранных стихотворений», подготовленных к печати в 1920 г. (ИРЛИ).

236. СЦ (1901), с. 85.

240. ЕС, 1900, № 9, с. 8. *Балтрушайтис* Юргис Казимирович (1873—1944) — русско-литовский поэт-символист, один из ближайших друзей Бальмонта.

241. СЦ (1901), с. 79.

243. ЕС, 1900, № 11, с. 223. *Incubus* — у древних римлян ночной дух, напоминающий русских домовых.

245. ЕС, 1900, № 11, с. 228.

248. «Жизнь», 1900, № 1, с. 56. *Терцины* — форма итальянского стиха, троестишия, примененная, в частности, в «Божественной Комедии» Данте. *Исчерпав жизнь свою до половины* — парафраза стиха, которым Данте начал свой «Ад»: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» («До середины пройдя нашу жизнь»). *Весталки* — у древних римлян жрицы богини Весты, дававшие обет вечного целомудрия.

249. СЦ (1901), с. 83 (под загл.: «Necessitas», что означает полатыни: «Необходимость»).

250. ЕС, 1900, № 7, с. 169 (в цикле «Внушения весны (Из южных настроений)»). *Иероним* (ок. 340—420) — один из «отцов церкви», причисленный к лику святых; рассказ о том, как, «спасаясь» в Сирийской пустыне, Иероним вылечил льва, удалив из его лапы занозу, и тем самым приручил его, послужил сюжетом многих произведений живописи.

251. ЕС, 1900, № 7, с. 169 (в том же цикле). *Фра Анджёлико* — Фра Джованни да Фьезоле, прозванный Иль Беато Анджёлико (ок. 1400—1455) — флорентийский живописец раннего Возрождения, монах-доминиканец.

252. ЕС, 1900, № 7, с. 170 (в том же цикле). *Рибейра* (де Рибера) Хусепе (1591—1652) — испанский живописец и гравер.

253. СЦ (1901), с. 84. В стих-ии упомянуты прославленные полотна *Веласкеса* (1599—1660), находящиеся в мадридском музее Прадо: серия портретов придворных шутов, знаменитые «Пряхи», «Распятие для монастыря Сан-Пласидо», многочисленные портреты испанских инфантов и инфант (принцев и принцесс) и короля Филиппа IV. *И длинные копья, что встали рядами...* Имеется в виду картина Веласкеса «Сдача Бреды» (также находящаяся в Прадо).

254—255. ЕС, 1900, № 11, сс. 226 и 227 (первое стих-ие — под загл.: «Прекрасные чудовища»). Дата — по письму А. И. Урусова к Бальмонту от 10 февраля 1900 г. («А. И. Урусов», т. 2/3, М., 1907, с. 326). *Великое Ничто* — мистическая идея «тайсюй» (Великая Пустота), выдвинутая конфуцианской школой китайской философии

эпохи Сун. *Феникс* — см. примеч. 44. *Чванг-Санг* — английская транскрипция имени Чжуан-Цзы или Чжуан-Чжоу (369—286 до н. э.), китайского философа-мистика, который первоосновой мира считал самодовлеющую духовную субстанцию.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Книга, написанная в основной своей части летом 1903 г. в Меррекюле (дачная местность в нынешней Эстонии, на берегу Балтийского моря), вышла в свет в Москве, в изд-ве «Гриф», в начале ноября 1903 г. В книгу вошло 119 стихотворений. Издание 2-е — «Гриф», М., 1908; издание 3-е — Полное собрание стихов, т. 4, «Скорпион», М., 1913; издание 4-е — Собрание лирики, кн. 6, М., 1917.

257. В августе 1903 г. А. П. Чехов по просьбе Бальмонта рекомендовал В. А. Гольцеву напечатать «Гимн Солнцу» в журнале «Русская мысль», назвав его «хорошим стихотворением», «одним из самых красивых» у Бальмонта, но Гольцев счел его «растянутым и чересчур напыщенным» (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. 20, М., 1951, сс. 122—123 и 386). Год спустя после выхода в свет сб. «Только любовь» это стих-ие было напечатано в МИ (1904, № 12, с. 267). *Апис* — священный бык, обожествленный в древнем Египте; египтяне верили, что Апис зарождается от солнечного луча; одной из примет Аписа было белое пятно на лбу *(звезда)*. *Франциск* Ассизский (1182—1226) — итальянский монах, основатель ордена нищенствующих монахов-францисканцев, причисленный католической церковью к лику святых; сочинил стихотворный «Гимн солнцу», в котором славил бога за то, что он поставил в небе «господина брата солнце» (messor lo frate sole). *Василиск* — сказочный чудовищный змей, убивавший все живое своим взглядом. *Газдрубал* — карфагенский полководец, потерпевший поражение в бою с римлянами и умолявший римского вождя Сципиона о помиловании, тогда как мужественная жена его, не желая сдаться на милость победителя, вместе с детьми бросилась в пламя пожара. *Любовники, чьи жаркие лобзанья через века почувствовал Шекспир,* — Ромео и Джульетта. *Антоний* (83—30 до н. э.) — римский политический деятель и полководец. Влюбленный в египетскую царицу *Клеопатру*, он ради нее пренебрег государственными делами и забыл о своем долге: в морском сражении, когда Клеопатра обратилась в бегство, Антоний последовал за нею, бросив на произвол судьбы свое войско, — вскоре Клеопатра и Антоний покончили с собой. *Македонец* — Александр Великий (Македонский), возмечтавший основать единую всемирную империю.

258. НП, 1903, № 10, с. 19.

259. НП, 1903, № 10, с. 23. *Эдгар* — Эдгар По (см. выше, с. 621). *Бодлер* — см. примеч. 78.

260. НП, 1903, № 6, с. 47 (под загл.: «Красный цветок»).

261. НП, 1903, № 6, с. 51 (без загл.). *Дон-Жуан* — см. примеч. 94—98. *Вечный Жид* (Агасфер) — герой средневековой легенды, ев-

рей-скиталец, осужденный богом на вечное скитание за то, что не дал Христу отдохнуть на его крестном пути на Голгофу; легенда послужила источником многих произведений мировой литературы (Шубарт, Ленау, Гёте, Э. Кине, Э. Сю, В. К. Кюхельбекер и др.).

262. Дата — по письму Бальмонта к В. С. Миролюбову от 15 июля 1903 г. (ЛА, с. 156). *Ночь Ивановых Огней* — Иванова ночь (с 23 на 24 июня по старому стилю), когда в деревнях праздновался древний, идущий с языческих времен, народный праздник Купала (в Прибалтике в эту ночь обязательно зажигают костры).

263. «Курьер», 1903, 4 мая.

264. Церковный праздник Благовещения пресвятой богородицы отмечается 25 марта по старому стилю.

265. «Почтальон», 1902, № 9, с. 527.

268. «Курьер», 1903, 2 ноября.

270. НП, 1903, № 10, с. 28. В. Пяст рассказал в своих «Воспоминаниях о Блоке» (дело происходит на редакционном собрании «Нового пути» у Мережковских): «Разговор заходит об отсутствующем поэте. «Как он мелко плавает! Какая банальность это последнее, что он напечатал: «О, Елена, Елена, Елена!..» — произносит свой суд лицо, очень влиятельное, очень большим правом на приговоры в этой области обладающее. Очень ценимое Блоком, много в его внутреннем мире значащее. Но Блок — один он — сейчас же вступается. Наперекор всей, одобряющей суждение, аудитории. Говорит звучно и прямо: „Но там у него дальше: «Ты и жизнь, ты и смерть кораблей». И потом уже идет хорошо“» (Вл. Пяст. Воспоминания о Блоке, П., 1923, с. 20—21. «Влиятельное лицо» — безусловно З. Н. Гиппиус-Мережковская).

271. ЖДВ, 1903, № 2, с. 193. *Валата-Могита* — оазис и арабский город в северо-западной Африке, в пустыне Эль-Джуф.

273. НП, 1903, № 10, с. 25.

275. НП, 1903, № 6, с. 48. Из этого стих-ия видно, как относился Бальмонт к бесконечным словопрениям «религиозных философов» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Розанов, А. Карташов и др.), задававших тон в редакции журнала «Новый путь». О том, что это стих-ие обращено «к Мережковским», говорит А. Белый («Начало века», М.—Л., 1933, с. 224). Бальмонт писал В. Я. Брюсову летом 1903 г.: «„Новый путь“ — помойная яма, и не очень глубокая, так что в нем нет даже истинной отвратительности» («Литературный критик», 1939, № 10/11, с. 237).

277. НП, 1903, № 10, с. 27.

278. Дата — по письму Бальмонта к В. Я. Брюсову от 5 января 1903 г. (ЛБ).

279. ЖДВ, 1900, № 12, с. 1467 (без загл.).

281. «Гриф» (1903), с. 7.

282. СЦ (1903), с. 63. *Суинберн* Алджертон Чарлз (1837—1909) — английский поэт.

283. СЦ (1903), с. 57. По свидетельству жены Бальмонта (Е. А. Андреевой), это стих-ие было внушено картиной В. Э. Борисова-Мусатова, изображающей старый дом в парке (вероятно, имеется в виду картина «Призраки», 1903 г.). О. Мандельштам считал «Старый дом» лучшим стих-ием Бальмонта («Буря и натиск». — «Русское искусство», 1923, № 1, с. 77).

284. ЖДВ, 1903, № 7, с. 791. Положено на музыку Р. М. Глиэром и Н. Я. Мясковским.

287. *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — поэт, философ и публицист, идеалист и мистик, оказавший глубокое влияние на некоторых представителей молодого поколения русской интеллигенции 1890—1900-х годов, в частности—на младших символистов (А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов и др.). *Недалека воздушная дорога* — цитата из стих. В. С. Соловьева «Зачем слова? В безбрежности лазурной. . .».

ЛИТУРГИЯ КРАСОТЫ

Сборник вышел в Москве, в изд-ве «Гриф», в начале 1905 г. В нем было помещено 128 стихотворений. Издание 2-е — Полное собрание стихов, т. 5, «Скорпион», М., 1911.

К с. 301. Аполлоний Тианский (I в.) — греческий философ-идеалист, главный представитель неопифагореизма, проповедник и моралист, выступавший против христианства; пользовался славой пророка, мага и чудотворца. *Диэго де Эстелья* — испанский монах, мистический писатель XVI века; Бальмонт назвал его «одним из самых блестящих испанских мистиков» («Морское свечение», СПб., 1910, с. 42).

288. НП, 1904, № 10, с. 120. *Брама* — см. примеч. 168. *Викинг* — древнескандинавский воин, промышлявший разбоем на морях. *Валгалла* — в скандинавской мифологии царство богов, куда попадают души павших в сражении воинов. *Ярило* — славянский бог солнца и любви.

290. ЖДВ, 1903, № 4, с. 419.

291. *El Klab* (арабск.: книга) — имеется в виду Коран. *Пророк* — Магомет.

К с. 305. Pervigilium Veneris — «Ночное бдение Венеры», название стих-ия, написанного во II или III веке для ночного праздника в честь Венеры; в свое время оно приписывалось Катуллу.

292. *Весталка* — см. примеч. **248**.

294—295. «Гриф» (1905), с. 200. Второе стих-ие («На кладбище старом, пустынном...») В. Брюсов назвал шедевром, «жемчужиной» лирики Бальмонта, «стихами, которые будут всегда вспоминаться при упоминании его имени» («Весы», 1905, № 3, с. 61). Из этого стих-ия Брюсов взял эпиграф к одному из разделов своего сб. «Зеркало теней» — 1912 г. («Под мертвой луной»).

296. НП, 1904, № 3, с. 91 (без загл.). Датировано на основании рассказа С. М. Соловьева о пребывании А. А. Блока и его жены в Москве в январе 1904 г.: «Успех Блока и Любови Дмитриевны в Москве был большой. Молчаливость, скромность, простота и изящество Любови Дмитриевны всех очаровали. Бальмонт сразу написал ей восторженное стихотворение, которое начиналось: „Я сидел с тобою рядом. Ты была вся в белом..."» (С. Соловьев, Воспоминания об Александре Блоке. — «Письма Александра Блока», Л., 1925, с. 23).

К с. 309. Нищие — см. выше, с. 626.

297. НП, 1904, № 8, с. 179. *Другие — дым, я — тень от дыма.* Ср. у Ф. И. Тютчева: «Не светлый дым, блестящий при луне, А эта тень, бегущая от дыма...». («Как дымный столп светлеет в вышине! ..»).

298. НП, 1904, № 10, с. 131.

299. НП, 1904, № 12, с. 10.

300—302. Отклик на русско-японскую войну, начавшуюся 26 января 1904 г. *Лиддит* — взрывчатое вещество, употреблявшееся для начинки артиллерийских снарядов. *Амвон* — в православных церквах возвышение перед «царскими вратами», ведущими в алтарь.

303. ЖДВ, 1904, № 10, с. 578. Дата — по письму Бальмонта к В. С. Миролюбову от 18 июля 1904 г. (ЛА, с. 161).

304. *Джикиль* и *Хайд.* «Герой повести Стивенсона «Странная история доктора Джикиля и мистера Хайда», мудрый, благородный врач, превращался иногда силою зелья в мистера Хайда, чтобы в этом виде отдаваться своим порочным наклонностям, и потом силою зелья снова превращался в д-ра Джикиля. В конце концов зелье обмануло, он не мог превратиться из мистера Хайда в д-ра Джикиля — и погиб как низкий урод» (Бальмонт, «Горные вершины», с. 131). *Стивенсон* Роберт Льюис (1850—1894) — английский поэт и романист; Бальмонт перевел несколько его стих-ий.

305. НП, 1904, № 8, с. 183 (под загл.: «Мировое причастие»). *Елена* (греч. миф.) — дочь Зевса и Леды, жена спартанского царя Менелая; похищение ее Парисом послужило поводом к войне ахеян с троянцами.

306. НП, 1904, № 10, с. 132 (под загл.: «Отзвук благовеста»). *Pax hominibus bonae voluntatis* — слова католической молитвы, источником которых послужило Евангелие от Луки (II, 14).

307. «Гриф» (1904), с. 149; «Весы», 1905, № 1, с. 21. *Светлана* — героиня одноименной баллады В. А. Жуковского.

ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ

Книга вышла в свет в конце 1905 г. в Москве, в изд-ве «Гриф». В ней было помещено 71 стихотворение (большинство из них не появлялось до того в периодической печати, несколько — появилось уже после выхода сборника). Сохранилась корректура книги с незначительной правкой Бальмонта (ИРЛИ). Издание 2-е — Полное собрание стихов, т. 6, «Скорпион», М., 1911.

308. *Ниника* — Нина Константиновна Бальмонт-Бруни (род. в 1901 г.), дочь Бальмонта и Е. А. Андреевой. Другое обращенное к ней стих-ие — № 474 наст. издания.

317. ЖДВ, 1906, № 1, с. 2.

318. «Правда», 1905, № 11, с. 11.

319. РМ, 1907, № 1, с. 82.

320. «Детское чтение», 1906, № 3, с. 334 (с посвящением: «Тане П⟨олиевктовой⟩»).

322. «Правда», 1905, № 11, с. 12.

323. «Правда», 1905, № 11, с. 14.

ЗЛЫЕ ЧАРЫ

Сборник был издан в 1906 г. в Москве редакцией журнала «Золотое руно». В книгу вошло 79 стихотворений. В 1907 г. постановлением Комитета по делам печати на книгу был наложен арест — по обвинению автора в богохульстве (основанием послужили стих-ия «Будь проклят бог!» и «Пир у Сатаны»; в 1908 г. за перепечатку «Пира у Сатаны» был наложен арест на книгу А. Амфитеатрова «Современники», в дальнейшем это стих-ие из книги было вырезано). В 1911 г. снова возникли цензурные затруднения с переизданием сб. «Злые чары» в составе Полного собрания стихов (т. 6, «Скорпион», М., 1911). Судебное преследование в отношении Бальмонта было прекращено в 1913 г.

324. «Весы», 1905, № 12, с. 2.

325. ЖДВ, 1905, № 12, с. 731. Дата — по письмам Бальмонта к В. С. Миролюбову от 10 и 31 августа 1905 г. (ЛА, с. 163).

326. «Весы», 1905, № 12, с. 17.

К с. 331. Красинский — см. выше, с. 624.

327. ЗР, 1906, № 6, с. 45 — в статье Бальмонта «Флейты из человеческих костей», где стих-ие приведено как отклик на жестокое подавление декабрьского (1905 г.) вооруженного восстания в Москве. Ср. стих. «Я с ужасом теперь читаю сказки...» (№ 520 наст. издания).

328. ЕС, 1900, № 12, с. 378. Из письма Бальмонта к И. И. Ясинскому от 1 июля 1903 г. (ГПБ) выясняется, что «Святой Георгий» был изъят цензурой из состава сборника «Будем как солнце». В критике «Святой Георгий» был охарактеризован как «стихотворение поистине гениальное, сочетающее глубинное вдохновение замысла с кристальной чистотой формы... Это один из лучших перлов в венце Бальмонта» («Перевал», 1907, № 7, с. 57). Стих-ие это запомнилось А. Блоку («Записные книжки», М., 1965, с. 91).

329. ЗР, 1906, № 4, с. 37.

330. ЗР, 1906, № 4, с. 37.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сборник вышел в марте 1906 г. в Петербурге, в изд-ве «Знание», в серии «Дешевая библиотека», под № 90. (До этого в «Дешевой библиотеке» вышло 35 книжек М. Горького, 7 книжек Скитальца, 10 книжек Л. Андреева, 10 книжек С. Гусева-Оренбургского, 9 книжек А. Серафимовича, 1 книжка А. Куприна, 4 книжки Н. Телешова, 3 книжки С. Елпатьевского и 1 книжка И. Бунина.) В сборник, изданный громадным по тому времени тиражом (21 000 экземпляров), вошло 12 стихотворений. Издание было конфисковано полицией (см. письмо К. П. Пятницкого к С. И. Мицкевичу 1931 г. — «Литературное наследство», т. 72, 1965, с. 268). Копия акта о конфискации имеется в ЦГАЛИ. Книжка не переиздавалась.

331. НЖ, 1905, № 14, от 16 ноября.

332. КЗ, 1906, № 1 (апрель), с. 32. Было перепечатано в КЗ, 1917, № 2 (30 мая), в разделе «Из архива „Красного знамени“».

333. НЖ, 1905, № 14, от 16 ноября.

334. КЗ, 1906, № 2 (май), с. 16. Было перепечатано в КЗ, 1917, № 2 (30 мая), в разделе «Из архива „Красного знамени“».

335. НЖ, 1905, № 1, от 27 октября.

ПЕСНИ МСТИТЕЛЯ

Книжка вышла в 1907 г. в Париже (издание автора). В России она была под цензурным запретом. В книжке 50 стихотворений (в том числе два перевода из Мицкевича), семь из них были перепечатаны из сб. «Стихотворения» (1906). Книжка не переиздавалась.

К с. 338. Майя — здесь: письменные источники, сохранившиеся от культуры народности майя, населявшей в древности Мексику и Юкатан.

338. КЗ, 1906, № 1 (апрель), с. 23. В длительном кровопролитном сражении под *Мукденом* (11—25 февраля 1905 г.) русская армия, по вине бездарного командования, потерпела серьезное поражение от японцев; в морском бою в *Цусимском проливе* (14—15 мая 1905 г.) японский флот потопил бо́льшую часть русской 2-й Тихоокеанской эскадры. *Ходынка* — катастрофа, происшедшая 18 мая 1896 г. на Ходынском поле в Москве, во время народного гулянья по случаю коронации Николая II (из-за преступной халатности властей в давке погибло около 2000 человек).

339. КЗ, 1906, № 1 (апрель), с. 24. В первой строфе имеется в виду расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих в «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г.

340. КЗ, 1906, № 1 (апрель), с. 26.

341. КЗ, 1906, № 2 (май), с. 23.

ЖАР-ПТИЦА

Книга вышла в 1907 г. в Москве, в изд-ве «Скорпион», в качестве 7-го тома Полного собрания стихов (часть тиража, с обложкой работы К. Сомова, была оформлена как отдельное издание) и больше не переиздавалась. В нее вошло 119 стихотворений, написанных в большинстве летом 1906 г. в Бретани, в местечке Примель.

К с. 342. Жан де ля Тай де Бондаруа (1540 — ок. 1608) — французский поэт, гугенот, соратник Генриха Наваррского.

342. *Любимец веков... богатырь справедливый* — Илья Муромец, популярнейший герой русского былинного эпоса, о котором в другом стих. («Хвала Илье Муромцу») Бальмонт сказал: «Мой владимирец родной, муромский мужик». Далее упомянуты сюжеты, связанные с преданиями об Илье Муромце («Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и др.). *Гридня* — приемная палата в княжеском дворце, здесь в смысле: княжеская дружина.

343. *Криница* — ключ, родник.

344. *Скамандр* — по древнегреческим сказаньям, река близ Трои. *Саламандра* — см. примеч. 44. *Мусикийская* — музыкальная.

345. *Предвосхитили Колумба за четыреста годов.* Северо-восточное побережье Северной Америки было открыто норманнами в 985—1000 гг.; открытия Колумба относятся к 1492—1504 гг. *Винланд* — название, данное норманнами северо-восточному побережью Северной Америки. *Норга* — Норвегия. *Викинги* — см. примеч. 288. *Скальд седой и величавый* — норвежский писатель Генрик Ибсен (1828—1906), автор драмы «Строитель Сольнес» (1892), в центре которой — образ «сильного человека». *Майя* — героиня драмы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899). *Один* и *Тор* — божества скандинавской и германской мифологии. *Перун* — славянский бог грома и молнии. *Тайновидец наш безумный* — Ф. М. Достоевский. *Кудесник*

русской речи — А. С. Пушкин. *Ярило* — см. примеч. 288. *Илья* — Илья Муромец.

346. «Образование», 1907, № 3, с. 46.

К с. 346. Разэс (Абу-Бекр Мухаммед бен Закария ар-Рази, ум. в 932 г.) — знаменитый арабский врач; писал на философские, естественно-научные и медицинские темы.

348. В. Брюсов, сурово осудивший «Жар-птицу» в целом, выделил это стих-ие: «В «Жар-птице» есть несколько прекрасных стихотворений, причем не все они чужды славянской и народной стихии (например, мне кажется очень значительным «Стих о величестве Солнца», кроме первого двустишия), — но все они стоят в книге как исключения» («Весы», 1907, № 10, с. 51). *Егда* — когда. *Финикс* — древнерусская форма названия баснословной птицы феникс (см. примеч. 44). *Ксалав* — этого слова в словарях древнерусского языка не обнаружено. *Океянстей* — древнерусская форма слова «океанской». *Петел* — петух.

349. *Перун* — см. примеч. 345.

350. *Макарийские острова* — баснословные «острова блаженных», образ «счастливой земли». В древней Греции так называли некоторые острова, славившиеся своим плодородием (Лесбос, Кипр, Родос). Из греческих источников это понятие перешло в древнерусскую письменность. *Сирин* и *Гамаюн* — в русском фольклоре и в древнерусской письменности сказочные райские птицы-вещуньи с женскими лицами, символизирующие счастье и печаль.

351. *Световит* (Святовит) — верховное божество прибалтийских славян. *Аркона* — славянский город X—XII вв., расположенный на острове Рюген в Балтийском море; религиозный центр, объединявший несколько славянских племен. Управлял городом верховный жрец Святовита. В 1168 г. датский король Вальдемар I разрушил город и храм; статуя Святовита была сожжена. Остатки храма Святовита, стены и крыша которого были окрашены в красный цвет (отсюда — *алая Аркона*), были раскопаны в 1920-х годах.

ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ

Книга вышла в 1908 г. в Петербурге, в изд-ве «Шиповник». Ее составили 168 стихотворений. Издание 2-е — Полное собрание стихов, т. 9, «Скорпион», М., 1912.

353. ЗР, 1907, № 6, с. 20.

К с. 354. Зеленые святки — так в Польше называют Троицын день.

355. *Кубанка* — здесь: жительница Кубы, где Бальмонт на пути в Мексику провел один день в феврале 1905 г. *Фиал* — кубок, чаша.

357. «Весы», 1905, № 12, с. 5.

358. *Червонные святки* — Пасха. *Седьмица* — неделя.

К с. 357. Морана — в славянской мифологии и песенном фольклоре богиня смерти и холода (зимы).

360. ЖДВ, 1905, № 10, с. 602.

361. «Весы», 1905, № 12, с. 15.

К с. 359. Майя — здесь: Мексика (по названию народности, населявшей Мексику в древности).

363. «Искусство», 1905, № 8, с. 7 (под загл.: «Братьям мыслей»). *Кветцалькоатль* (Изумрудно-пернатый змей) — одно из главных божеств ацтеков, населявших часть древней Мексики, бог ветра, покровитель культуры и знаний. *Монтезума* — последний царь ацтеков, плененный испанцами в 1520 г. и погибший в плену. *Крылатые змеи* — распространенная эмблема ацтекской мифологии. Свои впечатления о путешествии в Мексику (февраль — июнь 1905 г.) Бальмонт изложил в книге очерков «Змеиные цветы» (1910).

364. «Весы», 1905, № 12, с. 3. *Паленке* — руины древних храмов и дворцов племени майя на полуострове Юкатан, испещренные священными иероглифическими надписями. Город был покинут жителями в IX веке; руины были обнаружены в глубине джунглей в конце XVIII века.

365. «Весы», 1905, № 12, с. 6, с посвящением: «Елене ***», то есть Елене Константиновне Цветковской (1880—1943), в будущем — третьей жене Бальмонта.

366. СМ, 1908, № 6, с. 104.

367. *Чапультепек* — лесной парк в окрестностях Мехико (древнего Теночтитлану — столицы государства ацтеков), в древности — летняя резиденция ацтекских царей. *Печальница немая* — Е. К. Цветковская. *Кортес* Эрнан (1485—1547) — испанский конкистадор, в 1519—1521 гг. завоевавший Мексику. *Агуэгуэтль* — гигантское дерево, растущее в Мексике. *Монтезума* — см. примеч. 363. *Ицтаксигуатль и Попокатепетль* — увенчанные снежными вершинами потухшие вулканы в окрестностях Мехико.

ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОГРАД

Книга вышла в 1909 г. в Петербурге, в изд-ве «Шиповник». В ней 187 стихотворений. Издание 2-е — Полное собрание стихов, т. 8, «Скорпион», М., 1911.

369. «Цветник ор». Кошница первая, СПб., 1907, с. 10, с эпиграфом:

Он по садику гулял, в свои гусли играл.
Я люблю, я люблю!
Звонко в гусли играл, царски песни распевал.
Я люблю, я люблю!

Хлыстовская песня

371. «Весы», 1907, № 9, с. 21.

373. «Весы», 1907, № 9, с. 23. *Звездоликий* — Иисус Христос. В стих-ии использованы образность и символика Апокалипсиса (лицо — как солнце, семь золотых светильников, острый серп, «я есмь Первый и Последний», «пришло время жатвы»). По поводу этого стих-ия в критике писали: «Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно поэтической страницы, и только в дикой вакханалии несутся все эти «стозвонности» и «самосожженности» и прочие бальмонтизмы. Критики берутся за перья, чтобы объявить «конец Бальмонта»... И вдруг он печатает стихотворение, и не просто прекрасное, а изумительное, которое неделями звучит в ушах... В «Зеленом вертограде» есть такое изумительно-прекрасное стихотворение — „Звездоликий"» («Аполлон», 1912, № 1, с. 71). Положено на музыку Игорем Стравинским (кантата для мужского хора с оркестром).

ХОРОВОД ВРЕМЕН

Книга вышла в самом начале 1909 г. в Москве, в изд-ве «Скорпион», в качестве 10-го тома Полного собрания стихов. В нее вошли 103 стихотворения, написанные в период с марта 1907 по май 1908 г. Переизданий не было.

ЗАРЕВО ЗОРЬ

Книга вышла в 1912 г. в Москве, в изд-ве «Гриф». Судя по письму Бальмонта к С. А. Полякову от 3 марта 1911 г. (ИРЛИ), сборник был составлен к марту 1911 г. и сперва предложен изд-ву «Скорпион». В книгу вошло 196 стихотворений и «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке». Издание 2-е — «Гриф», М., 1914.

376. *Дергач* — коростель.

379. СМ, 1909, № 4, с. 214.

380. «Аполлон», 1910, № 9 (июль — август), с. 3.

381. «Аполлон», 1909, № 1 (октябрь), с. 5.

385. «Аполлон», 1910, № 9 (июль — август), с. 4.

387. ЖДВ, 1905, № 10, с. 601 (под загл.: «Памяти ушедшей от нас М. А. Лохвицкой», — см. о ней примеч. 71). *Сафо* — греческая поэтесса, жившая в VII—VI вв. до н. э.

391. ЛПН, 1911, № 8, с. 585.

393. «Аполлон», 1910, № 9 (июль — август), с. 3.

394. *Подседный* — от слова *подсед*: нижний слой растений. *Козодой* — птица, похожая на ласточку.

395. Бальмонт совершил путешествие по Египту в конце 1909 г. Кроме стихов была написана книга очерков «Край Озириса» (М., 1914), куда вошли также переводы египетских любовных песен и эпических отрывков. *Отшумевшая столица* — Александрия. *Озирис* — в древнеегипетской религии бог растительности, луны и нильских вод, умиравший осенью и воскресавший весной.

396. СМ, 1911, № 1, с. 31 (в цикле «Египетские впечатления»). *Изида* — греческое имя египетской богини плодородия Исе.

397. *Феллах* — египетский крестьянин.

398. СМ, 1911, № 1, с. 32 (в цикле «Египетские впечатления»).

399. СМ, 1911, № 1, с. 32 (в том же цикле).

400. РМ, 1911, № 8, с. 4.

401. «Гамаюн». Литературный сборник, СПб., 1911, с. 89. *Сильсиле* — местность в Египте, на берегу Нила, где с времен древности празднуют весенний разлив нильских вод, орошающих поля, отвоеванные у пустыни. *Две кобры на царском челе.* Египетские фараоны носили на лбу в качестве священных эмблем — знаков царского достоинства — изображения змей (знак кобры назывался урей).

402. «Нива», 1911, № 1, с. 11.

БЕЛЫЙ ЗОДЧИЙ

Книга вышла в свет в Петербурге, в изд-ве «Сирин», в первых числах мая 1914 г. (см.: Александр Блок. Записные книжки 1901—1920, М., 1965, с. 225, — запись от 3 мая). Часть тиража (номерованные экземпляры) была напечатана в большом формате (in 4°) на особой бумаге. В книгу вошло 252 стихотворения. Переизданий не было.

К с. 385. Книга волшебств. Вероятно, имеется в виду сборник древнеегипетских волшебных сказок (т. н. «папирус Весткар»), рассказывающий о чудесах и магических действиях разных чародеев и восходящий к эпохе Древнего Царства (ок. 3000 — 2400 до н. э.). *«Упанишады»* (по-санскритски: сокровенное знание) — изложение древнеиндийской философии в форме бесед учителя с учениками (1-е тысячелетие до н. э.).

404. РС, 1913, 12 мая (в статье Бальмонта «Привет Москве»). В январе 1912 г. было прочитано Бальмонтом в Париже на вечере, устроенном французскими и польскими писателями в его честь по случаю 25-летия литературной деятельности. *Всё же, милых покидая...* Вскоре, в начале февраля 1912 г., Бальмонт отправился в длительное кругосветное путешествие.

405. «Нива», 1913, № 39 (сентябрь), с 769 (с посвящением Нине Васильевне Евреиновой).

407—409. Альманах «Гриф. 1903—1913», М., 1913, с. 26.

410. *Гамеланг* — в Индонезии ансамбль музыкальных инструментов, сопровождающий танцы и театральные представления.

412. РС, 1912, 8 июля. *Волопас* — пастух.

413. «Заветы», 1912, № 9 (декабрь), с. 5. *Гавайики* — архипелаг Гавайских островов в Тихом океане, коренное население которого составлял народ *маори.*

416. РС, 1913, 30 июня (в цикле «В деревне»). Лето 1913 г Бальмонт провел в Подмосковье (Наро-Фоминск, Сходня).

417. РС, 1913, 30 июня (в том же цикле).

419. «Заветы», 1913, № 11, с. 17.

К с. 397. Фраи Диэго де Эстелья — см. выше, с. 633

420. *Систр* — в древнем Египте металлические погремушки (числом семь), употреблявшиеся в культе Изиды. В созвездии Ориона — также семь (наиболее ярких) звезд.

422. РС, 1913, 25 декабря (в цикле «Осень»).

ЯСЕНЬ

Рукопись сборника была закончена подготовкой к 1 мая 1915 г. в Париже. Бальмонт писал Е. А. Андреевой 7 мая 1915 г.: «Книгу свою *«Ясень.* Слово о Древе» я кончил... Выбор строгий, многих вещей написанных не включил... Эту книгу я люблю наипаче всех своих последних книг» (ЦГАЛИ). Вышел сборник в 1916 г. в Москве, в изд-ве К. Ф. Некрасова. В нем помещено 197 стихотворений Переизданий не было.

423. *Радиолярии* (лучевики) — род простейших микроорганизмов.

424. *Один* — верховное божество скандинавской мифологии; его эмблемой был ворон *Болид* — крупный метеор, имеющий форму огненного шара. *Эдгар* — Эдгар По, автор баллады «Ворон». *Рунический* — от слова «руны»: древнейшие письмена германских народов.

425. «Заветы», 1914, № 4, с. 3.

426. Дата — по письму Бальмонта к Е. А. Андреевой от 3 февраля 1915 г. (ЦГАЛИ).

430. Это и следующие два стих-ия были написаны во время первого приезда Бальмонта в Грузию (10—28 апреля 1914 г.).

431. Дата — по фотографии с автографа, озаглавленного: «Княжне Тамаре», в собрании Н. К. Бальмонт-Бруни. Княжна Тамара — Тамара Росебовна Канчели (ум. в 1917 г.), жительница Тифлиса, подружившаяся с Бальмонтом, жена грузинского литератора.

432. *Тамар* — Т. Р. Канчели.

433. Дата — по письму Бальмонта к Е. А. Андреевой от 3 марта (н. ст.) 1915 г. (ЦГАЛИ). Сообщая стихи, Бальмонт заметил: «Не знаю, возможно ли их напечатать. Уж очень они зловещи».

434. *Плутарх* (ок. 46 — ок. 126) — греческий писатель, автор жизнеописаний выдающихся деятелей Греции и Рима.

436. Дата — по письму Бальмонта к Е. А. Андреевой от 13(26) марта 1915 г. (ЦГАЛИ). *Винчи* — Леонардо да Винчи. *Апокалипсис* (Откровение святого Иоанна) — древнейший памятник христианской литературы (68—69 гг.), содержащий пророчества о «конце мира» и борьбе Христа с Антихристом. *Мирра* и *нард* — ароматические вещества, употреблявшиеся в древности при богослужениях и в быту.

437. Дата — по письму Бальмонта к Е. А. Андреевой от 16 февраля (н. ст.) 1915 г. (ЦГАЛИ): «Только что написал стих о боярыне Морозовой». *Морозова* (рожденная Соковнина) Феодосья Прокофьевна — вдова одного из виднейших бояр при дворе царя Алексея Михайловича Г. И. Морозова, отличавшаяся добродетельной и подвижнической жизнью, ярая приверженка старой, «правильной веры», духовная дочь вождя старообрядцев протопопа Аввакума, женщина необыкновенно сильной воли, которую не сломили ни преследования, ни мучения. В 1673 г. она была сослана в Боровск и заключена в земляную тюрьму, где и умерла в 1675 г. Тело ее было завернуто в рогожу и закопано в остроге без церковного обряда. Источником стих-ия Бальмонта послужило, вероятно, «Житие боярыни Морозовой», распространенный литературный памятник XVII века. *Ложницы* (правильно: ло́жницы) — спальни, опочивальни *Должное сложение перстов.* Старообрядцы крестятся не тремя, а двумя пальцами.

СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЕДА И ЛУНЫ

Книга вышла в 1917 г. в Москве, в изд-ве В. В. Пашуканиса. В ней помещено 255 сонетов. Издание 2-е — С. Эфрона, Берлин, 1921. Эпиграф к сборнику — испанская народная песня в переводе Бальмонта (см. с. 542 наст. издания).

438. «Биржевые ведомости» (утр. вып.), 1916, 21 августа *Веселая наука* (итал. Gaia scienza) — так называла свою поэзию школа трубадуров, возникшая в Тулузе в первой половине XIV века

440. «Биржевые ведомости» (утр. вып.), 1916, 7 августа. *Толкачик* — областное название некоторых растений (подорожник, хвощ). *Маэстро итальянских колдований* — Микельанджело

442. «Нива», 1916, № 41 (октябрь), с. 678.

443. *Капитан Немо* — герой романа Жюля Верна «20 000 лье под водой». *Атлантида* — по древнейшим преданьям, материк, некогда существовавший в Атлантическом океане (а по другим догадкам — в Эгейском море), в результате катастрофы внезапно опустившийся на дно; центр легендарной древнейшей цивилизации.

444. «Творчество», 2, М.—П., 1918, с. 47 (уже после выхода в свет сборника «Сонеты...»). *Друиды* — жрецы у древних кельтских народов.

445. В Сибири Бальмонт побывал весной 1916 г. *Кабарга* — небольшое парнокопытное животное, обитающее в горных лесах Азии, в частности — в горнотаежных районах Восточной Сибири; из железы самцов кабарги добывается мускус.

446. Дата — по письму Бальмонта к А. Н. Ивановой от 19 августа 1916 г. (ЛБ).

447. *Гламисский и Кавдорский тан* — Макбе́т, герой трагедии Шекспира (тан — старинный шотландский титул крупного феодала). *Эвонский лебедь* — Шекспир (Эвон — река в Англии, на берегу которой расположен Стратфорд, родина Шекспира).

448. *Ultima Thule* — баснословный остров, считавшийся в древности «концом света»; был расположен, по представлению древних, на крайнем севере Европы. Бальмонт разделял взгляд некоторых ученых, считавших, что Туле находился не на севере Европы, а в пределах погибшей Атлантиды.

449. *Литургия* — богослужение.

450. *Зови... эллина и галла.* Восходит к евангельскому выражению (Послание апостола Павла к галатам, III, 28), смысл которого сводится к тому, что истина христианства открыта всем народам.

452. «Минуты». Сборник I, Харьков, май 1917, с. 6.

453. Это стих-ие было написано, вероятно, во время второго приезда Бальмонта в Грузию (октябрь 1915 г.). *Ее воспел... грузин* — Шота Руставели, в поэме «Витязь в тигровой шкуре». *Муэззин* — служитель при мечети, призывающий с минарета к молитве. *Алоэ* — травянистое и древовидное растение с сочными листьями.

454. Дата — по письму Бальмонта к Е. К. Цветковской от 27 июня 1916 г. (ЛБ). *Тариэль, Нэстан-Джар (Дарэджан)* — герой и героиня поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

455. *Канцона* (итал.) — песня. *Виттория Колонна,* маркиза Пескара (1490—1547) — итальянская поэтесса, платоническая возлюбленная Микельанджело *(творец сибилл).*

456. Имя *Михаил* в переводе с древнееврейского означает: *«Кто как бог!». Анджело* — по-итальянски: ангел. *Молчание* и *Ночь* — знаменитые изваяния Микельанджело в Капелле Медичи (Флоренция); под «Молчанием» имеется в виду портретная статуя Лоренцо Медичи. Далее упомянуты прославленные фрески Микельанджело в Сикстинской капелле (Ватикан), изображающие *сивилл* (пророчиц) и библейских пророков.

457. Дата — по письму Бальмонта к Е. К. Цветковской от 2 июля 1916 г. (ЛБ). *Белладонна* — см. примеч. 120. *Нард* — см. примеч. 436. *Полеты птиц небесных подсмотрев.* Леонардо да Винчи изучал полеты птиц, проектируя свои воздухоплавательные аппараты.

458. *Марло* Кристофер (1564—1593) — английский драматург, предшественник Шекспира, автор трагедии «Тамерлан Великий» и «Трагической истории доктора Фауста» (выполненный Бальмонтом перевод этой пьесы был опубликован в 1899 г. в журнале «Жизнь», № 8; отдельное издание — М., 1912). Ранняя смерть Марло была трагической: ввязавшись в пьяную ссору, он был заколот кинжалом.

460. *«La vida es Sueño»* («Жизнь есть сон») — название драмы испанского драматурга Кальдерона де ла Барка (1600—1681), переведенной Бальмонтом. *Сэхисмундо* — герой драмы «Жизнь есть сон», действие которой проходит в условной Польше.

461. *Норны* — в скандинавской мифологии три девы, олицетворяющие человеческие судьбы. *Эдгар По* — см. выше, с. 621.

462. *Шелли* — см. выше, примеч. 89.

463. «Минуты». Сборник 1, Харьков, май 1917, с. 9. Дата — по авторизованной копии цикла «Преображение музыкой» (10 сонетов), посвященного памяти А. Н. Скрябина (ИРЛИ). *Диэз* и *бемоль* — музыкальные термины, обозначающие повышение и понижение звука на полутон. Свои впечатления от игры А. Н. *Скрябина* (1871—1915) на фортепиано Бальмонт изложил в брошюре «Светозвук в природе и световая симфония Скрябина», М., 1917, сс. 22—23. В сентябре 1926 г. Бальмонт написал стих. «Имени Скрябина» (ЦГАЛИ).

464—467. РС, 1916, 15 июля.

ПЕРСТЕНЬ

Сборник вышел в свет в феврале 1920 г. в Москве, в изд-ве «Творчество». В книжке 60 стихотворений. Переизданий не было.

468. *Кусевицкий* Сергей Александрович (1874—1951) — дирижер и контрабасист, автор музыкальных сочинений для контрабаса. Баль-

монт в 1918—1920 гг. поддерживал с семьей Кусевицких дружеские отношения; в 1920 г. они вместе выехали за границу. *Скарабей* — жук, почитавшийся в древнем Египте священным; фигурки скарабея из ценного камня или глазированной глины служили амулетами.

СЕМЬ ПОЭМ

Книжка вышла в свет в 1920 г. в Москве, в изд-ве «Задруга». «Поэмами» названы лирические циклы (числом семь). Всего в книжке 47 стихотворений. Переизданий не было.

470. «Утро России», 1918, 4/5 мая. Входило в неизданный сборник ТО. Дата — по статье Бальмонта «Русский язык. Воля как основа творчества» (1924).

ДАР ЗЕМЛЕ

Сборник был подготовлен в декабре 1919 г. и должен был выйти в свет в Москве к концу января 1920 г. (см. письмо Бальмонта к Е. А. Андреевой от 27 декабря 1919 г. — ЦГАЛИ), но вышел только в 1921 г. уже в Париже, в изд-ве «Русская земля» (Бальмонт, очевидно, выезжая из Москвы за границу, взял с собой рукопись сборника). В книжке 146 стихотворений, в значительной части повторяющих сборник «Перстень». Переизданий не было.

472. «Мы», М., 1920, с. 3 (с посвящением: Люси Кусиковой). Дата — в первой публикации. *Баядера* — восточная танцовщица. *Ново-Гиреево* — подмосковная дачная местность.

474. Стих-ие обращено к дочери поэта Нине Константиновне, в 1919 г. вышедшей замуж за художника Льва Александровича Бруни (1894—1948), который в стих-ии назван *путником*.

ПЕСНЯ РАБОЧЕГО МОЛОТА

Сборник был сдан в Государственное издательство в Москве в январе 1920 г. (см. письмо Бальмонта к Е. А. Андреевой от 31 января 1920 г. — ЦГАЛИ), но вышел в свет только в 1922 г. (в том же издательстве). В сборнике 20 стихотворений, написанных в период с 1899 по 1920 г. Переизданий не было.

475. К. Бальмонт, Революционер я или нет, М., 1918, с. 25.

476. Там же, с. 26.

479. «Москва», 1918, № 1, с. 2. Входило в неизданный сборник ТО.

480. К. Бальмонт, Перстень, М., 1920, с. 38.

481. «Москва», 1920, № 5, с. 3. Было написано к 50-летию со дня смерти А. И. Герцена, широко отмеченному советской общественностью. Тогда же Бальмонт написал стих. «Герцен» («Москва», 1920,

№ 5, с. 2; «Песня рабочего молота», с. 24). Оба эти стих-ия Бальмонт читал на вечерах памяти Герцена в Большом и Малом театрах. *«Полярная Звезда»* — название сборников, издававшихся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне в 1855—1869 гг.

482. «Художественное слово». Временник Литературного отдела Народного комиссариата просвещения. Книга 1, М., 1920, с. 4. В праздничный день 1 мая 1920 г. Бальмонт прочитал это стих-ие на торжественном вечере в Доме Союзов. *Гор* — древнеегипетский бог; изображался в виде сокола или человека с соколиной головой.

МАРЕВО

Книжка вышла в 1922 г. в Париже, в изд-ве «Франко-русская печать». В ней 94 стихотворения. Переизданий не было.

483. РС, 1917, 1 октября. *Вий* — фантастический персонаж одноименной повести Н. В. Гоголя.

485. *Боро-Будур* — грандиозный храм VIII в. в центре острова Ява, посвященный Будде *(Светильник мира)*. *Индра* — в индийской ведической религии бог грозы и бури, царь богов.

МОЕ — ЕЙ

Книжка вышла в 1924 г. в Праге, в изд-ве «Пламя». Стихи, вошедшие в книжку (числом 87), в подавляющем большинстве были написаны в 1923 г. Переизданий не было.

486. Дата — по письму Бальмонта к Е. А. Андреевой (ЦГАЛИ).

487. СЗ, 1924, кн. 19, с. 206 (в статье Бальмонта «Русский язык. Воля как основа творчества»).

В РАЗДВИНУТОЙ ДАЛИ́

Книжка вышла в 1929 г. в Белграде, в изд-ве «Русская библиотека». В ней 114 стихотворений. Переизданий не было.

497. «Перезвоны» (Рига), 1927, № 29, с. 909, в цикле из трех стих-ий — «Мать», «Отец» и «Я», с пометой: «Из книги „Ризы Единственной“» (книга эта в свет не вышла). *Семизвездие* — Большая Медведица. *Бенарес* — священный город в Индии. *Капбретон* — местечко в Бретани, на берегу Атлантического океана, где Бальмонт часто жил в 20—30-е годы.

499. Печ. по сб. «Северное сияние» (1931). В сб. «В раздвинутой дали́» посвящение сформулировано иначе: «Людасу Гире и всем друзьям в Литве». Гира Людас (1884—1946) — литовский поэт, видный литературный и общественный деятель Советской Литвы. Его перу принадлежит поэма в сонетах «Бальмонт» (1928), переведенная Бальмонтом (перевод напечатан в качестве введения в сб. Бальмонта «Северное сияние», 1931 г.). Бальмонт посетил Литву в 1928 г. *По-*

морье — Балтийское побережье. *Суоми* — Финляндия. *«Калевала»* — народный карело-финский эпос. *Одесную* — направо, *ошуйю* — налево. *Вельмуд* — варяжское имя. *Нестор* (XI—XII век) — монах Киево-Печерской лавры, вероятный автор древнейшей русской летописи. *Олег* — киевский князь X века, варяг по происхождению; ходил войной на Царьград (Константинополь), на воротах которого, по преданию, прибил свой щит для устрашения греков. Об этом — в стихах А. С. Пушкина («Олегов щит»):

Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.

Дуб-дракон — долбленый челн (струг), украшенный изображением дракона, у народов, населявших в древности берега Балтийского моря. *Я камыши пропел.* Имеется в виду стих. «Камыши» (№ 29 наст. издания). *Чья песнь о лебеде Россию обошла?* Имеется в виду стих. «Лебедь» (№ 34 наст. издания). *Мгновенный блеск весла.* Вероятно, имеется в виду стих. «Влага» (№ 185 наст. издания). *Болотной лилии красу.* См. стих. «Болотные лилии» (№ 27 наст. издания). *Дайна* — литовская народная песня. Выполненные Бальмонтом переводы дайн см. на сс. 567—573 наст. издания. *За лесом Муромским* — то есть во Владимирской губернии, на родине Бальмонта.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Книга вышла в 1931 г. в Париже, в изд-ве «Родник». В ней 108 стихотворений, в их числе — переводы литовских народных песен, частично перепечатанные из прежних книг Бальмонта («Жар-птица», «Птицы в воздухе», «Морское свечение»), частично переведенные заново. Переизданий не было.

500—501. *Вечерница* — здесь: вечерняя звезда (Венера). *Перкун* (Перкунас) — литовский бог грома и молнии, родственный славянскому Перуну. *Гедимин* — великий князь Литовский (в 1316—1341 гг.), в разное время то поддерживал тесные отношения с Русью, то воевал с нею; считался основателем литовской столицы Вильны (Вильнюса). *Дайна* — см. примеч. 499.

502. *Рута* — пахучее травянистое растение. *И Гедиминовою Вильною ты быть увенчана — должна!* В октябре 1920 г. панская Польша захватила Вильнюс, после чего Литва и Польша вступили в острый и длительный конфликт (Вильнюс и Вильнюсская область были возвращены Литве лишь в 1939 г. Советским Союзом). Бальмонт был всецело на стороне Литвы и в своих стихах, статьях и письмах энергично обличал польских захватчиков. В неизданном письме к литовскому поэту *Людасу Гире* (см. о нем примеч. 499) от 21 мая 1929 г. он писал: «...еще в 1920-м году... я говорил именно так: захват чужого двора никогда к благому не приводит. Вильно, вне всяких сомнений, принадлежит Литве, не Польше» (сообщено Н. К. Бруни-Бальмонт).

503. *Вандея* — департамент на западе Франции.

504. СЗ, 1924, кн. 22, с. 175 (в цикле «Из книги „В раздвинутой дали"», хотя впоследствии в книгу эту не вошло). Печ. по сб. «Голубая подкова» (1935). *Та, что приняла... семь мечей* — Богородица. В православной иконографии Богоматери встречаются т. н. «семистрельные» иконы ее, на которых она изображена (без младенца) с семью стрелами, вонзившимися в грудь. *Жалейка* — тростниковая или деревянная дудка. *Доезжачий* — человек, обучающий гончих собак, старший среди псарей. *Олег* — см. примеч. 499. Казачий атаман *Ермак Тимофеевич*, победитель сибирского хана Кучума, раненный в бою 6 августа 1585 г., под тяжестью кольчуги утонул в реке Вагас. *Вертеп* — пещера. *Янтарное море* — Балтийское море. Свои мысли о русском языке Бальмонт высказал в интересной статье «Русский язык (Воля как основа творчества)», напечатанной в СЗ, 1924, кн. 19, сс. 206—233.

505. Дата — по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА

Последняя прижизненная книжка Бальмонта, вышедшая в русском издательстве «Alatas», учрежденном писателем-эмигрантом Г. Гребенщиковым в США (Southbury, Connecticut), очевидно, в начале 1935 г. (книжка издана без обозначения года; на экземпляре в моем собрании имеется дарственная стихотворная надпись Бальмонта, обращенная к его жене, Е. К. Цветковской, и датированная 7 февраля 1935 г.). В книжке 19 стихотворений, написанных в 1916—1931 гг. Переизданий не было.

506. *Гребенщиков* Георгий Дмитриевич (1883—1964) — писатель-сибиряк, автор романов и повестей на сюжеты из старосибирского быта; в 1920 г. эмигрировал во Францию, затем — в США.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

507. «Артист», 1893, № 30, с. 112 (под загл.: «У берегов Скандинавии»). Вошло в 1-е издание сборника «Под северным небом» (1894), но было исключено при перепечатке сборника в составе 1-го тома Собрания стихов (1905). *Валгалла* — см. примеч. 288. *Валькирии* — в скандинавской мифологии прекрасные девы, дочери верховного бога Одина; они участвуют в сражениях и уносят души павших героев в Валгаллу.

508. РВ, 1893, 7 октября. *Плещеев* Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт-демократ, в молодости входил в революционный кружок М. В. Петрашевского, в 1849 г. был арестован и после 8-месячного заключения в Петропавловской крепости, лишенный «всех прав состояния», выслан рядовым в Оренбургский корпус. В 1856 г. был освобожден от военной службы и вернулся к литературной деятельности. В старости пользовался большим уважением в передовых общественно-литературных кругах. Бальмонт присутствовал на похо-

ронах А. Н. Плещеева в Москве (7 октября 1893 г.) и прочитал над могилой следующее стих-ие:

Его душа была чиста, как снег;
Был для него святыней человек;
Он был всегда певцом добра и света;
К униженным он полон был любви.
О молодость! Склонись, благослови
Остывший прах умолкшего поэта.

(РВ, 1893, 8 октября)

509. ЖДВ, 1898, № 12, с. 1438. Источником сюжета послужил, вероятно, рассказ А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда» (1894). Подтверждением этому служит автограф данного стих-ия с посвящением А. П. Чехову, вклеенный в экземпляр сб. Бальмонта «Тишина», принадлежавший Чехову (С. Балухатый, Библиотека Чехова. — Сб. «Чехов и его среда», Л., 1930, с. 217). Автограф датирован: «Москва, 1894, 24 апр. — Ялта, 1898, 23 сент.» (первая дата означает, очевидно, время написания стих-ия, вторая — время передачи автографа). Бальмонт познакомился с А. П. Чеховым летом 1896 г. в Крыму, в дальнейшем они переписывались и встречались — в Москве и особенно часто в Ялте, в 1898 и 1901 гг. Чехов относился к Бальмонту с добрым чувством. В мае 1902 г. он писал ему: «Вы знаете, я люблю Ваш талант, и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения» (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. 19, М., 1950, с. 281). Бальмонт, в свою очередь, высоко ценил творчество Чехова и неизменно подчеркивал это в дарственных надписях на посылавшихся ему книгах: «От искреннего почитателя его таланта...», «дорогому писателю...», «от глубоко преданного...», «от искреннего поклонника его артистического таланта», «от искренне любящего его...», «художнику с истинно-русской душой... от давно его любящего» («Чехов и его среда», сс. 216—218, 280). В архиве Чехова (ЛБ) сохранилось 12 писем Бальмонта (1898—1904). «Я так люблю страницы, написанные Вами, с их грустью, с их дымкой, с их тонким изяществом», — писал он Чехову 25 декабря 1901 г. О своих встречах с А. П. Чеховым Бальмонт рассказал в статье «Имени Чехова» («Россия и славянство» (Париж), 1929, 13 июля).

510. «Артист», 1894, № 43, с. 136.

511. СВ, 1898, № 1, с. 134. Вошло в 1-е издание сборника «Тишина» (1898) как заключение книги, но было исключено при перепечатке сборника в составе 1-го тома Собрания стихов (1905). Дата — по цензурному разрешению сборника «Тишина». Есть автограф в архиве К. М. Станюковича (ГПБ) — с некоторыми разночтениями, датой: 12 декабря 1897 г. и с посвящением Зинаиде Константиновне Станюкович.

512. ЕС, 1900, № 2/3, с. 104.

513. Первая полная публикация — в зарубежном сборнике «Песни борьбы», изданном «Союзом русских социаль-демократов» (Женева, 1902, с. 113, — без имени автора). Печ. по автографу (ЦГАЛИ),

опубликованному в свое время Е. А. Андреевой (в кн.: В. Брюсов, Дневники 1891—1910, М., 1927, с. 176). Стих-ие является откликом на известную студенческую демонстрацию 4 марта 1901 г. в Петербурге, на площади у Казанского собора, закончившуюся избиением демонстрантов полицией и казаками и убийством нескольких студентов. Бальмонт присутствовал на демонстрации. В легальной печати это стих-ие появиться не могло, но получило широкое распространение в списках (как правило, без имени автора). Тогда же, в мае 1901 г., В. И. Ленин хотел напечатать «Маленького султана» в пятом номере «Искры»; известен список стих-ия с собственноручным примечанием В. И. Ленина: «Приводим два ходящие по рукам стихотворения, характеризующие общественное настроение» («Исторический архив», 1955, № 6, с. 9, — второе стих-ие не сохранилось). В дальнейшем «Маленький султан» неоднократно цитировался в большевистских прокламациях (см.: А. Дун. О двух стихотворениях, предназначавшихся для Ленинской «Искры». — «Русская литература», 1963, № 3, сс. 161—163). Под заглавием «Марокко» это стих-ие фигурирует в листовке Екатеринославского комитета РСДРП, датированной 3 февраля 1904 г. (см. сб.: «Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX — начала XX в.», Л., 1967, с. 70). На третий день после разгона и избиения студенческой демонстрации у Казанского собора, 7 марта 1901 г., Бальмонт писал Н. К. Михайловскому: «Глубокоуважаемый Николай Константинович, я только что узнал, что несколько десятков русских писателей, — мне назвали Вас и несколько других, — составили коллективный протест против вопиющих злоупотреблений и достойных возмездия бесчинств со стороны гнусных представителей произвола и насильничества. Я очень жалею, что не знал об этом протесте раньше, и, если еще не поздно, я очень прошу Вас включить и мое имя в число писателей, выражающих опричникам свое негодование. С истинным уважением *К. Бальмонт*» (ИРЛИ; К. Муратова, Возникновение социалистического реализма в русской литературе, М.—Л., 1966, с. 170). «Маленький султан» был написан, очевидно, в эти дни. Вскоре, 14 марта 1901 г., на благотворительном вечере в зале петербургской Городской думы Бальмонт «под гром рукоплесканий» прочитал с эстрады это «крайне дерзкое и возмутительное стихотворение» (как оно охарактеризовано в справке департамента полиции, датированной июнем 1901 г.). Когда Бальмонт сошел с эстрады, присутствовавшие в зале агенты охранки спрашивали его, чье это стих-ие, и просили записать его текст; Бальмонт отказался сделать это, сказав, что стих-ие — испанское, в его переводе (об этом сообщает Е. А. Андреева в своих неизданных воспоминаниях о Бальмонте. — ЦГАЛИ). Вслед за тем на квартире у Бальмонта (Дмитровский пер., 11) был произведен тщательный обыск, а в дальнейшем, 7 мая 1901 г., постановлением Особого совещания ему было «воспрещено жительство в столицах, столичных губерниях и университетских городах» сроком на три года («Русская литература», 1963, № 3, с. 162). История эта получила шумную огласку в обществе. В. Брюсов в апреле записал в дневнике: «Теперь только о нем ⟨о Бальмонте⟩ и говорят в Петербурге» (В. Брюсов, Дневники 1891—1910, М., 1927, с. 102; см. также дневник М. С. Сухотина — «Литературное наследство», т. 69, кн. 2, 1961, сс. 151—152). В числе арестованных и высланных из столицы писателей Бальмонт упомянут

в заметке «Полицейский набег на литературу», помещенной в ленинской «Искре» (1901, № 5, с. 3). В июне Бальмонт уехал из Москвы в усадьбу Сабынино (Курской губернии), где прожил (с выездами в Ялту и Ясную Поляну — к Л. Н. Толстому) до середины марта 1902 г., когда при помощи курского губернатора выхлопотал себе разрешение уехать за границу. *Маленький султан* — Николай II.

514. «М. Горький, Материалы и исследования», 1, Л., 1934, с. 194.

515. К. Д. Бальмонт, Собрание стихов, т. 2, М., 1904, с. 2.

516. ЗР, 1906, № 1, с. 75 (в очерке Бальмонта «Два слова об Америке»). Дата — по содержанию.

517. Печ. впервые по автографу (ИРЛИ, архив Г. Г. Бахмана). О М. А. Лохвицкой см. примеч. 71.

518. НЖ, 1905, № 15, от 17 ноября. *Иудин осинник.* По евангельскому преданию, апостол Иуда, предавший Иисуса Христа, повесился на осине. *Кагал* — здесь: шумная, крикливая толпа.

519. «Жупел», 1905, № 1 (2 декабря), с. 3. М. Горький охарактеризовал это стих-ие как «вещь острую и своевременную» и предполагал напечатать его в газете «Новая жизнь» (см.: З. Карасик, М. Горький и сатирические журналы «Жупел» и «Адская почта». В кн.: «М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. Материалы, воспоминания, исследования», М., 1957, с. 366).

520. К. Д. Бальмонт, Белые зарницы. Мысли и впечатления, СПб., 1908, с. 184 (в очерке «Флейты из человеческих костей»). Из очерка выясняется, что стих-ие это было написано под свежим впечатлением разгрома вооруженного восстания, вспыхнувшего в Москве в декабре 1905 г.: «...и был дикий декабрь. Мимо меня проходили толпы, мимо меня проходили солдаты, мимо меня проносили трупы, мимо меня пронеслись победные вскрики смелых, быстро сменившись хохотом наглых и стоном раненых. Лик Человека изменился и надолго стал ликом Зверя... И слыша в душе замирания флейт, я измененным голосом шептал...» (далее следует текст стих-ия). В первопечатной публикации очерка (ЗР, 1906, № 6, с. 45) этого стих-ия нет. Книга «Белые зарницы» по выходе в свет подверглась аресту, впоследствии снятому. Ср. стих. «Черные вороны» (№ 327 наст. издания).

521. «Весы», 1909, № 1, с. 8. Дата — по письму Бальмонта к В. Я. Брюсову от 11 декабря 1908 г. (ЛБ).

522. СМ, 1910, № 9, с. 105. *Клирос* — в православной церкви боковая часть возвышения перед иконостасом; на клиросах располагается хор.

523. «Северные записки», 1913, № 1, с. 46. Возможно, обращено к В. Я. Брюсову и связано с появлением в 1912 г. его книги «Далекие и близкие», где были перепечатаны статьи Брюсова о Бальмонте, в

том числе и резко критические, с уклончивым «Послесловием», в котором одновременно воздавалась хвала Бальмонту как «дивному мастеру стиха» и утверждалось, что он, «конечно, уже сказал свое последнее слово» (с. 106). О взаимоотношениях Бальмонта и Брюсова см. примеч. 33.

524. РС, 1913, 30 июля (в цикле «В деревне», — это единственное стих-ие цикла, которое не вошло в сб. «Белый зодчий», может быть, по обстоятельствам цензурным). *Голубой мундир* — мундир жандармского офицера.

525. Печ. впервые по автографу (ИРЛИ). *Иванов* Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт и филолог, теоретик русского символизма. Ему принадлежит одна из наиболее содержательных статей о творчестве Бальмонта — «О лиризме Бальмонта» («Аполлон», 1912, № 3/4; «Записки Неофилологического общества при Петербургском университете», 1914, вып. 7). Дополнительно: Вяч. Иванов, К. Д. Бальмонт («Речь», 1912, 11 марта); М. С. Альтман, Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем Ивановым («Ученые записки Тартуского университета», вып. 209. Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение, Тарту, 1968, сс. 304, 312, 314).

526. «Биржевые ведомости» (утр. вып.), 1916, 12 июня. Входило в неизданный сборник ТО. Бальмонт побывал в Японии в апреле — мае 1916 г.

527. «Нива», 1916, № 52, с. 86 (в цикле «Из книги „Сонеты солнца, меда и луны“», — куда, однако, не вошло). Клише автографа этого стих-ия было помещено в качестве вступления к Собранию лирики, в первой книжке данного издания — «Под северным небом», М., 1917, с. 7. *Под громкий лай собак бежал в лесах олень.* По греческой мифологии, охотник Актеон, подглядевший купающуюся Артемиду (Диану), в наказание был обращен богами в оленя и растерзан своими же собаками.

528. СП, с. 190. Входило в неизданный сборник ТО.

529—530. «Весенний салон поэтов», М., 1918, сс. 32 и 35. Оба стих-ия входили в неизданный сборник ТО.

531. «Москва», 1919, № 2, с. 6 (без посвящения С. Прокофьеву). Печ. по списку неизвестной руки с автографической подписью Бальмонта (ЛБ). *Прокофьев* Сергей Сергеевич (1891—1953) — знаменитый русский композитор, с которым Бальмонт познакомился в 1915 г. *Светы степного ковыля.* Имеется в виду «Скифская сюита» С. Прокофьева (1915).

532. СП, с. 116. Входило в неизданный сборник ТО.

533. СЗ, 1921, кн. 4 (в статье Бальмонта «Мысли о творчестве»). Входило в неизданный сборник ТО. В 1918 г., к 100-летию со дня рождения И. С. Тургенева, Общество любителей российской словесности приступило к подготовке сборника. Девять современных писателей откликнулись на предложенную редакцией сборника анкету о Тургеневе — и в их числе Бальмонт. Сборник в свет не вышел, а

полученные ответы были спустя пять лет опубликованы П. Н. Сакулиным в кн.: «Тургенев и его время». Первый сборник, М.—П., 1923. Здесь, на сс. 16—25, помещен пространный ответ Бальмонта — целая статья «Рыцарь Девушки — Женщины», датированиая 10 сентября 1918 г. Заканчивается она стих-ием «Тургенев — первая влюбленность. . .», о котором Бальмонт пишет, что оно «возникло внезапно, когда в сентябрьские дни, начав перечитывать Тургеиева целиком, чтоб заглянуть, все ли еще я люблю его, как любил в юности, я вдруг увидал, что я люблю его не так, как в юности, а гораздо сильнее» (с. 24). Ср. юношеское стих. Бальмонта «Памяти И. С. Тургенева» (№ 18 наст. издания).

534. «Жар-птица» (Берлин), 1921, № 2, с. 10. *Джамиле* — ср. стих. 1898 г. «Чары месяца» (№ 123 иаст. издания).

535. СЗ, 1922, кн. 9, с. 181 (в цикле «Видения родного»).

536. К. Д. Бальмонт, Где мой дом? Очерки (1920—1923), Прага, 1924, с. 104 (в очерке «Золотая птица»). Здесь стих-ие предварено следующими словами: «Когда 15 апреля нынешнего года друзья Александра Ивановича Куприна выступали один за другим на его вечере, в зале, которая не могла вместить всех желавших слушать его и о нем, я произнес, обращаясь к нему, мою импровизацию, где пытался воплотить именно ту черту Куприна, которая близит его к царству природы». В годы эмиграции Бальмонта и А. И. Куприна связывали дружеские отношения (см.: К. А. Куприна. Бальмонт и Куприн. — «Голос родины» (Париж), 1968, № 51, — здесь приведены три письма Бальмонта к Куприну 1921 г.). *Из дуба строились драконы.* См. примеч. 499.

537. К. Д. Бальмонт, Где мой дом?, Прага, 1924, с. 105. Стих-ие было прочитано Бальмонтом на «детском утре» (6 мая 1923 г.), посвященном творчеству А. И. Куприна.

538. К. Д. Бальмонт, Где мой дом?, с. 83 (в очерке «Огненные лепестки», посвященном Японии и японской поэзии). Здесь Бальмонт писал: «Много излюбленных судьбою я видел благословениых уголков Земли. Много раз, в путях, я был счастлив на далеких живописных островах Океании или в горном уюте солнечных стран. Но нигде я не испытал того, что в Японии. Несколько недель счастья, в раме сказочной красоты, и ни одной минуты испорченной, ни единого мгновенья, чем-нибудь затемненного. Ниппон, Корень Солнца, умеет быть таким. Древо Солнца, в корне своем, растет из чистого золота» (сс. 82—83). *Корень Солнца* — название Японии в древних преданиях. *Самурай* — представитель военного сословия в феодальной Японии. *Фуджи-Яма* (Фудзияма) — вулканическая гора в Японии, считается священной.

539. СЗ, 1924, кн. 22, с. 174 (в цикле «Из книги „В раздвинутой дали“», — в книгу, однако, не вошло).

540. «Перезвоны» (Рига), 1927, № 28, с. 870. *«Москва. . . как много в этом звуке. . .»* — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

541. «Перезвоны» (Рига), 1927, № 36, с. 1138. *Сага* — см. примеч. 149.

542. «Перезвоны» (Рига), 1927, № 38, с. 1196. *Уто́к* — нити, расположенные параллельно друг другу и поперек ткани.

543. СЗ, 1936, кн. 61, с. 189 (в статье Б. Зайцева «О Бальмонте»). *Как взгляну я на беду свою*... В 1932 г. обнаружились признаки душевного заболевания Бальмонта.

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Вильям Блейк

544. «Детское чтение», 1900, № 5, с. 222. *Блейк* — см. выше, с. 617. Перевод стих. «Cradle song» (1789).

545. ЕС, 1900, № 11, с. 246. Перевод стих. «Tiger! tiger! burning bright...» (1794).

Байрон

546. ЖДВ, 1903, № 1, с. 55. Перевод стих. «Stanzas for music» (1815).

Шелли

547. Сочинения Шелли. Перевод с английского К. Д. Бальмонта, выпуск 4, М., 1896, с. 12. *Шелли* — см. выше, примеч. 89. Перевод стих. «The Cloud» (1820). Это второй перевод «Облака», выполненный Бальмонтом. В «Предисловии переводчика» он сказал: «Среди лирических стихотворений Шелли «Облако» является одним из наиболее блестящих и наиболее характерных для него. Между тем перевод этого стихотворения, помещенный в первом выпуске (СПб., 1893, с. 21. — *В. О.*), далеко не передает всех его образов и страдает тем существенным недостатком, что не воспроизводит певучего ритма подлинника. Это побудило меня перевести его вновь с соблюдением размера подлинника и с возможно близким воспроизведением всех его образов. Считаю, впрочем, не лишним сказать, что из переведенных мною стихотворений Шелли это — единственное, которое я нашел необходимым перевести вновь» (сс. 3—4).

548. Сочинения Шелли. Перевод с английского К. Д. Бальмонта, выпуск 1, СПб., 1893, с. 29. Перевод стих. «Osimandia» (1817). *Озимандия* — так греческие историки называли египетского фараона Рамзеса II (XIII век до н. э.).

Эдгар По

549. «Артист», 1894, № 41, с. 158. *Э. По* — см. выше, с. 621. Перевод стих. «The Raven» (1845).

550. Первый и второй разделы — Эдгар По, Баллады и фантазии. Перевод с английского К. Д. Бальмонта, М., 1895, с. 8. Полностью — ЕС, 1900, № 12, с. 99. Перевод стих. «The Bells» (1848—1849). В предисловии к «Балладам и фантазиям» Бальмонт охарактеризовал свое переложение как «скорей подражание, чем перевод» (с. XIV). Положено на музыку С. В. Рахманиновым (кантата для мужского голоса, хора и оркестра).

551. «Жизнь», 1899, № 9, с. 170. Перевод стих. «Ulalume» (1847). *Астарта* — греческое имя древнефиникийской богини плодородия и любви; она изображалась с коровьими рогами на голове (*полумесяц — двурогой чертой*). *Сибиллический* — пророческий.

552. Эдгар По, Баллады и фантазии. Перевод с английского К. Д. Бальмонта, М., 1895, с. 11. Перевод стих. «Annabel Lee» (1849).

Теннисон

553. «Южное обозрение», 1898, 25 декабря (под загл.: «Лотофаги» и с датой: 1898. Париж). *Теннисон* Альфред (1809—1892) — английский поэт-лауреат. Перевод поэмы «The Lotos-Eaters» (1832). В феврале 1897 г. Бальмонт писал Г. Г. Бахману из Парижа: «Я перевел из Теннисона «The Voyage of Maldun», «The Lotos-Eaters» и «The Lady of Shalott». Я в восторге от этих трех поэм» (ИРЛИ). *Лотофаги* — по преданиям древних, сказочный народ, о котором в девятой песне «Одиссеи» Гомера рассказано, что он питался цветами лотоса, дающими «забвение возврата» тому, кто их отведает. *Рапсод* — древнегреческий поэт-певец. *Амарант* — декоративное южное растение. *Моли* — растение из семейства луковых (Allium moly). *Акант* — южное растение с большими блестящими листьями. *Чудовища морей* — киты. *Нектар* — в греческой мифологии напиток богов. *Элизиум* — античный рай.

Оскар Уайльд

554. Оскар Уайльд, Баллада Рэдингской тюрьмы. Перевод с английского К. Д. Бальмонта, «Скорпион», М., 1904 (цензурное разрешение — 10 марта 1904 г.). *Уайльд* Оскар (1856—1900) — прославленный английский поэт, драматург, прозаик и критик, «апостол эстетизма» и блестящий денди, после скандального судебного процесса по обвинению в нарушении нравственности в 1895 г. был приговорен к двухлетнему заключению в каторжной тюрьме. После освобождения, отторгнутый ханжеским светским обществом, он уехал во Францию, где и написал последнее свое произведение — «Балладу Рэдингской тюрьмы» («The Ballad of Reading Gaol»). Бальмонт высоко це-

нил творчество О. Уайльда, чазывал его «гениальным поэтом», считал, что в своей «тюремной балладе» он «изобразил ужасы неволи и чудовищность смертной казни с такой силой, какой не достигал до него ни один из европейских поэтов». См. статьи Бальмонта: «Поэзия Оскара Уайльда» («Весы», 1904, № 1; «Горные вершины», с. 112) и «Об Уайльде» (ЗР, 1906, № 2). В 1908 г. был издан перевод драмы Уайльда «Саломея», выполненный Е. А. Андреевой сообща с Бальмонтом, и с его предисловием. *Рэдинг* — маленький городок неподалеку от Оксфорда. *Он не был больше в ярко-красном.* Кавалеристы английской гвардии носили красные мундиры. *Шериф* — здесь: полицейский чиновник. *Кайафа* — по евангельскому преданию, иудейский первосвященник, способствовавший осуждению Иисуса Христа. *Сарабанда* — испанский танец. *Синклит* — в древней Греции собрание высших лиц, в широком смысле — общее сборище (с ироническим оттенком). *Смерть на белом коне* — образ из Апокалипсиса. *С тех пор, как первый брат убит был.* Первый брат — Авель, убитый Каином. *Когда же нет у человека...* и т. д. Имеется в виду евангельский рассказ о женщине, которая разбила сосуд с драгоценным мирром («из нарда цельного»), чтобы умастить голову Христа, который находился в это время в доме прокаженного (От Марка, XIV, 3—9).

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Бодлер

555. К. Д. Бальмонт, Из чужеземных поэтов, СПб., ⟨1908⟩, с. 101. *Бодлер* — см. выше, примеч. 78. Перевод стих. «La Beauté» (1842—1844).

556. «Вестник иностранной литературы», 1899, № 4, с. 90. Перевод стих. «La mort des amoureuses» (1847 ?).

557. «Вестник иностранной литературы», 1908, № 3, с. 248. Перевод. стих. «La Géante» (1843).

558. «Вестник иностранной литературы», 1889, № 4, с. 55; вторично — сб. «Итоги», М., 1903, с. 64 (за подписью: К. Бальмонт и без указания на то, что это перевод из Бодлера). Перевод стих. «Le Gouffre» (1862). *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский философ. По рассказу Буало, у Паскаля бывали галлюцинации: ему мерещилось, что он проваливается в разверстую пропасть.

Поль Фор

559—561. НП, 1903, № 8, с. 122. *Фор* Поль (1872—1960) — французский поэт-символист.

ИЗ ИСПАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Испанские народные песни

562—606. Отдельные песни: ЖДВ, 1899, № 11, с. 1291 и № 12, с. 1427 (23 песни); «Жизнь», 1900, № 5, с. 245 (35 песен с предисловием, дата: Париж, март 1900 г.); «Горные вершины», сс. 140—172 (161 песня, с предисловием). Полное издание: К. Д. Бальмонт, Любовь и ненависть. Испанские народные песни, М., 1911 (здесь — 362 песни, распределенные по тематическим разделам, с предисловием «Испанец-песня», первоначально напечатанным в РМ, 1908, № 12, и с примечаниями). Печ. по «Горным вершинам». Источник перевода: «Cantos populares españoles», tt. I—V. Sevilla, 1883. *Soleares, coplas* и *seguidillas* — формы испанской народно-песенной поэзии (трехстишия, четверостишия и семистишия).

Хосе де Эспронседа

607. К. Д. Бальмонт, Из мировой поэзии, «Слово», Берлин, 1923, с. 204. *Эспронседа* Хосе (1808—1842) — испанский поэт. *Иордан* — река в Палестине. *Ричард I* (1157—1199) — король Англии, прозванный за отвагу и подвиги Львиным Сердцем; в 1190—1192 гг. возглавлял крестовый поход на завоевание «Святой земли».

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные сказания о Твардовском

608—610. ЗР, 1908, № 1, с. 54 (в статье Бальмонта «Твардовский. Тайна вечной юности»). *Твардовский* — вымышленный герой польских народных сказаний.

Адам Мицкевич

611. КЗ, 1906, № 2 (май), с. 18; вторично — ЗР, 1906, № 6 (в статье Бальмонта «Флейты из человеческих костей»). Печ. по сб. «Песни мстителя» (Париж, 1907, с. 50). Перевод из 3-й части поэмы А. Мицкевича «Дзяды» (1821—1832), — это песня одного из героев поэмы, Феликса, польского повстанца, попавшего в плен к русским. За помещение этого перевода (а также и другого отрывка из «Дзядов» — «Песнь крови») в книге очерков Бальмонта «Белые зарницы» (СПб., 1908) против издателя книги М. В. Пирожкова в феврале 1909 г. было возбуждено судебное преследование по обвинению в «дерзостном неуважении к верховной власти» (Пирожков был приговорен к заключению в крепости на год). *Пален* гр. Петр Алексеевич (1745—1826) — генерал, петербургский военный губернатор при Павле I, один из организаторов заговора против Павла и участник его убийства 11 марта 1801 г. *Шарф для царя.* Павел I был удушен шарфом, который снял с себя один из офицеров-заговорщиков.

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Ярослав Врхлицкий

612—614. Ярослав Врхлицкий, Избранные стихи. Перевод с чешского К. Д. Бальмонта, Прага, 1928, сс. 9, 17 и 49. *Врхлицкий* Ярослав (1853—1912) — видный чешский поэт.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные песни

615—623. К. Д. Бальмонт, Золотой сноп болгарской поэзии. Народные песни. Перевод с болгарского, София, 1930, сс. 31, 45, 55, 62, 69, 72, 95, 97, 102. *Девойка* — девушка. *Юнак* — в сербском народном эпосе: добрый мóлодец, удалец, богатырь. *Коляда* — цикл народных рождественских праздников.

Иван Вазов

624. К. Д. Бальмонт, Соучастие душ. Очерки, София, 1930, с. 109. *Вазов* Иван Минчов (1850—1921) — болгарский поэт и общественно-политический деятель, ревнитель болгаро-русской дружбы.

ИЗ ЛИТОВСКОЙ ПОЭЗИИ

Песни и дайны

625—627. «Шиповник», кн. 5, СПб., 1908, с. 105—107. *Дайна* — см. примеч. 499. *Угорская Земля* или Угорская Русь — северо-восточная часть Венгрии. *Лаума* — в литовской мифологии злая волшебница, обменивающая детей. *Перкунас* — см. примеч. 500—501.

628. «Далекая окраина» (Владивосток), 1916, 3 мая.

629—633. К. Д. Бальмонт, Северное сияние. Стихи о Литве и Руси, Париж, 1931, сс. 97, 100, 101, 111, 120, 134.

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Грузинская ода к Тамар

634. Шота Руставели, Носящий барсову шкуру. Грузинская поэма XII века. Перевод К. Бальмонта, М., 1917, с. 9.

Шота Руставели

635. «Отечество», кн. 1. П., (1916), с. 475. Бальмонт познакомился с поэмой Руставели «Вепхис Ткаосани» («Витязь в тигровой шкуре») в 1912 г. в прозаическом переводе ее на английский язык, выполненном Марджори Скотт Уордроп (1869—1909). Во время кругосветного путешествия, на английском пароходе «Афина», Бальмонт

встретился с братом переводчицы Оливером Уордропом, который и дал ему прочесть корректуру перевода. Бальмонт был захвачен поэмой. Мысль о русском переложении ее возникла у поэта в 1913 г. в Париже, где он часто встречался с молодым грузинским поэтом Паоло Яшвили и его приятелями (от них Бальмонт получил в подарок грузинское издание поэмы с иллюстрациями М. Зичи). В апреле 1914 г., во время кратковременного приезда в Россию, Бальмонт в первый раз посетил Грузию, где подружился с семьей литератора А. И. Канчели, в свою очередь поддержавшей его мысль о переводе поэмы Руставели. Непосредственно к переводу Бальмонт приступил после окончательного возвращения в Россию, летом 1915 г., и отдал этому делу почти три года жизни. К концу августа 1915 г. было переведено уже пять песен. В июле — сентябре Бальмонт встречался в Москве с другим молодым грузинским поэтом — Тицианом Табидзе, и пользовался его советами и помощью («У меня сидит студент-грузин Табидзе. Мой поклонник и переводчик», — писал Бальмонт А. Н. Ивановой 13 июля 1915 г. (ЛБ); ср. стих. Т. Табидзе «Встреча с Бальмонтом». — «Стихотворения и поэмы», «Б-ка поэта» (Б. с.). Л., 1964, с. 153). В дальнейшем он пользовался также консультацией известного филолога и лингвиста академика Н. Я. Марра. В конце сентября — начале октября Бальмонт вторично посетил Грузию, с большим успехом выступал в Тифлисе и Кутаисе с лекциями о Руставели и с чтением отрывков из своего перевода. В январе 1916 г. он прочитал лекцию о поэзии Руставели также и в Петрограде. В декабре 1916 г. перевод вчерне был закончен, но обработка его продолжалась и позже — очевидно, в течение всего 1917 г. В начале 1917 г. Вступление и песни 1—8 и 47 были изданы отдельной книжкой в Москве (изд-во М. и С. Сабашниковых), с предисловием Бальмонта (помеченным: Владивосток. 1916. IV. 24) и двумя его очерками: «Руставели» и «Великие итальянцы и Руставели». Полностью перевод Бальмонта был издан лишь через шестнадцать лет — в 1933 г., в Париже (предисловие помечено 2 марта 1932 г.). Это издание было повторено («на правах рукописи») в Тбилиси, в 1935 г. В дальнейшем вышли еще четыре издания — два в изд-ве «Academia» (1936 и 1937) и два в Гослитиздате (1937 и 1938). О работе Бальмонта над переводом поэмы Руставели см.: «Из писем К. Бальмонта о переводе „Витязя в тигровой шкуре"» («Литературная Грузия», 1957, № 6, сс. 112—116); Маргарита Дондуа, К. Бальмонт на уроках грузинского языка («Литературная Грузия», 1962, № 9, сс. 91—92, — грузинскому языку Бальмонт учился уже в 1918—1920 гг.); В. Бауашвили, В содружестве с переводчиком поэмы Руставели («Литературная Грузия», 1963, № 12); В. Вирсаладзе, Друг грузинской поэзии («Вечерний Тбилиси», 1964, 13 июня); Н. Бальмонт-Бруни, Бальмонт и Грузия («Литературная Грузия», 1966, № 9/10, сс. 113—121); «Константин Бальмонт о Руставели» («Дружба народов», 1966, № 9, сс. 203—209, — здесь впервые опубликована статья Бальмонта «Шота Руставели и другие мировые гении как певцы любви»); «Литературная Грузия», 1967, № 6, — здесь: 1) Т. Табидзе, Бальмонт и Грузия (статья, перепечатанная из грузинской газеты «Сакартвело», 1917, 16 июня); 2) Л. Ангуладзе, В стране волшебных песнопений (сводка данных о поездках Бальмонта по Грузии); 3) «Грузия — золотая страница сердца» (из писем К. Д. Бальмонта).

ИЗ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

П. Дурян

636. «Армянские беллетристы, драматурги и поэты», (том 2), М., 1894, с. 533. (Этот сборник был запрещен цензурой и предан сожжению, — сохранилось всего несколько экземпляров.) *Дурян* Петрос (1852—1872) — армянский лирический поэт и драматург, живший в Турции.

И. Иоаннисян

637. «Армянские беллетристы, драматурги и поэты», М., 1894, с. 549. *Иоаннисян* Иоаннес (1864—1929) — армянский поэт-демократ и видный общественный деятель Советской Армении.

А. Цатурян

638. «Армянские беллетристы, драматурги и поэты», М., 1894, с. 564. *Цатурян* Александр (1865—1917) — армянский поэт демократического направления.

О. Туманян

639. «Семья», 1893, № 55, с. 2. *Туманян* Ованес (1869—1923) — крупнейший армянский поэт нового времени. Бальмонт перевел раннюю (первую) редакцию баллады О. Туманяна. В 1917 г. Бальмонт встречался с О. Туманяном в Пятигорске.

А. Исаакян

640. «Сборник армянской литературы», под ред. М. Горького, П., (1916), с. 199. *Исаакян* Аветик (1875—1957) — крупнейший армянский поэт новейшего времени.

В. Терян

641. «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводах русских поэтов», под ред. В. Брюсова, М., 1916, с. 412. *Терян* Ваан (1885—1920) — выдающийся армянский поэт-лирик. *Наирянка* — армянка (от Наири — древнего названия Армении).

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

642—645. «Северные записки», 1915, № 1, сс. 91—92. В предисловии к переводам Бальмонт назвал индийских поэтов XVIII века «сладостными певцами газэл и двустиший».

ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

646—655. К. Д. Бальмонт, Где мой дом? Очерки (1920—1923). Прага, 1924, сс. 86—88 (в очерке «Огненные лепестки»).

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

656. СМ, 1908, № 6, с. 104. *Кяхта* — город на границе России с прежним Китаем, в свое время — центр чайной торговли.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

657. «Россия и славянство» (Париж), 1930, 14 июня, — с датой: «20—24 декабря 1929 — 24 апреля 1930. Капбретон» и с посвящением: «Мой трудный и легкий, смиренный и дерзостный, давно задуманный, сладостный мой труд — стихом наших дней пропетое «Слово о полку Игореве» — с признательностью за тонкое соучастие, — посвящаю профессору Николаю Карловичу Кульману. *К. Бальмонт*». По разъяснению комментаторов памятника, «в предпоследней строфе перевода, в строках: «Говорит Кончак ко Гзаку: «Если сокол улетает...» и т. д. — допущена ошибка. В тексте «Слова» читаем сначала «млъвитъ Гзакъ Кончакови», а затем — „рече Кончакъ ко Гзѣ“» («Слово о полку Игореве», «Б-ка поэта» (Б. с.). Л., 1967, с. 530—531).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* К. Д. Бальмонт. Портрет работы В. А. Серова (1905). Третьяковская галерея.

2. *Между с. 96 и 97.* К. Д. Бальмонт. Фотография (1896). Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

3. *На обороте.* К. Д. Бальмонт. Фотография (1899). Собрание В. Д. Бальмонт.

4. *Между с. 128 и 129.* К. Д. Бальмонт. Портрет работы М. А. Дурнова (1900). Третьяковская галерея.

5. *На обороте.* Обложка сборника «Будем как солнце» (1903) работы Фидуса.

6. *С. 159.* Автограф К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Чары месяца». Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

7. *Между с. 288 и 289.* К. Д. Бальмонт. Фотография (1907 ?). Собрание В. Д. Бальмонт.

8. *На обороте.* Обложка сборника «Жар-птица» (1907) работы К. А. Сомова.

9. *Между с. 320 и 321.* К. Д. Бальмонт. Портрет работы Н. П. Ульянова (1909). Третьяковская галерея.

10. *На обороте.* К. Д. Бальмонт. Портрет работы Л. О. Пастернака (1913 ?). Частное собрание в Ленинграде.

11. *Между с. 416 и 417.* К. Д. Бальмонт. Фотография (1917). Собрание В. Д. Бальмонт.

12. *На обороте.* К. Д. Бальмонт. Фотография (20-е годы). Собрание В. Д. Бальмонт.

13. *Между с. 448 и 449.* К. Д. Бальмонт. Фотография (1924). Собрание В. Д. Бальмонт.

14. *На обороте.* К. Д. Бальмонт. Фотография (1937—1938). Собрание В. Д. Бальмонт.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ

ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ

В БЕЗБРЕЖНОСТИ

За пределы

Любовь и тени любви

Между ночью и днем

ТИШИНА

Воздушно-белые

Ветер с моря

В дымке нежно-золотой

Мгновения правды

Аккорды

Кошмары

ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ

Отсветы зарева

Ангелы опальные

Совесть

Страна неволи

Возле дыма и огня

Мимолетное

Антифоны

Прогалины

Индийские травы

Безветрие

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Четвероогласие стихий

Змеиный глаз

Млечный Путь

Зачарованный грот

Danses macabres

Сознание

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Цветные ткани

Очертания снов

Мгновенья слияния

Проклятия

Безрадостность

Приближения

ЛИТУРГИЯ КРАСОТЫ

Праздник сердца

Кружевные узоры

Черная оправа

ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ

Фея

Детский мир

Былинки

ЗЛЫЕ ЧАРЫ

Отсветы раковин

Амулеты из агата

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕСНИ МСТИТЕЛЯ

ЖАР-ПТИЦА

Живая вода

Тени богов светлоглазых

ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ

В ярких брызгах

Зеленые святки

Преломление

Ожерелье

Морана

Майя

ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОГРАД

ХОРОВОД ВРЕМЕН

ЗАРЕВО ЗОРЬ

Дочери ночи

Костер

Цветочный сон

Камень голубой

Лучеизлом

Потухшие вулканы

БЕЛЫЙ ЗОДЧИЙ

Злятые ведра

Жужжанье струн

Золотое яйцо

Южный Крест

ЯСЕНЬ

СОНЕТЫ СОЛНЦА, МЕДА И ЛУНЫ

ПЕРСТЕНЬ

СЕМЬ ПОЭМ

ДАР ЗЕМЛЕ

ПЕСНЯ РАБОЧЕГО МОЛОТА

МАРЕВО

МОЕ — ЕЙ

В РАЗДВИНУТОЙ ДАЛИ́

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Литва

Русь

ГОЛУБАЯ ПОДКОВА

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В СБОРНИКИ

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Вильям Блейк

Байрон

Шелли

Эдгар По

Теннисон

Оскар Уайльд

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Бодлер

Поль Фор

ИЗ ИСПАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Хосе де Эспронседа

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Адам Мицкевич

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Ярослав Врхлицкий

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные песни

Иван Вазов

ИЗ ЛИТОВСКОЙ ПОЭЗИИ

Песни и дайны

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Бальмонт Константин Дмитриевич
СТИХОТВОРЕНИЯ

Л О. изд-ва «Советский писатель», 1969, 712 стр. Тем. план вып. 1969 г. № 333

Редактор *Л. А. Николаева*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 15/VIII 1969 г. Подписано в печать 29/X 1969 г. М 14620. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$. № 1. Печ. л. $22^{1}/_{4}$+7 вкл. (38,14). Уч.-изд. л. 33,08. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1117. Цена 1 р. 42 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград. Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3.

